ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (6)

МАРТ—АПРЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1922

Содержание:

Гна. № 2906.

16-я типогр ... Чистопрудный, 9.

Из повести „На лебяжьих озерах“.

... Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны...

Совесть, когтистый зверь, скребящий сердце—совесть, незваный гость.

Пушкин.

Акимка заметил, что отец собирает харч в пестерь.

— Татка! Ты без меня, ей-Бо, не ходи, возьми опять в лес-то...

— Нет, сынок! Неравно прострел падет, задерет меня зверь и ты загинешь... Место широко, без ног не выдти-ть—медведь тебя на кокурках не потащит.

— Стрели ладом!

— Да уж попробую, только без тебя...

Акимка спал и не слыхал, как отец справился в лес и, выйдя на задворки, закуривая, оглядывался на красную зарю за рекой над крышами Городища: на синем, в белесых облаках небе, красная заря горела огнем. Черные крыши домов, звонница и купола церкви резко и четко выделялись на красном. Ни стен, ни окон домов не было видно. Туман скрывал дома городка и воду реки.

Ваган курил и думал:

— Смолкла водушка... птицы улетели... Примета есть: коли рано смолкла река—осень долгая, а у меня и собачки не заведено—охотник!

Ваган встряхнулся, вскидывая на плечи пестерь, повесил винтовку и зашагал:

— Наследыш мой, в ельнике не зря спущался: жирует медведь и ночевка там близко.

Пенус был широкий и мокрый. Пока Ваган переходил к ельнику, стало темнеть. Белесые облака низко нависли.

В ельнике он снял пестерь, чтобы не трещал по веткам, и, отыскав знакомое место, заметил под выскетью развороченный мох.

— Ишь, где!

Он ползком, как под утку, пополз к берлоге, держа в руке ружье Подполз, потянул воздух носом:

— Дух чижолый—тут!

Ваган отполз в сторону, выдрал из земли молодой куст вереска,— сухой; вернулся, стоя, зашел сбоку, поджог вереск и сунул в берлогу—подождал... Из берлоги показалась толстая голова, мохнатый еще линючий хребет. Вылез пестун — подросток медведь. Встав на задние лапы, неуклюже пошел прочь от берлоги, фыркая носом.

— Не любишь дыму, падина! Тот раз большим казался?.. Зря, онойка, спужал...—подумал Ваган, двинулся за медведем осторожно и, стоя задом к берлоге, выстрелил... В вершинах сосен бухнул отзвук.

— Говорю—на перевозе подождешь! Это он для острастки, видно, на задках шел?

Медведь упал и начал рыть лапами землю—конец, брат! Не ройся..

Ваган продул дымную винтовку, вытащил из ее гнезда медный шомпол, стал наматывать смазку, но когда взялся за пороховницу—сзади затрещал валежник. Ваган не успел ни повернуться, ни отскочить: на плечи ему пали тяжелые, звериные лапы. Вагана сунуло вперед, шапка свалилась и, зажимая дуло ружья в левой руке, охотник упал лицом в мох—жарко дышащая, двадцатипудовая масса навалилась, а плечи заныли, и затрещала на нем рядовка.

— Выволочь нож... медведицу проглядел...—спокойно подумал Ваган и правой рукой полез за голенище. Выгнул спину, пряча голову. Во мху было сыро и душно, глаза кололо травой и ныли плечи.—Не первой! Я те кишки выпущу. Погодь, сватья...

Смутно услыхал, как вокруг заговорило эхо выстрела, шлепнула по мягкому пуля. Ваган почувствовал, что на плечах его когти зверя судорожно сжались и медленно стали разжиматься—теплая масса грузнее опускалась на спину, дрыгая всеми суставами.

— Кто бы это вызволил меня?..

Ваган отпустил дуло ружья, уперся из всех сил руками, коленями в мох—вылез, ничего не видя кругом, обтер воду с лица рукой, замаранной в чем-то липком, отдышался и разогнулся, стал оглядываться Недалеко в сером армяке стоит чернобородый человек, гораздо меньше Вагана ростом. За плечами берданка, сам зубы скалит—ощеряется.

Ваган подумал:

— По стрельбе да зубам—Петруха Цапай, по волосам не он, по бороде—леший...

Темнело быстро. Ваган, спотыкаясь о валежник, худо видимый подошел к человеку и протянул руку.

— Крещеный ли, нехристь, а здорово и спасибо!

Черный пожал руку.

— Леший-те с ней, но сжели не ты, гляди, тогда, заместо медвежьей, пришлось бы сушить мою шкуру.

Чужой человек снова показал крупные зубы, помолчав, сказал:

— Стемняет, давай к избе завастривать.

— Давай!

— Ты чего уружье кинул?

— Некого бить... потом возьму—пущай ржав откиснет...

Пришли в избу, где еще недавно Акимка пищал вместе с рябчиками.

— У тебя, крещеный, ни кошеля, ни топора?

— Уружье за спиной — харч в брюхе. За то у тебя, Ваган, есть что есть!

— Правда! Клади огонь—топор за каменкой, а я верну к тропе, захвачу пестерь, толокна сварим...

Идя за пестерем к тропе, Ваган оглянулся на избу. На мутно зеленеющих наволоках с пятнами зародов сена, у черной шершавой копны избы чернела тень человека. Она сгибалась и разгибалась. Слышался звон топора—по заре далеко несся гул и треск дерева. Человек готовил дрова.

— Петруха он! Цапай... Незнакомому отсель костей не вынести... глухо...—думал Ваган.

Наволоки все больше тускнели... Смутная тень, слитая с высокой стеной дальнего леса, чернела.. Северные кипарисы-ели—хмуро вырезывались на блеклой полосе зари. Лишь по средине черной равнины серебристыми зигзагами сверкала лесная река, то западая, то вновь сияя холодными отблесками неба. Казалось, черная картина, без границ широкая, была подчеркнута блещущим, могучим штрихом, придавашим мертвому и смысл, и жизнь... Где-то жалобно пиликал, безнадежно и одиноко, запоздалый куличек:

— Тю-ли-ли... тю-ли-ли...

Хряст дерева и звон топора смолкли.

От черной точки избы вдали, почти слитой с шириной наволоков, Вагану пахнуло дымом.

— Затопил избу...

— Тю-ли-ли... ли... ли...

— Чего поздал? Жалишься, пишишь, куличенко. Замерзнешь, брат, не улетишь...—думал Ваган.—Без поры вылупился... Так и люди тоже... Отобьются, отстанут от своих и жалятся. Ходят... плачут да злятся... Важнецкий был Петруха охотник, а из гнезда выпихнули—убил сгоряча; теперича, брат, замерзнешь... Стой! Никак в сутемках тропу-то я проглядел? Ан, нет—вон она!

Пригнув вниз голову, Ваган свернул к черной стене леса и отыскал тропу.

* * *

Черномазый в теплой избе поел, ожил... Говорил, все-таки, мало. Ваган заметил, что он прячет глаза. Говорит неровно: то знакомым

голосом, то чужим каким-то. Нос у черномазого приплюснутый, похожий...

— Чего еще? Петруха! — думал Ваган, курил и молча ловил за чужими чертами лица знакомые. — На того цыгана с ярманки тоже схож... Ваганом зовет... знает...

Черномазый разделся, вынул нож из-за пазухи, воткнул в паз, а кожаную ножну мягкую повесил на рукоятку.

— Дай-кось, дедя Ваган, покурить!

— На, курь!

Черномазый, левой рукой приподняв густые усы, правой сунул трубку в зубы.

Ваган сказал:

— Вижу, как куришь! Ты это, Петра. Привычку помню: усы кверху рукой драть.

— Ты не язычник! Тебя не таюсь... привычка такая, всех прятаться — Цапай я... Петруха, верно!..

— Я давно баял, когда слухи ходили: убег и молодец! Петруха парень смекoватый...

— Был смековатым, теперь злой и бессовестной!

— Зачем так?

— А затем, что ежели была бы у меня твоя сила, Ваган, грязи бы из людей наделал! Старик на озерах говорит: „Кого судить пришел? Родную землю поцелуй, покайся! Старого не воротишь, врагов нет... Новые в твоем грехе не виноваты". А я баю: не целовать землю пришел, пришел ее кровью полить — новой ли, старой, где разбирать?..

— Старец правильный...

— Вырос я, Ваган, в лесу, на воле, и никому от моей воли худого не было... Обсемениться думал — жену завел, избу вывозил. А избу соседи разрыли, жена сбежала в город столишный... найдить не мог, и она не знает, что сюда приду... Нешто я не понимаю? Земной радости лишили меня — небесной не видать!.. Вот хожу иножды по лесу и вою волком, деревья нюхаю: ни одна деревина так за душу не берет, как береза. Насмонешь в горсть березовых листьев, приткнешь лицо, нюхтишь... Сразу тебе станет и тошно, и радошно... Тошно оттого, что не человек ты—зверь, везде на тебя кляпи расставлены... радошно, что вспомнишь Троицын день, молодость, караводы с девками... почуешь себя маленьким тем, что бегал по лесу — березу ломал, во ржи колюху рвал, по крышам лазал да лошадей летом по деревне боском шугал... Эх, Митя-а!

Цапай приткнулся лицом к ладоням рук, упер локти в колени и, вздыхая, замолчал, а по рукам в рукава красной рубахи потекли слезы.

— Три, Петра, к носу — все пройдет!..

— Не пройдет, ежели я слепой! — Петруха поднял голову, глаза

блестели, но были сухи, лишь под усами не видно было крупных зубов.—У тебя, Митрий, кровь на плечах, зверь разодрал.

— Пущай! Ништо. Разденусь, пепелом засыплю—обойдется... Давай спать. Завтрева ко мне пойдем, пестерь здесь оставлю, уружье возьму, а звери полежат, не сопреют... справим литки, водочки выпьем, да чаишку позудим.

— Ляжем... Ты, Вагаша, часто ли ходишь здесь?

— На наволоках широко—люблю тут бывать.

— Норка в реке живет иножды... горносталь тоже... бивал!..

— Не то норку—рысю здесь я раза четыре бил...

Оба разулись и залезли на нагретые доски нар, но не спали. Ваган зажег длинную лучину. Петруха говорил:

— С рысями я молодой часто возился, знаю повадки ейные, особливо зимой... Ежели на лыжи встал да рысь попала, не бойся, что перво она уйдет от тебя...

— Ну-ну, говори, Петра!

— Рысь, Ваган, кошка... У кошки подошва копоская, щекотная—она скорехонько на бегу подошву насмонет, лизать зачнет, к лизу снег приварит, она опять полижет лапы—глянь и побежит, что в катанках. Лапы все грузнее, на дерево ей не удтить—глездят; а как будет у ей ход малый,—тут и бери!

— Эх, Петруха! Ладный ты был охотник.

— Был я, Ваган Митя, хорош ли, худ, а был! По доносу этой гниды урядника—приказ вышел: „собаки, чтоб не кусались, кои должны быть на привязи, иные перебиты". Того не знают, что продержи смирную собаку дня три на веревке—спусти, беспременно укусит кого...

— Верно! леший-те с ними.

— У охотников собак избили, а без собаки нешто промысел! Подать добыть нечем, земля худая. Урядник без разбору зачал собак стрелять. Убьет да еще за заправ полтину теребит; зарой битую, а не закопал—еще полтину давай! Молчали все, хошь спи на них. До меня дошел: „Убей корову—собаку не трожь, или у меня,—говорю,—прострелу не бывает". Он же, гнида, хлоп мою собаку, а я его по сердцам мазнул... Ну, да ты знаешь сам!

— Знаю! Лучина гаснет—спать, Петра...

* * *

Изба у Вагана двужирная, на две половины. Пол покосился, шкафы старые изломаны, но видно, что жили здесь когда-то хорошо и добро копили. Скамьи новые, но расхлябанные; стулья и диваны деланы в старину, крашены дешовой мумией, стертой от времени. Диваны и стулья были перевиты проволокой, пыльной и ржавой.

Ваган добыл граненый полуштоф водки, поставил на стол, уса-

дил Петруху на скамью, сам сел на другую против, налил водки по чайному стакану:

— Ну-ка, медвежий избавитель мой, держи!—и опрокинул водку в широко раскрытый рот, покряхтел, стал закусывать калачом. Петруха мало отпил из стакана.

— Ты чего так пьешь? Чаем запьем. Надеха обновку раздувает; скоро, поди-ко, леший-те с ней, принесет...

— Не пью много, Ваган! Пасусь...

Петруха еще отпил водки, закусил тем же калачом и сунулся к окну, поглядел на реку.

— Ты не сумлевайся... Начальство без нужды ко мне не придет, да заодно и вечер смурый...

— Нужда начальству, Ваган, по мне завсегда есть!—ответил Петруха, хотел сесть на скамью, но на его месте сидела тощая черная кошка. Цапай с ужасом столкнул кошку:

— Ну-ко ты... жихорь!

Ваган подхватил на колена кошку. Поглаживая лапой, большой и черной, говорил:

— Хорошая у нас кошка! Только, вишь ты, завсегда котят ест. Одного, этак, мы хвалить зачали, отняли сразу... Хвалили все: хороший котеночек! хороший... Того не съела—вырос.

Надежда внесла самовар и, увидав Петруху, который глядел на нее, остановилась, потом подошла, торопливо сунула самовар на стол, проворчала:

— Надавало гостей с большой дороги...

— Ты молчи, водяница! Он меня спас...

Надежда еще раз внимательно оглядела фигуру Петрухи. Он попрежнему, оскалясь, глядел на нее молча:

— Тьфу ты, бес черный!—отплюнулась Надежда и ушла, хлопнув дверью. Акимка тоже хотел зайти в избу, но тетка не пустила его.

Петруха забегал глазами: вскинул глаза на печку, на окно, вскочил, подошел к ставню в подполье, приподнял и заглянул под избу.

— Брось-ко, леший-те побери! Допей водку, да чаю налью,—сказал Ваган, заваривая чай.

— Не донесет?

— Брось, не пикнет! Ты мой гость, сказано.

Петруха сел, допил водку, повеселел и тут же помрачнел, нахмурился. Не закусывая, начал хлебать, обжигаясь, горячий чай. Заговорил тихо и торопливо:

— Грудастая, крепкая девка удалась... Маленькой знал; а, поди ты, какая... Эх, Вагаша! Милый мой... Волосы какие! гибкая, чорт...

— Давай курь трубку!—Закурили поочередно.—Не-е-ряха!—обронил Ваган и, указывая пальцем на низ печного места около пола, прибавил:—энту дыру горносталь проел... я все думал—мышь. Рыбу да мясо ел, убил его не сразу... много всякого добра спортил... не

ср-а-зу! потому я кажиный вечер пьян, у винтовки ладом прицела не нахожу, а днем падина не капостит...

— Убил таки?

— Убил... Надеха кабы не голая была, так ей место в первых девках... Тело белое, што твоя кожура на молодой березе, лицом, волосом и статью взяла, да неряха—леший-те с ней! Все раскидает по избе; не то горносталь—приходи хошь медведь, лопай... Неряха она с малых пор, с тех самых, как барин из-за реки зачал ухаживать... Мильенщик дьявольный! Прибасы дарит... манит шальную!

— Знаю, Вагаша! знаю.

— Знаешь не все—все знай! Гость, друг... Я ей говорю, леший-те... сестра, говорю, Надежда, ищи иных женихов... приезжий шишкун, на всех девок зарится—бросит. А она, глядишь, как ночь потемнее, плывет к нему, быдто ее водяная сила тянет. В одной, Петра, плывет рубахе, только волосы звеют. В лодке пытала ехать, лодку я расстрелял в дырья. Был раз пьян, да зол до гола-горя, пустил по ней в окошко пулю, но видно на свою-то кровь рука стряслась—прострелился... Утром, гостюшко ты мой, спрашиваю: а што, водяница, ведь я, кажись, стрелил по тебе? Убил бы...

— Ну, так как?

— Да што! „Убил бы, бает, туда мне дорога"... Вот, как полюбила!.. Сам бы его, Петра, решил, барина,—не убивец вишь, душа энтим не марана... Разве со зла, пьяный, коли што...

— Этому барину, Ваган, твою сестру любить недолго. Вон моя подружка про то знает!—Петруха указал пальцем на берданку в углу.— Тут, Митя, иное дело. Кабы твоя сестра меня полюбила, а?.. Все бы тогда нашел я! Землю, небо... а?.. Зажили бы...

Ваган крякнул, налил водки, выпил и молчал. Петруха продолжал осторожно, изредка покуривая трубку:

— Барина бы... я... решил... деньги у меня есть и еще будут, а с деньгами, знаешь, широкая дорога... Я к ней давно приглядываюсь... сестре-то...

— Решеный ты, Петра, человек! Как я, решеный... Сколь думал, бросить все, идтить, Акимку в науку отдать: башка у него из золота... И все-то сижу я, пью, да в окошко на реку свинец пущаю... А любовь? Любовь, Петра, не бахилы, захотел—натянул... В нее силом не попадешь... Тяжелое дело—любовь; прилипнет, не отвяжешься, не липнет—убей, не льнет!..

— Я ужотко с барином поговорю... С тобой, Ваган, дела этого не решить... Вот что: шкуры медвежьи ты продай. Говори: „один убил". Мне мой пай малый: хлебом выдай, сухарями, да нет ли у тебя берданошных патронов? Вышли свои-то, а мне еще на сей земле пострелять придется...

— Берданку спьяна променял на кремневую... патроны, леший их побери, остались. Два опойку—Акимушке дал. Вот!—Сняв с ко

сого пыльного воронца пачку патронов в серой бумаге, Ваган подал Петрухе...

— Ну, теперь любому силачу загривок наколочу!—пошутил Петруха слегка хмельной, беря берданку на плечо.

— Ты бы ночевал, Петра.

— Нет, Ваган! спасибце... спать где, поищу...

Они вышли в темные сени, Ваган, держа Петруху за плечо, направлял к дверям, чтоб не наткнулся, сказал, что-то припоминая:

— Да, стой-кось, Петра!

— Говори, Митрий!

— Ты сказал давеча, што деньги у тебя есть?

— Сказал, Ваган, сестру твою голодом не сморю...

— Сестру кинь! откель у тя деньги?

— Барин дал... колокола вешал...

— Вешал? вон што-о! Слышь, Петра; по долоту так выходит што ты церкву обкрал...

— Как это выходит-то?

— Вишь... постой, не тянись вперед! Долото было раньше мое, лекарям продано, а ты жил в курeню... говорили...

— Долото не одно в Городище...

— Нет, слушай! Там, где долбили, по всей долбежке царапина... на долоте, Петра, зуб, а ты не заточил зуб-от...

— По целине пахать забыл, да боронить поехал!

— Бобыль я, но боронить не учи, Петра!

Петруха в сумраке сеней у отворенной двери мелькнул бледным пятном лица, поворачиваясь к Вагану:

— А что, Ваган, ежели в сам-деле я церковь ограбил?

Ваган помолчал, тяжело опустил на плечо Петрухе руку, сказал:

— Не язычник я! Доносить не люблю... и по ладному еще не знаю - ты ли вор?.. Коли дознаюсь, что Богу супротивник ты... приду тебя вязать...

Петруха торопливо сошел с крыльца, отошел, снова мелькнул в темноте пятном лица, поворачиваясь к Вагану, и, шлепая в сумраке ладонью по берданке, ответил:

— Гости, Митрий, с веревками! А я тебя угощу твоим подарком по се-рд-ца-а-м...

— Слышь, бросим! може пекаря, аль Тарасяна... Ты заходи - и... обскажешь, а я дознаюсь правильно о долоте...

Петруха не ответил и, словно испугавшись чего-то, быстро нырнул в темноту.

Ваган, всматриваясь, пригнул голову:

— Кой тя леший спужал?

В стороне, саженях в четырех от крыльца, смутно белел костер березовых дров. Ваган разглядел, что кругом костра побежали две серых фигуры. По блеску мелькнувшего в темноте ружейного ствола

он узнал Петруху. Петруха, пробегая, скрипнул зубами и пробормотал внятно:

— За-а-ре-ж-у-у... че-р р-т!..

В другой фигуре Ваган признал немую. Он попятился в сени и, запирая дверь, подумал:

— Пил не много, а сбесился... без ума с шальной время вадит...

* * *

Барин сидел в угловой комнате и пил вино. У образа горела лампадка, на круглом старинном столе зажжены были свечи, и на подоконниках окон тоже. За окнами мрак, но тут было тепло и уютно. Пальто, шляпа и пистолет лежали на ближайшем стуле, как будто бы он только что уходил или собирался уйти из дома. Сидел он в черной бархатной рубахе без пояса, с серебряным галуном по подолу. На столе стояли два стакана, словно барин ждал кого-то в гости. Опорожнив бутылку, он ставил ее под стол, а из-под стола брал непочатую, откупоренную. Жмурясь на свет, из темноты комнаты вышел к барину Петруха Цапай. Барин равнодушно взглянул на него, налил в порожний стакан вина и сказал, тыча горлышком бутылки в налитый стакан:

— Пей, мошенник!..

— Вот те спасибце, дедюшка!

Петруха шагнул к столу, выпил, утерся серым рукавом кафтана и попросил еще, и еще выпил.

— Не наше, хорошее питье: с души не тянет, идет в душу.

— Садись! стул возьми.

— Постою, что мне... только, видишь ли, я с делом, дедюшка...

— Ну, какое твое дело—денег надо?

— Деньги потом, перво уговориться... Видишь: коли ежели я служу тебе, то надо-ть и поговорить толком... Служу, головы не жалею: и ежели попросишь, не то колокола навешать, а церковь с места на иное перетащить, для тебя возьмусь за все...

— Ха-ха! Зачем же? Говори еще, да пей... пей!

— Выпью, дай-кось!—Петруха выпил и начал вкрадчиво, почти умоляюще:

— Ты вот что, сиятельность! Уступи-ка мне девку-ту, Надеху из-за реки...

— Девку? Надеху...

— Да, Надежку Ваганову... Тебе все одно... Ты не любишь ее, балуешь только черева... Есть девки для ради тебя не хуже, особливо как ты денежный.—Значит, уступи...

Барин молча пил вино. Петруха продолжал:

— Потому я к тебе хорошую экую дружбу веду—худа ты не делал мне и готов укрыть от полиции...

— Ну, ну! Готов, заступлюсь всегда... пока жив...

— Вот оно это самое... а так, как тут мы оба в эту ее, как бы по любови идем, то, знаешь, не ловко...

— Чего неловко?... Все ловко: кто сильнее—правее... кого больше любят, тот первый... Ха-ха!

— Нет, ты не грай! Граять, брат, тут нечего, а страшное тут... Тут ежели мы оба да еще за одно...

— Ты запутался... Любишь ее?

— Люблю-у!

— А она—любит?

— Не знаю... Тут вот самая закорючка, о чем и просить тебя пришел... Кабы не это—дело тогда короткое...

— Короткое?

— Да... развел бы вас с Надехой, и просто...

— Как бы ты развел?

— Ну, чего же... берданка разлучница ладная.

— Убил бы? Я смерти не боюсь.

— Знаю... просить тебя пришел... Ты живи на здоровье, ходи—земли не жалко!

— Скорее к делу. О чем просишь?

— Не примай ее... гони! Нет, не так. Наговори ей, научи меня спознать, а как спознает меня плотью, от тебя, може, отступится?..

— Ты бы, Петр, с Тихоновной поговорил—я не сваха... Так просишь?

— Прошу...

Барин встал, взял со стола зажженную свечу, пошел в темные комнаты, скрипя паркетом и пошатываясь. Петруха стоял и глядел на него.

— Ползи за мной на коленях, если просишь!

— Изволь, хоть на брюхе поползу!

Петруха встал на колени и пополз за барином.

— Догоняй, мошенник! Не отставай!

— К чему так?

— Ползи, ежели любишь и просишь.

— Ползу и поползу. Отступись, не примай ее... Подарков не дари... Не улещай...

Барин все шел, а Петруха полз на коленях. В дальней, темной комнате с старинным шкафом в стиле „ампир" и столом, барин задрожал и попятился: у стены с бледным лицом кто-то стоял вытянувшись.

— Зачем? Эй, зачем? Курьер!—Он уронил свечу, стало темно. Тяжело дыша, барин спешно повернул на свет в угловую.

В темноте он слышал по лестнице две пары ног, стучавших гулко, какое-то мычание и голос Петрухи:

— Опять ты, жихо-о-рь?! Отстанешь?

Крик и топанье ног успокоили барина, он перестал дрожать, сел на прежнее место, выпил вина и подумал, косо усмехаясь:

— Немая ходит за каторжником, как тень... Все имеет одинаковые причины... Видно, мошенник сделал то с ней, что и я с лебедем из-за реки?.. Лебедь тебя не полюбит... Ты мало знаешь полюбившую первый раз женщину... Ха-ха...

* * *

Тихониха вернулась от барина под вечер.

— Водочки сладкой поднес! Хороший баринушко... Нехристь он — все уговаривает с ним жить в совьем гнезде: „одному, дескать, ночью страховито", а сам, поди-кось, миляшиться со мной ладит?.. Оно бы ни што с богатеем жить, да Надеха больно любит его... Бредит им.

Дарья сбросила кумачный плат с головы, распустила по плечам темнорусые косы, чуть начавшие седеть. Погляделась в зеркало:

— Ишь ты, раскраснелась с барской-то приманы! Ничего еще, Дарьюшка! Пригожа да полногруда... Тело белое тоже не опрахотело, крепкое... Вот кабы здеркало получше завести... Да у нас только шкуры с кренделями в лавках... Ладно! барина ужо попрошу—пущай здеркало из Москвы, аль откуль хошь вытребовает... Ахти мне! Яишницу забыла—сгорит в печи, да и гороховица тоже...

Дарья, распоясав под грудями на клетовнике, сарафан, пояс, взяла ухват и, вытащив из печи горшки, поставила на стол, отогнув скатерть, завороченную углом. Помыла руки, помолилась, села ужинать.

— Не заперла сеней крюком... Вишь, цыганы лезут, не отвяжешься, пристанут... того дай, этого...—Подумала она, заметив, как мимо окна к крыльцу прошел цыган. Слышала она, как поднялись на крыльцо, прошли сенями. В избу приоткрылась дверь, и зоркие глаза из щели обшаривали избу.

— Да входи-кось, нехрещеный!

— Крещеный! врешь, тета...

Цыган в куртке с цветным кушаком и погонялкой в правой руке, распахнув избу, вошел, снял шапку с длинных кудрей, тряхнул бородой, переложил кнут из правой руки в левую, перекрестился на образ, поклонился Тихонихе и, оскаливая зубы, сказал:

— Кушать—хлеб рушить?

— Приходи, пожалуй!

— Закусываешь?

— Да...

— Жрешь?

— Мм... да что ты, неладный, привязался? Голоден, так садись, похлебай гороховки...

— Спасибце! Лопал я, дединка... А вот ночлежку ищу, дозволь у тебя становать...

— Сними-ко лопотину, распояшься и Бог с тобой... странных не гоню!

Цыган, не раздеваясь, быстро, зорко оглядел прируб, заглянул в окна на деревню и оглядел избу Тихонихи:

— Большая, стародавняя фатерка! черная была, с дымником?

— Вековщина! сруб большой, а живу одна одиношенька. Мужа давно в Афанасьевскую ярманку пьяного убили... Вчерась сон приснился, и такой-то неладный: будто пришла я младеня хоронить, беленького да базенького, а младень в церкви будто глазки открыл. Проснулась я, села на лавку, окстилась и гляжу: от луны светло, и во всех-то углах, словно кто белый стоит, да глазами поводит... Ушла к соседке, ночевала—дома-то озорко стало зауснуть.

— Страшно, поди, одной?

— Страховито, милый!

— Хочешь, я к тебе приходить буду? Я добрый...

— Не оченно, кажись, добрый! Похож на одного нашего тут, Петрухой звали... Только волосы да борода не схожи... Сослали Цапая в каторгу за урядника, а избушку—новая была—по бревну разнесли...

— Зачем избу-то нарушили?

— Затем, милый, что на чужом будто месте сострoена, а Петруха-то сам возил ее, ладил.

— Знаю...

— А откель знаешь?

Цыган сел на лавку, распоясался, бросил кнут в угол, к дверям, а из-за пазухи у него вывалился нож в кожаных ножнах.

— Эко ножище у тебя, милой!

— Телят свежу, да скотом промышляю...

— Так знаешь, что Петрухино домовье срыли?

Цыган опустил низко голову и сказал:

— Говорили... Слыхал уж...

— А сам-то ты откелешный?

— Из Беловодской...

— Дом-то, поди-ка, тоже есть?

Цыган поднял опущенную голову и шутливо сказал:

— Избу-то я новую состроил, только плохо свел хоромы: четыре кола в землю вбил, да бороной покрыл.. в большом углу поставил Миколу, в другом Рожество. А утром, что, думаю, холодно?—Глаза продрал, гляжу—всю избу снегом занесло... из своей съехал, да с тех пор все по чужим подворьям шатаюсь...

— Ишь ты, милой, шутки какие!—засмеялась Тихониха.—А больше построев не заводил?

— Я-то не заводил, к матушке построй спроводил ..

— Ловкой!

— Матушка моя построй заводила, да работников наймовала, а только один довела до конца, и то не велик...

— Какой же?

— В шесть досок—зовется гробом.

— Ахти, не баской! Дети-то у тя, милой, есть?

— Дети?—цыган оскалил белые зубы.—Был младень, тетя, захотел я ему по-христиански молитву дать, да поп не поехал, далеко...

— Ну, так как же?

— А, так! Дело было в Петровки... Жарко, жене некогда—косить наладилась... Младень плачет. Дай, думаю, разрублю—перестанет... Разрубил я младеня, в зобенку склал, посолил, чтоб не испортился. Привез к попу за молитвой, а поп глухой да близорукой, нагнулся, мясо понюхал, да и говорит:—„Свежее мяско. Почем торгуешь?"

— Ой ты, зуб! Экое соврал...

— Жена тоже сбежала.

— Отчего сбежала-то?

— Смеяться стали.. Слабоумый! Вишь, как дело-то было: женился я на брюхатой... Прошел месяц от свадьбы, жена и родила...

— Слава Богу! Дому прибыль...

— Еще бы! Что худого только скажу тебе—реву робячьего терпеть не могу. Пошел на базар, да двенадцать зыбок купил... Несу я эти люльки, соседи спрашивают: „Куда тебе, свет, столько зыбок?" Да как же, говорю—женился, а жена в первый месяц младеня родила! Ну, как она каждый месяц родит по младеню? Реву не оберешься, ежели какому зыбки не хватит. Стали попрекать глупым мужем—сбежала...

— У Петрухи-т Цапая тоже сбежала жена, когда его в каторгу угнали...

— Знаю, дединка!

— Ты из Беловодской? Поближе на три деревни по сюда есть Кучумова, в ней у меня два мужика знакомых живут: Васе Митрев да Максим Спицын,—не знаешь ли их? Максим-от хорошо жил, хлебно, а Митрев худо.

— Обоих знаю! Нынь видал...

— Ну, как они?

— Да что! Максим живет худо—молотит, в амбар мешки воротит, замарался, как чорт, и будто-те у пророка, что целый день народу кричал о Боге—плешь запотела... Вот Митрев, тот живет, куда годись—хорошо!

— Ну, што ты?

— Право! Сидит у окна, рубаха красная вся в пестрых заплатах, глядит гордо, курит трубку, да за окошко плюет.

— Ой ты, зуб! Опять граешь?..

— А ты, дединка, как живешь?

— Да уж рази и мне пошутить? Неважно—вдовье дело бумажно... Идешь, пути не видишь, а споткнешься—все вперед подаешься: к смерти ближе...

— Младеня во сне видела, так к добру. Ты где спишь-то?

— В прирубе, милой!

— Так уж ты мне тоже в прирубе наладь постельку... а?

Улыбнулся цыган, вскинул глазами в окно и побледнел.

— Ты что, милой, в окошко-то эк не ладом глядишь?

Цыган спросил тихо:

— Кто вон там стоит, сюда смотрит?..

— А?.. Да это, Куимка! Чего ты, жениться хошь, а спужался? Она, как ребенок родущий — шалая..

— Дай-кось, я эту шалую пугну!

Цыган взял с лавки ножик и вышел быстро и беззвучно.

— Ты не убей ее, спаси Бог. Эй, милой!..

* * *

Тихониха ждала кого то, все в окна поглядывала. Петруха пришел осторожно, неслышно. В избе темнело. От дождя вечер настал скорее, чем мог.

— Господин-от светел месяц умывается, моется—дождик идет!

— Пущай идет, дединка.

— Ты што же, зуб зубович, до сей поры скитаешься, как гусь по гумнам? Печка рано топлена—ужин стынет...

— Не, дединка! не хотца чтой-то...

— Ешь, не горюй!

Петруха бросил на лавку длиннополый армяк, надел цыганскую куртку, запоясался кушаком и нож спрятал за пазуху. Поглядел внимательно на печь. Спросил:

— У тебя не заколочен дымной-от ставень?

— Не, милой—он отодвигается.

— В его ежели залесть—куда попаду?

— Попадешь в дымник, как в шкап, мало подашься кверху—дыра на крышу. По хоромам сползешь, приползешь к черемушке, по ней залазишь в хмельник, а там просто—кусты да лес!

— Это ладно!

— Хмель-от я еще не оборвала, сорвать надо, продать торговщикам на пиво... Чего пытаешь? Уж не бежать ли хошь? Я и постельку мяккую для ради мила дружка набила. Не разденешься тоже...

Петруха, заглянув в окна, сел на пол.

— Я вот после тебя заспалась и сон неладный видала...

Ну-ка, бай, каков.

— Быдто пришли мы с тобой в избу полнехоньку народу, и народ все мертвой—родня моя. Мужа только покойного нету, и все-то ложатся спать, а на дворе ночь. Нам с тобой и лечь некуда...

— Это бабье все!

— Погодь... Обо мне быдто не хлопочут, все о тебе. И хочу я сама тебе одевалье наладить, не дают; и чую говорят: „Одной ей

спать". Тут в избу пришла кака-то старуха да меня увела, а ты остáлси... Спать валиться ладишь. Не ладной сон-от, милóй!

— Всякому свое снится. Днем постелю набивала, вот и привралось.

— А, нет уж, зуб! Боюсь, не склали бы тебя с мертвыми спать.

— Я других ране себя положу!

— Скушное рассказала, самой скушно, а ты спой—веселое...

— Веселое? Можно!.. В окно погляди, не стоит ли Куимка... Убить ее—рука на убогого не здымается, не убить - конец!.. Вот она мне снится, потому что думаю...

— И чего, Петрушко, накапостил с ней, што пристает да волочится кишкой?

— На убогую не зарились, а меня чорт сунул. Ну, слушай, спою

Сидя на полу, Петруха протянул ноги, уперся затылком в кромку лавки и вполголоса нескладно запел:

Приходи, моя тешша, на масленицу!
Уж как я тебя, тешша, употчеваю—
Во четыре кнутища березовых,
А как пятый-то кнут—
По заказу гнут.

Петруха оправился, тряхнул кудрями, хотел продолжать. Тихониха не дала, замахала руками:

— А и ну тя, зуб трясоголовый. Коли ты лучше песни не сыскал, ну тя!

— Песня масленичная. Скажу-кось я тебе сказку про попадью, а ты в окошко загляни—нет ли кого?

Тихониха поглядела на улицу. В избе становилось сумрачно, Петруху худо было заметно.

— Нету, зуб вересовый! Говори не громко.

— Пришел попадьин работник обедать...

— Ну, пришел...

— Не перебивай! Попадья собрала на стол, он обед-от скоренько уплел, а попадья была скупая, подумала: едой не сгоношишь, дай-ко сгоношу временем, и говорит:—Ты бы, мужичек, попаужинал за одно, еды-то прибавлю!—„Прибавь". Прибавила попадья еды, мужик скоренько съел. Попадья думает: „пущай, поест за одно, съест не столь много, да работать зачнет без перерыву".—Ты, говорит, мужичек, за один поужинай, я прибавлю еды...—„Прибавь, мать!" Прибавила. Мужик скоренько и ужин уплел, встал, покрестился, потянулся да в сени за постелю гребется.—Что, мужичек? Полдень ведь только, а ты спать—работать то как же?—„Аль ты, матушка, впервой на свет глядишь? Ну, где экое видано, чтоб после ужина в поле на работу шли?" Лег мужик и проспал до утра.

— Ой, зуб милой! И времена зачались. Человек-от столь хитер

стал, што у людской скупости погреться может, а у несчастья чужого не один греется... Я вот тоже около шального баринушка греюсь.

— Може, убью твоего барина...

— Ой, не бери ты, зуб, греха на душу! Шальной, а человек он ладный...

— Не столь ладный, сколь самоправный... Еще увижу, как он слово сдержит... Зря над собой издеваться не дам... Ежели сполнит, то ходи—земли не жалко!..

— Какое слово-то он дал?

— Наше дело...—уклончиво ответил Петруха, тряхнул взъерошенными кудрями, положил затылок на кромку лавки и, глядя на белеющий смутно циферблат часов, спросил:—Часы никак? А сколь теперь время, дединка?

— Часы для басы—время знаю по солнышку, испортились... Ужо Ваганову убогому снесу—чинит...

— Нешто? Мальченка-то?..

— Да вот поди-ка... чинит, носят ему...

— Давай-кось, еще сказку скажу, а то скушно... Слушай: „Шел солдат с войны голодный, морда в крови... Зашел к старухе, а старуха-т любопытная, вроде тебя“.

— Уж я-то не любопытная, ой, зуб!

— Молчи-ко—все знаешь... Так вот—занадобилось старухе про войну знать. Спрашивает: „А что, солдатушко-батюшко, чай, на войне-то страшно?“—Раньше, бает солдат, поесть дай, пытай опосля.—Собрала старуха на стол, поел солдат, кости расправил, распоясался... Ну, а ежели солдат сытой, да делать ему нечего—берегись! Ус расправил, шапку заломил и говорит:—Так как же, бабка, хошь про войну знать?—„Хочу, говорит, солдатушко-батюшко“.—Полезай на печку—войну покажу!—Залезла старуха на печку. Солдат тесак вынул и давай воевать: скамьи расколол, стол сломал, горшки чашки перебил, дверь сорвал и рамы вышиб—всю избу в разор пустил. Подумал: „Кашку слопал, кашник завсегда о пол... рази еще старуху изнасилить?“ Да плюнул. Старуха на печи за трубу забилась и молит:—Убей Бог солдата, утиши войну!

— Ой, зуб! Уж што это за сказка!

— Сказка к тому гласит, что ежели Бог солдата не убьет—век война будет...

— Да што ты?.. Как можно без солдата быть? Как без солдата зачнет свет стоять?..

— Пущай не стоит, но ежели на войне смерть на солдате верхом ехала да не доехала, так в деревне он на всяком крещеном сам поедет!

— Ой, ты, зуб!—Тихонихе не нравилась сказка, она приникла к стеклу окна и долго глядела. Петруха, заметив ее тревогу, насторожился. Дарья сказала тихо:

— Кой бес, прости Бог! Никак на дожде-то Куимка мокнет, глазы пялит?.. Она...

Петруха вскочил на ноги:

— Убью ее!

— Робенка родущего... убогую, што ты!

— Чорт! ране пытал счастье, знал: уйду, а с ней—боюсь... уловят, гляди!..

— Полоротая, глупая.

— Полоротых, дединка, на свете много. Иной рот открыл да слова не приготовил, весь век с полым ртом ходит, слова подходящего ищет, и помрет, не умеет баять ладом того, о чем думал, и в гробу с полым ртом лежит... Чорт она!—шопотом зачастил Петруха. Приоткрыл скрипучую дверь в сени, прислушался. За дверями у крыльца говорили два голоса:

— Куимка-с... дело верное—тут он!..

— Узнаем! Зови понятых, я подожду.

Петруха плотно припер дверь и полез на печку.

— Поцелуй на прощаньице, милой!

— Улезу—ты, Дарья, ладом задвинь окно...

— Еще, милой!

— Не держись!..

— Заходи-тко ночью...

— Ставены!..

На крыше стукнул слегка жолоб и все стихло.

Тихониха оправила платок, одернула сарафан, зажгла лучину и, держа ее в зубах, стала вынимать из печки горшки.

— Стойте кругом избы!—раздался голос на крыльце, и в избу вошли урядник с торговцем-лотошником.

Тихониха воткнула в паз стены лучину, готовясь ужинать. Урядник взял лучину, зажег свечку, вынув ее из кармана, и, гремя шашкой, полез в подпечье, потом сходили оба на чердак, во двор, зашли, обыскали прируб, обшарили на печи и по всей избе.

Урядник строго сказал Тихонихе:

— Эй, ты, ведьма! Где каторжник?

— Какой? Нешто угорел ты, батюшка?

— Я тебе дам угорел. Холодную спытаешь... Был он здесь, знаем..

— Уж коли бы я да ведьмой была, то и беси трубой летали... а я крещеный человек... Был бес—пошел в лес, по ягоды...

— Мели еще, чертовка.

— Дай-кось, урядник, лучину-ту, вишь, ужинаю благословясь...

— Неужели ошиблись? Может быть, немая не сюда глядела?

— Сюда-с! Бабу надо хорошенько припечь дознаемся... Она скрывает его, знаю...

— Ой, ты, шапка большая, торгован шальной!—огрызнулась Ти-

хониха.—С огнем грабался, не унграбал, и баба причинна—вали, шальной, на бедную бабу!..

Торговец выругал Тихониху, и оба ушли. Тихониха прислушалась, как они сошли с крыльца, отпустили по домам понятых, а когда шаги урядника с торговцем стали удаляться, она погасила лучину и осторожно отворила окно. Дождь не шел. Было тихо. Между серыми тучами, плывущими по черному, зеленели звезды. Кошачьими, зоркими глазами Дарья уперлась в темноту и видела, как две уходящих тени спустились к реке. Черный берег реки ясно отделялся от сверкающей хмурым отсветом воды. Беззвучно засверкали потухающие блестки кругов по воде, от черной лодки, сдвинутой с черного берега. Слышался неясный говор. Вдруг от гулкого выстрела Тихониха подпрыгнула в окне и, вместо того, чтоб уйти, высунулась больше на подоконник, держась за раму.

Она услыхала с отзвуками по воде крик не то „держи", не то „гляди". Снова бухнул выстрел. Дарья еще больше впилась в темноту глазами. Голоса смолкли, только эхо ворчало над рекой, и оно смолкло...

Тихониха, вглядываясь, не могла понять, почему лодка грузная и черная в светлой полосе воды, поплыла медленно без гребцов, не поперек, а вдоль реки...

Она не спала, не зажигала огня; заперев окно, села на лавку и чего-то ждала.

Через час осторожно поднялись шаги на скрипучее крыльцо, дверь царапнуло. Она завесила сарафанами окна, зажгла лучину. Вошел Петруха и, пряча глаза от ее глаз, сунул ружье под лавку.

— Дай-кось поужинать, тета! Да стели постелю... Те двое не явятся: на реку поехали—страшного суда искать...

— Ой ты, зуб!

* * *

С небольшой связкой калачей, в Городище, за торговыми ларями и кладовыми, где еще стояли бани купцов Епифановых, построенные прочно из неглового леса, Петруха Цапай, спрятав бороду под длиннополую сибирку синюю, повязанную красным кушаком, с голубым шарфом на шее, изображал торговца калачами. К нему подошла рыжая лайка, нюхнула калачи. Петруха сломал калач, дал собаке половину: другую стал жевать сам.

Он погладил собаку, пощупал верхушку черепа:

— Кость вострая, по носу лоток—птицу знает... Уманить, накормить да запереть в лесной избе... Тетерева на дорогу-то подлает...

Собака ласкалась и дружелюбно сучила хвостом, еще раз понюхала калачи, отошла к стороне, села и стала ждать.

— Чорт его! К барину не попадешь... везде народ.. Знает, что бываю там—уловят, гляди, а денег попросить надо... опутать. Лень было, чорту, забрести в воду, лодку с убитыми посередь реки пу-

ить—теперь шум вот... Исправник приехал... Все одно, до завтрева ить—ночью к барину попаду: расчет не кончен... Исправник?—Пу-ое! Ваган—беда... Как он?

В стороне, не далеко, из бани вышел Епифанов старший с ку-ічно-красным лицом. С рыжей бороды купца текла вода, по лицу іт. Свежий березовый веник у купца был зажат под мышку, с него іже капала вода. Увидав Петруху с калачами, он направился к нему издали крикнул хрипло:

— Для ради чаю! Неси-ко, парень, калачи ко мне—все куплю-у...

Тяжело дыша и отдуваясь, подошел близко. Петруха тронул на ·лове грешневик-шляпу, но не снял. Поклонился.

— Неси, аль глухой?

— Ужо, степенство, погодь мало... принесу... Товариша жду с рячими...

— Ин ладно!—Увидав собаку, Епифанов спросил:—Твоя?

— Моя собачка—первоосенка, молодая.

— Сука, пес?

— Собака!

— У, шальной! Я пытаю, кто: пес аль сука?

— Собака, купец, ей-Богу, верно!

— Тьфу! живут же на свете дураки; поди, еще и детей плодят? ука ли, пес?

— Собака, вот те Бог!

— Шальной! Дураков не люблю—не носи калачей, куплю в ином :сте.

Епифанов ушел.

— Дурак сам...—подумал Петруха.—До собаки и дела нет, а до ·аки привязался, краснорожий... Куплю твою мне надоть!.. Барина іт не увижу—худо; видно, подти-ть...

Петруха, уманив собаку калачами к реке, взял ее на руки, от-ілкнулся с челном и уехал за реку.

* * *

К полудню на площади Городища собрались гурьбой Тарасовские ·орники—исправник вызвал.—Стоя в густой толпе парней и сияя ·олетами, позванивая медалями, исправник говорил:

— Еще два убийства—знаете?

— Знаем, ваше-родие!..

— Завелся в наших местах зверь, пареньки, не считает креще-·ю душу за грош—надо ловить!..

— Это Петруха?

— Да, Цапай, каторжник... вы помогите-ка Вагану.

— Не велик зверь, ваше-родие, Петруха!

— Не велик, да верткий: церковь обокрал, урядника с торговцем убил... А колокола сорвать и вы помогали—знаю!

Исправник погрозил парням. Кто-то сказал:

— Мы не причинны!

— Убитый урядник дознался... На праздник богохульничали—сняли, но вам это простим, ежели начальству поможете поймать убийцу. Солдат долго требовать—уйдет, а Ваган берется. Ружья вам дадут...

— С Ваганом мы грешим, ваше-родие...

— Ваган озорной – наш супротивник!

— Все вы тут безобразники! Не пойдете ловить тюрьмы не миновать, а так простим...

— Мы идем! Чего еще? Как Ваган?

— Без Вагана, ваше-родие, в лесу мы слепые, а Петруха в лесу станует.

— Оружье штоб кажному. Без оружья с Петрухой худо—стрелец первый в уезде...

— Ружья будут! подите к Вагану. Я потребуюсь, то у купца Епифанова остановился. Урядник новый тоже завтра к вечеру будет здесь. Пошли!

Исправник ушел. Парни нашли лодку и поехали за реку.

* * *

Припадки стали чаще, и барин почувствовал вдруг, что он как бы падает в пропасть: не было привязанности к радостям жизни, и все чаще стало вспоминаться одно мудрое изречение:

„Всякий падающий должен искать опоры там, куда падает".

— В пропасти потустороннего нет мне опоры,—думал барин и чувствовал свинец в голове, затруднялось дыхание, а в глубине всего его существа, ударяя в голову, начинал вновь зарождаться пошлый мотив, металлически звонкий:

О, мой... мой .. мой...

Он ходил по комнатам большими шагами, потряхивая изредка головой и поколачивая руками грудь, все чаще щелкал ногтями за ухом.

Около него Тихониха подметала комнаты и шутила обычно:

— А и занесло тебя, баринушко, в несугревную эку сторону нашу. А скажи-кось, што тебе у нас здесь по сердцу пало?

Барин остановился, собрал все ее слова, что то подумал и, поколачивая рукой грудь, пробуя дыхание, ответил:

— Здесь, мудрица-пророчица, мне мила простота... Сама жестокость, слитая с природой. Жестоко тут все и просто: убил, ограбил или съел... А там, у нас не убьют... Ограбят на законном основании, да еще и помыкают тобой, заставляя невольно помыкать другими, которые ниже тебя по чину и положению...

— Ой, што то мудро ты говоришь. А по-моему, так повелось, так и быть должно. Мало человеков сыщешь, которые делать зачнут от души—все больше любят, штоб погоняли...

Барин молчал, поглядывая на нее сонными глазами, и казалось Тихонихе, что он к чему-то в себе самом прислушивается.

— А шавишь ты мне, баринушко! Девки здеся тебе по сердцу пали. Потому у наших девок, што победнее, кака жисть? С малых лет иди-ко в казачихи—на обряды денег заробь, за деньги силу девичью в урок неси... от того все безгрудые больше. Работа тяжелая грудь сушит. А замуж вышла девка, поспевай мужа ублажать да детей пестовать. Пропади ты така жисть! Оттого девки к тебе липнут—денежный ты, а работа с тобой леккая...

Барин все молчал. Тихониха домела комнаты, покрестилась, затеплила лампадку в угловой у образа и, уходя, поклонилась, подошла близко и зашептала:

— Надежка-то приплывет ночью... ты пожди...

Барин очнулся и торопливо сказал:

— Денег возьми, мудрица, и... прощай! Узел тот снеси лебедю... платье там...

— Да ты нешто уезжаешь?

— Уезжаю!

— Ахти мне!—Куда?

— Не знаю, куда... далеко... Прощай!

Тихониха притворно заплакала, бухнула барину в ноги.

— Чего ты сапоги нюхаешь?—Барин нагнулся, поднял ее и, давая деньги, бормотал что-то непонятное Тихонихе диким голосом:—„О, мой... мой... пойдем... пойдем в загробный мир..."

Спрятав деньги, Тихониха ушла. На улице она перекрестилась и подумала:

— Нет уж! С тобой-то никуда не пойду, хоть озолоти. Петрушко мой хоша разбойник, да лучше... веселяе... У тя лицо барское, как картинка, волосы, борода расчесаны да напомажены, только глазы што у упокойника... Неладный ты какой-то, баринушко; будто с падучей выстал... Вот Надеха, та тебя без памяти любит!

* * *

Ночь была темная и теплая. Казалось, низкие облака белесыми языками беззвучно лижут и город и вершины деревьев, закрывая звезды...

Два окна угловой комнаты были распахнуты, рамы слегка повизгивали от теплого, легкого ветра, и ветер, гуляя по комнате, погасил у образа лампадку, он колебал языки огня многих зажженных свечей. Не трогал лишь тех, что стояли на подоконнике нераскрытого третьего окна, лоснящегося от блеска огней.

Барин сидел веселый и пьяный в голубой шелковой рубахе, желтых сафьянных сапогах. На одеяле, испачканном песком в ногах лежала голая Надежда. Длинные, чуть желтеющие волосы, слегк влажные от воды, закрывали живот девки ниже колен.

Правая рука барина обвивала ее шею, другой, левой, барин наливал вино в стакан, стоявший под боком вместе с бутылками на круглом старинном столе. Он пил вино, иногда потчевал Надеху, но она отворачивалась и говорила:

— Милый... Барин мой... ты сегодня не страшный да хуже страшного...

— Хуже? Ха-ха-ха...

— Хуже—на Митьку брата схож:—руки, как крюки... бродят, бродят, и глаза ничего не видят...

— Все вижу! Вижу ярче, чем надо... Вот я вижу, что ты уж привыкла, и я прав! Стыд и бесстыдство безмерны, а женщина—лунатик! Ха, ха... Когда не ужасает, не гложет меня ужасное, я умею веселиться. На долго ли, не... По-о-годи-ка!

Барин, высвободив с ее шеи руку, нагнулся и, расплескивая вино, достал из-под стола шкатулку. Неловко, словно неумело, подымал долго тяжелую крышку черного дерева, но поднял и вытащил из глубины шкатулки две нитки—янтарную с бусами и жемчужную. Держа в зубах жемчуг, непослушными руками стал надевать на голую шею девки янтари, скрепленные золотыми колечками. Она приподнялась над шелковой подушкой и повернулась к нему. Он прикрепил бусы рядом с ее медным крестиком на черном шнурке, но прикрепил худо.

— Дай-кось. Ужо, ужо, дай!

Она сама застегнула золотой замочек бус, сняла крестик и надела ему на шею, задевая упругой рукой усы барина.

— Коли беру твое, возьми мое—на сохран жизни...

— Я взял... больше взял, чем дал, лебедь. Постой! дай волосы... уронил... погоди...

Барин, разговаривая, выронил нитку жемчуга и, не вставая со стула, искал долго, но нашел.

— Волосы! дай волосы...

Надежда села и, собрав волосы в узел, подала ему.

— На... хоть отрежь на память! не жаль...

— Красоту... зачем?—И, опутывая медленно, упрямо у затылка ниткой жемчуга ее волосы, барин, припоминая какие-то слова, старался говорить нараспев:

— „Поко-и-тся жемчуг... зары-ты-й в песок... а люди... ко-то-рым он ну-же-н... и ло-вя-т и нижу-т на то-н-кий шну-ро-к... добы-чу из плен-н-ых же-м-чу-жи-н..."

— Милый... опять молитву чтешь? всю замолил... экую... Дай поцелую.

— Целуй... Ну!.. будет... будет! бедная лебедь...

— Я не бедная! самая богачунья... Экую баскую бусу носить зачну. Да Тихоновна обряды твои подала...

— Погоди... еще...

Барин встал, достал из шкатулки маленький, желтой кожи бумажник, подошел, поднял мокрую рубаху Надежды и чем-то светлым прикрепил бумажник к цветному подплечью.

Надеха спрыгнула со своего ложа:

— Не надо-ть! Милый, деньги не надо-ть...

— Глупая лебедь! Отстань. Я не хочу, чтобы такая красавица по миру клянчила... Да не деньги... Ха-ха-ха... Право же не деньги, отстань!

Она старалась отнять рубаху.

— Боюсь! Деньги, так не любишь...

— Дома гляди! Не смей трогать здесь...

— Не любишь! Дай... Не любишь...

— Целуй меня и молчи, лебедь! Лунатик... Вот так... Забудь— дома гляди... Вот так... Какая она огненная.. Еще, еще поцелуй...

— Ну, чтоб ты! Помешал деде с тетой.

В дверях комнаты стоял цыган Петруха, скалил белые зубы, глаза горели злым огнем.

— Ай, стыдно!

Барин отпустил Надеху, отошел и сел.

Взвилась подхваченная рубаха, мелькнуло серебристое тело, бледное и стройное. В темноте комнат слышно было лишь потрескиванье паркета и проворный бег сильных ног.

Петруха повернулся в темноту, прислонясь к косяку двери, тая злой огонь в глазах, хохотал и кричал:

— Дединка Надежда! Погодь, посвечу...

И, медленно повернувшись к барину, ждал упреков.

Барин закрыл, подняв с полу ковровое одеяло, сел на стул, налил вина стакан, выпил и молча, спокойно глядел на Петруху.

— Помешал тебе, дедя, в любовь сыграть?—оскалил зубы Петруха.

— А как старик? Согласен показать.

Петруха тряхнул кудрями и, пряча воровские глаза, ответил:

— Бери денег, готово... Иди... Денег больше..

Барин упорно разглядывал Петруху:

— Не шарь глазами? Гляди на меня.

— Чего еще? Чорт!—подумал Петруха.

— Старику денег не надо... Не продается... Знаю.

— Стариков служка продается... Вынет мощи в сундук, за часовню подаст.

— Жаркое они, что ли?—Подаст... Похоже на правду, но врешь ты, Петр!..

Петруха не ответил, зорко обшаривая глазами предметы, шагнул к барину.

— Чего я? Дай-кось выпить-то... Эх!—оживился он.

Барин не двинулся с места.

— Истукан идольный!—подумал Петруха, шагнул к столу, налил в пустой стакан вина, и выпил.

— Прохладно стало. Запри окна!

Петруха проворно исполнил приказание и, вновь подойдя, налил вина—выпил.

— Не наше питье, а крепкое, поди-кось ты!—сказал он, утирая бороду рукавом куртки.

— Я знаю, ты никого не боишься, Петр, но меня теперь боишься.. Я подумаю: убить тебя, или самому умереть... Я боялся тебя, пока во сне видел, а узнал—не боюсь!

— Думай-ко! Мне все одно: я тоже тебя не боюсь—врешь.

— Вот в том все дело, что тебе, как и мне, жизни не жаль. Пей еще вино и бросим жребий...

— Выпил я... Какой жеребий?

— Кому кого убить!..

— Это, дедя, по нашему—давай шляпу!

— Шляпа вон там на стуле, бумага на окне.

— Нет, постой, дорожний! Мамкину кровать порожни—тятька едет...

— Ты что же раздумал? Шутки не к месту,—строго спросил барин.

— Не раздумал, а вот что—обида есть, высказать тебе надо.

— Ну!

— Ты слово барское дал уступить мне Надеху, а рази ты сполнил? Рази я зря на колешках ползал? Только смеялся. Я верил, служил тебе, колокола вешал, парней подговаривал, готов был хоть лестницу до облак сделать для тебя, а что вышло? Прихожу и вижу: в волосах у девки твои зеньчуга, на шее твой подарок... Целуешь ее, грабаешь... Ру...

Петруха не окончил, глянул в сторону, выхватил из-за пазухи нож и закричал диким голосом:

— Проклятое отродье! Зарежу-у... Чтоб те провалиться сквозь землю-у!—Слышно было, как он за кем-то выбежал в сад.

Барин скривил тонкие губы, усмехнулся и, прислушиваясь, подумал:

— Вот твоя судьба, каторжник! Никуда не уйдешь от немой девки... Поймают... А мне пора!

Он встал, осмотрел и зарядил пистолет, надел пальто и шляпу. Остановился в коротком раздумье и пошел к лестнице в сад темнотой знакомых комнат...

* * *

У черного в желтых ласинах окна, к которому плотно подступала деревянная спинка кровати, на голом простом столе было прислонено к куче тряпок дешевое зеркало, без рамы, с битым углом. Сбоку, выступая вперед зеркала, мигал и пахнул копотью ночник. На домотканом пестрядином одеяле, поперек кровати, головой к стене спал Акимка в ситцевой рубахе серой. Голая нога правая—бледная, как из калачного теста, была загнута на грудь мальчика. Против кровати, на мутно-желтой стене с полосами черных, продольных пазов, щелкали часы: их сегодня починил Акимка. Надеха рядилась в плисовый черный сарафан, ее пестрядиный, старый лежал на полу. Она надела сарафан и новую тонкую рубаху. Их утром принесла Тихониха в подарок от барина. Чуть отливающие желтизной волосы девка закрутила в толстый узел, перевязала жемчужной ниткой. На крепкой шее сверкали особенно резко в хмуром свете ночника янтарные бусы—подарок барина. Обряжаясь, Надеха под нос тихо напевала свахину песню:

А Надежа-та в воду упала,
Да за барина замуж попала...

— Как дале-то? „Все попы-то за ней со стихами... И дьякона..." — Забыла, вишь?..

Ночник слабо светил. В новом убранстве девка худо видела себя в косом зеркале. На стенах и потолке скрывалась, появлялась вновь ее толстоголовая тень с тонкой шеей. Тень была уродлива и космата от волос, собранных в большой узел. Самодельные шпильки, по ее просьбе нарубленные Акимкой из проволоки, худо держали упрямые, тяжелые волосы—они расползались по лицу и шее.

— На басу охота глядеть, да свету мало—дай лучину запалю!

Надежда пошла к шестку печи и, не дойдя, в страхе попятилась—из подпечья, давно прогнившего во двор, была дыра, которую зимой всегда затыкали соломой, что-то ползло большое: стучали ухваты, взвякнула кочерга, трещало помело.

— Ай, чтой-т!

— Не бойсь—я, я... Не бойсь, девушка-лебедушка...

У шестка мигом беззвучно, как вырос, поднялся человек в цыганской куртке.

— Эх ты-ы!.. В одежке-то ладной, кака красотка.

— Зарычу брату... Зачем? Что?..

— Не рычи!—Я без худа, Надежда Петровна... Молчи-ко... Не бойсь меня..—шептал, торопясь, Петруха.

Надежда от него пятилась, выставив вперед руки.

— Не уставляй грабалки... Не трону, хоша убивец... Не... Я тихо, что ты, девка?.. Тихо... Милая! Все скажу, все...

Петруха дрожал и, казалось, нежно глядел на нее.

Он съежился, минуя сарафан на полу, неслышно прошел, се. Кровать скрипнула. Сперва Надежде от ужаса хотелось кричать, н когда страшный человек сел на кровать, где спал Акимка, она гс ворила только однообразным шопотом.

— Что тебе? Зачем?

— Проститься... ухожу—обиду свою колодную проклинаю... Зама ран кровью... От ее устал, опрахотел, голову в петлю... все готово.

— Что надоть? Ко мне ты...

— Спужалась? Пойми... Глянуть на тебя, и ты не бойся, что нож с собой... Дам его—убей меня... меня убей, зверя!..

— Ко мне... да... Ко мне... зачем?..

— Пришел! Люблю тебя, на коленках ползал... за тебя... Как люблю... Поцелуй—умру лекко... Я в крови... Душа... Душа...

— Уйди ты! Уйди, страшный! Рука в крови, гляди-кось...

— В крови рука... Душа!.. говорю... поцелуй и вяжи—ничего не боюсь... Веди... Прости тогда!

— Уйди, страшный, добром!

— А я тебе поклон принес!—неожиданно дерзко показал зубы Петруха.

— Чей? чей поклон-от?

— После, хи! после... Сперва лажу звать тебя с собой... Что твои барские зеньчуга? иные купим!.. носить будешь... как на монашке, черный дареный сарафан... царицей обряжу! в каменье цветные... перстеньки... шелки... и не пристану—не люби, гляди—душу мою радуй... Только пойдем, денег пазуха!.. пойдем?—После дерзкой улыбки шептал снова, как в бреду, Цапай.

— Уходи! брата...

— Не зови... Слушай, подойди ближе... наглядеться хочу... смертное это...

— А, ну тя!

— Эх, Надеждушка-а! базенькая... барская миляшиха, силы нет... твое... убить бы еще тебя? Себя за одно... не переносно... мука... нет силы!

— Ай, Митя-а! Петруха-а!

— Молчи! говорю... не бойсь...

— Ми-и-и-ть!..

Сильный удар в грудь сбил с ног Надежду. Ночник погас от взмаха руки. На шее у девки что-то хрустнуло, градом посыпалось, покатилось по избе. Она не потеряла памяти и, хорошо зная, где стоит стол, спряталась к столу и притихла. В темноте с поля пополз шопот:

— Поклон! рука-а в барской кро-ови-и...

Прозвенела кочерга, зашевелились ухваты, и все стихло.

— Ай, ай! баринушко-о... бед... ай!—слезно выкрикнула Надеха.

— Чего ты, Надеха, рычишь?— раздался голос, и послышались еуклюжие шаги Вагана.

— Баринушко-о мой! ай...

— Барин! чего пришел? Отверну голову, — гремел голос Вагана, сыпались искры от огнива — шаркающе постукивала плашка о ремень:—Где лучина, водяница?!

— Ай, боюсь!— плача выкрикнула Надежда, но вышла из-под тола, сунулась к жаратку, выгребла из золы горячий уголь и, вернувшись, зажгла ночник. Лучина моталась и дрожала в ее руке. Она лакала навзрыд.

Ваган, взъерошенный, касаясь головой потолка, горбясь, прошел о избе. Пнул на полу сестрин сарафан.

— Кинула, неряха!

Охотник был в красной, заплатанной рубахе, серых грубых портках, босой; говорил зевая и почесываясь:

— Где барин? Леший-тя... только заснул, разбужают, завтра в темную зорю... Ну, где? Плаваешь, чорт, по экой студенке — примстилось... поди, опять плавала?— с бреду рычишь!

— Пет-ру-ха был!

— Ище што! где ж он?

— В подпечье уле-е з!..

— Жихорь примстился, шальная! Петруха?..— Ваган пригляделся к сестре.—Рядно бросила, вся в обновах. Неряха, невеста дьявольная... Тропью ужо и эти прибасы — зря лестит, худой! — Ваган начинал злиться.

— Ма-а-нил за со бо-й, Петруха-а... бает, убил его, ба-а-рина-а!..— всхлипывая, продолжала Надежда.

— Убил? туда и дорога ему, шишкуну! Прокормимся без него — живы коль будем. Лучче — хватит еще судрога в воде-то... собаки и те по такой воде не плавают... Петруха...

— Решусь без ба-а-рина я-а!..

— Терпи время! Есть их, шишкунов, гляди, этого избыли — другой наедет: к лесу зарятся... Петруху завтра дойдем — дознался, што он вор часовенный... назолил, черная башка. Спи-ко, вались!

Ваган ушел. Надежда, сорвав с головы жемчуг, не гася ночника, упала поперек кровати, свесив ноги, и, всем телом трясясь, плакала, не спала.

На задней спинке кровати, где спал Акимка, с пятном темных клоповьих гнезд по серому, прыгала черная тень выгнутой спины... Над ней торчала неподвижная другая, от кривой, узловатой ноги сонного мальчика. Убогий, не просыпаясь, не шевелясь, спал, и бледное личико чему-то улыбалось блаженно.

* * *

Обрубленными, ровно, как простенки окон, висели на востоке темные облака. Багряная заря, словно из окон пожарища, мутно сияла на черных крышах Городища.

К Вагану на заре пришли тарасовские озорники с ружьями. Ваган ждал, покуривая, у крыльца. Поля были в хмуром тумане. В кустах и лесу не видно троп. Ваган привычно быстро шел, шагал уверенно и широко. Угадывая знакомые деревья, склоненные над тропой, отводил рукой от лица мокрые ветки или во-время нагибал голову. Парни тыкались лицами в деревья, звенели ружьями, иногда падали, подымая шум и треск. Ваган крикнул, не оборачиваясь:

— Што, робята? Нешто с дровами едете?

Вышли на первый встречный в лесу холм-выгарок. Светало. Выгарок покрыт редким черным валежником пожарища. Путь становился при свете на широком месте удобнее. Тарасяна перестали падать.

С холма в еловый лес тропа заворачивала влево. На холме-выгарке, у входа на тропу, на пне сидела немая Евлампия. Она безучастно подняла глаза на толпу с ружьями. Заячий полушубок на Куимке висел клочьями, из дыр темного платка торчали волосы. Под пестрядинным сарафаном не было рубахи — шея и грудь открыты. Голые груди девки, между лямками сарафана, висели посиневшие и уродливые. Она прятала красные руки в рукава полушубка. Розовые губы кривились; казалось, немая вот-вот заплачет.

Егорка рыжий подошел к ней, махнул в сторону деревни рукой:

— Ёпла! поди, шальная, заколеешь... кукшины, глянь-ко, синие... Безрубашная — поди!

Немая упрямо затрясла головой и оглянулась на тропу в лес.

— Не пойдет, киньте ее! — поспевая за Ваганом, который молча закурил и пошел, сказал дюжий Сашка Дударь.

— Миляша, што ль, Петруху, дозорит? Ушел ён! Слышь?

Парни не унимались, приставали, немая мычала, трясла головой.

— Мма-а!.. м-м-а.

Ивашка Кочень-старший сказал:

— Бросьте! для ради любови, што постель, што каменья — одно.,

— Жаль! извелась, лицо в кулаченко — шальная...— прибавил, уходя сзади всех, Егорко Рыжий.

Подходя к ближней лесной избе, Ваган, как лось, вытянул голову — прислушался, нюхнул воздух, плюнул и проворчал громко:

— Уйдить поспел... леший-те...

— Ежли ушел — в лесу надо искать! — сказал Дударь.

— В лесу, парь, не в небе.

Подошли к избе — распахнута, из избы несло теплом. Перед избой чуть дымились головешки. Ваган носком сапога потрогал головешки, они заалели красными углями — дым пошел гуще.

— Слышал ход — топил на воле, чуткой! Ништо, богов супротивник, дойдем, не зря по тебя пошел Митька Ваган...

Ваган еще закурил, поправил на голове трепаную беличью шапку. Он шел по тропе, вглядываясь в следы. Парни покорно поспевали. Дошли до мху. Раньше, чем уйти в болото, Ваган наглядел из многих замытых троп свежие следы. Пошел наискось, забирая влево и вышел на просеку. Просекой охотник подвигался осторожно — тропа заросла. В одном месте через просеку переходила заломленная поперечинами дорога в участок. Ваган еще раз остановился, пригнув голову; оглядывая ближайшее кокорье и поперечины на дороге для вывозки бревен. Охотник заметил в одном месте свежесорванный сапогом мох — повернул в участок. Еще шли ломом лесным с версту, среди разбросанных, толстых вершин сосен и жестких лап подсохшего ельника, кинутых рубщиками леса. Перелезая лом, Ваган ругался, но упрямо шел вперед. За участком, в низине, ключ, дальше холм горелого бора, почти мертвый, опустошенный пожаром и бурями.

— Там он... с бугра стрелять подано...— думал Ваган.

На бугре строевые редкие сосны, опаленные снизу, печально чернели, раздвинув на стороны подсохшие нижние ветки. По верхушкам кое-где зеленела хвоя, а на земле с золотистой хвоей чахли вершины сосен, сломанные и брошенные бурей. Ваган не подымал головы, побаиваясь оступиться в глубокий ключ, ушедший под обрывистый берег. Когда поднял голову, то удивился: недалеко, на высоком месте бугра, прислонясь спиной к обгорелой сосне, стоял Петруха и спокойно курил.

Ваган вскинул на руку винтовку, пригнул лицо к прикладу. Петруха, быстро подвинувшись вперед, сверкнул дулом ружья — затрещало эхо выстрела. По шапке Вагана со свистом скользнуло, от шапки полетел беличий пух. Пуля сзади шлепнула, как в подушку, кто-то охнул.

Ваган выстрелил, но рука сгоряча дернула собачку, и пуля из его винтовки защелкала по деревьям. Ваган попятился на несколько шагов, прячась за толстую сосну, уронил глаза под ноги на убитого старшого Давыдыча.

— Одного подсек, леший-те... постой!

Ваган торопливо стал заряжать винтовку и коротко пожалел, что не взял казенной берданки.

Цапай, выпустив новую пулю, тоже юркнул за сосну.

— Чо-о!..— сбоку Вагана крикнул Ивашка Кочень, тычась лицом в землю и дрыгая всем телом.

Охотник выглянул из-за сосны:

— Ушел с мишени... робята!— крикнул он.— Хоронись! Зарежет, как куриц.

Парни опомнились, присели — кто за пнем, кто за выскетью в яме. Один дюжий Дударь лез по верху валежника, норовя ловчее приложиться, а когда выбрал подходящее место, выстрелил Петруха.

Дударь лег на облюбованной валежине, голова покосилась и повисла, берданка упала из рук.

— Эй, Ваган! чего меняешь ближнего соседа на дальную родню-у?— крикнул Цапай.

— Я-те не сосед! вор часовенный!

У Вагана была привычка выставлять колено, когда он взводил тугой курок—он стал взводить. Цапай, заметив большое колено, приложился—затрещало эхо, повторяя выстрел.

Ваган сел и опустил ружье:

— Сломал колен? Обезножил—черная башка!

По лесу пошел сплошной треск, парни стрелили, горячились.

— Ребята-а! не стрель зря... цельсь, не упущай мишени!—закричал Ваган.

— Ваган! кажи лико, в голове поищу-у...

— Я-те поищу, каторжный! Леший-тя.—Он оторвал рукав рядовки, разорвал на ленты, стянул колено. Высунул дуло винтовки, нашел мушку и выстрелил:—Не дражни! Давай ладом воевать.

Цапай за сосной дернулся всем телом, завертелся и, хромая, заковылял за более толстую сосну.

— Щипнуло? Не уйдешь! Патроны иные с фальшью, мои... знаю...

На ходу Цапай щелкал затвором.

— Так! Будет тебе, Петра, наших резать...

Цапай, волоча ногу, все сильнее щелкал затвором, видимо, в ружье завяз раздутый патрон.

— Эй, вы-ы! пого... леший-тя!..

Сбоку Вагана бухнул выстрел. Егорко Рыжий, прыгая по валежнику, закинув на плечо ружье, бежал к Петрухе, кричал:

— Попал я-то?.. Я-а!..

— Лешие-е! В ноги надоть... Ноги-и...

Волоча ружьем по хворосту и валежнику, Давыдыч-младший бежал за Егоркой. Прихрамывая, Ваган вышел из-за сосны. Вдали, на холме, Цапай стоял на коленях—чернела и горбилась спина, головы не было видно.

— Никак убили-и?!

— Убили, Митрий, слава Богу, уби-и-ли-и!

— Кричал: в ноги дуй! Жива душа... Петра, Петра! Зря ты меня от зверя вызволил...

— Он те дунул бы-ы! Троим пить дал...

— Чего делаете? Не трожь его-о!—кричал Ваган, но парней нельзя было удержать—они, подхватив мертвого Петруху, понесли к Вагану.

— Страшной, а леккой, вишь?

— Пущай их двое! Во, какой—гляни-сь...

Парни поднесли и бросили Петруху рядом с Давыдычем-старшим недалеко от сосны, где стоял Ваган.

Ваган невольно взглянул на лицо Петрухи: прямо в лицо охотку глядели укоризненно, широко открытые, мертвые глаза... Ваган двигался и все глядел.

Егорка Рыжий с ружьями на обеих плечах толкнул Вагана:

— Мить, чего загляделся, а?!

Давыдыч-младший, серьезно прибавил, стоя около мертвого брата:

— Он и мертвой да живых доглядывает—за собой тянет. Глазы ылы... Старики так...

Ваган крикнул:

— Зачем шевелили?.. Понятые здынут... Обрадели, леший!.. Ты, ыжий, зачем его уружье навешал?..—Он размахнулся без толку, удал винтовкой по сосне—лопнула ложа, продолжал:—Теши затесы! эльше не пойду сюда-а!..

Ругаясь и размахивая винтовкой, Ваган, хромая, пошел из лесу. арни кричали и упрашивали:

— Не ходи, Ваган!

— Правь дорогу-у! Будем тески давать.

— В пенусу без тебя запутаемся-а!..

— Все к лешему-у! Все... Все!..

* * *

Когда отца не было дома, Акимка любил петь:

Митрия дядю убили—
Где же его схоронили?..
Не у церкви Миколы
Под большие колоколы...

Мальчик пел и шлепающе шел по сеням в половину, где всегда идел отец. Из своей половины Надеха крикнула:

— Акимушко-о! Злобится он—кинь эту песню... Не любит!..

— Его, дединка, нету, Митрия, татки, ей-Бо!

— Должон придти! Учует...

Акимка замолчал и, открыв из сеней в половину отца дверь, легка попятился, бледное лицо мальчугана еще больше побледнело, лаза расширились, он упал навзничь, крикнув:

— А-яй!

Надеха слышала его крик и падение, выбежала, со страхом полядывая в дверь, которую мальчик распахнул, увидала, что в избе икого нет—лишь на окне, из которого стреляет Ваган, сидела черая кошка.

Надеха внесла Акимку на руках, положила поперек кровати на о место, где он всегда спит, хлебнула из ковша на стол холодной оды, вспрыснула мальчику лицо. Акимка задвигался и открыл глаза:

— Кто тебе примстился, Акимушко?

— А-яй! Боюсь...

— Да, хороший! Там никого нет... Кошка там, шальной, экой кошка на подоконке...

— Там есть! Ей-Бо...

Акимка сел на кровати, мягкие ноги подогнул калачом.

— Глядела я, хорошо, право—кошка...

— Ай, дедина-а! Татка там—стень одна, страшной, весь сквозучий на солнышко, только голова на окошке черная...

— Не голова же, кошка!

— Спина... Спина... Втюкнуто... Боюсь!

— Что втюкнуто? Что, Акимушко?

— Боюсь, дедина! Боюсь...

— Страшное углядел чтой-то?

Надежда отвернулась к столу и заплакала. Акимка погладил ее вздрагивающие плечи, сказал:

— Чего, дедина! Не плачь, хорошая, ей-Бо!

— За Петрухой пошел... Петруха-т барина убил... Милого барина, а ну как убьет еще Митю-у...

* * *

В сенях знакомая поступь всколыхнула пол.

— Ей-Бо! Татка... Я туда боюсь...

Слышно было, как Ваган вошел в избу и на лавку бросил тяжелое ружье, он крикнул:

— Надежка! Ставь самовар да поди к фершалу—скажи: „Брату ногу устрелили“, пущай чего надо пошлет, для ради...

Надежда спешно налила самовар, разживила, пошла к брату. Акимка слышал, как она говорила:

— Сходи сам. Фершал за реку не ездит, а я не знаю, чего просить.

— От стреляной уразы... Ну!

Акимка от страшного крика отца упал на кровать и зажал уши руками. Ваган кричал:

— Надежка-а! Рви меня за волосья-а, рви! Леший тя, легше мне - рви-и!

— Митя, Митя, Бог с тобой!..

— Принеси водки-и! Живи самовар!..

Ваган молча пил остаток дня водку и ночь провел во хмелю. Утром сам пошел к фельдшеру.

* * *

Больница была за площадью в ближайшей улице. Ваган переехал, вытащил челн на берег и, хромая, крестясь на церковь, подошел к длинному деревянному зданию с крышей, вдавленной внутрь посредине.

Здание делилось пополам поперечным коридором. Одна часть здания была в окнах с решетками, другая — с серыми тусклыми окнами без решеток. С решетками, левая по коридору — тюрьма, правая без решеток — больница. Обе половины из коридора запирались на замки. Левой заведывал сторож в фуражке с зеленым линючим околышем, в сером кафтане с медными пуговицами, с дубиной в руке.

Правую запирал фельдшер Голорвач. В коридор выходили окна, на левой с решетками, на правой — без. Сквозь решетки выглядывали голые люди, к окну без решеток подходили иногда одетые в полушубки и кафтаны разного возраста мужики и мещаны.

— Хвати леший царствие твое! — бормотал громко хмельной Ваган, уромая во второй этаж по лестнице: — работали мужички так, что кресты да пояса мешали, а помирать забрались к фершалу! Житьишко-о!..

Ваган никогда в больнице не бывал и не интерссовался ею.

Во втором этаже в коридоре Вагана встретил сторож с ключами в одной руке и суковатой палкой в другой.

— Это у тебе, дедя, леший тя, што? — спросил Ваган, поглядывая на палку сторожа.

— А што?

— Присыпка, аль примочка, хвати тя!.. — и оглянулся за решетки окон коридора, увидал голых людей с обрывками тряпок на тех местах тела, которые показывать не принято.

Сторож гордо промолчал, прошел по коридору мимо двери в железе, вернулся. Ваган опять спросил:

— Што эти крещеные, леший тя, будто в байне? — Он ткнул в сторону тюремного окна кулаком. У окна в больницу никого не было, только виднелись в глубине большой хоромины какие-то нары.

Сторож еще раз молча прошел, постукивая по полу палкой, вернулся и строго спросил Вагана:

— Тебе, хмельной, куда — в больницу аль-бо в тюрьму?

— Може ладнее в тюрьму-то... стою... — загудел Ваган. — Воно ты кто-о?!..

— Тогда вишь, скамля! одежу скинь, я дверь митюгом отопру, втолкну... у нас от начальства конструкца — рестантов, штоб не бегали, да казенных лопотин не били зря — держать голыми.

— Леший тя! только дурак в ушате воду аршином мерит — я той меры не смыслю, с чего в ваш ушат полезу, брюхо чесать?

— От начальства конструкца. Зачешется у тебя, мы и спину ладно чешем.

— Мудры — хвати вас чорт! чуял про ваши порядки, ныне сам вижу...

— Ты чего зубоскалишь, хмельной? Зарычу вот помощников — разом втолкнем, а там жди суда...

Разозлился сторож, но и Ваган взбесился—он шагнул к сторожу поднял одну лапу:

— Ну-ка, где твои сподручные? где? рычи, леший тя!

Сторож попятился и забормотал, выставляя впереди себя палку

— Видать, не к нам... такого в путах приволокли бы...

— Я вас всех свяжу вашими супонями! дверь и решетки сорву—закаетесь галиться над живыми, леший! .

— Эй, стрелец-охотник! ты чего?

Подошедший Голорвач осторожно положил на плечо Вагана красную прыгающую руку: Ваган притих и снял шапку.

— Нога вишь, фершал, устрелена...

— Замолчи-ко... поправим, передохни... Я вот пацъентов на кормежку спущу—займусь тобой...

Ваган оставил сторожа и пошел с фельдшером к двери больницы. Голорвач прыгающей рукой стал попадать в замок. Левой рукой он поддерживал правую. Отпер дверь и пригласил спокойно, почти вежливо:

— Заходи и потерпи.

Ваган вошел в приемную, холодную вроде сеней. В приемной была дверь в палату на замке. Фельдшер отпер ее, оттолкнув половинки двери на стороны. Из глубины больницы понесло Вагану родным запахом—прелью портянок и дубленой овчиной.

Против двери, выстроившись гуськом, стояли одетые в полушубки и кафтаны больные, у всех их было взято на руку по корзине.

Передний из больных, русый мужиченко с тусклыми глазами, в затянутом ремнем полушубке нагольном, сняв суконную шапку и склоняя набок голову, сказал просительно:

— Я, фершал, вот уж кой раз, говорю: дай ты мне, для ради Христа, чего-нибудь от закалки живота!.. Сам знаешь—закалит, надворья нет, и хошь ты конем по земле валяйся!..

— Ты, Антипов, зря место занимаешь...—сказал равнодушно фельдшер,—у тебя катар, жрешь ты соленую рыбу—говорю• ешь кашу жидкую, пей молоко, а ты квас дуешь...

— Батюшко-о! сам знаешь—все кусочничаем, побираемся—больница не кормит—едим, што мир подаст—кашей не кормят, берем, што есть, и молока не дают...

— Говорю тебе—зря лежишь! брюхо у тебя, как худая печь—дым нейдет, тяги нет, а ты его еще сырыми дровами глушишь, от того все в тебе захолонуло—ни тепла, ни дыму.

— А ты, для ради Христа Бога, дай-ко прочистки-то настоящей!..

Фельдшер, не слушая больше первого в ряду, обратился к другим больным и развел прыгающей рукою по воздуху.

— Ну, пацъенты! подите-ка, к полудню приходите сытые, да в миру не очень запаздывайте—уйду скоро.

— Ты бы, фершал, не запирал больницу-ту!..

— Ране, опрошали бы город—с утря.

Ваган, прихрамывая, отошел с дороги: больные, шумя, с корзи-нами в руках, пошли побираться.

— Кой леший!.. зачем ты их, фершал, под замком держишь? воровать доски кому надоть?.. в нашей стороне топить есть чем,— сказал Ваган.

— Не учи, стрелец! людей знаю—не запри церковь, и в той ка-бак разведут.

Ваган засмеялся:

— Оно, ежели ты—верно!

— То-то, верно! губы посинели, смерть у изголовья, а мы за стаканом водки тянемся... так вот! Миром кормимся и по малу ле-чимся...—ворчал фельдшер, тиская дрожащими руками колено Вагана.— Ядрен ты! иной бы лег и зверем ревел, а вот ходишь... нагноение...

— Не очённо—ночью скомнет шибче...

— Кусок штанины попал... дай-ко, вытащу.—Он выволок из раны щипцами кусок тряпки.—Больно?

— Не, што ты! ворочай ладом.

— Стрелено?

— Стрелили чутку...

— Хмельной, а ты крепись—не пей—жар приступит...

Фельдшер подошел к грязному стенному шкапчику, порылся и подал Вагану что-то завернутое в бумажку.

— Вот засыпь... душная, да ни што... сыпь и завязывай, не ко-выряй руками—облегчит... еще ее напишу—тут мало... купи у апте-каря...—фельдшер говорил про себя, но громко:—латынь забыл... на-пишу по-рассейски...

Чтоб не прыгала правая рука, фельдшер, поддерживая ее левой, крупными каракулями написал:—„Ядоформ". Свернул бумажку и дал Вагану, прибавив:

— Заречный ты—хорошо сам—я за реку не езжу!

Ваган вышел из больницы, сунул порошок с рецептом в карман рядовки и, хромая, пошел в кабак:

— Леший тя!.. перво ладом надоть полечить—душу...

* * *

Из кабака Ваган побрел к избе Филата, прежнего целовальника.

На ступенях низкого крылечка сидел какой-то мещанин в си-бирке. Когда Ваган поднялся, стукнув в двери избы тяжелой рукой, мещанин сказал:

— В лесу Филатко.

— Леший тя! в кабаке не дают в долг, а у Филатки позаймовать можно...

— Путики глядит кривой... пастей—сотня есть—у Епиши не тор-гует... мне он тоже надобен—заклад...

— Дай кось, леший тя, покурить! капшук потерял...

— Я не курю... старой веры...

— Худо... Путики? ха! у него от медведя отбою нет, жалился— он на Пукше реке... сыщу-у!

Ваган побрел прочь, хромая.

— Ты бы полечился-и, стрелец! ноги-и!..—крикнул, вставая, мещанин..

— Был у фершала—пьян! у пьяного завсегда—руки железо, ноги—тесто!—бормотал Ваган, идя к лесу.

Вечерело. Ваган еще не прошел поля, поднялся ветер, валил с ног, срывал шапку.

— В лесу тише, ты—зверь!

В лесу ветер торжествующе пел, как в поле, сдирал с потной головы Вагана беличью шапку. Везде шелестели листья, падал лиственный дождь. Деревья трещали, прислонясь голыми вершинами. Скрипели надломленные сосны, пугливо и беспорядочно чертя сучьями темнеющее в вышине небо.

— Замололо!.. леший тя!

Ваган кружил по лесу без дороги, падал, вставал и вместо того, чтоб попасть на знакомые тропы в глубине леса, пошел к опушке обратно...

Где-то не надолго всплыл месяц. Кое-где, сквозь деревья сияли блеском луны крыши строений, как лесные озера. Ваган выбрел из лесу и сказал укоризненно:

— Откуль брел, туда прибрел—зря чорту штаны кроил!.

Перед ним ближние деревья черны и уродливы. Дальняя часть кошеных лугов с перелесками, с зародами сена покрылась густой полосой тумана. Месяц исчез за тучей. Хмурая полоса густела, ширилась, двигаясь к лесу. Ветер затих. На дальней дороге в стороне стали тускнеть деревья и исчезли в тумане...

— Паморочит... леший те!.. ужо ко тема грянет...

Тьма густела. Быстро чернело небо. В лугах невидимы стали перелески с елями и матерыми соснами. Если Ваган подходил к перелеску, то понимал лишь его по шуму ветра в ветвях—ветер припадал порывами. Когда в стороне севера вспыхивали зарницы, то черная грива леса на вспыхнувшем тускло зеленом небе оживала на мгновение.

— Бог мигнул... Господь!..

Иногда на зеленеющем от зарниц пространстве видел Ваган, как дрожали тяжелые сучья черных сосен и тонкие прутья голых берез. Пахло прелой травой, но пуще пахло перегаром водки.

— У, утробу жжет—пить, пить!

В густой тьме Ваган прибрел по отблеску воды к реке. Спустился к берегу, встал непослушными коленями на серый песок, приблизил к воде, лижущей, подпрыгивающей во мраке—лицо, стал пить нападком. Мокнула шапка, текло по лицу, он сбросил шапку. Вблизи чер-

села кокорина, подполз, навалился на плоский бок кокорины грудью, протянул ноги:

— Аль конец тебе, Ваганко? предатель, Ваганко!..

Лежал долго—глядел во тьму—сверкали обручи валов по реке и уходили, тускнея, в даль.

Показалось—тусклая вода реки засветилась огнем, собралась в большой круг—озеро... огненное озеро!.. За озером матерые, огненно-красные на черном—сосны.

Ваган опустил к воде лицо: в огненной воде видно далекое дно, заломленное кокорьем. Там кто-то, косматый, переваливаясь, бродит.

— С чего такое леший? У-у-у-ву-у!

Ваган завыл, как старый волк. Ему вспомнилось время, когда он подростком, бродя по лесам, заходил на лебяжьи, лежал на берегу, глядел в озеро и видел водяных:

— С чего мне? робенком так было... с чего? аль утопнуть весть дает?—У-у вву у!.

Озеро, сияя, горело, даже глазам стало больно. Из глубины его, как от брошенного камня, стали выскакивать на красную поверхность белые пузыри—много их, они не лопались, а росли и охорашивались, шевелили крыльями, проплывая мимо Вагана.

— Лебедушки-и!.. што?!.

Он видит—у всех лебедей человечьи головы, лица бледные, с укоризненными, мертвыми глазами... Последний, оглянувшись, проплыл с седыми кудрями, его глаза живые, он внятно сказал не забытые Ваганом слова:

— Глаз убиенного бойся...

— Утопнуть весть!.. утопну-у!—пробормотал Ваган, высоко подымаясь над кокориной, и как бы продолжение бреда услыхал неясно в черном воздухе плаксивый голос, похожий на голос Акимки:

— Нь-каа!.. анде-е-л!..

— Не в пору весть... ишь, чистая душенька Акимушкина соскучала... кличет!.. Жжет, тошно жить прокля-то-му-у!..

* * *

Чуть брежжило, Ваган встал, нашел шапку, и на плоте, который был им на случай спрятан в кусты, переехал домой.

В сером свете утра, косматый и какой-то свалявшийся, как медведь весной, Ваган подошел к дому, помочил из лужи у крыльца распухшее колено—осторожно вполз на крыльцо, встал, держась за стойку, запустив руку в дыру около стойки, выдернул заложку. Приоткрыв дверь в сени, нащупал ржавую, тяжелую рогатину и вновь на плоте уехал за реку.

Над лесом всплыло белое солнце. Ваган, поднявшись в гору, воткнул рогатину в землю, оглянулся на родную избу. Подумал:

— Хмельному, вишь, неладно... Може на Пукше утопну—обняти бы Акимушку-ту...

Словно Божий пространный невод, от солнца на реке лежал серебристая рябь... Набежало остроконечное облако, похожее на синюю огромную птицу—от него померкло солнце, сгладился на реке серебряный невод, унылы, однообразны стали берега реки с молчаливой избой Вагана и хмурыми деревушками. В стороне запада, на бледном словно обтянутом белой парчей небе, еще не совсем растаял комок тусклого месяца.

Ваган махнул рукой, выдернул рогатину и, повернувшись, побрел к лесу, обходя Городище.

* * *

Хромая, опираясь на рогатину, лесным ломом, среди сосен, перелезая валежины, шел Ваган на Пукшу искать Филата Кривого.

— Медведя убью, помогу старому—опохмелить есть чем!—думал Ваган и наглядывал более торную тропу.

Словно сказочные богатыри, покрытые серым мохнатым пологом оленьего мха, далеко распростерлись столетние валежины. Кажется, что тут когда-то было побоище—много великанов лесных побили время и бури. Бесконечно число крупных пней, поросших тем же седым мхом, и кажутся пни курчавыми головами великанов, чьи тела распростерлись во мху.

Жадно оглядывая лес, вздыхает тяжело Ваган:

— Нету нас с Петрой ходоков... Нету более... Батюшка сузем глухой непросветный, кто окромя нас пойдет в твою утробу? Кто напустится?

Слышит Ваган, как в стороне гремит тугое крыло рябчика. Слышит, как хлопается, садясь на ель, глухарь, видит, как недалеко с ели птица пугливо вытягивает черную шею с круглой головой и красными бровями.

Вот застонала желна:

— Кру, кру—гы-ы!..

Слышно, как топор, стучит по дереву ее крепкий клюв.

— Тут хошь помирай... Лес умеет петь похоронную...

Саднит колено, но упрямо, все вперед ковыляет Ваган. Меркнет лес—день тускнеет...

Снова поднялся ветер... Сплошной треск и шум пошли по лесу, а ветер все усиливался—чернело, нависало небо, стало худо видно тропу.

— Ломит... Падера!—думает Ваган, поглядывая на стороны.

Когда какая-либо, перестоявшая свой век сушина, сгибая молодые сосны и роняя пудовые сухие сучья, рушилась близ тропы, оглядывался на нее:

— Почешет в голове, леший тя, не востать!..

Иногда сломанное дерево падало с треском поперек тропы: Заган, минуя старый лесной лом, перелезал вновь оброненных великанов...

.— Не пороши дорогу... Утроба лесная—не пороши! Не всяк напустится иттить, а мне все равно... Курить нет—скушно...

Ближе к реке, лес стал редеть и помельчал. Путь пошел уклоном вниз, мох вязче и мокрее—даже по тропе вязли ноги.

На реке были падуны—они шумели, как десяток водяных мельниц, выбрасывая вверх сверкающий туман. Ветер, подхватывая туман, нес по лесу... Ползли сумерки, и ближних к реке древесных стволов не было видно—лишь в вышине над рекой, в хмуро серебристой мгле, плавали узоры черных ветвей и косматые шапки сосен.

— Выбрала стойло кривая душа!.. Легше, поди-кось, в аду жить, чем на этой реке...—проворчал Ваган, ставя рогатину к углу большой, будто не лесной избы.

Он распахнул тяжелую дверь: в огромной каменке с двумя жерлами тлели угли. В избе жарко, но не дымно. Ваган задел головой потолок, теплая сажа посыпалась за шиворот, он пригнул голову и на грядке над каменкой нащупал лучину, зажег, осветил избу. В жаркой избе никого. На широкой лавке у стены пестерь с открытой крышкой, набитый хлебом и мешочками с харчем. На высоких, просторных нарах в углу—другой пестерь, рядовка серая и рысья шапка. Перед нарами из грубо-отесанных досок большой сундук.

— Эво, леший тя, с приданым, што ли?

Ваган погладил вспухшее колено и сел на сундук, вытянув ноги к дверям, уперся спиной в кромку нар, локти положил на нары:

— Кабы полопать! Хлеб есть, но, вишь, хозяина нет... Да покурить бы...

В сундуке завозилось.

— Кой леший! Приданое то—нешто живое? Харапается... Ужли Филат зверя какого уловил—на кормежке держит... Ха!

Изнутри сундука постучало; голос Филата сказал глухо:

— Эй, леккое тебе лежанье—сойди!

Ваган засмеялся, встал, пригибая голову.

— Што ты, Филат! Где?

Крышка сундука приоткрылась, Филат Кривой, не вылезая из сундука, спросил:

— Штоб-тя насквозь! Как падера? Перешлась? Нет?

— Перешлась... Давай покурить,—вылазь-ко!

Старик вылез из сундука и, переменяя догоравшую лучину, сказал:

— Вагаха! Дивлюсь я тебе—можешь ты ходить, штоб насквозь, в таку падеру суземом!

— Давай курить-то! Да покорми...

— Глаз нет—хлеба сколь душа примет, а. ты?—На, курь!

Старик вынул из пестеря кожаный мешечек, подал Вагану. Ваган, набивая трубку, говорил:

— Пьяница я, Филат—верно! Только чужого век не зацепил, разе то брал, што в моем дому...

Набив трубку, он с жадностью выкурил, стоя, сел на сундук и еще набил. Филат уселся рядом, говорил, пошлепывая ладонью по углу сундука:

— Две недели эту домовину строил,—штоб ей насквозь, а как сострoил—сердце на место село... успокоился. Грозы аль падеры боюсь: как гроза—дома я беспременно в клеть и в сундук... В суземе еще страшнее...

— Пустое все—кабы не я, всю бы ночь просидел... Слышь, шумят падуны, леший тя, где тебе разобрать шум!.

— Шум падунный, леккое тебе лежанье, завсегда пойму... Обыкнул...

— Ни што удумаешь—от падеры, леший те, сундук, што пузырь на воде—сломит падерой сушину сажен в двадцать, тяпнет он по крыше—вот те сундук!.. От избы печное место разе только останется... Бывало экое...

Старик съежился, взял у Вагана трубку, набил и закурил.

— Опохмелиться шел я к тебе, Филатушко! Падера мне, што бучень поет, а водки к разу нет—беда!

— Водка есть, леккое тебе, закуси-ка—выну рыбник... Тощой охмелеешь скоро... Падуны мне страсть надоели—хочу человечий говор послушать.. Вот, на-кось!

Старик подал Вагану из пестеря тресковый початый рыбник, полуштоф водки и деревянную небольшую чашку.

Ваган спешно налил водки, выпил, сломал попалам рыбник и, не вынимая костей, стал жевать, вновь выпил и заговорил, повеселев:

— Богат Ваган! Спасибо, Филатушка! А шел я тебя еще от медведя слобонить, путик твой ломит, а? Я рогатку взял, уружье—разбирать... осекается—полка сбилась, кремень новый на...

— Молчи, леккое тебе! Угощаю, для ради чести—ты с зверьем меня не обходишь, а медведицу—избыл...

— Эво, леший тя! Сам?

— Сам, сам...

— Без уружья?

— Без уружья, штоб те!..

— Да как? Рогаткой—ты из сил вышел...

— Хитрость людская вернее уружья.

— Ну, леший те, говори—поучусь!

Старик долго посмеивался и курил, потом выколотил о каменку трубку, сказал:

— Сколотил я, Вагаха, четыре кряжа еловых леккиx... Гвозди были, ходил все, за медведицей поглядывал, когда, думаю, штоб ей

насквозь, дитят распустит. Наглядел, зауснула под выскетью, а дитенки убрели...

— Молодая, видно! Заблудящая,—сказал Ваган.

— Може, леккое ей,—молодая...

— Вишь, поздалые медвежонки... Теперь, леший, старые медведицы гонят детей, не берут в берлогу—одного оставляют в пестуны на весну...

— Одного? А тут двое... Ну, медведки играть играют, а я их в мешок уловил, да и унес к плотку, да лапы им гвоздями пришил к бревнам-то, штоб им! И плоток бултых в воду, а река, сам знаешь—конь конем! Подхватила плоток, зверята реветь!.. Выбежала из кустов медведица, да к реке—в воду... Шулькотень пошел, смехи-и!.. Медведицу с плотком в падун сунуло, она-то выплыла, по берегу бежит, ревет. а те вынырнули на плоте, мордами трясут, мокрые—рты открыли, скулят, как щенки!.. Да, так и избыл зверя. Одно лишь, что река с загибами, не далеко унесло... За то медведице теперь не до меня-а!.. Хи, хи! Учись, Вагаха. Леккое тебе!..

— Леший те! Нечему учиться... Мучить не примает душа... Убью скоряе...

Ваган выпил водки, крякнул и сказал:

— Надо медвежонков снять, Филат.

— Не, штоб те! Неприступно—река шальная, падуны, омута, избу покроет глубь, а берега—кокорье и жижа, в воде ломье...

— Медведицу я дойду, коли што, медвежонков сыму!. Сыму-у!..

— Кинь—утопнешь! Леккое... Упрямый ты...

— Возьму у тебя пестерь да топор, да рогатку и в ход. А далеко ли они?

— Не далеко... Штоб им! Версты за две. Крутят—вишь, загибы у реки большие—широко набродила вода, как пьяница по полю...

— Сыму, леший те—дай-кось во-о-до-чки!

— У тя што с ногой? Леккое...

— Петру доходил—ни што-о!

— Ой ты, Вагаха! Давай завяжем лучче...

— Ни што-о! Леший, штанина не слезат, ни што!

* * *

Утром, чуть забелело на востоке, Ваган слез с нар и допил водку. Солома со мхом на полу избы был мокры от сырости.

Филат зажег лучину, открыл окно, стал топить каменку.

— Ты, штоб тя насквозь,—закуси на дорогу!

— Не, не хочу с утря... Отчего, лешия тя, мокро?

— Отдает дверь, а в щели мокрота с улки лезет,—падуны бросают.

Филат выколотил пустой пестерь на нарах, поправил лямки, дал Вагану:

— И не по спине тебе зобня, да живет, коли что медвежата прогрызут.

Ваган сходил, умылся, помочил колено и навесил пестерь, взял топор и рогатину.

— Есть еще водка-то?

— Есть-то есть, да не поднесу, чтоб-те—после ужо...

— Коли ежли так!

Ваган побрел берегом вниз по реке. Старик топил избу, но звуков избы не было слышно в шуме воды, идущем от реки.

* * *

Над рекой, в светящемся влажном тумане, в вышине плавали верхушки сосен. Ни ближнего, ни дальнего леса не было видно, лишь виднелись на поворотах реки белые взмахи падунов по откосам, с сиянием бегущие в тусклую даль. Под ногами мох, грязь, кокорье—итти тяжело, но Ваган бредет упрямо и думает:

— Битая нога, леший-тя, становить зачнет...

Он взял у старика табак и трубку—часто курил.

Впереди, сквозь однообразный шум воды, словно жаловался звериный рев.

— Недалеко, видно! Прикодолил, кривая душа! Свычен—ужо Епишу прикодолит—сам кабатчиком станет...

С треском ломая старый валежник, загородивший путь в низину, Ваган спустился мимо большого падуна. Падун, с гладких в зеленой тине камней, кидал холодные ленты воды.

— Зверь тоже, только пасть студеная...

Охотник, минуя падун и заломленный еловый перелесок, пробрался в покатую, туманную низину, увешанную с боков черными, словно кривые, изогнутые руки, толстыми сучьями столетних сосен и сушин.

Охотник у реки увидал медведицу. Она металась по берегу, увязая в грязи, мокрая и жалкая. Забегала, ломая сучья, на сухую, в обхват, ель, упавшую поперек реки. Вновь вернувшись, беспомощно ревела на берегу.

— А а! а-а!—взывала она слезливо, как человек.

К ели прибило водой плот, проскочить дальше мешало приставшее ломье и сучья ели. На плоту два мокрых, темных комка, съежившись, дрожали молча. Вода захлестывала на плот, плот двигался—то погружаясь в воду, то всплывая высоко на воду.

— Медвежонки... Опойки вы никудышные!..

Медведица у пня ели встала на дыбы, оскалила зубы и не пускала Вагана к реке.

— Ты што? Пусти-кось, сватья, шалая! Устряпалась в грязи-то...

Ваган слегка ткнул ее рогатиной в мокрое брюхо.

— Филат не то, что мы с тобой—растяпы!.. Силой не берет. А ни капостить леший—он и тому успеет хвост защемить, оплошеет истый—шкуру сдерет да на избе высушит... Дай-кось, пусти же! двежонков сыму...

Медведица схватила конец рогатины, нагнула голову—о железо стнули зубы. Тряхнув головой, она съежилась и отползла в сто- іу, как ушибленная.

— То—оно!.. Молодая... Зубы мало перевела.

Ваган, сбивая рогатиной попадавшее под ноги сучье, пошел по і на реку, но лишь конец рогатины тронул плот, придвигая его к ›егу, как медведица вскочила и заревела громко—она кинулась к і.

— Леший тя! Не зли—дело делаю, а то, как кошку на ухват!..

С силой, которой не ожидал Ваган в тощем теле зверя, медве- ца, обхватив валежину, тряхнула ее так, что на дальнем конце за- гались сучья, а старая ель упала с пня. Вагана подбросило, он кочил в болото берега и ушел по пояс в грязь.

Рогатина упала в воду, плот с медвежатами вновь подался на су.

Медведица проворно, тяпая по грязи и держась за ель левой ой, прибрела и свободной лапой схватила Вагана за подол рядовки ди. Ваган успел перенять рогатину, а медведица, пятясь, тащила на берег:

— Ладно так! Тащи, сватья...

Ваган, хватаясь за сучья ели, пятился с медведицей... На плотном сте у пня ели, он повернулся.

— Ну-кось!

Медведица, вырвав зад рядовки, взмахнула одной лапой, задела гана по уху и по щеке. Засаднило, закапала кровь, а медведица, гясь, подняла обе лапы и встала на дыбы.

— Ужо на плотике-то свидимся, дай из грязи выйти-ть!..

Ваган стороной вышел на берег, держа рогатину обеими руками.

— Ах, ты, кошка! Харапаться, леший-те!...

Он дразнил ее рогатиной, делая круг к пню валежины. Медве- ца, стоя на дыбах, поворачивалась туда, куда он заходил, и пле- іась.

— Сватья, ладом давай воевать!..

Ваган, откинув назад локти, шагнул к зверю, вонзил рогатину ниже груди—медведица взревела, полезла вперед, норовя ударить тника.

Сжимая крепко в руках рогатину, Ваган приподнял склоненного еред зверя и, отскочив на сторону, воткнул свободный конец ро- ины в пень...

Медведица еще раз взревела, схватив передними лапами пень судорожно начала рвать его, так что кора и щепки полетели во все стороны. Она все сильнее лезла на рогатину—ржавый конец острой железины, с треском ломая кости, разорвал шкуру и вылез далеко наружу. Зверь, обхватив пень лапами, покорно издыхая, опустил на него мертвую голову.

— Леший те!.. Мать, вишь, с жалости лезет...

Дрожащими руками Ваган набил трубку—закурил. Нехотя вскинул глаза на мертвую медведицу, свалил ее с пня и выдернул липкую, теплую рогатину.

— Дай-кось медвежонков выручу... Порадую ужо Акимушку зверятами... Простит пьяницу...

Упрямо тряся головой, с дрожью в теле, Ваган пошел по валежине, перенял рогатиной плот. Тяпая по грязи, вытащил плот на сухое место. Медвежата, лежа на боку, съежились, дрожали—они были чуть живы.

В передние лапы вбито им повыше когтей по большому кованому гвоздю с крупными шляпками.

Ваган, уперев обух топора в кряжи плота, острие в шляпки, выдернул гвозди, проворчав:

— Время студеное... В падунах вода—лед... Заморозил зверят кривая душа! Для ради медвежонков матку извел...

Ваган снял рядовку, заботливо обтер медвежатам шерсть, погрел их, прижимая большими лапами к широкой груди.

— Оживайте ладом! Ежли конец вам, душе моей метка—што топором...

Охотник надрал сухого мха, положил на дно пестеря, на мох заботливо уклал зверей, обтер мокрой травой грязь сапог, оделся, навесил пестерь и, сильно хромая, подпираясь рогатиной, пошел к избе.

* * *

В теплой избе старик, вспотев, ел житную кашу. Ваган, приставив рогатину к углу, внес пестерь и выложил медвежат на теплые нары. Они слабо заскулили, водя мордами по сухой траве нар.

Филат протер кулаком потный единственный глаз, выколотил ложку о край котла.

— Садись-ко, лопай! Леккое тебе...

— Не, выпить бы! Леший те!.. Устряпался...

— Лопай, баю! Штоб тя насквозь!.. Не изведись... Все только пить... Смурый ты, Вагаха, на себя не походишь... вишь, из спины-те кости высунулись, разе ты был такой? Садись.

Ваган ел неохотно, за едой говорил:

— Пойду,—ты водки удружи... самому тебе не сколь надо... леший тя, пьешь мало...

— На этой падунной реке без водки не быть... пью, когда заколею, леккое тебе, зря не пью—она, водка, тоже силу уводит, коли ежли много...

Разглядывая медвежат, Кривой сказал:

— Кинь этих! Аль не видишь, леккое, застудило... морды не адымают, голоса нет... В ину пору они игромые.. Мать извел—без матерней кормежки, да от нашего пестованья, только лишняя пропадужина. Пущай бы в реке сидели... Зря!..

Ваган бросил ложку. Ему хотелось ударить Филата, но он сдержался.

— Ешь, Вагаха, штоб те!

— Не... не катится... пойду... Водки-то как же?

— Бери в Городище... вот, на-косы!—старик вытащил из пестеря ключ с плетеным поясом.—Человек ты, леккое, верный... к ночи в мою избу придешь, отомни двери, залазь в подвал, там в двух снопах соломы два штофа—пей, душа мера! Не стань сухарем, пей с закуской, а ежли опойком подаришь, опьешься, так выберись на улку—беду на меня вешай...

— Вот, леший те! Спасибо, Филатушко-о! Медведицу обдери—у залома кинута...

— У залома, не дально дело... шкуру налажу—себе возьму...

— Бери-и!..

Ваган собрал пестерь, попробовал лямки, положил в него медвежат, покрестился и заковылял, подпираясь рогатиной, по тропе к Городищу. Думал:

— Утянуло в грех лишний... прикончил зверя не во время. Душа смура—не надобно... Одно ладно—водки сыскал—пью, гуляю!

Сквозь шум падунов голос Филата напутствовал:

— Не-е ходи-и з-а реку-у!.. Штоб... ежли-и за-а-по-здаешь ночуй-й!..

— Ладно... мне и так домой иттить не сподручно... стыдно!..

* * *

Надежда вышла на крыльцо, ей в Городище из-за реки послышался сильный, хмельной голос брата, она зашла в избу, поставила самовар и снова вышла на крыльцо.

Сияло белое солнце. Между блекло-зеленых берегов, закиданных по кустам и откосам светлыми пятнами, вонзилась, изгибаясь в далекую, серую даль, гладь реки, словно огромный нож. Коричневая роща ольх, подступившая к реке, казалась рукояткой светлого ножа. В дали лес, маленький и синий, синий... серая даль серебрилась и сияла...

— Ах, подтить бы туда с Акимушкой, кабы иные ноги у него... подумала девка.—Надоело здесь-то!.. Сиди да пряди чужую пряжу.

Кто-то как-будто шепнул ей:

— Ни кто велит... барин-от денег дал... помнишь?

— Не трогаю... боюсь тех денег...—ответила она мысленно.

На крыльцо, обчищая сапоги от грязи, входил новый, молодцеватый урядник в новом мундире.

Он вскинул на Надежду масляные глаза и спросил ласково:

— Ваган, Дмитрий Васильевич, здесь живет?

— Что? Зачем его—куда?

— Ничего худого, девица красная, — только для чести... только честь ему... награда... за преступника.

Урядник поднялся на крыльцо.

Босой Акимка, держась за стойку отворенных сеней, выглянул на крыльцо и сказал:

— Ты, урядник, уходи, ей-Бо! Татка не залюбит...

Урядник покосился на мальчугана в грязной кумачной рубахе, с большим наморщенным лбом, и снисходительно проговорил:

— Поди-ка, мальчик, да штаны надень—поди, дружок!

— Так как же, девица? Ваган где? Исправник зовет... Надо бы к вам десятского, да десятский баба — где-то сидит, сплетничает, видно, пошел сам.

— Мити нету. Он в Городище, а може в лесу—не знаю.

— Зайду погодя.

Урядник ушел... Надежда внесла в половину Вагана вскипевший самовар. Вся изба была в белых зайчиках от блеска реки. К белым бродячим по потолку зайчикам примешались неподвижные, золотые от ярко начищенного самовара — иные легли по стенам, как золотые обручи...

Девка заварила чай, поставила на стол два стакана.

Акимка пошел вслед тетки, но пришлепал к окну: на подоконнике в лучах солнца грелась черная кошка. Мальчуган взял кошку в охабку, сбросил на пол.

— Поди-кось! Лови мышу—Тихоновна...

Надежда, услыхав, засмеялась:

— Зачем ты ее, Акимушко, свахой зовешь?

— У ей, дедина, как у той, хитрущей, кто ё знат, что на уме...

Кошка неторопливо с пола оглянулась на Акимку ярко зелеными на черном глазами, выбрала в стороне на лавке светлое пятно отблеска воды, прыгнула и уселась плотно.

Акимка погнал ее с лавки:

— Падина экая! Пошла, черная... не пущала бы ты, дедина, урядника-т, ей-Бо!..

— Власть он, что ты—звать пришел.

— Не пущай... аль не видишь? Уружье на лавке... рогатки-то нету в сенях...

— Ой, нету! Худо ли оно?

Акимка молча, нахмурясь, оглядывал окно и лавку, потом, спешно ебирая культяпками, пошел в другую половину избы:

— Вот те... рогатку-ту Митя с собой взял. Ты куда с самоваром пишь?

— Будет, как всегда, пьяной... може, придет.

— Пьяной, да може иной еще...

— Какой! Рад будет! Ему награда за Петруху Цапая...

Акимка молча вышел в сени.

— Ты что молчишь-то?—догнала Акимку Надеха.

— Терпи... поговорю ужо...

* * *

Ваган вошел и против обыкновения внес рогатину в избу, поста- в угол, снял пестерь с плеч—тоже в угол сунул. Запер дверь.

Надежда, как всегда, хотела войти к брату, но, приоткрыв дверь, дала, что взъерошенный Ваган поднялся ей навстречу. Она в испуге ѐрла дверь; ей показалось, что брат смотрит злобно и совсем не но, только руки и ноги, как у пьяного.

Она прислушивалась, стоя за дверью.

— Чуешь? Ха, Водяница-а!

Ваган рукой толкнул дверь, дверь распахнулась, отбросив На- :ду в дальний угол сеней

Надежда не сильно ударилась головой в стену и, вскочив с ко- , убежала к себе.

Не садясь и не отходя от полуоткрытой двери, прислушивалась эму, что делает брат.

Слышно было, как Ваган необычно охал, вздыхал и, крякая, пил ку, запивая чаем...

* * *

У отворенной в избу двери стоял урядник и как бы изучал, мательно разглядывая большого, пьяного Вагана.

Ваган косил красными глазами по сторонам—не хотел замечать дника. Постояв в сенях, урядник шагнул в избу, не снимая фу- .ки, придерживая рукой шашку в новой ножне.

— Напрасно так пьешь, Дмитрий,—сам исправник говорит, что эвек ты нужный начальству!—сказал вразумительно урядник.

— Лешему надобен! Ты покупал пойло мне-е?

— Вот что, как тебя, Ваган: опохмеляться никогда не надо... ли выпил, да болит голова—есть надо кислые яблоки—проходит!

— Еще фершал! Ты с чем ко мне?

— Видишь ли.. исправник здесь на время, видеть тебя требует— ую тебе лучше награду выхлопотать за убитого Петра Яковлева?

Награду? Мне? Это мне награ-а-ду?!—загремел Ваган, вставая. дник от его вида и голоса попятился к дверям.—Ха, награ-а да!

Поди вон! Поди из моего стойла вон—скот! Скажи!.. Митька Ваган не хуже вас знает, какую себе награду отпустить!

- Пьян... пьян.

Урядник все пятится, уперев глаза в охотника.

Ваган поднял руку, тяжелым кулаком ударил по столовой доске самовар подпрыгнул и, перевернувшись как акробат, упал на пол. С ним вместе, глухо стуча, покатилась по полу граненая водочная посудина. Столовая доска лопнула и скривилась.

— Награду-у!.. Леший те!..

Ваган, хромая, шагнул вперед.

Урядник исчез за дверью...

Шатаясь, Ваган подошел в угол, взял пестерь, заглянул под крышку.

— Смердит? Аль от ноги моей?.. Да, конец медвежонкам! Тебе конец, Ваганко-о!..

Бросив пестерь, Ваган взял из угла свою без перекладины рогатину, повернулся и захромал к окну. На подоконнике грелась на солнце кошка. Взглянув на блестевшую белую воду за окном, Ваган перекрестился:

— Прости Господь!.. Без попа...

Воткнув менее заточенный конец рогатины под лавку, рванул на груди рубаху.

— Хвати, леший правду твою—царствие... на што-о? Больше ништо! Ха, чорт! Зае-ря-а помнишь?.. Петру-у... пом... Лазь! Ты-ы!.. А-ки-му-ш...—бормотал Ваган широко растопыривая огромные руки тараща глаза в сверкающее пятно... За окном белая река сузилась и завертелась, как в бурю ярко кровавое озеро.

В спине Вагана хрустнуло—он ближе придвигался к окну. Широко раскинув руки, опустился на колени, уронив руки на лавку. Голова легла на подоконник рядом с кошкой — черный комок зверя подвинулся к стороне. Из спины охотника далеко на избу торчал острый конец ржавой рогатины...

* * *

Надеха, держась за приступок печи, слушала. Акимка сидел на кровати, подогнув бледные ноги. Убогий, нахмурясь, строго глядел на стену, где пощелкивал весело ряд починенных им часов.

Он настойчиво шептал, внятно:

— Не ходи, дедина... не ходи-и!..

— Сронил он там все... стол... сломал чтой-то...

— Себя сломал, - чужой он теперь...

— Что с ним? Ай, Акимушко!

— Не наш... Себя, себя а... жди-ко...

— Чего ждать?

— Не знаю... жди!

Надежда закричала, выбежала и заглянула к Вагану. Она быстро вернулась, упала головой на кровать в колени Акимке и запричитала:

— Убил себя-а... пропали головушки-и!.. Себя-а, Митя, братик мой,— и... рогаткой убил, ай!..

Убогий бледной рукой гладил Надежду по спине и волосам, глядел на оживщую от шелеста часов стену и тихо говорил:

— Татка ране аль загодя решился бы... тяжелый вишь, а душа, как птица лекказ... ей-Бо! Дедина... схороним ево, такой ему талан... избу замнем замком... окошки заколотим—глянь на сарай: я тележку сделал, почну вертеть, колеса покатят сами... лекказ, по силе мне... поеду, ты пойдешь. Зачну азы читать, в книгах цифири показаны, колеса всякие... не плачь! Занаймуешься в казачихи, я струментов куплю—буду часы чинить, иному учиться... на людях походим—вернем, наладим мосты да крышу в избе... не исстывай так! Летом зачнешь ты плавать за реку в сад—обрядный он станет, черемушный... я тебя на берегу ждать буду—утешное тебе сказывать... Пусти-кось, дедина!..

Акимка полез с кровати. Надежда, вздрагивая плечами, подвинулась, глубже пряча мокрое лицо в одеяло.

Убогий зашлепал к дверям и про себя сказал:

— Надо ево глядеть... захолонул Митя... бедный...

А. Чапыгин.

Недавние дни.

Очерки.

А. Аросев.

I. В Московском Совете.

Если войти в Московский Совет, подняться по лестнице направо, потом свернуть налево, то попадете в большую, просторную комнату. Вот именно в ней, зимой 1918 года, поздно ночью в одном углу сидела машинистка и допечатывала на „Ремингтоне“ „Положение о домовых комитетах“. Глаза ее слипались, но буквы, строки, странички текли из машинки нервно, торопливо, погоняя машинистку, время и друг друга. В другом углу той же комнаты, кутаясь в неряшливо наброшенную на плечи шубку, сидела т. Несмелинская, секретарь комиссара юстиции Московской области, и просматривала длинный список арестованных. Рукам было холодно. Глазам было трудно читать от множества бессонных ночей и оттого, что список был написан неграмотно.

Слышно было, как на Кремлевских башнях часы ударили без четверти три. Пробили. И звуки повисли и растеклись над непроглядно темной огромной Москвой.

Скрипнула дверь в дальнем углу комнаты и оттуда показался зеленолицый, как окисленная медь, т. Зельдич. За ним белый, как восковая свеча, совсем еще мальчик, 19-тилетний юноша, т. Бертеньев.

— А где же он мог бы поселиться? Как вы думаете?—спросил Зельдич.

— Насколько мне удалось установить чехгез тов. Андхгонникова, — Бертеньев мягко картавил,—в Замоскохгечьи. Пока это все. Более точные сведения надеюсь получить сегодня ночью.

—Так, так,—раздумывал вслух Зельдич.

Оба они только что вышли с заседания президиума исполкома, чтобы поговорить наедине о секретных делах.

Зельдич сел на стол посреди комнаты. Докурил папироску и закашлялся. Вообще он был слаб. Должно быть 3 года крепости,

я и в Московской „Таганке", а все-таки дали себя знать. Да ему ; и стукнуло за сорок.

Бертеньев наоборот, хотя и был изнурен беспрерывной револю-онной работой, начиная с первых дней февральской революции, не менее по молодости своей был бодр. Вместе со страданиями, олюция ему приносила много и наслаждений, из которых первым ло—подвергать себя опасности. Поэтому-то он и выполнял исклю-ельно секретные поручения. Весь его внешний вид говорил об м: на шее хорошим ремнем был прикреплен электрический фонарь, отогнутому лацкану его ватной тужурки был приколот постоянный опуск во все помещения Совета, из правого кармана торчала бом-из левого протянулся витой шнур от маузера средней величины. рочем, из того же кармана торчал клочок бумаги от плитки колада.

— Вы **сами** думаете туда ехать?

— О да,—ответил Бертеньев.

— Только во время захвата надо быть очень осторожным. Осо-но необходимы все бумаги, которые найдете у него.

— О да, я понимаю.

Бертеньеву очень нравилось что сорокалетний Зельдич вполне ьезно полагается на него, Бертеньева, почти мальчика.

— Не знаю, насколько точен этот снимок,—сказал Бертеньев и грудного кармана своего френча он вынул три портрета ген. ексеева.

В это время отворилась та дверь, через которую вошли Зельдич Бертеньев, и сразу несколько человек, продолжая шумно спорить, вались в тихую, большую, залитую электричеством комнату.

— Вон он Зельдич-то, вон он,—говорили кругом.

— Вы что же удрали с президиума?—спрашивал Зельдича чело-почтенного возраста, вида и в очках.

Около Зельдича и Бертеньева собрались почти все члены прези-ма и начался частный спор—продолжение официального, который исходил за дверью этой комнаты.

И Бертеньеву было необыкновенно приятно стоять в компании рых, заслуженных революционеров, от которых теперь содрогалась Россия, и толчки этого содрогания чувствовались уже во всем ре.

А внизу, под винтовой лестницей в потайной комнатке комен-та, сидел некий дылда, бывший юнкер Александровского училища, авший к Каледину на Дон, но потом снова вернувшийся в Москву. спасения своей шкуры он предложил свои услуги по раскрытию тр-революционных организаций.

Фамилия его была—Самсониевский. Он сидел один. Как будто боден. Но за дверью по коридору ходил вернейший хранитель ета и преданнейший своему делу революционер, рабочий Михаил

Андронников. Дылда сидел и курил такие же длинные, как он сам, сигары. Пускал дым на разный манер: и кольцами, и винтом, и столбиком. Он должен был открыть местопребывание ген. Алексеева.

— А что, в самом деле, неужели Алексеев такой дурак, что приехал в Москву?—рассуждал сам с собой дылда.—Нет, не таков Алексеев.

Вскоре в эту комнатку спустился Бертеньев.

— Вы готовы?—глядя прямо в глаза юнкеру, спросил он.

— Всенепременнейше, мой милый,—ответил юнкер.

„Мерзавец, как издевается-то!"—подумал Бертеньев.

— Полугрузовичек ожидает во дворе. Двинемся,—сказал Андронников, входя в комнату вслед за Бертеньевым.

Посреди автомобиля поставили пулемет. И сели четверо: Бертеньев, дылда, Андронников и помощник последнего, бывший солдат автомобильной роты, Голубин. Двинулись к Калужской заставе.

„В капкане,—мелькнуло в голове юнкера. Он завернулся в доху и посмотрел на небо.—До чего все бессмысленно,—думал юнкер,—какой-то грузовик, какие-то люди. Я им указываю. Они мной владеют. Чего-то ищут, стараются. А мне? Что мне надо? Я люблю только сигары. Особенно „Воск" настоящий".

Бертеньев ткнул дылде в бок коробкой сигар.

- А-а. Благодарю вас, мерси,—сказал дылда.—Как вы прекрасно угадали мою слабость.

„Пат Пинкертон,—подумал про себя Бертеньев: Дурак!"—сейчас же ответил он сам себе, боясь поддаться опасному самовосхвалению.

По указанию дылды остановились у какого-то дома.

Потом у другого.

Потом у третьего.

— Надувает, сволочь,—сказал Андронников.

— Я бы просто пристрелил отврат такой,—ответил Голубев, пока дылда уходил во двор и разыскивал квартиру Алексеева.

Всю ночь проколесили по Замоскворечью.

К утру умаялись. Тем более, что почти все ночи на предыдущей неделе Бертеньев и Андронников гонялись по Петровскому парку, вылавливая бандитов. Попадали и под огонь. Тогда работали маузерами и пулеметом. Спали по утрам два-три часа в сутки не более, так как днем надо было с утра поверить посты в Совете и в банках. Потом отправиться в штаб округа, затем на собрание либо ответственных работников, либо на конференцию, либо пленум Совета, либо на заседание М. К. с организаторами районов и т. д. и т. д.

Вот и в этот раз приехали в Совет в 7 утра. Дылду отправили в Бутырки. Бертеньев беспрерывно курил то папиросы, то сигары, прошел тайными и таинственными переходами и коридорчиками в свою маленькую комнатку.

Комнатка была очень маленькой. Вся белая. Посреди потолка шарообразная лампочка огромной силы света. У левой стены широкий диван, а перед ним большой письменный стол, заваленный частями револьверов, винтовок, электрических фонарей разных калибров и проч. Под кроватью был пулемет „Lues", а в углу в кожаном футляре телескоп.

Пришел сюда Бертеньев и, не раздеваясь, грохнулся как сноп на широкий диван.

В его комнату никто никогда не входил, за исключением Андронникова. Только Андронников знал все ходы и переходы, приступочки и лесенки, ведущие в комнату.

Грохнулся Бертеньев, однако заснуть не мог...

Дверь комнаты распахнулась и вошел Андронников и так же, как Бертеньев, не говоря ни слова, шлепнулся на диван рядом с ним.

И стали оба лежать и глядеть в потолок.

Андронникову тоже было не до сна. В голове шевелились все клеточки мозга. Мысли были неоформленные, бессловесные, но они были, были. Их ясно чувствовал всем существом своим Андронников. Мысли были чудные, большие, а в голове вертелись все какие-то обыкновенные слова: „С этой дылдой еще раз поездим и если не найдет, надо—к стенке". Нет, не то было у него на уме. „Взять бы и щелкнуть Каледина со стороны Миллерово. Там киевские броневики должны быть". И опять не то, не то было в самых мыслях. Шевелилась каждая клеточка мозга и не давала спать, и все думалось где-то там внутри, далеко о великом, большом, чему не подыщешь слов на человеческом языке.

— Эх, дураки мы,—сказал вдруг со вздохом Андронников.

— Почему вы так настроены?—отозвался Бертеньев.

— Да как же, ты подумай: вместо того чтобы запереть по казармам офицеров и юнкеров, мы их, понимаете, на Дон пустили. Черт-те што.

Андронников сплюнул.

А Бертеньев подумал: „Может быть глупо, а может быть нет. Все зависит, по какому направлению пойдет равнодействующая двух столкнувшихся под прямым углом линий". Во всяком случае, раз это вышло так, а не иначе, то Бертеньеву казалось, что это именно так и нужно.

— Может быть, это лучше,—сказал он,—иначе они могли бы взорвать нас изнутри.

— Положим, изнутри-то им было бы труднее,—растянул Андронников с некоторым довольствием в голосе.

— А вот ведь мы изнутри все это совершили.

— Эк, сказал!—Андронников даже соскочил с дивана.—Сварил же у тебя котелок. Да ведь мы идем из самого естества, из корня, из земли. Растем можно сказать; ну, и распираем, значит, этот строй,

который над нами. А они что? Гниль, дрянь. У них так уже на лбах написано: конец и крышка. Ихний мир все одно кончился. Да брат... Дай-ка закурить. Вон уже и светать начинает...

Бертеньев немного озяб. Поэтому ему не хотелось вынимать руки из рукавов своей ватной куртки.

— Будьте добры, Андронников, запустите сами вашу лапу в пхгавый боковой кахгман.

Андронников закурил. Посмотрел в мутный синий свет, что застилал окно.

— Нет, дураки мы, что ни говори,—опять начал Андронников,—на что староверы—у нас на квартире они живут—и то говорят, что опростоволосились мы малость. Теперь с этой калединщиной, может, больше году промаемся. Черт-те што!

Бертеньев как-раз в это время стал погружаться в приятную предрассветную дремоту. Держа руки в рукавах тужурки сложенными на груди, он согрелся.

„Им пришел конец,—проносилось в голове Бертеньева,—откуда Андронников это знает?.. Андронников стоит у окна... Должно быть поздно... Рассветает".

И вдруг в ушах Бертеньева стал вертеться напев мелодекламации:

Мой последний менуэт.
А в большие окна зала
Пробивается рассвет.

Это было давно-давно на выпуске в военном училище, когда Бертеньева выпускали в прапорщики. Артист Максимов так хорошо, так вдохновенно говорил:

Мой последний менуэт.
А в большие окна зала
Пробивается рассвет.

Это было перед самой революцией. Тогда был последний менуэт того дворянства, у которого на лбу написано: „конец и крышка", которого Андронников называет „гниль" и „дрянь".

Мой последний менуэт.
А в большие окна зала
Пробивается рассвет.

Может быть, тогда был последний менуэт и для его сферической тригонометрии... С этим и уснул Бертеньев, крепко, без снов.

Андронников, бледный, весь пропитанный табаком и потом, смешанным запахом просырелого белья и одежды, сидел у окна, докуривал папиросу и дремал, тыкаясь в подоконник. Дремал, но не мог заснуть. Какая-то работа в мозгу мешала.

Вдруг вскочил Бертеньев внезапно, весь как-то передернувшись.

— Ах, да, я и забыл. Вы знаете товахгищ Андхгонников, ведь сегодня в Колонном зале съезд Советов будет Ильич. И совсем ведь забыл, чехгт возьми.

Из окна уже всю комнату заливал белый свет зимнего утра, а в потолке все еще ярким светом пылал электрический стеклянный шар.

Стук в дверь.

„Войдите!"

И в комнату вошел Зельдич. Как тень, бесшумно.

— Папиросы есть?—спросил он.

— Voilà,—ответил Бертеньев, подавая коробку.

— Ну, что же вы думаете делать с этим калединским шпиком? (речь шла о юнкере, с которым накануне путешествовали по Замоскворечью).

— У меня на него надежд больше, у т. Андхгонникова меньше.

— Сволочь определенная,—сказал Андронников, прилаживая взвод к магазинной коробке маленького револьвера системы „Clement".

— По моему тоже шарлатан.

— Если вы в этом убеждены,—сказал Бертеньев,—давайте покончим с ним, если колеблетесь—необходимо сделать все, чтоб окончательно убедиться.

— Мы послали через Киев предложение, установить военной разведкой там или здесь ген. Алексеев,—отклонился от прямого ответа тов. Зельдич.

— До каких же пор!?—возмущался Андронников.

II. Фаддеич.

Андронников происходил из семьи, которая могла бы быть многочисленной, если бы многие братья его и сестры не умирали еще в младенчестве. В живых, кроме него, был только брат и сестра—брат моложе его, а сестра постарше, года на три.

Отец и мать не особенно сожалели об ушедших из жизни малютках.

— Обстоятельства к тому ведут, что никак невозможно распространяться нашему брату,—говаривал отец—низенький старикашка с сизым носом и свинцовыми глазами.

Это признание у него вырывалось в беседе с приятелями, когда он сидел с ними у себя за столом, перебирая закорузлыми пальцами по краешку клетчатой красной скатерти, замызганной и протертой до дыр.

— Обстоятельства к тому ведут...—повторял он.

И все его приятели сочувственно кивали головами.

А Миша Андронников, девятилетний мальчик, прозябший и продрогший на улице, забивался в угол широкой деревянной кровати, поджимал под себя ноги и думал:

„Обстоятельства... обстоятельства... и всегда-то эти обстоятельства. Разбил бы я морду этим обстоятельствам".

Особенно не нравилось Мише то, что отец именно так смиренно барабанит по столу. Не понимал этого Миша. А что не понимал, то не нравилось ему. Отец его был человек кроткий, но если сердился, то всегда буйно и громко.

Не выносил Миша отцовской смиренности. И может быть отчасти поэтому сам он с кем мог, например, со своим маленьким братом, поступал весьма сурово.

Отец Миши работал тогда на Обуховском заводе и жил с семьей в так называемых „карточных домах", где имел комнату и кухню.

С 12-ти лет Миша стал обучаться слесарному делу. Науку эту он больше всего пре[о]сходил затылком, так как за каждый промах получал от „старшого" „затрещину". Старшой Васюкин особенно хорошо приспособил к этому делу свою ладонь. И так „трескал", что у Миши сразу загорались оба уха, в голове начинало шуметь гу-гу-гу, а перед глазами мелькали искры, словно снежинки в безветряную погоду.

Так понемногу Андронников подрос и стал юношей. Белокурый. Сероглазый.

Миша никогда не ходил в школу, поэтому грамоте учился от товарищей, по заборным росписям, по вывескам, по надписям на спичечных коробках и по отрывному календарю.

Однажды, будучи уже 17-ти лет, Миша прочитал книжечку, купленную им самим на ларе около „Скорбящей". Книжечка была так себе, и называлась „Пан Твардовский". Купить и прочитать эту книжечку надоумил его некий Фаддеич. Это был странный человек. Не то умный, не то дурак. Может быть, то и другое—вместе. Он был одноглазый, так как один глаз, будучи проколот во время работы острой стальной соринкой, вытек. Всегда носил Фаддеич синеватые очки, перевязанные через затылок грязной бечевкой. Волосы у него на голове были рыжие и прямые, как мочало. Кроме того был грязен. Зиму и лето ходил в одних опорках на босу-ногу.

Он казался Мише ученым человеком. Еще бы. Ведь он издевался над иконами и попами. Имущества никакого не имел, если не считать одного маленького сундучка, наполненного бог весть какими книжками. Жил Фаддеич как птица небесная, беззаботно и на пропитание промышлял различными медицинскими советами и заговорами от зубной боли. За это все бабы в Обухове звали его „целителем Пантелеймоном", а мужчины—„мошенником".

Был и „грешок" за Фаддеичем: он пил, много пил, но зато пьян никогда не бывал.—„И окаянная-то его не берет",—говорили про Фаддеича соседи.

Семьи не было у Фаддеича.

Может быть, отчасти поэтому, он любил Мишу Андронникова.

Выучил даже его писать. И пили они вместе. Подвыпив, Фаддеич больше всего „радел о вере", т. е. старался разрушить в Мише всякую веру.

Однако это мало задевало Андронникова. И не потому, чтоб он был верующий. Такие вопросы, как вера или безверие, стояли просто вне его духовной жизни, по ту сторону его души.

Миша все больше и больше задумывался совсем о другом.

— Скажи ты мне, „профессор кислых щей",—так тоже иногда называли Фаддеича,—на кого это я тружусь? Ведь сколько за день этого железа переведешь? Какие приспособления всякие разные в работе употребишь? И все—куда то плывет. А куда? Я не знаю. Может, ты знаешь, на кого я работаю, стараюсь? А?

— Глуп ты, как гусиный хлуп, оттого и стараешься. И все вы такие. Ну, к чему ломаете руки? Ведь все, что вы, дураки,—тысячи вас, а может и миллионы,—сработаете, а какой-нибудь Чорт Иванович прячет это в свой склад, а там, глядишь, какому-нибудь немцу отдает, а немец, тот уж прямо акции в банк переводит. Твой Чорт Иванович буреет, а ты как сукин сын ходишь, возле заводских заборов да напрашиваешься: нет ли у вас вакансии; мне-де охота больно шею вашему степенству подставить, поездейте на мне верхом, пожалуйста.

— Как же так, „Кривуля", ты говоришь? Нешто не надо работать? Коли мы перестанем работать, что же будет? Пустыня, а не жизнь. Ни тебе выделки какой, ни постройки... Что же это?

— Вот, вот оно самое как раз это и нужно. Все, значит, с землей сравнять. Тут и придет карачун панам, купцам, фабрикантам, помещикам и прочим гадам, и начнем мы тогда свое, другое... Начнем все делать по-братски, без насилия.

— Нет, Кривуля, а что, если о ту пору нам самим карачун придет?

— Нам? Вовсе нет. Нам ничего не надо, ни домов, ни городов. А хлеба кусок всякий добрый дядя на селе даст. Сейчас мы значит к мужику и стукнемся. С ним вместях и начнем новое устройство. Братство тогда на земле и будет. Братство, понимаешь? Это не то что равенство, это на градус повыше его. Братство!

— А завод как же? Обуховский?

— Да на кой он нам кляп, этот заводище? Машинное капище, больше нет ничто. Срыть его, и на том месте капусту насадить.

Интересно было это слушать Андронникову. Одно только было не по душе, что Фаддеич завод хочет срыть. Ведь сколько в нем кирпича, железа, машин, сколько в нем сил и пота и самого Андронникова и его отца, и многих, многих других. Сколько жизней это стоит. И вдруг срыть! Нет, ни за что. Какой-то там Чорт Иванович акции получает и от прибыли буреет, да завод-то тут при чем? В заводе пот, труд и кровь рабочих! Вот кабы выручить этот завод из рук Чорт Иванычей!

И эти мысли глубоко запали в голову Миши Андронникова.

По-прежнему он встречался с Фаддеичем в пивнушках, по-прежнему Фаддеич наставлял Андронникова на счет того, что не надо работать, а следует, наоборот, все привести в запустение, но Андронников уже не подчинялся этому направлению мысли. Он слушал Фаддеича только потому, что его рассуждения были для Андронникова как бы наждачным камешком, на котором Миша оттачивал свои собственные мысли, идущие поперек рассуждений Фаддеича.

„Профессор кислых щей" начинал это понимать. Огорчался от этого. Андронников замечал, как все части лица Фаддеича будто опускаются, оно делается скорбным и вместе с тем старческим и мелким. Один глаз под синим стеклом очков начинает часто, часто мигать как догорающая свеча. И рыжая борода Фаддеича, словно второе лицо его, но уже совсем безглазое, отворачивается в сторону, в сторону.

Чем дальше шли их беседы, тем все больше и больше Андронников понимал, что Фаддеич прав в одном: жизнь должна перемениться. Но как? Вот тут-то и ковал Андронников свою собственную мысль. Жизнь надо изменить не отказом от работы, а чем-то другим. Чем же? Вероятно, мощным напором всех слесарей, столяров, смазчиков—словом, всех рабочих завода. Мощным напором за овладение заводами. Вот чего Адронников никогда не говорил Фаддеичу, бережно храня от него свои мысли в себе.

Но Фаддеича не даром звали и „профессором", и „целителем", и даже „мошенником"... Фаддеич, бывало, смотрит, смотрит на Андронникова одним глазом, да как моргнет им, будто скажет: „а я, брат, все понял, не таись".

Побаивался этого взгляда Андронников, а почему и сам не знал. Фаддеич же все чаще и чаще впивался своим единственным зрачком сразу в оба глаза Михаила. От этого взгляда Михаил сжимался и упорно таил свою зреющую мысль, как сокровище. Но именно—поэтому-то Андронников и нуждался в беседах с Фаддеичем. Он говорит, а Миша в уме своем возражает ему, заостряя свою мысль.

Однажды в чайной какой то босоногий пострел, юркнув между столами, сунул Андронникову отпечатанный листочек. Наверху была надпись: „Товарищи"... внизу—Петербургский комитет Р. С. Д. Р. П., а еще наверху, сбоку „пролетарии всех стран, соединяйтесь".

— Прячь, прячь, не читай здесь,—шепнул Андронникову сосед, рабочий высокого роста с красивыми черными усами.

— А что?—возразил и спросил Андронников.

— А то! За такие бумажки возьмут тебя, раба Божьего, архангелы-то, да на казенный хлеб.

— Не боюсь я этого.

Однако, листок свернул и спрятал.

— Ты в каком цехе?—спросил Андронникова сосед, приятный

человек, помакивая в чашку куском сахара и потягивая грязноватую горячую влагу.

Андронников ответил.

— Вот коли ты „этого" не боишься, приходи в наш цех. К нам оратор будет из города.

Стал Андронников бывать на собраниях, где говорили ораторы. Жизнь как то по особенному закрутилась. Появились невиданные раньше люди. Говорили много непонятного, но все такое, что брало за сердце. Теперь „Кривуля" мерк в представлении Андронникова с каждым днем. Андронников перед собой увидел многих рабочих, которые думали так же, как он. И увлекся мало-по-малу Миша этой работой, таинственной, вечерней, серьезной, всепоглощающей.

В то время Мише было 19 лет. И хотя в нем временами поднимала бунт молодая кровь, но он не увлекался „любовными делами". Они казались ему делами несерьезными, несовместимыми с тем большим, что захватывало все его чувства и помыслы.

Однажды утром в воротах завода Андронников встретил Фаддеича.

— Куда шествуешь, сын мой потерянный?—спросил Фаддеич.

— На бал, танцевать иду.

— Попляши, попляши за фрезерным станочком. Да... Слыхал?

— Что?

— А то, что завтра ко дворцу народ собирается. Насчет перемены режима, Царя-батюшку умаливать будут.

— Слыхал. Только мы не идем.

— Кто это вы?

— Группа наша. Нешто не слышал? Группа социал-демократов.

— Э-х, вона ты куда попал. То-то и Фаддеич стал ненужен.

И один глаз „Кривули" заморгал, а из другого,—из засохшей дыры,—скользнула слеза. И борода его, как второе лицо только без глаз, отвернулась и пошла в сторону, в сторону.

— Кабы не на работу спешить, обсказал бы я тебе все как следует про нашу программу,—сказал Андронников.—Но только не ходи ты, Кривуля, на площадь к царю. Чем к нему ходить, лучше послать этого царя... знаешь куда?

— Молод ты, сынок, молод. И думаешь, что я этого не знаю. Па-а-нимаем. И не за этим я пойду на площадь, а затем, чтобы, знаешь, этак хоть из-за углушку посмотреть, как народ „дурака валять" будет. Где народ там и я. Потому люблю народное замешательство.

Взглянул на него Андронников и только тут заметил, что рыжие усы и борода Фаддеича начали седеть частыми, белыми, прямыми сединами. „Стар человек",—подумал про себя Андронников.

— Торопишься. На работу торопишься. Ну, прощай, прощай. Эх, чтой-то из вас выйдет, из молодых,—сказал Фаддеич.

— Не ходи, Кривуля, к царю! Если пойдешь, какой же ты после этого анархист. Просто беспартионная орава. Не ходи, Фаддеич. Стыдно рабочему человеку к царю шляться. Прощай, понимать это надо.

— Па-анимаем, сынок мой, все понимаем.

Фаддеич моргнул одним глазом, словно подмигнул и, шлепая калишками на босу ногу по деревянному тротуару, скрылся в январском утреннем тумане.

С тех пор Андронников не видал Фаддеича до 1911 года, когда он встретился с ним в Пермской тюрьме, через которую Андронников шел уже во вторую ссылку, в Архангельскую губернию, а Фаддеич шел в Вологду на суд, где должны были судить раскольничью секту бегунов, к которой примкнул уже седеющий Фаддеич и жил с ними в Сибири.

Фаддеич сгорбился и осунулся. Его единственный глаз был похож на глаз пойманного орла. Гневный зрачок, полный пламенной ненависти, яркий, черный, блестящий миллионами искр не смотрел, а впивался своим острием и беспокоил. Ах, как беспокоил этот глаз! А другой,— дыра засохшая,— весь изжелтел, иссох. И видно, та слезинка что скользнула из этой дырки тогда, когда он встретился с Андронниковым у завода, была последней.

И лицо не лицо стало, а камень, на котором жаркие лучи солнца, ветры буйные, холодные, ночи бессонные, беспокойные, дни тюремные, тусклые, тусклые высекали морщину за морщиной. От этой каменности лица глаз слепой — дыра засохшая — походил на ласточкино гнездо в скале. Борода и усы его только едва-едва показывали свой огненный блеск из-под ледяной седины.

— Помнишь, я тебе сказал: посмотрим, что выйдет у вас, молодых? Вот и вышло. Тебя, как и меня волокут. Тебя на ссылку, меня на суд. Значит, и твоя программа и моя — лопнули. Я ходил к царю, ты не ходил, а он, стерва, все равно оказался победителем. Да. И вот — как пошли это нашему брату, рабочему и всякому бродящему и вольному люду, банки ставить, так и ушел я в Сибирь. С неким Парфеном встретился, с бегуном. К нему пристал. Он и крестил меня во бегунах.

„Стар человек",—мелькнуло в голове Андронникова, пока он слушал.

— Бежал ты к бегунам? Ну, что ж? Может, твое дело таковское, а мы на своем будем стоять по прежнему. Не мы — так може опосля нас, а все-таки забьют капиталу в затылок осиновый кол.

— Посмотрим. Единожды уж посмотрели, — опять подмигнул одним глазом бегун. И огонек зрачка его в каменном лице был похож на огонь, зажегшийся в сухой нагорной пещере.

Перед Фаддеичем, дряхлым, поседевшим, разочарованным, бросившимся в объятия сектантства, Андронников чувствовал себя мощным, крепким, словно вылитым из чугуна, напряженным, как металл белого

каления. Теперь уж не тот Андронников, что читал „Пана Твардовского"—безусый, сердитый на все, что непонятно. Теперь он член партии, социал-демократ, левого крыла (большевиков), знающий, что ему надо. Правда, что в глазах его, в этих радужных жилках была невысказанная грусть, зато черные, острые зрачки горели смелостью. Подбородок его опушился бородкой, белокурой. На висках легкие белые кудри, как стружки. Ростом тоже вытянулся. В его открытом русском виде было что-то повелительное. Не даром его приятельница эс-эрка Палина прозвала его Иван-Царевич.

Такой уверенный и крепкий Андронников немного раздражал бегуна, который куда то шел да не дошел, а этот крепыш, молодой, белый, сероглазый, кто его знает, может и дойдет.

Всю ночь спорили они шопотом, лежа на тюремных нарах.

На утро надзиратель громко выкрикнул:

— Фаддеев, собирайсь со всем барахлом в контору.

Значит, по этапу отправка.

Ни единым мускулом не подернулось каменное лицо Фаддеича. Но и в чугунно-крепком теле Андронникова „не сдала" ни одна жилка. Руки друг другу пожали спокойно.

Фаддеич взметнул арестантский мешок на свою сгорбленную спину. Огвернулся. Что-то махнул рукавом по лицу, наверное подумал, что выпала из засохшей дыры слеза. Но она не выпала. И, шлепая растоптанными лаптями по асфальтовому полу, вышел из камеры.

С тех пор не видал Андронников Фаддеича. Но образ бегуна запечатлелся в его голове.

И странно: когда Андронников был уже в ссылке и встретил там свою старую знакомую эс-эрку Настасью Палину, она показалась ему похожей на Фаддеича. Похожа, но неизвестно чем. У Настасьи Палиной лицо было простое, русское, бесцветное до скуки, чуть-чуть скуластое, чуть-чуть пушок на верхней губе и немного раскосые глаза.

Не в этих ли раскосых глазах было что-то похожее на одноглазие Фаддеича? Может быть. Особенно когда Настасья думает... Жутковато даже: один глаз ее смотрит на него, на Андронникова, а другой в сторону, куда-то в угол комнаты и, может быть, в самую истину, которую видит она одна.

„Где-то теперь Палина?"—часто вспоминал Андронников после революции.

Велика земля русская, долго ли в ней затеряться!

III. Патриоты.

По Советской площади от Камергерского переулка спешила Настасья Палина. Широкая, размашистая.

Изящные ботинки стягивали ее сильные пружинистые ноги. Шубка драная и выцветшая. Нескладная, должно быть, с чужого плеча. На голове капор голубой, мохнатый. Без перчаток. От холода руки в рукава. Лицо совсем серое, землистое и раскосые глаза, от бессонницы покрасневшие.

Усталая голова ни о чем не могла думать, а губы твердили одно и то же: „Арбат, пройдя церковь, направо второй дом; Арбат, пройдя церковь, направо второй дом".

Ей надо было это запомнить, поэтому надо было повторять, а так как надо было повторять, то ей казалось, будто у нее не голова, а какой-то ящичек, поставленный на шее и в нем вертится барабанчик с надписью: „Арбат, пройдя церковь, направо"...

Из правого кармана Насти виднелся томик стихотворений ее любимого автора Бодлера „Цветы зла".

Дошла до памятника Пушкина.

„А может быть за мной следят",—подумала и оглянулась. Села на скамейку, чтоб вглядеться в окружающих. Кажется, никого подозрительного нет.

Взглянула на Пушкина. Подумала: „спокойный был век, сочный, наполненный". Вот и надпись на пьедестале:

И слава обо мне пройдет все племена земные,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.

Пушкин был уверен в этом. Для уверенности нужна спокойная душа. Для спокойной души — устойчивый век. „А мы мечемся", подумала Настя и пошла дальше.

У Никитских ворот на Настю пустыми глазами смотрели два разрушенных в октябрьские дни дома.

И вдруг у Насти какое-то смутное чувство стыда подступило к сердцу. С чего бы это? Лицо все густо, густо покраснело. Вероятно, просто нервность. Ах, это тревожное время. Ну, что особенного в этих домах? Просто на этом самом месте стреляли друг в друга, с одной стороны помещик—барин—офицер, с другой крестьянин—мужик—солдат, т. е. то, что Насте было известно под именем „народ". И ведь всегда казалось Насте, что ей нравится бороться „за народ", который она так же любила, как раньше, в детстве медное распятие над изголовием своей кровати и вечерами — тихий, красноватый, мигающий свет лампады. Ее отец — суровый чиновник при губернаторах московских — был набожный человек.

И нравилось ей бороться за народ так же, как стоять великопостную службу, особенно, когда поют на клиросе: „Се жених грядет в полунощи". А теперь и креста-то на ней нет. Да к чему же он и горячая вера в него, когда есть еще более горячая борьба „за народ". „Народ" это то, во имя чего надо страдать, что заполняет душу, жизни дает и свет, и цель, и точку опоры, а глазам открывает правду.

Вспомнила Настя, как однажды она сидела с террористом Резниковым—19-ти-летним мальчиком в Петербурге на Дворцовой набережной у Невы. Была ночь. На редкость прозрачное, звездное небо манило к себе взоры людей. „Звездочки",—сказал сентиментально Петя Резников.—„Куски металла, облака газа и волны жидкости, вот вам и звездочки",—ответила Настя, которая иногда подтрунивала над сентиментальностью Пети. „Может быть, ваша правда,—ответил Петя, вздохнул и каким-то внутренним голосом добавил:—Где же, где же ты звездочка—правда?"

Вспомнила это Настя. Посмотрела на небо: серые, немного сизые облака. Плывут куда-то. А по земле по тротуарам несутся прохожие. Где же ты, правда? Не в этих ли разрушенных домах? Если так, то зачем же она не была тут с ними, с этими мужиками, рыжими, черными, рябыми, корявыми, у которых детские глаза и которые тут вот падали, подстреленные, обливающиеся кровью. Да. Она не была тут. Не была потому, что этот „народ", как дети, потянулся к новой жизни К новой просветленной жизни. Но—нет сомнения—обманулись мужики. Они ведь легковерные, они дети. Они хотели лучшего, но вот пришли к ним большевики и лучшее обратили в худшее. Свободу подменили дисциплиной—„кровь и железо"!!!—Равенство превратили в самовластие сотни своих главарей. А братство? Да, братство. Оно недавно переехало из Петербурга в Москву и называется Всероссийской Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контр-револкцией, спекуляцией и саботажем. Конечно, промахнулись мужики. А все-таки они боролись, и их враг был подлинный настоящий враг, помещик, барин, офицер. И над ним солдат, мужик-крестьянин одержал действительную победу. Может быть, эта победа и есть настоящая, народная, правильная. Нет нет, не может быть:—эта победа—ложь. А правда то, что ищет Настя и другие, многие. И краска стыда исчезла с лица Насти.

„Арбат, пройдя церковь направо, второй дом"...

Ошибся народ. Он - дети.

Но „глас народа - глас божий". Опять колебания. Да, правда, но если есть Бог, то есть и другая сила! Дьявол. И дьявол временами бывает сильнее Бога. И снова успокоилась Настя.

Прошла половину Арбата, прошла церковь, свернула направо и очутилась у парадного крыльца, забитого досками. Она нажала кнопку За дверью тотчас же послышался удар, довольно большого, колокола. Дверь слегка приоткрылась и в щель высунулся длинный, тонкий нос белобрысого юнца с фуражкой кадетского корпуса на голове.

— Простите,—сказала Настя,—здесь живет Исидор Константинович Самсониевский?

— Н не... не знаю,—запинаясь, ответил юнец,—минутку погодите, узнаю у швейцара.

И опять захлопнул дверь.

Слышно было, как там разговаривали, советывались. Потом открыли дверь.

Перед Настей стоял все тот же белобрысый юноша в кадетской фуражке, швейцар-старик с дрожащими руками, слезящимися глазами и вынюхивающим носом и председательница домксма—молодящаяся старушка с буро-седыми волосами, которые она раньше красила, и пропитанная вся запахом жженого кофе.

— У нас не живет Самсониевский,—говорил швейцар,—вот посмотрите домовую книгу.

— А кто он такой?—спросила председательница, кутаясь в пуховый платок.

„Должно быть, это все те, что стреляли в мужиков, это те, что рады каждой капле пролитой солдатской крови. Так неужели в большевиках правда?"—подумала Настя.

И все три персонажа, стоящие передней, показались ей отвратительными. С каким бы удовольствием она посмотрела сейчас на их трусливо-искривленные лица, еслиб могла сказать: „Я агент Ч. К., я вас арестую".

— Видите ли,—начала Настя.—Самсониевский—это генерал. Сюда он переехал недавно. Может быть, он у вас еще не записан. Раньше он жил на Старо-Конюшенной, но его дети и вся семья уехали на юг, а он переехал сюда в квартиру бывшего фабриканта, фабриканта, фамилия его как-то на „К". Вы не бойтесь, я очень хорошая знакомая генерала. Мы знакомы „домами", мой отец был чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе.

— Совершенно справедливо. Так точно-с. Хе-хе-хе. Как же я раньше не догадался,—залебезил швейцар.—Их превосходительство, генерал Самсониевский живут у Копыловых.

— Ах, генерал... Это—который недавно...—воскликнула сверхбальзаковская дама, не зная, в сущности, что недавно, кто недавно, просто так, чтоб сотрясти воздух.

— Пожалуйста, я вас могу проводить к Копыловым,—предложил белобрысый кадет, который во все время разговора вихлялся, как на шарнирах.

— Здравствуйте, Исидор Константинович,—сказала Настя, здороваясь с генералом, низеньким старичком, со скорбно отвисшей нижней губой, и в засаленном мундире.

Генерал жил в маленькой коморке, которая за эти несколько дней пропиталась запахом махорки и керосина. Старичек жил на остатки сбережений, аккуратно рассчитывая каждую копеечку, сам себе готовил на примусе обед, состоявший из картошки и луку, ника-

ними услугами своих квартирных хозяев он пользоваться не желал. Исидор Константинович еще с детства страдал идеей независимости, которая временами снедала его как болезнь. Еще в школе его заветной мечтой было сделаться „никем", в крайнем случае устроить в лесу пчельник. За такие „идеи" отец его бил и выводил в люди, что называется „за уши". Но так как Исидор Константинович отбился от настоящего образования, то его пришлось пустить по „военной карьере".

— Как? Какими судьбами вы попали сюда? Как вы нашли меня?

Генерал был не столько рад, сколько удивлен. Он знал Настю, как революционерку, которая побывала в тюрьме и далекой Архангельской ссылке. И вот теперь, странно, когда революция победила и все, кто раньше боролся за нее, должны быть у власти, теперь она приходит к нему, к забитому, к побежденному, к генералу.

— Садитесь,—и генерал гордо, чисто генеральским жестом предложил ей сесть.

В это время в каморку, приотворив дверь, заглянули поочередно две озорных физиономии: мальчишка Володька и его сестра Нюра— дети фабриканта Копылова. Оба жевали шоколад. Заглянули в дверь.

— Хе-хе-хе.

— Хи-хи-хи.

И две пары резвых ног поспешно убежали в дальние комнаты. Генерал только передернул плечом. Очевидно, дети его постоянно дразнили.

— Я слышала, ваши уехали,—сказала Настя.

— Извините меня,—сказал генерал, заморгал глазами и отвалился на спинку складного деревянного кресла, искренно обрадовавшийся тому, что им заинтересовались и что теперь он может сказать все, все, что таким грузом почти полгода лежало на сердце.—Это вопрос слишком серьезный. Но... но они, теперь могу сказать прямо и резко, дураки. Форменные, квадратные дураки!

Семья генерала состояла из его жены и трех сыновей, гимназист, реалист и студент, последнее время бывший юнкером. Он был самый высокий, самый ленивый и самый грубый. Все трое, во главе с матушкой, наговорив отцу кучу дерзостей, забрав все бриллианты и золото, уехали в Анапу.

— А вы остались?—спросила Настя, глядя на облезшую стену за головой генерала и думая больше о том, с чего бы начать свой разговор.

— Как видеть изволите. И очень просто почему. Вскоре после восстания в нашей квартире был обыск. Пришли солдаты, такие бравые. С ними в рваном пальто, должно быть, рабочий. Кепка как блин на голове. В руке наган держит, как пойманную рыбу. А солдаты— мужики, такие крепкие, здоровые. Один белый с синими глазами, даже застенчивый.—Вы извините—грит, енерал. Раньше вы действительно были енерал, а теперь потеснитесь вон в тот чуланчик,

сортирчик, значит—простите, но „слово из песни не выкинешь“.—„Да, а мы грит, пока что у вас пошарим, нет ли уружия какого“. Славные такие ребята. Один, который во время обыска охранял меня в „чуланчике“, оперся подбородком на дуло винтовки, как на метлу „Да что ты, говорю, братец, этак застрелишься“.—„Как же,—отвечает он,—стреляться-то? Она без патрон“. Как вам нравится? У них даже винтовки не заряжены. Вы знаете, я всегда держался той мысли, что русский солдат не может итти на плохое дело. Там, где наш русский солдат—там дело правое и верное. Я ведь знаю русского солдата. С ним и ел, и пил, и спал. В китайских, в японских походах погибал в горах и песках. Русский солдат. Это тот, который с Суворовым Альпы перешел, который Наполеону Бородино устроил. Он? Нет, никогда он не пойдет на авантюру. У русского солдата крест на груди и в груди. Что же, думаю, такое? Что стряслось с ним и со всей Москвой? Почему она сотряслась? Не мог успокоиться. Мучился этими вопросами. Отправился в библиотеку. Отыскал какую-то книжонку. „История французской революции“. Два раза прочитал ее. И—кончено: понял, все понял. Сразу. У нас то же самое, то же, то же самое. Значит революцию опровергать нельзя. Ее надо принять целиком. Она будет так же, как у французов... Разве только конец...

— Ах, Исидор Константинович. Да ведь у французов она кончилась победой буржуазии.

— Что? Ну, я, конечно, не искушен в политике... А только, знаете ли... Чего плохого-то в буржуазии?

Настя поняла, что он, действительно, слишком далек от политики. И кроме того поняла, что он одинок, безумно одинок, а потому словоохотлив и, вследствие этого, у него не слова следуют за мыслью, а мысль плетется, прихрамывая за словами.

Опять приотворилась дверь, опять высунулись в дверь Володька и Нюрка, запели:

Генерал, генерал,
Пташечка, канареечка
Жалобно поешь...

и убежали.

Генерал подскочил к двери.

— Мерзавцы!!—прошипел он.—Без присмотра растут, как скотина. Купеческое отродье.

— Исидор Константинович. Не волнуйтесь. Я сейчас сама пойду, переговорю с их родителями.

— Целую ручки. Низко кланяюсь. Спасибо. Но—оставьте, не надо. Я боюсь. Я бы сам давно... Но, знаете, донесут еще на меня, что я контр-революционер. Разве это трудно. Тем более ведь я генерал...

— Ага... lettres de cachet? А разве французская революция знала это? Вот видите. Похожа ли наша революция на французскую?

Глаза Насти совсем разошлись в разные стороны.

Генерал смотрел ей в переносицу и вдруг подумал: „Царевна Софья". Но тут же возразил себе: „Нет, Софья была не косая".

— Как?—удивленно спросил генерал, стараясь понять суть ее вопроса.—Разве вы, вы революционерка, не верите в нашу революцию?

— Верю,—твердо и серьезно ответила Настя.

Генерал обрадовался такому ответу, ибо всякий другой ему был бы менее понятен и взволновал бы его.

— Ну, то-то же, то-то же. А я было-подумал...

— Оставим это,—перебила его Настя.—Я пришла ведь к вам, собственно, по делу. Разрешите мне оставить у вас некоторые бумаги. Письма моей матери и прочее. Я уезжаю из Москвы далеко, далеко для одного дела. Мало ли что может случиться. Если разрешаете, я вам сегодня вечером занесу...

„Ох, какая косая",—подумал про нее генерал.

„До чего люди в старости глупеют",—думала Настя, глядя прямо в недоумевающее лицо генерала.

— Пожалуйста. Господи, какой тут может быть разговор. Только... имейте в виду, у меня теперь остались только два друга: независимость и спокойствие. Если ваши бумаги лишат меня их... Вы понимаете?

— Даю вам честное слово.

— Ну, ну, ну. Хорошо. Ладно. Несите ваши бумаги.

Ах, как хотелось бы генералу теперь узнать, куда едет Настя, зачем. Проклятая деликатность не дает возможности спросить.

Настя размашистым жестом поцеловала генерала в лоб.

— До свиданья.

— Жалко, жалко... Так скоро,—генералу было от души жалко расстаться с Настей.—А то бы... Я бы угостил. Правда, одна только картошка, да и то вчерашняя... Ну, морковного чайку можно было бы...

Настя потуже повязала чепец и вышла из комнаты, сопровождаемая генералом.

Проходя через столовую фабриканта Копылова, Настя застала все семейство за завтраком. На стол только что были поставлены дышащие паром и маслом котлеты. Володька и Нюра доедали куриный бульон. Сами хозяева с салфетками на грудях и с лоснящимся румянцем на щеках только что приготовились вкушать.

— Так по вашему солдат всегда прав?—спросила Настя уже в передней.

— Где русский солдат—там дух свят.

— А чем кончится наша революция? Вы давеча заикнулись...

— Кончится, милая моя, монархией.

Сказал он это, а Насте словно пахнуло в лицо запахом могилы и меди—вместе. Запах этот шел от засаленного его мундира и медных пуговиц на нем.

— Но только,—сказал совсем тихо генерал, притворяя парадную дверь,—но только не царской, а народной.

И седоватые кудряшки на висках генерала показались Насте рожками дьявола.

Едва она захлопнула дверь, как до ее слуха донеслось:

Генерал, генерал,
Пташечка, канареечка
Жалобно поешь.

И Настя подумала: „Почему же духовной пищей этих детей сделалось издевательство?"

IV. Революционеры.

Кого там они взяли на автомобиле, у почтамта? Видал? — спрашивал Голубин, стоявший с отрядом по Мясницкой, у солдата, бегущего с той стороны.

— Кого-то из наших, из большевиков. Не разобрал хорошенько, но кажется т. Смидовича... С ним еще был кто-то.

Солдаты небольшого отряда жались к высоким домам по Мясницкой, изредка высылая разведчиков. В отряде был и Андронников. Посмотрев долго и пристально вдоль Мясницкой, он скомандовал:

— Приготовляй винтовки, ребята! Вон; вон там у третьей тумбочки они ставят пулемет.

— Тра-та та-та,—ружейный и пулеметный огонь затрещал со стороны отряда Андронникова.

— Тра-та, та-та-та, — ответили только ружейным огнем с той стороны.

— Цепями, бегом!—скомандовал Андронников.

В его отряде был один старый солдат, который подумал: „Чорт знает что! И командовать-то не умеет! Ну, да все одно: поняли. Бежим вперед!"

Выпустив все патроны, старый солдат залег за тумбочку и быстрым опытным движением руки вставил новую обойму.

— Тра-та-та-та,—трещали ружья со всех сторон.

— Вжик-вжик-вжик, — то справа, то слева мимо ушей свистели пули.

— Това!.. — хотел крикнуть старый солдат, высунувшись из-за тумбочки. Но не докончил: опять нырнул головой за тумбочку и ударился в нее лбом, присевши на коленях, словно делая земной поклон.

Так и остался он тут коленопреклоненный, упершийся головой в тумбочку у самой земли. Минуты три шел пар от крови и спина солдата—широкая, мужицкая—судорожно вздрагивала. А потом кровь стала багроветь и холодеть. Тело же успокоилось, застывши в земном поклоне.

— Стой, товарищи, не стреляй! Бросай винтовки!—кричал Андронников к тем, которые стреляли с враждебной стороны.

— Сам не стреляй, бросай винтовки! — отвечали с той стороны люди, отступающие вдоль стены переулка и волочащие за собой пулемет.

Андронников и те, кто были с ним, подбежав почти вплотную к своим врагам, крикнули:

— Стой, ни с места! — и все держали винтовки (Андронников впрочем, маузер), направленные против людей, волочивших пулемет.

— Какого чорта в своих стреляете,—говорил Андронников сдавшимся, — тоже солдаты! Отправить всех их в Александровское, на Арбат.

— У нас тут раненый есть,—робко сказал молодой рыжий паренек из сдавшихся.

— Вы эс-эры?—спросил Голубин.

— Мы из отрядов Попова. Ничего не знаем мы, как скомандовали, так и вышли. А что и к чему—не знаем.

— Халуй! Что ты врешь-то!?—гаркнул на рыжего парня пожилой солдат с большой бородой лопатой и очень грустными голубиными глазами. Из-под солдатской фуражки виднелось правильное деревенское кружало.—Не слушай его, товарищи. Мы все эс-эры и знаем, зачем и куда шли. Мы за Советскую власть только, значит, за свободные советы. И еще мы не согласны немецкому кайзеру руки давать, как он нас на фронте бил. А мы за Советскую власть, за самую советскую, только значит, чтобы не одни коммунисты при ней были.

— Эх ты! Зипун с бородой! Мало, видать, каши ел, коли так рассуждаешь,—выступил Голубин.—Ну, да что тут! Кровь прол ва те только! Голова с соломой. Давай, стройсь! Ведем их, товарищи, в Александровское!..

Рыжий паренек дрожал, как в лихорадке. Все сдавшиеся выстроились и пошли под конвоем, во главе которого был Голубин, Андронников и еще трое остались, чтобы найти раненого.

Около угла солдат с благообразной бородой и печальными глазами оглянулся и крикнул Андронникову.

— Эй ты, коммунист! А на счет крови не думай на нас. Чай мы и сдались-то, чтоб друг дружку не биты!

Вдалеке ударило:—Уухх!

Это лево-эс-эровская трехдюймовка открыла огонь по Кремлю.

— Где тут у вас раненый,—сказал Андронников, поднявшись на третий этаж в квартиру.

— Вы коммунисты? Комиссары?—вместо ответа спросила еще в прихожей молодая женщина, у которой глаза в темноте прихожей блестели, но не одинаковым блеском: один ярким, другой тусклым. И голос ее было показался знакомым Андронникову.

— Вы кто?—спросил он.

— Вы за мной или за раненым?

Между тем Андронников, трое красноармейцев и женщина вошли направо в большую буржуазную гостиную. Искоса и украдкой Андронников взглянул на незнакомку. Что-то знакомое в ее лице... Легкие морщинки около глаз, немного вытянувшийся подбородок должно быть от голода—это чужое на этом лице. А вот немного калмыцкие скулы, прямые волосы назад, крутой лоб—это то самое знакомое, давнишнее.

Женщина заявила, что сейчас позовет хозяйку и двинулась к выходу.

— Не надо,—поспешил Андронников и резко выпрямившись, загородил ей дорогу.

Взглянули друг другу в глаза. А глаза-то у нее раскосые, один смотрит ему в левый глаз, а другой, наполненный тайной и страхом, вперил свой взор в угол комнаты. Но в обоих беспокойные блестящие зрачки.

Узнал, узнал он ее. Встречал и в Петербурге, а потом по Архангельской ссылке!.. Зимние длинные ночи... Русские споры обо всем и ни о чем; от споров чувство бесплодности на душе. Дружили они. Играли в шахматы. У нее же Андронников стал обучаться немецкому языку и математике. Учился по-своему, не считаясь с математическими „условностями". Так, например, при решении сложных задач, когда Палина его спрашивала: — „Ну, как же, Михаил Дмитриевич, что сначала надо узнать".—Андронников вынимал поспешно карандаш из-за уха и говорил, тыкая пальцем в цифры:—„Вот это, значит, складать, а эти две тыщи отбавлять и разбивать на сто". — Палина не успевала сообразить, как уже ответ был найден.

Но не всегда близкое сидение с Палиной способствовало решению математических задач. Кровь ударяла в виски Андронникову. Он захлопывал задачник. — „Не задача, а сволочь" — и начинал мерять комнату смазными сапогами. Палина тоже начинала страшно косить глаз на черную пасть русской печки и быстрыми движениями пальцев переламывала спичку за спичкой. А тусклая жестяная лампа освещала их розовеющие лица. Но... приходил кто-нибудь из ссыльных и напряжение разряжалось.

Однако надо же было раз случиться такому вечеру, когда долго никто не приходил. Андронников, прошагав по комнате вдруг, как вихрь, сбросил книги со стола, чуть не уронил лампу и обнял Палину. А Палина откинула голову назад, глаза ее заискрились бесовским озорством, и она перед его горящим взглядом и красными губами показала ему язык. Вырвалась, села на лавку, еще раз показала язык и беззвучно смеялась каждой чертой своего лица, каждой складкой платья и обоими раскосыми глазами. Андронников бросился еще раз. Повторилось то же самое. Палина оказалась сильной, как зверь и ловкой, как ведьма. Ни тот, ни другая не могли проронить ни слова.

боясь по инстинкту нарушить возбуждающее молчание, эту игру нервов, эту жестокую животную борьбу. Голова Андронникова горела казалось, вот-вот волосы вспыхнут. И черная пасть русской печки посреди избы пробуждала в душе что-то древнее—звериное, родовое Печь была давно истоплена, в ней потухли угли и из открытой черноты несло жаром очага. Андронников еще раз схватил Палину и дышал, как в лихорадке. Раскосая и немного растрепанная Палина опять показала язык и вырвалась так, что ее волосы разлетелись толстыми прядями с затылка по спине и плечам. „Ведьма“, мелькнуло в разгоряченном мозгу Андронникова.

— А ну, как сядет на помело, да в печь, да в трубу... И страх обънял его. Но не страшный страх, а сладкий. Его словно вышибло из времени и он почувствовал себя черным язычником. Бревенчатые стены избы зашпаклеванные кошмою, русская печка, пышащая теплом, повеяли чем-то кровным, материнским, вековечно родным. И сладкий страх и страшная сладость перемешались в сердце в одну страсть к раскосой Палиной. Ему показалось, что один глаз ее отливает красноватым, другой лиловым светом, а в обоих одно и то же: глубокое затаенное озорство. Такое же скрыто у Фаддеича в его единственном глазу.

Вой собаки послышался за дверью. Чьи-то шаги по кривым, скрипучим ступеням крыльца. Дверь открылась и с берданкой за плечом вошел ссыльный, а с ним собака; возбужденная, виляющая и глаза налиты кровью.

Вошедший сказал:

— Где-то тут недалеко от вашего дома бродит забежавший волк.

— Вот прелесть,—обрадовалась Настя и уставилась в окно, загородившись руками от света лампы.—Не он ли это, посмотрите.

И все трое уставились в окно. Действительно, немного поодаль от избы у снежного сугроба запорошенной бани смиренно сидел волк и поводил острой мордой, нюхая воздух.

— Эх, царапну его,—сказал вошедший.

— Пойдемте все на лыжах,—сказал Андронников.

И через полчаса все трое были далеко за селом, в снежном океане. Волк, конечно, убежал. И тот, у кого была берданка, пошел искать его.

На горизонте всходил поздний бледный полумесяц. Настя и Андронников стояли друг против друга. Чувство страсти ушло куда-то вглубь, но между ними родилось какое-то особенное, философское настроение.

— Вы социал-демократ,—сказала Настя,—потому что думаете, что на земле можно достичь удовлетворения, а я—революционерка, мне вся история человечества доказывает, что ничего положительного, будь то социализм, коммунизм, коллективизм, анархизм или что-нибудь еще—достичь нельзя. На земле может быть только приятное или неприят-

ное. Приятное—это революционная борьба, иногда победа, иногда—поражечие, но всегда напряжение, а неприятное—это стряпать обеды, во время вставать и ложиться спать, лечить зубы и хвалиться честностью—и никакого напряжения.

Андронников ответил ей:

— Вы сами, вы, Настасья Палина, не нуждаетесь в социализме,—оттого такое ваше рассуждение.

Полумесяц почти спрятался за холмом и был похож на высунутый язык, а на другом конце неба северное сияние заплясало бриллиантами. Легкие, блестящие звездочки-снежинки облипали Палиной оленью шапку с длинными ушами и ее дугообразные брови, глаза-же ее стальные-серые смотрели в разные стороны, но в обоих где-то далеко, далеко было все еще скрыто большое серьезное озорство.

Андронников в валенках „с мушками", в коротком ватном пиджаке и папахе смотрел ей в упор и думал: „Зачем они, эти, такие живут? Для чего? Статуя литая, а подошел, пощелкал, ан и видно, что внутри-то пусто".

Долго так они стояли, спаянные морозом, северным сиянием и северным молчанием, смутно ощутимой странной безысходностью каких-то вопросов и желаний. А озорство, как душевная мука, глядело из глаз Насти. И стукнулась тогда в голову Андронникова неразрешенная загадка: „уж не враг ли это передо мной".

Так это было давно и так сразу всколыхнулось в душе Андронникова именно сейчас.

И сейчас Андронников нашел разгадку своей загадки: „Да, это враг передо мной". Такие, как Палина, не заблудшие братья, которых можно вернуть, а подлинные, неистовые враги.

— Вы эс эрка,—сказал Андронников,—вы, если не ошибаюсь, были в ссылке в Кемском уезде.....

— Мы настолько хорошо друг друга узнали, что нам не о чем разговаривать,—ответила Настя и села на диван.

Андронников нашел раненого, допросил, вызвал машину, через $^1/_4$ часа на хорошем „пирсе" к дому подъехал Бертеньев. Он был радостный и разрумяненный от ветра и борьбы, как всегда с тонкой папиросой между тонких красивых пальцев; на груди электрический фонарчик и бинокль Цейса, справа маузер, слева кольт.

Раненого и эсэрку Палину увезли в Александровское училище.

Всю эту ночь Андронников и Зельдич допрашивали арестованных левых эс-эров.

Среди допрашиваемых был и благообразный мужик с бородой лопатой и грустными глазами, арестованный на Мясницкой, который тихо но настойчиво доказывал, что советы должны быть свободными и что нельзя допускать к власти одних только коммунистов.

Когда же ему во время допроса между прочим сообщили, что их вожди: Камков, Попов и др. бежали, мужик отвечал: „Вольному—воля

спасенному—рай", а если сумел, то и „винта нарезать" [1]). Раз советы, должна быть свобода, ну, никак не пресс и не по скуле, а что вожди бежали, до этого мне никакого касательства нет: они сами собой, я—сам по себе.

Долго он говорил, волновался и стоял на своем. Никакой в нем не было злобы, а тихое упорство во имя защиты взлелеянной в его сердце идеи свободы.

Под утро, часу в девятом, Андронников и Зельдич, как подкошенные, вытянулись на своих креслах, там же, где допрашивали, и заснули, засвистав в четыре ноздри.

А во дворе, в помещении арестованных, находилась вместе с другими эсэрами Настасья Палина.

„Мы—герои,—думала она,—а они—толпа. Произошел конфликт, трещина между героями и толпой. Мы—герои, должны спасти толпу, которая не ведает, что творит.

V. Солдаты

Андронников, как член М. К., почти не вылезал из митингов и заседаний. А Бертеньев все глубже и глубже уходил в работу В. Ч. К. Андронников из Московского Совета переселился на Рождественский бульвар в дом, занятый рабочими Городского района, по преимуществу печатниками. А Бертеньев переселился на Лубянку 11 в одну из самых отдаленных и потайных комнат, которая сразу же заставилась ящичками, коробочками с патронами, с частями автоматических револьверов, японскими карабинами, винтовками и т. п.

Однако это не мешало Андронникову считать Бертеньева своим другом, и наоборот. Тем более эта дружба не могла быть поверяема даже в беседах. Некогда было беседовать ни тому ни другому,

Раз во дни наступления чехо-словаков они встретились на заседании ответственных работников в Белом Зале Московского Совета.

Андронникова вызвали в N полк, как представителя М. К. В полку делалось что-то неладное.

— Едем вместе, у меня машина есть,—предложил Бертеньев.

И поехали.

Сидя в машине, Бертеньев начал:

— Вчера на рассвете по этой же дороге везли мы на грузовике Щегловитова, Хвостова, Восторгова и этого дылду-юнкера Самсониевского. Щегловитов нервничал больше всех. Все спрашивал, куда его везут. Хвостов молчал и был похож на „тесто" из Синей Птицы.—Словом, каждый из них вел себя по своему. Восторгова я приказал пустить первым... Готово... Из двух наганов...

[1]) „Винта нарезать" значит „бежать" по тюремному.

Андронников плохо слушал и думал про N полк и военного комиссара Ревникова, бывшего с.-р., который теперь, должно-быть, там и, вероятно, не успокаивает, а только мутит. „Жалко, я Муралова не прихватил с собою".

— Щегловитов упал на колени. Позорно так.

Бертеньев бросил за борт автомобиля потухшую папиросу и закурил другую.

— Заплакал даже. „Не я виноват в военно-полевых судах и казнях, не я". И особенно просил дать ему рассказать о деле Бейлиса, в котором также, по его утверждению, не он виноват. Престранный фрукт...

Кто-то из наших, не дожидаясь моего приказания, ему в спину... Готово... Ну, а Хвостов попросил закурить, встал к дереву и умолял в самое сердце, даже сам палец приставил к груди, указывая куда надо, чтобы без промаха... Готово...

— Больно уж вы там долго возились,—с отвращением сказал Андронников.—Такую дрянь надо бы сразу, залпом...

— Вы не знаете, иначе этого никак нельзя,—сказал Бертеньев, напирая на каждое слово, будто он что-то знал такое, чего не могут знать другие.

— А юнкера-дылду тоже. К нему подошел я. Он думал, что я хочу ему что-то сказать и слегка оскалил зубы улыбкой, а я ему прямо в центр лба... Готово... Ни одного движения больше.

— Канительщики вы,—ответил Андронников.

Автомобиль фыркнул, словно с устатку, прекращая свой бег у большого красивого подъезда больших казарм.

В просторном, пропитанном сыростью клубе, стоял невообразимый шум и гам многих голосов, из-за которых едва слышался с трибуны надорванный почти дискант Резникова.

Румяное, разгоревшееся лицо его, никогда не проходящая улыбка на лице, полубараньи, полудетские глаза, визгливый голос —способны были скорее возбуждать, чем успокаивать солдатскую полуголодную и полураздетую массу.

— Сапоги выдай, а потом и пой.

— Ладно, слыхали. А ты поди-ко постой в карауле в одной гимнастерке.

— Ишь, ты, „товарищи", „товарищи", и как скоро эти слова лопотать научились.

Гремели с разных сторон.

А Резников, один из военных комиссаров Москвы, давно уже прокричал голос и говорил писком, да еще с каким-то подсвистом.

Продираясь сквозь толпу солдат, Андронников слышал, как надрывался Резников:

— Дело в том-то и есть, товарищи, что контр-революция, субсидируемая буржуазными правительствами Англии и Франции, хочет

сжать нас железным кольцом и захватить плодороднейшие места на Волге, вынуждает нас напрячь все силы, чтобы сломить голову этой реакции, и тогда мы без всякого сомнения поднимем производительность на наших фабриках и заводах, поможем крестьянину провести социализацию земли и таким образом вследствие этого наладим правильное распределение среди всего населения и в первую голову среди частей создаваемой нами новой невиданной миром во всеобщей мировой истории всего мира Красной армии.

— Сапоги давай. Полно брехать.

— Слышали это, слышали.

— Все хорошо, только хлеба нету-ти.

Опять гремели неугомонные голоса.

Увидав Андронникова, Резников сразу и обрадовался и смутился. Раскраснелся еще больше, а язык, пострел, сам, как заведенный волчок, крутился, продолжая речь:

—... и вот надо быть выдержанными и дисциплинированными...

— „Выдержанными"... То-то вы картошку выдерживаете, пока не загниет...

— Нешто без хлеба бывает дисциплина?

Резников был уже не в силах продолжать.

От неудачи, от длинной речи, он дышал, словно раздувал десять самоваров. И все-таки расцветал румянцем и улыбался, и глаза, по всегдашнему, были ясны и уши горели, как у мальчишки, которому их „отодрали". Очень, очень не хотелось ему, чтобы именно сейчас видели его Андронников и Бертеньев... Стыдно было ему, когда-то смелому эс эру, террористу, за свою неудачу. Стыдно было ему и перед самим собою за то, что народ, который он любил, за который он боролся и страдал, оказался таким неблагодарным. Вон он, многоголовый, рычит, как вепрь, и полон гнева...

Встал председатель, безусый, безбородый и беспартийный солдат с лицом скопца и с родинкой на подбородке, из которой торчали три длинных волоса.

— Товарищи, товарищи. Сейчас слово будет представителю от Московского Комитета большевиков. Но прежде, чем дать слово следующему оратору, прошу вас, товарищи, быть вообще организованными. Кто что имеет, какое мнение, или что—выходи сюда и скажи, нечего галдеть. Эй, вы, там, товарищи у окна, вам говорят не галдите. А сичас товарищ обскажет нам все дело в продовольственном смысле.

Андронников не особенно громко, но твердо начал:

— Скажу вам просто, товарищи, что насчет обмундирования и продовольствия вы правы. Хлеба и всего прочего у нас нет. Нет у нас—и нечего вам дать. Что же выходит? Предположим, что мы бы вас распустили по домам, так разве от это прибавился бы в стране хоть один сапог? Вы говорите хлеба. Да ведь вы сами крестьяне, ну-ка, тряхни головой каждый из вас, подвозят ли мужички хлеб к

ссыпным пунктам, как полагается?.. А где везут, есть ли вагоны, чтобы доставить к центру?

Андронников забрасывал собрание вопросами и сам же на них отвечал. И мало-по-малу перешел на прямые упреки собранию, даже нападал на крикунов. Так как Андронников со вчерашнего дня ничего не ел, то голос его был особенно звонкий и отчетливый.

Бертеньев и Резников сидели в глубине сцены. Бертеньев до особой, садической слабости любил созерцать человеческую глупость, особенно, когда она яркая, неприкрытая, не глупость, а дурость, поэтому он с жадностью наблюдал Резникова, ожидая момента, нельзя ли вцепиться в его дурость каким-нибудь замечанием или вопросом.

— Как вы думаете,—спросил он наконец Резникова,—что выйдет из этой истории?—и указал на кочковатое поле солдатских голов.

— Чорт ее знает. Во всяком случае ухо надо держать востро.

— А мне, кажется, ерунда.

— Наверное. Чорт ее знает. Вероятно, ерунда.

Бертеньев слегка закусил губу, и на левой щеке его засверкала ямочка смеха.

Между тем Андронников уже при полной тишине собравшихся рисовал картину хозяйственной безвыходности до тех пор, пока на советскую Россию будут нападать и пока красноармейцы вместо единодушной безоговорной поддержки—будут галдеть.

— Мы большевики коммунисты ставку делаем всегда на массы. Пусть масса скажет, что надо. Если нужна другая власть,—пожалуйте сюда и говорите на-чистую: „Долой—дескать—Советскую власть".

И остановился. Солдатские головы закачались, как от ветра, и лица бородатые стали мрачнее туч...

— Да мы не насчет власти, а насчет сапог...—загуторили слегка солдаты.

— Мы не против Советской власти...

— Вестимо Советскую надо... Зачем нам буржуев?.. Довольно...

— А ежели Советскую власть надо,—подхватил Андронников,—так поддерживать ее надо, жизнь за нее отдавать надо, а не галдеть совсем напротив...

И опять пошел засыпать упреками.

Андронников вставил в оправу своих простых слов все недовольство солдатской массы, взял это недовольство, приподнял, показал всем, объединил всех и, объединивши, как опытный кормчий, повернул это недовольство в другую сторону, в сторону врагов революции. Он доказал, что разрешение всех тяжелых вопросов лежит в победоносном окончании гражданской войны.

Резников возражал, а Андронников направлял.

— Пишите, пишите скорее резолюцию, толкнул Бертеньев Рез-

никова в бок, раскрывая одновременно перед ним портсигар с тонкими желтыми папиросами.

— Ах, да, совершенно верно.

Резников достал свою „полевую книжку" и начал:

— Принимая во внимание...—задумался.

— Не так, это шаблонно,—шептал Бертеньев, сверкая бесовской улыбкой. И ямка на левой щеке, — пишите иначе: „Заслушав доклад военного комиссара... т. Резникова..." это обязательно надо, по крайней мере, завтра увидите себя в „Правде" на задней странице.

— Ну, хорошо, только тогда так: „Заслушав доклад военного комиссара, т. Резникова, и содоклад т. Андронникова, мы...

— У вас почерк плохой,—заметил Бертеньев,—давайте, я буду писать, а вы диктуйте.

И Бертеньев своим классически спокойным, красивым почерком стал нанизывать букву на букву, словно бусу на бусу в старо-русском ожерельи.

Едва Бертеньев и Резников закончили резолюцию, как Андронников своим звонким голосом, бросив в сердца солдат бодрость и уверенность, закончил:

— Да здравствует Советская власть! Смерть Колчаку и эс-эрам и всем наушникам и спекулянтам.

На сцену вынырнул черномазый и грязный солдат высокого роста с руками длинными, болтавшимися как две мохнатые лопаты, и протрубил, как иерихонская труба:

— Долой контр-революцию, генералов.

Правую лопату-руку он сжал в кулак и воздел вверх.

— Долой. Ур-ра,—гаркнули красноармейцы, словно камни ломали в горах.

— Товарищи, — начал председатель с бабьим лицом и волосатой родинкой у подбородка, — товарищи, военный комиссар т. Резников сичас прочитает нам резолюцию от имени всего собрания.

Резников прочитал:

— Кто „за"?—лес рук.

— Кто „против"?—никого.

— Воздержавшиеся есть?—Кто-то сзади поднял руку, но, увидав, что больше никто не поднимает, быстро спровадил свою руку обратно в гущу толпы.

— Принято единогласно,—заключил председатель.

В этот день Андронников опоздал уже на совещание в Белом Зале.

VI. Бертеньев.

Самсониевский был потрясен своим арестом. В „Бутырках“ он просидел недель пять или шесть. Но даже спустя много времени после освобождения не мог понять, что послужило основанием к его аресту. Если б обвиняли в спекуляции—было бы еще понятно, так как его могли видеть на Смоленском рынке в старых генеральских калошах с разрезами для шпор и в широкой генеральской накидке, ходившего и продававшего серебряный позолоченый портсигар, брюки, сапоги и еще что-то. Раз даже продал последние две золотые монетки. Но что же делать, ведь для жизни необходимо пропустить через кишки и желудок хлеб, картошку, морковь и т. п. Кроме того генерал любил через нос и легкие пропускать табачный дымок. Все это требовало выносить на Смоленский всевозможные вещи.

Однако, нет: не в спекуляции обвиняли его в Че-Ка, а в политическом заговоре, в сношениях с баронессой Де-Пот и генералом Алексеевым и в посылке офицеров на Дон к Каледину.

На допросе Самсониевский недоумевал и негодовал.

— Помилуйте,—говорил он,—Каледина я лично знаю. Это мой личный злейший враг. Еще в Академии мы с ним разошлись. Я считаю его авантюристом. Спросите у Брусилова, он знает о наших отношениях.

Самсониевского допрашивал Бертеньев.

Глядя на седенького сморщенного генерала своими серыми от бессонной мути глазами, Бертеньев думал: „А что, испугать мне этого генерала или нет? Можно изрядно испугать: стоит только сказать ему, что он предан в Че-Ка своим собственным сыном юнкером-дылдой. Сказать разве? Как-то забегают морщины на его сморщенном лице!“

Красный багровеющий закат пробивался узкой полоской через дома Лубянки в окно комнаты Бертеньева. Косой багровый луч, как меч, перерезал синее сукно стола, перегибался и падал в угол, где на полу стояла эмалированная плиточка с надписью: „Страховое общество „Якорь“. Она обратно откидывала багровый свет и краснела, томилась своей ненужностью здесь... И может быть, от этого и от седеющего генерала, глядевшего напряженным взглядом, Бертеньеву стало скучно. От скуки он, не переставая, курил тонкие песочного цвета папиросы.

— Да,—думал он, борясь со стихийно наседающим сном,—да, а ведь можно и обрадовать генерала, если ему сообщить, что вчера состоялось постановление коллегии о его освобождении.

А стихийный сон мягкой доброй лапой похлопывал Бертеньева по затылку, и багровые сумерки превращались в серые.

— Интересно,—думал Бертеньев,—как будет радоваться это лицо, если сообщить ему об освобождении.

Чтобы не дать сомкнуться стопудовым векам, Бертеньев перевел глаза на планочку: Страховое общество „Якорь“ и вспомнил, как еще во времена Керенщины в Белом Зале Московского Совета русские социалисты (кроме большевиков) принимали английских и французских гостей. Один из французов, Кашэн, в своей речи сказал:— Вот вы, русские, совершили грандиозную революцию, а посмотрите вон, прямо, справа, над головами президиума в этом здании висит еще икона.—Нет, нет,—решил Бертеньев,—непременно прикажу убрать эту дощечку.

Самсониевский сидел, как пригвожденный к стулу, и курил папиросы, которыми его усердно и совершенно механически снабжал Бертеньев.

— А вот, между прочим,—думал Бертеньев,—стоит мне сказать этому генералу, что его сын третьего дня застрелен нами за ложное предательство его, своего отца, и генерал от ужаса выронит папиросу изо-рта.

— Скажите-ка, вот что, гражданин Самсониевский,—начал Бертеньев,—вы знаете что-нибудь из Гоголя... наизусть?

— То-есть как.—Никак нет.—Ничего, а впрочем к чему?

— Э, плохо ваше дело, если не знаете.

— Виноват, дайте припомнить... Знаю. Конечно, знаю. Вот это: „прошу, пане, сказал Собакевич, наступая гостю на ногу“.

— Неверно.Неверно. Неверно,—равнодушно повторил Бертеньев.— Там сказано вот как: „Увидев гостя, он сказал отрывисто „прошу“ и повел его во внутренние жилья“.

Бертеньев знал наизусть чуть ли не всего Гоголя.

Самсониевский смутился, и папироска дрожала в его волосатых дряблых пальцах.

— Больше ничего,—сказал Бертеньев,—подождите меня здесь.

Потом отворил то, что генерал считал шкафом—это была потайная дверь в соседнюю комнату—вошел в этот „шкаф“, захлопнув его за собою.

В комнате было совсем почти темно. Явился спокойный с грустным лицом латыш и вручил Самсониевскому бумагу о его освобождении.

И вот теперь прошло после этого почти два месяца, а генерал, засыпая всякий раз, твердил себе это место из Гоголя. Даже днем, когда вздремнет в складном деревянном кресле, утопая в табачном дыму, губы его шамкают:

— „Увидев гостя, он сказал отрывисто „прошу“ и повел его во внутренние жилья“.

Задремав так однажды, генерал был разбужен.

— Простите, Исидор Константинович,—говорил фабрикант Копы-

лов, вежливо прижимая свою пухлую ладонь к плечу генерала.—Не беспокойтесь. Позвольте вас познакомить с Карл Ивановичем Брэнгэн, бывший владелец фабрики N.

И Брэнгэн, высокий, тонкий черный человек с очень ясными стеклышками пенснэ у глаз, тоже вежливо дугообразно полупоклонился.

— Видите ли в чем дело—начал Копылов, по коммерческой манере своей не любивший терять ни минуты.—Вы знаете, что вместе с господином Брэнгэном мы были пайщиками акционерного общества N, которому, между прочим, принадлежит завод в Калужской губернии. Теперь, как вам известно, я работаю в советском „распределителе“ № 12, а Карл Иванович управляет упомянутым мною заводом в Калужской губернии, ныне национализированном. Но так как вы сами знаете, что этот режим... Вы понимаете меня... То вот я и хотел бы предложить вам продать нам тот участок вашей земли, который граничит с участком, принадлежащим заводу.

— Позвольте, земля-то теперь не моя.

— Пустяки, мы считаем ее вашей.

Карл Иванович и Копылов сели на скрипучую кровать генерала. Они знали, что генерал разорен и революцией, и своей собственной семьей. Значит, ему нужны деньги.

— Мы вам гарантируем. Ведь это только для вас новость, а мы, коммерсанты, Боже мой, да если бы вы знали сколько мы подобных сделок заключили. Что вы!—Пустяки.

Копылов указательным и большим пальцем разводил по своим белым усам и острой бороде, а Карл Иванович, как жердь, торчащая из воды, сидел неподвижно, перебирая в своем уме различные суммы, которые можно было бы предложить генералу.

Самсониевский силился понять, что это значит, и никак не мог: с одной стороны, такая сделка—вещь вполне возможная, нормальная, устоявшаяся в веках, с другой стороны—режим. Режим.—Да. Но если у нас, как у французов, то и режим пройдет, как головная боль. Вернется семья. Но нет, жену он к себе не пустит. Никогда, ни за что. А вот детки... Приедут, нужно будет то, да се. Неизвестно что будет. Между тем перед ним два сытых господина—у них такие порядочные лица—предлагают деньги, еще и царские. И, собственно, справедливо за землю. А Че-Ка? Ведь он недавно оттуда. Нет, не надо соглашаться. Хотя ведь предъявило же ему Че-Ка совершенно нелепое обвинение в каком-то политическом заговоре, да еще в близости к Каледину. Видимо Че-Ка само плохо знает...

— Чего же тут? Надо согласиться.

И согласился, для деток. Если детки живы, здоровы, приедут, их надо пригреть...

На другой день условились итти к нотариусу.

А пока что наступала непроглядная зимняя ночь.

Оставшись один, генерал стал варить картошку на плохом примусе, который то вспыхивал синей звездой, то подмигивал красноватыми языками.

Окно слегка дребезжало под напором морозного ветра. Чем дальше земля отворачивалась от солнца, тем смелее становился ветер. Он, как странник беспутевый, перебирал костяшками-пальцами по стеклу, просясь к покою...

К ночи вихрь стал завывать, как стая волков. И все настойчивее стучал—просился к теплу, к печке.

Играли снежные бураны. Крутились в пляске, несясь с сине-белых просторах полей. Метелица металась по дорогам; у стен и заборов заметала холодно-снежный пух; в слепом ночном просторе вдруг упиралась в дыру, щель, разбитое стекло, в трубу на крыше, в подъезд сквозной со сводами могилы и там, задушенная визжала, выла, хрипела, охала, стонала, как яга...

Генерал откушал картошку.

А за окном, за домом, за улицей, по полям вокруг Москвы снежный буран-бурелом метался, как миллионы слепых во тьме.

Генерал плотнее занавесил окно, облокотился о раму и слушал, стараясь понять и снег, и ветер. Вот так и она, революция со штыками: не знает ничего, а ломает—думалось в мозгу.—А где-то сейчас, в эту ночь мои детки?

У генерала забурлило в животе от недоваренной картошки. И собственный живот показался ему мешком, набитым картошкой. К чему это все?—подумалось ему.—К чему питаться. Все, как река течет и ни к чему. Вот он дожил до 60 лет. А к чему? Кому это нужно? Богу? Чорту? Людям? Да ведь Бог, чорт, люди—это он сам. Да. А к чему он самому себе? К тому, чтобы вечерами слушать царапанье надоедливой крысы или временами, как теперь, прислушиваться, как воет метелица-ведьма? Нет, он и сам себе не нужен. Разве вот чревоугодие? Теперь вся жизнь превратилась в чревоугодие: только и думай, чем бы набить чрево. Пустое это... чревоугодие, да и брюхо тоже пустое. Все пустое, ненужное никому, а главное самому себе. Может деткам нужно... Детки. Они уехали, покинули его. Все увезли с собой.

Раньше это не волновало. Но вот сейчас... только сейчас. Этой мятежной и метельной ночью сердце, локти, коленки, все существо его почуяло, что совершилось что-то большое.

Сначала было: генерал, прочная семья, тишина и все на месте. Было определенное положение, обеды, ужины, и вдруг — маленькая каморка, красноватый свет грязной лампочки, какими освещались раньше уличные ватер-клозеты, картошка, картошка, картошка, тяжелая, как комья грязи, и—о д и н, н и к о г о...

А ветер вокруг Москвы по широким полям зачерпал своими вихрями голоса волчьих стай, волочил их в снежных волнах по улицам

Москвы и затыкал ими все щели окон, стен и дымовых труб, обвивал фонари и милиционеров на углах снежными космами и плясал вокруг них, повторяя волчьи песни.

Один генерал. Такое большое, бесповоротное в своей великости произошло с ним. Но он не сразу постиг значение этого именно потому, что это произошло тогда, когда кругом, всюду происходило все большое и внезапное. И все происходившее было велико, выше роста человеческой жизни.

А ветер закоченевшими костяшками пальцами стучал и шарил по стеклу. Как коршун-лиходей искал добычи, долбя своим клювом стекло.

— Видно только фабрикантам пригодился, — подумал про себя генерал.—И то, чтоб как из выжатого, выброшенного лимона выжать последний сок: за деньги оттянуть землицу, которую и без того отняли. Для верности дела петля с двух сторон. А детки? Хоть бы старшего повидать. Юнкер ведь мой милый, блестящий юнкер. Юнкер и—всегда сигары курил. Чудак такой. Ростом чуть не до потолка, а как ребенок.

Генерал отдернул засаленную занавеску. Черное стекло, а за ним малые белые пушинки-снежинки кружились по стеклу и умирали, падая на раму.

„Восстанет сын на отца и отец на сына", — не то снежинки шелестели, не то губы генерала самовольно это шептали.

Никогда генерал не верил в привидения. Раз только испугался, будучи мальчиком, лет 9-ти, в большом доме отца, в деревне. Няня ему рассказала, что каждый день около 12-ти часов ночи к соседке, дом которой виден в окно, прилетает ее муж, удавившийся год тому назад. Он прилетает по воздуху, в виде темного шара и опускается в трубу. А как пробьет 12 часов, так он снова вылетает из трубы и уносится „на тот свет". Вот раз мальчик—Иринчик, теперешний генерал, караулил у окна, когда полетит привидение. Напряженно-сверкающими глазками впился в черное стекло. Издалека приближалась гроза и мигала небесным огнем-молнией. Долго, напряженно смотрел мальчик в окно. Все не видно было шара. А как пробило 12 часов, так вдруг из трубы соседки поднялся шар темный и легкий, как есть согнутая спина человека. Поднялся и так легко, легко улетел по воздуху. На другой день отец объяснил мальчику: „Пустяки,—это начинающийся перед грозой ветер поднял с крыши пыль". И все-таки, где-то глубоко в душе мальчика отложилось впечатление о шаре темном. И вот сейчас всплыло.

Шар—привидение или взмет пыли. Но ведь было видно, что шар темный поднялся с дома соседки.

Генерал зрачками, горящими, как уголья впился в темноту, вихрастую снежными вихрями.

Шар. Что это? Несомненно он, шар. В правом четырехугольнике

окна ясно обозначился шар темный. Генерал задернул штору. Потом опять отдернул. Шар темный в правом четырехугольнике окна.

Генерал опять задернул штору, и левая рука его стала шарить часы на столе. — „Нет ли уже 12-ти часов,– подумал он.—Нет, нет, зачем часы?.. Неужели я верю..."

И опять открыл штору.

Шар темный, как луна, ясно обозначался в правом четырехугольнике окна. А может быть это луна? Да где же там, в такой метели? Шар—луна... как есть лицо.

Генерала ударило в мелкую дрожь, как лешего перед могильным крестом. И вдруг на один миг, короткий, мгновенный, как вечность, миг, никогда невозвратимый, генерал увидал в окне, что шар этот—не шар, а луна. Луна же сама не луна, а лик. Человеческое лицо. Лицо его старшего сына. Темное, землистое и вместо глаз два пятнышка, как две кровинки.

Генерал задернул занавеску, съежился. В нем тряслись все жилки и мускулы, словно на этих струнах сыграли чортов марш. Зуб на зуб не попадал.

Все члены генеральского тела приобрели сразу странную независимость, разладились: левая рука искала часы на столе, правая держала занавеску, одна нога ширкала по полу, другая—подкашивалась коленкой под стол, а голова качалась, как бы раскланиваясь.

Вдруг правая рука без всякого веления нервного центра отдернула занавеску.

Взглянул генерал и... ничего. Только темно и вихрь царапался в окошко. Да, вероятно, и не было ничего. Ах, сердце, сердце: что захочет, то и видит.

„Уж не умер ли он, сын мой возлюбленный?"—где-то уже отдаленно, на самом дне души перевернулась эта забота, как уходящая волна.

Стало спокойнее на душе и за окном. Звонок у парадного.

Чтобы окончательно исторгнуть из воспоминаний лунный лик своего сына, генерал поспешил сам открыть дверь.

Вошла Наталья Палина. Широколицая, размашистая, как ходячий ветер.

— Я к вам. Сначала не решалась войти.. Все смотрела в окно к вам. Вы должно быть не видели меня в темноте.. Ради Бога, Исидор Константинович, извините. Такое дело...

Палина была возбуждена. И все на лице ее было кругами: и глаза, и румянец на щеках, и волоса, завитые ветром.

— Позвольте переночевать у вас?—сказала она.

— Пожалуйста, я так рад,—генерал говорил правду: одному ему было слишком страшно в своей каморке.

Палина объяснила генералу наскоро, что она против большевиков и что поэтому ее преследуют.

— Ведь вы как будто уезжали, у меня ваши бумаги.

— Не уехала тогда, а теперь еду. Бумаги целы?

— Да, да, несмотря на обыск.

— Как? У вас?—забеспокоилась Палина.

— Но к счастью, милая моя, все оказалось недоразумением, кто-то донес на меня...

— Не ваши ли квартирохозяева?

— Может быть, хотя какое же я им зло сделал? Разве на их пострелят, которые меня дразнят, слишком громко крикнул.

Приход Палиной, спокойный разговор с ней восстановили общее равновесие генерала. Поэтому сразу он почувствовал себя слабым и сонным. Устроив Настю на кровати, он сам лег на сундук, не раздеваясь, и уснул, как убитый.

Во сне генерал стонал и проснулся от этого очень рано.

(Окончание следует).

Крест.

Рассказ.

Анна Веснина.

Брели по узкой улице, сгибаясь покорно, как верующие христиане под тяжестью креста Господня,—пешеходы с ношей за плечами.

Шли строго, угрюмо неся тяжесть, не развлекаясь по сторонам, и никто не поднимал малодушно ропщущего взора к небу...

Только Катерина в надвинутом киотом на сухое лицо темном платке, второй бессменный час в хлебной очереди, провожала каждого вздохами и жалеющими глазами.

Пестрым, прожорливым телом дракона тянулась по стенам домов очередь под чешуйчатый навес на углу похожей на кумирню городской лавки.

Чинно подражали взрослым ребятишки.

Можно было с уверенностью думать, что и появление допотопного змея, изогнувшегося гигантскими, устрашающими кольцами не испугает самого робкого из них. По привычке деловито станут в хвосте.

И шли, не останавливая глаз на очереди, обремененные пешеходы. Шли все в одном направлении, как паломники.

Шли старые, молодые, дети, плохо и прилично или смешанно плохо и хорошо одетые.

Хорошо одетые, больше всего плохо выглядели с ног: барыни и барышни. Будто на их долю выпал более торный и дальний путь—с трудом волочили разваливающуюся городскую обувь.

— Всем крест Господень выпал...—вздыхала Катерина, удрученно и молитвенно поднимая глаза на качающийся над неоконченной каменной постройкой большой деревянный крест.

Часто и с трепетом душевным смотрела на этот крест Катерина.

Стоял он высокий, сухой, посиневший от времени, колеблющийся от слабого ветра, безжизненный на красном теле постройки.

Пустыми глазницами смотрели из-за него из выветренных стен окна.

Грудами костей белели среди зелени внутри залитые известкой кирпичи.

Не вытерпела Катерина, вздохнула вслух, заметив среди пешеходов своего квартирохозяина, бывшего лавочника, таскавшегося теперь ежедневно из дому утром со скарбом за спиной и возвращавшегося с неменьшей ношей к вечеру, изнемогающего, усталого.

— Тащится, батюшка, едва-едва... не я одна, грешная, мучаюсь... Всем, всем выпал крест тяжкий, суровый, всем...

Андрей Коньков с открытым клином загорелой груди, сидевший подле очереди, на панели, оглянулся на проходившего.

— От такого креста и я бы не отказался... Прется с вокзала, наменял добра всякого... Крест... Желудок это, а не крест... Теперь всякий с желудком на спине ходит. На кого не посмотрю: набитый ли, тощий ли—все на спине.

— Хорошо это по-твоему,—сказала Катерина, смотря на него, как на врага.—Не крест, скажешь, после такой жизни, лавку какую с бакалейным товаром имел, десять приказчиков, жену, как барыню, одевал, ребятишек... А теперь на горбу им пропитание носит. Легко это по-твоему? Ты вот ничего не имел и понятия у тебя нет...

Женщина в черных очках, за которыми совсем не видно глаз, выступила Катерине на помощь:

— Конечно, не легко добра лишиться. Я одного купца знала—пароход у него с товарами затонул на глазах; перегрузили очень. Так он тут же на берегу с ума сошел—в воду кинулся... Тоже и лавка или дом...

Андрей приподнялся.

— Кто говорит,—хорошо... А только вы все богатых жалеете, словно сами все это потеряли...

Он оглядел, улыбаясь, бабьи головы, щетинистым хребтом высунувшиеся в его сторону.

— Вон, Катерина-печальница, приростила себе крест на загорбок да и мешечникам кресты вяжет. А мешечника один желудок давит...

Очередь запестрела, захребтилась...

— А что же, мешечник по-твоему не человек... Да у другого семья в десять ртов: малые да больные, небойсь будешь с мешком ходить. Сколько маяты по дороге примешь, да всякий обругает за мешок, да находишься сколько пока што выменяешь. Нет, это тоже надо понимать...

Андрей махнул рукой.

— Вы только и понимаете желудок. Больно хорошо жили прежде, ели, пили до отвалу, гуляли вволю... Ну-ка посчитаю я вас, кто хорошо жил... Всех ведь знаю...

Чиновник поправил потертую фуражку.

— А что, плохо ли: булка белая к чаю, крендели...

Голоса:

— Сахару вволю.

— Чай китайский.

— Магазины какие, что хочешь, то и просишь...

Товарищ подмигнул Андрею:

— Крендели, верно, жалко...

Пухленькая барышня сделала совсем плачущее лицо.

— Теперь и пойти некуда, повеселиться, потанцевать, как прежде...

Андрей с живостью повертывался.

— Ну-ка, ну, посчитаю, кто жил хорошо. С Катерины начну. Когда она жила на завидость,—когда на господ работала да швыряли ей как паршивой собаке объедки, за человека ее не считали... Подумаешь, сласть...

Катерина запахнула темный платок на груди.

— Обо мне што... Мне уж крест такой от Бога положен, всю жизнь терпеть... А господ хаять мне нечего, что за стол не садили— не вышла ни платьем, ни родом... Все же когда господа были—перепадали добренькие кусочки... Смирение паче гордости. Ты, вот, сколько ни гордись, а барином не будешь, комиссаром разве, ну, так ведь петух сколько ни пой - не соловей, комиссар сколько ни кричи—не барин...

Катерина победительницей отвернулась от Андрея.

Хребет бабьих голов ходил волнами...

Андрея еще больше подзадорило пощипать пестрый хребет.

— Ну, кто у вас голосит громче? Не та ли, что на готовых господских хлебах жила, мужа принять на ночь не смела, а понесла, так на улицу кинули ее, как гулящую... А то может, что с болонкой гулять ходила, или, что об дочери так не голосила, когда давилась девка за ребенка, не законом прижитого, кидала таких ребят, как щенят, а нынче за него десять аршин ситцу получила. Сдается мне— все тут есть.

Блудливым, прибитым змеем прижалась к стенам домов очередь. Прятался поднимавшийся хребет.

— Да, печальницы, голосистые, надо тоже оглядываться назад не с одной лакомой стороны...

Мужчины хохотали:

— Чеши, парень, всю улицу.

Хвост шипел:

— Священник, что ли он, пошел обличать...

— Срамник он...

— Бесстыдник...

— Смотри, кабы тебя не обличили...

— Катерину только жалко... За дочерью он, как добрый, ходит...

Катерина уверенно смотрела на крест у постройки:

— Сокрушается крест Господень, глядя на гордость, на заносчивость твою...

Крест согласно кивал ей синим, высохшим телом и похожее на хрип скрипенье от теревшегося о забор древка, шло сокрушенным стоном к самому сердцу Катерины...

— Правильно в писании сказано: „Слухом услышите—не уразумеете, глазами смотреть будете—не увидите знамения Божия... Огрубели сердца-то и ушами с трудом слышите и глаза свои сомкнули и не обратятся на крест Господень..." Вот он, батюшка, забыл ты его...

Катерина строго погрозила Андрею.

Хребет у змея опять заходил.

Андрей, стоя уже в дверях лавки, оборотился к очереди:

— Про вас это и сказано—ничего не видите, не слышите из-за утробы. За крест по доброму взяться не умеете... Все он у вас либо пугало, либо горб...

Андрей, словно добираясь до головы надоевшего ему змея, сердито скрылся в дверях лавки...

Змей разъяренным драконовым кольцом свился с шипеньем у входа:

— Большевик.

— Безбож-ж-жник...

Посинелый, мертвенный крест все так же тихо покачивался на красном теле заброшенной постройки...

* * *

Землетрясение происходило перед глазами Домны Антипьевны—прямо напротив ее бывшего дома рушился дом давнишнего приятеля ее Духанова.

Рушились со стоном и грохотом почернелые стены старого дома, звенели певучим вздохом осколки стекол, клочьями летел мох, лохматыми телами падали бревна...

Вот рухнула половина внутренней стены... и нельзя было разобрать—земля ли изрыгнула тучу дыма, пыль ли, накопленная долгими десятилетиями, поднялась вверх и окутала все развалины, как туманом.

Только стропила с открылками крыши поднимались над всем этим из мглы взлетающим к небу крестом...

А внизу, кругом развалин шевелились темные, напоминающие человеческий облик фигуры...

Домне Антипьевне казались эти облики слетевшимися на шабаш ведьмами.

Они пронзительными голосами прорезывали грохот и вырывали что-то друг у друга с остервенелым ожесточением.

Между ними перелетали с быстротою крылатых с места на место маленькие, лохматые фигурки.

Низко нависшее небо было загружено косматыми, нехотя движущимися телами...

Домна Антипьевна смотрела на происходившее перед ее глазами и не знала, как назвать это: землетрясением или адом.

Разошлась немного мгла, стало видно, что копошащиеся внизу облики людей—оборванные, закопченные женщины, старые и молодые, изредка мужчины; все с почернелыми, измазанными, как в саже, лицами, с сверкающими белками из темных впадин вокруг глаз.

С сладострастным ожесточением копошатся в этих развалинах, во всем этом мусоре, пыли, вырывая друг у друга плахи, доски, брезна, пилят, рубят, ломают, всячески способствуют разрушению, кто с ломом, кто с пилой, с топором.

Чуть поодаль стлался большими языками по земле желтый огонь и сидел на корточках перед ним кто-то черный... кого Домна Антипьевна определенно называет „чортом", а появившихся бесстрашно на верху развалин прокопченных, в дыму мужчин, угрюмо поглядывающих на копошащуюся толпу, обзывает с неменьшим гневом „дьяволами". Посверкивающие ломы в их руках кажутся ей адовыми вилками, на которые думают они подцепить грешника и ввергнуть его в адовую утробу.

Смотрит, смотрит Домна Антипьевна, ужасается—не хочет видеть в этом простую сломку старого дома, отданного гражданам на дрова. Не привыкла она к этому в свое время.

— Все строили, а не разрушали тогда,—вспоминает она и болит ее сердце...

Поколотила бы она баб, копошащихся в упоении на развалинах, наказала розгами снующих, как на празднике, ребят-чертенят.

— Ах, силен бес разрушения...—вздыхает она.—Все пошло прахом... Все...

Смотрит на стропила с открылками крыши, все еще нетронуто нависающие гигантским крестом над развалинами и кажется ей погибнут, наконец, под ним „поругатели".

— Накажи ты их, Господи,—молитвенно произносит она:—Всех-то всех хозяйственных, домовитых людей свернули с места для хамов и тунеядцев.

Вспоминает, что во всем ее благородном, господском доме расселены эти „хамы" и „тунеядцы".

— Редкие постыдились не уровнять себя с господами... Вот разве такие, как Катерина, помнят свое место... Осталась она, живет в подвале...

Домна Антипьевна почти с облегчением смотрит на Катерину, робко собирающую щепки в мешок и пугливо оглядывающуюся на „чорта" у костра—милиционера и у сломки другого, похожего на него...

А почернелые стены голубые и розовые изнутри становились все ниже и ниже...

Каменной бабой выступала печная труба, держала на себе крылатые стропила.

Вот набросили веревку, зацепили простенок и, взявшись толпой, как бурлаки за канат барки, потянули...

Опять перед глазами Домны Антипьевны дым, в ушах адский грохот и люди не то гибнут, не то справляют бесовское торжество...

Вот все тащат по короткому бревешку, похожему на брус лавочного хлеба, и несут его так же бережно, любовно...

Катерина все еще с пустым мешком, смотрит голодными глазами на растаскиваемое топливо...

Оборванный арестант, спустившийся сверху и не найдя ни у кого „табачку на закурочку" за помощь, взглядывает на неподвижную Катерину среди копошащихся баб и, угадывая ее голодное вожделение, схватывает откатившееся к его ногам бревешко и сует его Катерине.

— На, на, хватит им... жадничают...

Катерина дрожащими руками охватывает дарованное бревешко и торопливо прячет.

— Надо бы уж и мне...—шепчет удрученно бывшая домовладелица.—Все равно растащут... Воронье... По-божески прав у меня больше—компаньонами были сколько лет с хозяином.

Домна Антипьевна накидывает шалочку похуже и выходит на улицу. Стоит в нерешительности.

— Попросить надо кого...

Катерина, завидев ее, подходит.

— Здравствуйте, матушка-барыня. Вышли посмотреть... Эх, грязное это дело...

— Ее и попрошу... Дешевле, чем с другими, обойдется...—решает старая барыня.—Она уважительная, сделает, пообещаю ей чего...

— Вот что, Катеринушка... Мне самой-то зазорно,—говорит она показывая свое чистое шерстяное платье.—Ишь, одета-то я как, а тебе в самый раз. Понатаскай-ка мне малость... Тоже надо на зиму...

Катерина пестрая до колен от заплат, сменивших неразличимо теперь первоначально цвет и материал ее узкого пальтишка, смотрит на Домну Антипьевну участливо...

— Где же вам барыня?.. Такие ли у вас руки...

— Ты одна только и понимаешь меня, Катеринушка...

— Как же, чувствую, матушка-барыня—тяжкий крест выпал на вашу долю... Шутка ли—домом каким владели, капиталом... Мухи не обидели, жили себе потихонечку, только бы покушать да Богу помолиться, а теперь и угол-то вам отвели последний, можно сказать, в собственном то доме... Каково это... Истинное святое терпение надо иметь... Разве я не понимаю...

— Так постарайся, Катеринушка, я не забуду...

— Постараюсь, потружусь, барыня...

Катерина замешалась в толпу баб и бревешко за бревешком росло у ног притаившейся за воротами Домны Антипьевны...

Тот же арестант, сунувший Катерине бревешко, помогал ей усердно в этом хищении, не найдя покупателя на казенные дрова.

— Хоть добро сделаю бабенке бедной... С детишками мается наверно,—думал он, утешаясь этим.

С неба все те же лохматые темные груды нависали над развалинами, над прижавшимися тесно друг к другу домами.

Стояла непоколебимо каменная баба с крестом...

Справляли оргию люди...

Смиренно подошел и вежливо обратился к наблюдателю за сломкой старичек в поддевке:

— Сорок лет жил я в этом доме—квартирка и лавочка у меня здесь были... Позвольте взять по праву хоть два бревешечка теперь... Все знаю - жил я здесь... Все права... Сколько лет... Позвольте...

Наблюдатель безжалостно отстранил его.

— Иди, иди. Много таких правых найдется... Каждому жильцу по бревешку. Здесь по ордерам только и то не хватит—сами у себя крадете... Иди, иди. А ты куда, баба?.. Стой! Стой!

Катерина, тащившая десятое бревно барыне, попалась ему на глаза.

— Я давно тебя вижу. Клади, клади на место. Ордера у тебя нет. Ишь, ловкая...

Домна Антипьевна схватила в это время под мышки два самых больших бревна, похожих на акул и убежала с ними.

Катерина смущенно положила взятое бревно...

— Жалко тебе чужого добра...

— Эй, кому надо готовых,—крикнул в толпу наблюдатель.—Тащите вон из того двора, кому вешать,—указал он на ворота, где скрывалась перед этим Домна Антипьевна.

Две бабы бросились в указанные ворота и живо, как своих украденных ребят, перетаскали короткие бревна.

Возмущенным взглядом провожала их Домна Антипьевна.

— Из домов-то так же тащили чужое, как свое... у... нечистое племя .. Житья от вас нет... Порядки тоже... Провалились бы они...

Катерина виновато возвращалась к ней...

— Обидели вас, матушка-барыня... Все я... Как-то не поостереглась, будь они прокляты. И мое-то полешечко стащили даденое...

Полная грудь Домны Антипьевны ходила валами...

— Житья нет от нехристей, проклятых. Докуль их Господь терпеть будет!.. Одно убежище осталось—к мертвым на могилку сходить, пожаловаться...

Стропила, колеблющиеся крестом над развалинами, вдруг обрушились с грохотом вместе с печной трубой...

Опять ад и землетрясенье перед глазами Домны Антипьевны...

Она подняла руку.

— Предзнаменование Господа.

Величественно повернулась уходить...

Катерина взяла на спину пустой мешок и как с ношей, сгорбясь, пошла мимо сломки...

— Бедная барыня... Попускает же Господь терпеть праведных...

* *

Недалеко от кладбища жила Катерина и часто видела, как ходит туда бывшая домовладелица Домна Антипьевна на могилу своего мужа, похороненного в склепе.

Так подолгу остается там, что не усмотрит соседка, занятая голодной суетой, когда проходит Скакунова обратно.

— Праведная душа,—умиленно думает Катерина.—Все в посте да молитве... Я обедни или всеночной не могу выстоять—ко сну меня клонит в святом месте. Прямо наказанье Божие. Не могу одолеть греховной слабости. Летом - с устатку, с жары, спать в холодке хочется. Народу мало в церкви—вольно. А зимой намерзнешься на улице да в нетопленой комнате, зайдешь в Богову светелку—тепло, пригревает, примаривает... А в писании што сказано: „Кто хочет итти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной"... А куда мне... Вся я мирскими грехами обвешана. И крест греховный на мне...

Прошла величавой поступью Домна Антипьевна от церкви к склепу, а Катерина, как грешница, спряталась, укрылась за деревья...

— Ах, никогда-то мне и краем ступни не походить на Домну Антипьевну...

— Святая душа беседу с Богом поведет, а я что делаю... Что делаю, блудница...

Опустились руки с мешком... Собирала она, обламывала сухие ветки, сучья с берез, с вожделением посматривала на крепкие стволы, пожалела, что мало сушины на кладбище.

Оставила мешок, подошла к кресту над прахом домовладельца Скакунова, посмотрела на белые ступеньки, по которым спустилась вдова.

— Чисто, порядливо все... Блюдет опрятно...

Склеп был выложен под самой землей. Только со стороны входа видно было, что это не простая могила, а склеп. Но не будь вверху на насыпи креста, можно было бы подумать, что это не склеп, а каменный пивной или винный погреб за широкой, сизой железной дверкой с крепкими петлями, схваченными большим, висячим замком.

Так просто, но прочно, по-купечески, охраняла прах своего мужа Домна Антипьевна.

И крест на насыпи стоял тоже простой, деревянный, поражающий только своими размерами перед всеми ближайшими крестами.

Удивлялась Катерина этой простоте. Очень богатый человек был Скакунов и не одни дома оставил он в наследство своей жене.

„Видно—любит она простоту и строгость во всем, не желает возвеличиваться перед другими",—думала Катерина.

И опять умиляла ее эта скромность.

Перекрестилась на крест и подумала:

„Такой же здоровый да плечистый был покойничек... Из доб рого дерева..."

И дальше пошла голодная мысль:

„Не жалели раньше дерева..."

Вспомнилось к этому:

„Дома совсем дровишек нет к зиме, а заморозки уже начались... Муж справиться не может в холоде да без горячей пищи... Ребята бегают по помойным ямам... Экая жизнь проклятая".

Подумала последнее и устыдилась:

„Опять я о мирском... На минуту от земного не уйду... На кладбище о дровах думаю, в церкви—о свечке Божьей, кабы вместо иконы жратву свою осветить, в лавке жду кабы лавочник обвесился да мне целую ковригу вместо половины отпустил... Экие все грешные мысли одолевают... Куда ни сунусь... Вон матушка-барыня ушла из теплой комнатки, стоит поди на коленочках на каменном, холодном полу... Душу вознесла Богу, а я... Тоже на крест гляжу... А бес от по пятам следует... Уж, кажется, здесь только и мир и успокоение душе найти, отрешиться от земного..."

Оглянулась кругом...

Небо—плат, хмурый, постный.

Церковь—мать-игуменья, белеет издали краем белой мантии.

Березки—покойнички, как обрызганные по белым телам трауром. Трясутся, поколачивают голыми ветками, как сухими косточками.

Могилки без зелени под сухими листьями,—мертвые горбы, желтые.

Кресты—мученики, иссохшие, посинелые, черные, белые.

Тропинка—след ручья замеревшего...

— Все мертвому покою ответствует...

Умиротворенно вздыхает Катерина и склоняется ко кресту...

Вдруг кто-то не настроенный согласно, выпустил невидимо на кладбище целую стаю живых разноголосых птенцов...

На тропинку, топая, как добрый конь, вынеслась раскрасневшаяся девушка.

За ней выбежал Андрей, поймал ее и приподнял обеими руками, как легкий сноп...

Из груди девушки опять вырвался целый выводок невидимых разноголосых птенцов и разнесся по всему кладбищенскому лесу...

Он встряхивал ее, а она звенела неудержимо... обвивая звоном молчаливые горбатые холмы, оголенные деревья, бросая в нахмуренное небо живые звоны молодой здоровой груди...

— Вот тебе, забастовщица. Вот тебе, вот...—приговаривал он, встряхивая ее и стараясь поцеловать то с одной, то с другой стороны...

Но она вертела во все стороны головой и ему не удавалос| поцеловать ее в щеку.

Катерина узнала дочь и сурово выпрямилась...

— С безбожником?!. Коммунистом?!.—шептала она одними губам| и только шагнула угрожающе им навстречу...

Потом закипела вся...

— Дунька. Бесстыдница. Срамница. С ума ты спятила. На клад бище... Игры... С парнем...

Андрей выпустил смолкнувшую девушку, и молча смотрел н Катерину.

— Не застращаешь...—проговорила Дуня, строго расправляя толь ко что смеявшиеся губы.

Андрей смело обнял Дуню за талию и направился вместе с девушкой к ее матери...

Спокойно остановился перед суровой женщиной.

— Не чужой я парень Дуне, а жених...

Дуня смело смотрела в лицо матери...

— Мы завтра маменька в Совет идем...

— В Совет?!. Советский жених?!. Никогда. Умру скорее, тебя запорю. Поди сейчас же домой.

Катерина властно протянула руку к дочери, но рука осталась протянутой—дочь отодвинулась...

— Что я маленькая?.. Поведете вы меня... Выросла я... Да и законов таких нет больше. Сама могу располагать собой!..

— Идем сейчас же...

— Не пойду я с вами...

Катерина, опустив руку, стояла задыхаясь...

— Господи, помоги... Крест тяжкий...

Дуня смягчилась.

— Маменька, но что же тут худого? Радоваться надо только. Двое больше вам поможем. На одном заводе работаем... Я Андрея давно знаю и товарищи его любят... Вас он уважает...

— Чорта они уважают, твои коммунисты. Сама ты коммунисткой стала. Родителей забыла. Бога потеряла, стыд... Ох...

— Что же я дурного делаю, маменька? Вы сами дурно понимаете все...

Андрей попытался расправить круто изогнутые брови.

— Смотрите вы проще на все, Катерина Семеновна... Не выдумывайте сами себе ужасов, не взваливайте на спину крестов...

Катерина подняла руки к небу.

— Крест, крест тяжкий. Отцу пойду скажу... Господи, Господи... Дочь... Стыд... Срам...

Опустила голову и указала строго на могилу Скакунова:

— Праведница здесь молится, просить надо, чтоб за нас молилась, наши грехи отмаливала...

Андрей с любопытством посмотрел на массивную дверь в склеп.

— А что она в этом погребе делает?

Катерина не отвечая ему, пошла, сгорбившись, от жениха с невестой...

— Вынесу ли я крест этот?..

Ветер теребил оставшиеся редкие листья на березах...

Спустился на землю и шумливым, золотым, бесовским хороводом пронесся под ногами Катерины...

* * *

Нахохлившимися, заморенными индюшатами, бродили по узкому, клеточному ящику-двору трое ребятишек Катерины: два мальчика и девочка.

Рылись по всем углам, словно не находя седала.

Закружились около деревянной оградки, охраняющей пяток клумб с запоздалыми левкоями.

Старший—лет десяти,- согнув мохнатые плечи, не вынимая рук из рваных рукавов, указал локтем на оградку:

— Если мамка не принесет дров—сломаем оградку...

Нависший унылым носом козырек картуза чуть приподнялся.

— Ярко будут гореть—крашеные...

Другой потрогал толстые деревянные колышки—крепко ли они сидят в земле и сухо проговорил:

— Выдернуть можно...

Маня, самая младшая с длинными рукавами, как с распущенными до земли крыльями, посмотрела на цветы.

— Продам их завтра...

Стояла, угрюмо рассматривая продолговатые махровые головки...

В клетошник спустилась женщина с ведром мусора.

— Белка не видали?

— Нет, тетя,—с живостью отозвались все трое, не спуская глаз с ее ведра.

— Ну, ладно, найдет...

Женщина подошла к дырявому корыту у дворницкой и вытряхнула мусор.

Только она ушла, голодные индюшата обступили корыто,—выбирали шелуху с вареного картофеля, головки от селедок и складывали себе в полы рваных пальтишек.

Выбрав все эти отбросы, довольные уселись на лестнице в подвал. Со свистом и сопеньем сосали, как молочные рожки—селедочные головки...

Не заметили, как под воротами показалась Катерина.

Увидела поглощенных едой ребятишек, замедлилась.

— Опять по чужим ямам ходили... Соседи увидят—стыд... Накаье вы мое. Крест тяжкий. Давно ли ели?!

Дети пугливо закрыли от нее остатки своей еды...

— Нету больше...

Старший приподнялся и лохматыми крыльями заложил руки эсте с полами назад. Казалось, он готовился защищаться по-орлиному.

— Проходи...

Мать только вздохнула:

— Терпеть надо, а вы озорничаете...

Качая головой в темном кивоте платка, спустилась по каменным пенькам в подвал. Опять вспомнилась Домна Антипьевна, величаво скающаяся в склеп мужа.

— Ах, легче ей к мертвому итти, чем мне к живому...

В большой, низкой комнате было темно, как в деревенской бане черному. Два продольных окошка, и без того маленькие, были кнуты наполовину какими-то грязными кишками.

Русская печь выпячивалась голым мертвым брюхом. От ее пометельного, давно не кормленного чрева было еще холоднее.

У противоположной стены лежал на кровати человек, отвернувсь от печки. Но только черная, лохматая голова и острое плечо, овко приподнятое, отворачивались, а половина тела и ноги, заметные одеялом только по приподнятым носкам, лежали немощно пластанными.

При звуке тяжело скрипящих половиц, он разогнул плечо и на итой подушке отделилось бледное лицо.

— Добыла дровишек?—спросил он срывающимся, зазубренным осом.

Скрипучим замком ответила ему Катерина.

— О-о-ох... Грехи...

Истомленно опустилась на первый попавшийся стул—старое вое ведро, перевернутое вверх дном.

В комнате только и было мебели, что две кровати: одна под ьным, другая служила столом и кроватью, а стулья заменяли обранные на сломках домов на дрова,—старые, дырявые ведра и тяные банки.

Вся деревянная мебель пошла на топливо.

Больной откинул с груди одеяло.

— Отобрали опять, что ли?—спросил он тревожно.—Где была-то?

— На кладбище...

— Ну, и что же... Хоть бы крест сломила... Подыхаю ведь...

— Не богохульствуй. И так на горбу крест-от.

— Носись ты с этим крестом. Грызть его, что ли, будем? Где ва-то? Мешок ведь брала. Где оставила? На царство небесное менял... Будь ты проклята—праведница!

Кровать хрустнула под его телом.

Десятый день пищи горячей не ели. Выдирай доски из-под меня. Выбирай, праведница. Терпенья больше нет.

Бледное лицо приподнялось от желтой подушки, сухие руки с большими ладонями тяжело оперлись о кромки кровати. Больной приподнялся, сел, а ноги оставались так же вытянутыми.

— Выворачивай кости из меня. Вывертывай ребра. Больше ничего не осталось.

Двери в подвал отворились.

— Погодите, погодите, Игнатий Егорыч,—уверенно прогудел из двери молодой голос.—Настсящее топливо я вам принес. Дуня сказала—дровишек у вас нет... Вот я и... Эх... Давно бы... И что за люди!..

В дверях стоял Андрей с большим во всю спину распластавшимся позади мешком...

Дуня вошла за Андреем и тревожно взглянула на мать...

Андрей свалил со спины мешок. Он тяжело стукнул о деревянный пол и привалился до плеча Андрею.

Андрей, морща брови, заговорил:

— Ну, Катерина Семеновна, достойная праведница ваша вдовица Скакунова... Спасает душу, можно сказать, в посте и молитве...

Темные брови Андрея совсем сдвинулись углами, руки крепко сжали мешок...

— Люди мрут от голода, последнюю рубаху меняют на кусок хлеба, а она, смиренная вдовица, натаскала, как запасливая крыса, целую кладовочку съестного, питьица, в мужнин склеп да и жирует потихонечку, коньячек попивает, наливочки... Золотом обложилась вся, проклятая. Все покойничку снесла... Сама помрет, чтоб никому не досталось... Спит сейчас праведница, упилась... Зло меня взяло... Не утерпел я...

Андрей откинул верх мешка, мешок свалился к полу и обнажился непривычным телом в комнате синеватый крест...

— Сломил я этот крест... Пусть хоть людей обогреет...

Черные буквы на кресте гласили:

„Вечная память домовладельцу Карпу Петровичу Скакунову"

Не могла разобрать Катерина: пол ли под ней качается, сама ли она падает...

Сиденье ее, ведро старое, покачнулось...

Стены ли покрылись черными пятнами, буквы ли с креста закружились, запрыгали перед глазами...

Явь ли, сон ли бесовский, испытание ли от Господа...

---

* * *

Сергею Клычкову.

Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охвачен,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И в страну березового ситца
Не заманишь шляться босиком.

Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст—
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне,
Словно я весенней, гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь—
Будь же ты во-век благословенно,
Что пришло процвесть и умереть!

С. Есенин.

Воробьевы Горы.

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключем.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слыхал про старость.—Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят,—не веришь: на лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это—полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны.—Дальше им нельзя.
Дальше—воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков,
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

* * *

Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны,
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купэ,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине;
С матрацов глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фатаморганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Б. Пастернак.

Письмо.

А. Гладиловой.

Тяжелой поступью громоздкой
Проходит твердо день за днем,
И вдруг чудесно, как берестой,
Почталион пахнет письмом.
Овеян вестью благовонной
И весь в цветеньи полевом,
Я вижу, вижу упоенный,
Как зеленеет за окном.
И сквозь булыжное смятенье,
Сквозь быстрый грохот мостовой
Я слышу жаворонка пенье
И тихий-тихий голос твой.
И не замечу, слитый с песней,
Что кто-то стены уволок,
Что все небесней, все небесней
Сквозит и дышит потолок.
И не замечу, упоенный,
Что тихий-тихий голос твой
Лишь только призрак благовонный,
Лишь только призрак полевой.

В. Кааин.

На рассвете.

В избушке пахнет молодым ягненком.
Вчера лишь окотилась пестрая овца.
В передрассветной мгле спросонку
Старуха охает, болит у костреца.

Тряпьё горбом развесилось с полатей.
Тулуп махорится дубленым рукавом.
Молодка разметалась на кровати,
Прижалась к армяку зардевшимся лицом.

Рука висит на переплетах зыбки.
Ребенок дремлет. Теплый воздух полон снов.
И только кот, неугомонно-прыткий,
Свершает свой обход вокруг пустых горшков.

Поле.

Ветла с одиноким вороньим гнездом.
Сухая дорога и серое поле.
Под синим широким небесным шатром
Унылая древняя воля.

Взлетевшего чибиса жалостный крик,
Да возле сожженной громами березы
Печальник болотной пустыни, родник
Точащий подземные слезы.

П. Радимов.

Улюсь.

Улюсь, Улюсь, лесная речка,
Ты увела меня в леса,
С одной веревочной уздечкой,
С луконцем звонкого овса.

Вчера коня ловил, ловил я:
Хотел с полос возить снопы
И вот набрел по чернобылью
На невозвратные тропы.

Меж кочек шуркнули дорожки.
И я один и не боюсь.
Ой, сколько пьяники, морошки
По мху разбросила Улюсь.

И словно манит тонкой кистью
Черемухи росяный куст,
И слышится мне шорох листьев
И шопот человечьих уст:

Останься здесь, сбери бруснику,
Малину в сумку собери,
Да помолись златому лику
Неугасающей зари.

Здесь на тебя былые предки
Глядят, склонивши седины,
И в думы их вплелися ветки
И в быль несгаданные сны.

Здесь до зари у тихой речки
Горит всю ночь звезда-огонь,
А для твоей простой уздечки
Пасется золотистый конь.

Здесь сквозь туман синеют села,
Пылает призрачная Русь.
Останься ж здесь в плену веселом,
В лесу, у голубой Улюсь.

* * *

Ты умирать сбираешься так скоро,
И я с тревогой слушаю тебя.
Страшусь я смерти, как ночного вора,
Во всех, во всем златую жизнь любя.

И жду я,—вот в ночи придет громила
С отмычкою от тела и души,
И смеркнет облик дорогой и милый,
И я останусь один в тиши.

Меж тем, глянь, утром против на погосте,
Как в молоке, в цвету плывут кусты,
И гонят из-за них лихую гостью
Руками распростертыми кресты.

* * *

Куда ни глянь, везде ометы хлеба
И в дымке спозарань не видно деревень
Идешь, идешь и только целый день
Ячмень и рожь пугливо зыбют тень
От облака, бегущего по небу.

Ой, хорошо в привольи и безлюдьи
Без боли мир оглянуть и вздохнуть
И хорошо уйти—уйти в безвестный путь
И где-нибудь в ковыльную погудь
Прильнуть на грудь земли усталой грудью.

И верю я, идя безбрежной новью,
Что сладко жить, неся благую весть:
Есть в мире радость, есть: приять и перенесть,
И словно облаку закатному доцвесть,
Стряхнув с крыла последний луч с любовью...

С. Клычков.

Стихи.

I.

Все пасмурное, мрачное и злое,
Как шелуху, я отметаю в нас.
Мне хочется поверить в Голубое—
В лазурь цветов, ручьев, небес и глаз.

Мы—только ипостаси Голубого,
Рассеянного всюду, как эфир.
Оно—во мне. Оно влилось в любого.
Оно во всем, что населяет мир.

Оно—везде. Оно—душа вселенной.
Оно—сияет сквозь печаль и мрак.
Оно—вошло частицею нетленной
В кристалл, в волну, в животное и в злак.

Оно живет в звезде и в человеке,
Оно, синея, сходит в лепестки.
Вы—сестры нам, лазоревые реки,
Вы—братья нам, ржаные васильки!

II.

Я понял, что солнце, веселое солнце
Сияет во всем, обитает во всех:
В снежинке и в облаке, в льдистом оконце,
В ржаном каравае и в рыжем овсе.

Оно переплавилось в колос и в волос,
Оно притаилось во всяком из вас,
Оно остриями лучей прокололось
Из карих и серых девических глаз.

Я вижу его над своими путями.
Я солнцем, я с солнцем, я в солнце живу,
Сливаюсь с лучами, листами, цветами,
Влюбляюсь в людей и тянусь в синеву.

Когда же дышать и любить перестану,
Меня золотистым засыплют песком,
Но, кажется, я и тогда не устану
Тянуться под солнце упрямым ростком.

III.

Поток, росток, цветок на мирной ниве,
Учите нас премудрости своей.
Учите нас, о братья, быть счастливей,
Учите жить красивей и светлей!

О, солнце дня! О, напоенный небом
Пушистый снег! О, лиственный собор!
О, перелив звезды над синим снегом!
Прельщайте нас, родните нас с собой!

Учите нас дыханьем, каплей влаги,
Псалмами птиц, свеченьем голубым!
Каменья, льды, созвездия и злаки,
Учите нас молиться и любить!

IV.

Мне чудятся и в пышности цветенья,
И в снежном сне, и в голосах стихий
Космические всенощные бденья
И стройный чин вселенских литургий

Сияньем, вздохом, звоном поцелуя
От волн, долин и каменных громад
Восходит к сердцу мира аллилуйя,
Связав и звук, и цвет, и аромат.

Ни на земле, ни на кругах небесных
Не умолкает мощная хвала.
В ней слито все: и клир листов древесных,
И арфа вод, и лед, и свет, и мгла.

Звенит собор цветов златовенечных,
Грохочет гром, благовествует медь,
Поют в эфире хоры солнц предвечных,
И я пою, и не могу не петь.

Д. Семеновский.

---

* * *

У душистых овинов затканная,
Ты была, моя скатерть, бела,
Когда юность моя самобранная
На тебе и цвела и пила.

И не раз над твоими узорами
Проносилася тень от ресниц,
Когда страсть, овладевшая взорами,
Сладким бременем падает ниц.

Но сегодня ты мне опостылела
Оттого, что сухо души моей дно,—
Ночь его опрокинула—вылила,
Как на белую скатерть вино.

Суждено было кратко и весело
Целоваться и петь от души,—
То звезда мне в окошке повесила
Дальний зов от земной глуши.

Но туманится небо оконное,
И часишки стучат: тик да тик...
И на утро в лицо мое сонное
В темном зеркале смотрит старик.

Уж не в храме стою, а на паперти,—
Нищих духом не кроет покров,
И рыжеет на белой скатерти
Рудометная влага пиров.

Опрокинуто, смято, раскидано,
По всему пробежала внезапная дрожь.
И не мой ли убийца невиданный
Позабыл на столе этот нож?

* *

Кипит на галочьем нашесте
Беспечной жизни суетня,
А я как вбит на этом месте
Под тяжкой памятию дня.

На вольный лет питомцев мая
И чердаков и ветхих крыш,
К холодным окнам приникая,
Гляжу, как из подполья мышь.

И выше крыш и выше башен
Летят они, и ихний крик
Не оттого ли, что им страшен
Мой темный человечий лик.

О, как же беден я и жалок,
Коль не могу вмешаться в хор
Таких простых и милых галок,
В такой веселый разговор!

* * *

В ранний час, в мою теплую негу
Долетают с мороза слова,—
Вон, на дворик, распухший от снегу,
Привезли из деревни дрова.

Бьется звонкая чурка об чурку—
Бел-береза и синь-сосна...
Под пахучею горькою шкуркой
Притаилась весна.

П. Сухотин.

В Екатерининском парке.

Покуда комнатная слизь
Меня вконец не заплевала,
Играла жизнь, пестрела жизнь,
Как материно одеяло.

Я в жарком золоте, в саду,
Где сладко тяжелеют миги,
Где мысли мечутся в бреду,
Где листья мечутся по книге.

С Татьяной, с Ленским, на балу.
Пахнуло холодком дуэли.
А платье жаркое—во мглу,
В траву, на сонные качели.

Потемок радужная власть
И плеч дурманящая слабость.
Вот так бы на траву упасть
И пить сырую эту сладость.

И пить, и млеть, и изнывать
В потемках полосатых платья,
Чтоб жар, чтоб тень, чтоб благодать,
Чтоб солнце, тяжесть и зачатье.

. . . .

А солнце жарче на кругу,
А листьев тяжелеют тени,
И Ленский мертвый на снегу,
И я пред Ленским на коленях.

Н. Полетаев.

Погост.

Опять так радостно и просто
Звенит ручейковое пение,
У талых комьев погоста
Проросла крупка весенняя.
Чьи это слезы накапаны—
Белый и золотой сок—
Травка пушистыми лапками
Смахивает с холмиковых щек?
Раскрыленные березы
Чистят зеленый пушок,
И метелицы снежные слезы
Над моей неусопшей душой.
Сердце—комочком глины
У того креста дрожало
Всю зиму длинную,
Пронзенное льдинковым жалом.
Как слезинки птицы капают
С неба синеглазого,
Светлыми вереницами
Над перелесковыми ресницами.
Так радостно и ясно!
Даже кресты на кладбище этом
Раскинули руки красные,
Налитые солнечным светом.
Только вдали,
На яровой пашне весенней,
Такая чернота,
Что золотые свечи цветений
Затеплил чернотал.

Мих. Герасимов.

---

* * *

Январским вечером, раскрывши том тяжелый,
С дикарской радостью их созерцать я мог,—
Лесной геральдики суровые символы:
Кабанью голову, рогатину и рог.

И сыпал снег в окно, взвивался, сух и мелок,
И мнились чадные охотничьи пиры:
Глухая стукотня ореховых тарелок
И в жарком пламени скворчащие дары.

Коптится окорок медвежий, туша козья
Темно румянится, янтарный жир течет;
А у ворот скрипят все вновь и вновь половья,
И победителей встречает старый мед.

Январским вечером меня тоска томила.
Леса литовские! Увижу ли я вас?
И—эхо слабое—в сенях борзая выла,
Старинной жалобой встречая волчий час.

Г. Шенгели.

Песня веселого стекольщика.

Я хожу из проулка в проулок.
— Вот кому вставить в раму стекло?
С Волги льдом голубым потянуло,
На душе, как на Волге, светло.

Я вставляю везде, без разбора,
Только крикни: стекольщик!—Я тут.
За Саратовом Лысые Горы
К небесам, точно к матери, льнут.

Из окна мне рукой замахала
Чернобровая краля:—войди!
Мне с разбитыми окнами стало
Тяжело, беспросветно в груди.

— Вставь быстрей, чтобы с Волги не дуло,
Чтобы горница розой цвела!—
И задорно мне в очи взглянула,
И так близко ко мне подошла.

— Вставлю,—молвил. И вынул цветное
Из подставки стекло. А она:
— Нет, мне стеклышко нужно простое,
Чтобы в доме была тишина!

Тут её уговаривать стал я,
Пел, и слезы катились из глаз:
Ветер с Волги меж нами растаял,
Подружил без копеечки нас.

От красавицы вышел хмельной я.
На душе, как на зорьке, светло.
Вставил стеклышко я не простое,
Ярко-красное вставил стекло.

А потом, как и прежде, шатался
Мимо настежь раскрытых ворот.
И, как прежде, опять дожидался,
Когда кто-нибудь вдруг позовет!

П. Орешин.

В июне 1917*).

Ник. Суханов.

...В стране продолжались эксцессы, беспорядки, анархия, захваты, насилия, самочинство, неповиновение и расформирования полков... Продолжали, как грибы после дождя, расти „самостоятельные республики". В первых числах июня произошел „военный бунт" в Севастополе, в черноморском флоте.

В Петербурге же, между прочим, развили усиленную „деятельность" анархисты. Они имели территориальную базу на Выборгской Стороне, на отдаленной и укромной даче известного царского министра Дурново. Дачу эту они захватили уже давно и держали крепко. Это анархистское гнездо пользовалось в столице завидной популярностью и репутацией какого-то Брокена, Лысой Горы, где собирались нечистые силы, справляли шабаш ведьмы, шли оргии, устраивались заговоры, вершились темные и, надо думать, кровавые дела. Конечно, никто не сомневался, что на таинственной даче Дурново имеются склады бомб, всякого оружия, взрывчатых веществ. И понятно, как косилось официальное и советское начальство на это непристойное место в недрах самой столицы. Но—не хватало смелости, ждали особых поводов и пока терпели.

В последнее время анархисты стали находить не мало сторонников среди рабочих масс, густо населявших Выборгскую Сторону. И вместе с тем стали часто предпринимать наступательные операции. До сих пор они захватывали в Петербурге только жилые дома, откуда их вскоре выселяли. Но 5-го июня они решили сделать попытку установить анархистский строй в одном промышленном предприятии. Они выбрали для этого опыта великолепную типографию сумбурно-желтой газеты „Русская Воля", основанной еще царским министром внутренних дел Протопоповым.

---

*) Эти страницы представляют собой отрывок—in extenso—из четвертого тома „Записок о революции". При чтении надо иметь в виду, что в июне 1917 г., во время ниже описанных событий заседал „полномочный" Первый Всеросс. Съезд Советов, на котором подавляющее большинство принадлежало меньшевистско-эс-эровскому блоку, первому коалиции. Съезд заседал на Вас. Острове, в здании Кадетского корпуса.

Считаем необходимым отметить, что отношение тов. Суханова к некоторым событиям не вполне совпадает с отношением к ним редакции. *Редакция.*

В типографию явилось человек 70 вооруженных людей, занявших все входы и выходы и объявивших местным рабочим, что типография ныне передается в их руки. Рабочие, однако, не проявили достаточного сочувствия этому начинанию. А тем временем на место анархистской революции явились власти, в лице членов Исп. Комитета. Они, жаргоном Церетели, объявили захват „ударом по революции" и вообще сделали все, что им полагалось, но успеха не имели. Анархисты арестовали администрацию, выпустили рабочих и отказались очистить типографию. Пока шли переговоры, они напечатали свою прокламацию, где заявляли, что они убивают двух зайцев: ликвидируют подлую газету и возвращают народу его достояние.

Около здания собралась огромная возбужденная толпа. Были присланы две роты солдат, которые оцепили прилегавшую улицу и не знали, что делать дальше.

Тогда дело предстало перед самим съездом советов. Это было, казалось бы, обращение не совсем по адресу. Но во всяком случае это признавалось сильно действующим средством. Съезд, в пленарном заседании, немедленно принял внеочередную резолюцию—с осуждением захвата и с предложением немедленно очистить занятое помещение. С этой резолюцией, для личного воздействия, были командированы авторитетные вообще (sic!) члены президиума, Гоц и Анисимов, и большевик Каменев, авторитетный специально для анархистов. Вечером анархисты „сдались"—под двойным давлением: съезда и пассивной осады. Несколько десятков человек—разоружили, арестовали и отвезли в кадетский корпус, где и оставили под стражей.

„Речь" вскипятилась на другой день: почему арестованных отвезли „на съезд"? Разве нет для того более подходящих учреждений? Разве нет законных властей, законного суда и расправы?—Но все это были праздные вопросы.

* * *

Как бы то ни было, после этого захвата законные власти решили приступить к действию. Седьмого июня министр юстиции распорядился о выселении анархистов-коммунистов из дачи Дурново. Срок был дан—24 часа. А с утра 8-го на Выборгской Стороне забастовало 28 заводов, и к даче Дурново потянулись толпы, манифестации, вооруженные отряды рабочих. Собрали огромный митинг, отправили делегатов в Исп. Комитет—с просьбой принять меры против выселения и закрепить дачу за „трудовым народом". В Исп. Комитете депутацию встретили совсем недружелюбно и выпроводили ни с чем. Тогда с дачи Дурново отправили туда вторую депутацию, уже с заявлением, что анархисты будут защищать дачу сами и в случае надобности окажут вооруженный отпор.

Угроза могла оказаться не пусто: Выборгская Сторона имела

для того и подходящее настроение, и достаточно оружия. Тогда Исп. Комитет передал дело опять-таки всеросс. съезду.

Тем временем на дачу Дурново приехал непосредственный исполнитель приговора, прокурор Бессарабов. Он без большого труда проник внутрь помещения, и перед ним предстала неожиданная картина. Ничего ни страшного, ни таинственного он не обнаружил; комнаты застал в полном порядке; ничего не было ни расхищено, ни поломано; и весь беспорядок выражался в том, что в наибольшую залу были снесены в максимальном количестве стулья и кресла, нарушая стильность министерской обстановки своим разнокалиберным видом: зала была предназначена для лекций и собраний.

По отношению к представителю власти толпа не проявляла никакой агрессивности и преподнесла ему новый сюрприз. Дача Дурново, пустовавшая и заброшенная, была действительно занята анархистами-коммунистами; но ныне там помещается целый ряд всяких организаций, ничего общего с анархистами не имеющих: профессиональный союз булочников, секция народных лекций, организация народной милиции и др. Всем этим учреждениям деваться некуда. Огромный же сад при даче, всегда переполненный детьми, служит местом отдыха для всего прилегающего рабочего района. Всем этим, главным образом, и объясняется популярность дачи Дурново на Выборгской Стороне.

В результате, прокурору пришлось просто-на-просто ретироваться для доклада министру юстиции о „новых обстоятельствах дела". „Законной власти" пришлось пойти на попятный, разъяснив, что постановление министра не касается ни сада, ни каких-либо организаций, кроме анархистов, среди которых „скрываются уголовные элементы". Проворчали также власти нечто о провокации безответственных людей, волнующих рабочих и стремящихся довести власть до кровопролития. Но в общем дело, пока что, было лучше всего замять. Разведенная волна забастовок и возбуждения в столице явно не стоила проблематичных „уголовных элементов".

Однако дело уже началось слушанием в верховном органе всей демократии. Стараниями ретивых слуг „законной власти", всеросс. съезд снова прервал свои работы для полицейских функций. Президент Гегечкори уже предложил длинную резолюцию, которая объявляла захваты „направленными против дела русской революции", настаивала на „освобождении помещения дома Дурново", предлагала рабочим немедленно прекратить забастовки и вооруженные демонстрации. Затем, получив „новые" сведения от министра юстиции, многодумный президент разъяснил, что требование о выселении относится только к людям, „под именем анархистов учинивших уголовные преступления".

Все это было очень странно. Луначарский потребовал назначения комиссии для расследования. К этому присоединился даже

и сконфуженный министр Переверзев, появившийся на съезде и подписавшийся под тем, что приговоры он выносит до следствия. Но для поддержки „литературного держиморды“ [1]) выступил без лести преданный Гоц, который разъяснил, что анархисты не только захватчики, но и вообще большие преступники: они требуют не только оставления их на даче, но и „освобождения всех арестованных социалистов и анархистов, арестованных во время революции“, а также и конфискации ряда типографий для партийных организаций. Надо этих господ „осудить“. И съезд подавляющим большинством принял предложение Гегечкори.

Полицейский окрик был сделан. И, как всегда, это имело совсем не те результаты, на которые рассчитывали мудрые политики мелко-буржуазного большинства. Анархисты не подчинились воззванию и остались на даче: преследовать уголовных выселением было по меньшей мере абсурдно для ученых юристов коалиции. Но среди петербургского пролетариата полицейские подвиги „съезда всей демократии“, конечно, произвели удручающее впечатление. В глазах рабочих советское большинство, во главе с его лидерами, час от часа превращалось из идейных противников в классовых врагов. Ленин пожинал обильную жатву.

* * *

В распоряжение большевистского центрального комитета, вместе с большинством петербургского пролетариата, было и большинство рабочей секции в Совете. Кроме того, как мы знаем, наиболее близкие рабочим организации—фабрично-заводские комитеты—объединялись ныне в едином центре, который был совершенно забыт официальным Советом и находился в полнейшей власти большевиков. Это были щупальцы на всю рабочую столицу.

Но час от часу такое же положение создавалось и в **войсках** петербургского гарнизона. Уже давно и успешно работала большевистская военная **организация**, во главе с Подвойским, Невским, Крыленко, под тщательным наблюдением самого Ленина. Этот орган растущей и крепнущей партии не ограничивался пропагандой и агитацией: она успела раскинуть недурную организационную сеть и в столице, и в провинции, и на фронте. Немало прозелитов насчитывалось и среди офицеров-прапорщиков. А в Петербурге, кроме известного 1-го пулеметного полка, в распоряжение большевиков ныне уже находились и другие: Московский, Гренадерский, 1-й запасный, Павловский, команда Михайловской артиллерийской школы с ее орудиями и др. Организации большевиков были и в остальных полках. Если они в целом и были против Ленина, то не были ни за Чернова-Церетели, ни тем паче за Вр. Правительство. Они были в общем „**за Совет**“. Это несомненно. Но

[1]) Так назвал находчивого президента Луначарский в ответ на его разъяснение, что держиморда—литературное слово. Держимордой же в заседании съезда Керенский назвал Ленина.

это значит, что они были в неустойчивом равновесии: они были за того, кто наилучше воспользуется фирмой Совета.

Во всяком случае, петербургский гарнизон уже не был боевым материалом. Это был не гарнизон, а полуразложившиеся воинские кадры. И поскольку они не были активно за большевиков, они—за исключением двух-трех полков—были равнодушны, нейтральны и негодны для активных операций ни на внешнем, ни на внутреннем фронте.

Правящий советский блок уже выпустил из своих рук солдатские массы; большевики крепко вцепились в некоторые части и час от часу проникали в остальные. Слова о „всей демократии" получили более, чем относительное значение в устах Церетели: они становились смешны. Съезд, заседавший в кадетском корпусе, по настроению, был противоположен рабоче-солдатской столице. Советские лидеры были слепы. Жалкое здание коалиции стояло на фундаменте более, чем сомнительном.

И вот наступили события... В вечернем заседании съезда 9-го числа Чхеидзе взял слово для внеочередного заявления. Он заявляет, что на завтра, на субботу 10 июня, назначены в Петербурге большие демонстрации. Если съездом не будут приняты соответствующие меры, завтрашний день будет роковым. Возможно, что съезду придется заседать всю ночь.

Редакция заявления Чхеидзе была не совсем ясна. Но она была крайне внушительна. И она вызвала величайшее волнение среди делегатов. Поднялся шум, возгласы, вопросы с мест. Все требовали сведений, что же именно случилось... Для успокоения и частного осведомления делегатов пришлось объявить перерыв. Делегаты разошлись по фракциям и группам, и о положении в столице узнали вот что.

Волнения на Выборгской Стороне со вчерашнего дня все еще не улеглись. Да и вообще эти волнения начались не со вчерашнего дня, не с выселения анархистов. Они связаны с общим недовольством и тяжелым положением рабочих. Уже несколько дней ходят по городу неясные слухи о каких-то „выступлениях" петербургских рабочих—против правительства и его сторонников. Сейчас волнение охватило всю рабочую столицу и, в частности, Васильевский Остров, где заседает съезд. А на даче Дурново заседает некое специальное делегатское собрание рабочих, которое объявило на завтра вооруженное выступление против Вр. Правительства. На это собрание прислал своих представителей и Кронштадт.

Но, разумеется, дело не ограничивалось подъемом рабочей стихии. Без вмешательства солидных рабочих центров положение в данный момент уже не могло бы так обостриться. И таким центром, конечно, явились большевики. В рабочих районах 9-го июня были развешены прокламации, подписанные большевистским центр. комитетом и центральным бюро фабрично-заводских комитетов. Эти прокламации

призывали петербургский пролетариат на мирную манифестацию против контр-революции 10-го июня в 2 часа дня...

Прокламация эта очень существенна. С ней не мешает познакомиться поближе.—Сначала она в боевых, сильных выражениях, дает острую и справедливую характеристику общего положения дел и коалиционной власти. Затем, ссылаясь на право свободных граждан, она зовет протестовать против политики коалиции и в виде протеста выйти „на мирную демонстрацию — поведать о своих нуждах и желаниях". Эти нужды и желания, т.-е. лозунги демонстрации, таковы: „Долой царскую Думу!", „Долой Госуд. Совет!", „Долой десять министров-капиталистов!", „Вся власть Всеросс. Совету Раб., Солд. и Крест. Депутатов!", „Пересмотреть декларацию прав солдата!", „Отменить приказы против солдат и матросов!", „Долой анархию в промышленности и локаутчиков-капиталистов!", „Да здравствует контроль и организация промышленности!", „Пора кончить войну! Пусть Совет Депутатов объявит справедливые условия мира!", „Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с французскими и английскими капиталистами!", „Хлеба, мира, свободы".— Я выписал лозунги полностью. От комментариев, пожалуй, воздержусь, но внимательно ознакомиться с этими лозунгами очень рекомендую.

Не знаю, была ли эта прокламация в руках возбужденных делегатов съезда вечером 9-го числа. Вообще я лично не присутствовал на месте событий ни в этот, ни на следующий день: я был в эти дни болен и восстанавливаю события только по рассказам и газетам... Но во всяком случае в кадетском корпусе было известно, что в манифестации решили принять участие 1-й пулеметный, Измайловский и еще какие-то полки. Следовательно, манифестация на деле оказывалась вооруженной. Это, конечно, усиливало волнение.

Однако, надо сказать, что делегатская масса была взвинчена, главным образом, усилиями президиума, правящих сфер и их столичной периферии. Эти сферы действительно впали в панику и старались заразить ею съезд, но не имели достаточных данных. Звездной палате доставляли сведения, что выступление предполагается заведомо вооруженное. Затем ходили неясные слухи о каких-то особых планах большевиков. Источником таких сведений был, говорят, главным образом, Либер. Но ничего сколько-нибудь оформленного известно не было. А между тем мирная манифестация вовсе не представлялась делегатским массам таким страшным делом. Ведь вся Россия неустанно манифестировала в те времена. К ним привыкла вся провинция. Да и в Петербурге, в те же дни, манифестировали „сорокалетние" [1]), женщины,— вообще манифестировали все, кому было не лень. Никаких разрешений для этого не требовалось. Никого доселе Совет не стеснял (кроме

---

[1]) Призванные запасные свыше 40 лет. Они требовали возвращения домой. Об этой манифестации шла речь в предыдущей главе.

особых случаев, в апреле), и любая группа выступала на улицу, „пользуясь правами свободных граждан".

Источник переполоха на верхах был не вполне ясен делегатской массе. И те, кто не был особенно пугливым, кто не имел особой веры в таинственное,—выражали скорее недовольство. Всероссийский съезд собрался не для того, чтобы решать одно за другим местные дела. Если готовятся беспорядки, то дело местного, петербургского Совета, а не съезда—предотвратить их. В Петербурге происходит склока между правящим советским блоком и большевиками; но с какой стати съезду разбирать ее?.. Делегаты вспоминали фразу Луначарского о превращении съезда в департамент полиции и ворчали на неосведомленность петербургского Совета о положении дел. Они констатировали его оторванность от масс и неспособность справиться с ними.

И это, конечно, была святая, элементарнейшая правда. Между столичными массами и советскими сферами не было не только идейного контакта, не только не было организационной связи, но не было и общения. Исполн. Комитет, тихо умиравший в Таврическом дворце, был совершенно беспомощен. И он апеллировал к съезду, как к последней инстанции.

„Законная власть", вечером 9-го, с своей стороны, принимала меры. Она „призвала население к спокойствию" и обещала „все попытки насилия пресекать всей силой государственной власти"... Это, конечно, пустяки. Никакой силы там не было. Но патрули во всяком случае разъезжали по городу и демонстрировали тревожное состояние столицы...

В Таврическом же дворце, тогда же вечером, состоялось заседание солдатской секции Совета. Там представители исп. комитета, Богданов и Войтинский, принимали меры пресечения. Демонстрация, по словам Богданова, подготовлялась большевиками втихомолку от Совета уже несколько дней, и день 10-го июня может оказаться днем гибели революции. В принятой резолюции демонстрация, назначенная без ведома и согласия Совета, „была признана актом дезорганизаторским, способным вызвать гражданскую войну"; и было постановлено—без призыва Совета солдатам не принимать ни в каких манифестациях никакого участия.

По кулуарам Таврического дворца и кадетского корпуса ходили еще иные слухи. Будто бы прибывшие с фронта какие-то воинские части готовы, по приказу властей, поставить город на военное положение и обратить оружие против рабочих. Называли цифру в 40 тысяч казаков, вызванных Керенским. Будто бы в рабочих районах уже видели казачьи части, которые держались вызывающе. Эти слухи шли, надо думать, с Выборгской Стороны, от завтрашних манифестантов: они стремились подкрепить необходимость решительного протеста против властей.

Но на-ряду с этим говорили, что волнение рабочих разрастается,

вооруженные их отряды стягиваются к кадетскому корпусу и чуть ли не угрожают съезду. Поговаривали, что заседать ему на Васильевском Острове ныне становится небезопасно. Предлагали немедленно перекочевать в Таврический дворец...

Вместе с тем, утверждали, что дело тут не только в большевиках. Одновременно с ними собираются „выступить“ и монархические элементы. Вообще „слухи“ шли с разных сторон. Делегаты, слоняясь по фракциям и кулуарам, волновались и томились в жаркой атмосфере.

Заседание съезда возобновилось в кадетском корпусе в половине первого ночи. Чхеидзе предоставил слово и дело все тому же своему любезному сородичу Гегечкори. Этот достопочтенный джентльмен, собравшись с духом, развил большой пафос. Он ссылается на резолюцию съезда, принятую только вчера, по поводу дачи Дурново, о воспрещении вооруженных демонстраций. И демонстрирует съезду цитированную прокламацию большевиков. Он призывает дать решительный отпор тем, кто готовит удар и посягает на свободу. „Прочь грязные руки!“—кончает он.

Большевистская фракция проявляет некоторую растерянность Она, видимо, недостаточно в курсе дел столицы и своих лидеров. А лидеры отсутствуют. Нет ни Ленина, ни Зиновьева, ни Каменева, которые заняты важными делами в других местах. Нет и Троцкого. Из большевистской фракции на эстраде президиума сидит Крыленко; а по поручению этой фракции действует междурайонец Луначарский.

Председатель вносит предложение: создать бюро для решительного отпора тем, кто объявляет борьбу съезду. В это бюро входит и Луначарский. Однако, он поясняет, что немедленно выйдет из бюро, если оно вступит на путь прямой борьбы. И добавляет, что большевики уполномочили его подчеркнуть мирный характер предполагаемой демонстрации. Крыленко, с своей стороны, выражает протест против образа действий съезда: зачем он выносит постановления, не вступив в переговоры с большевиками? большевики охотно пошли бы навстречу съезду.

На-лицо Керенский. Он заявляет внушительно и определенно:

— Слухи о войсках, стянутых в Петербург с фронта, для борьбы с рабочими, совершенно ложны. Ни одного солдата, не принадлежащего к столичному гарнизону, в Петербурге нет. Вообще—войска, по моему приказанию, движутся и будут двигаться только из тыла к фронту, для борьбы с внешними врагами революции. Но обратно, с фронта в тыл, для борьбы с рабочими—никогда.

Очень хорошо. Так и запомним... Выступает и Мартов, высказываясь против дезорганизаторских действий большевиков, но призывая съезд к спокойствию и хладнокровию.

А затем, конечно, принимается новое воззвание к солдатам и рабочим. „В этот тревожный момент,—говорилось там,—вас зовут на улицу

для предъявления требования низвержения Вр. Правительства, поддержку которого всеросс. съезд только что признал необходимой. Те, кто зовут вас, не могут не знать, что из вашей мирной демонстрации могут возникнуть кровавые беспорядки... Вашим выступлением хотят воспользоваться контр-революционеры. Они ждут минуты, когда междоусобица в рядах революционной демократии даст им возможность раздавить революцию". Затем следовал призыв никому не ходить на завтрашнюю манифестацию. И—запрещение уличных собраний и шествий в течение следующих трех дней.

Этим труды съезда еще не кончились в беспокойную ночь на 10 июня. Делегаты были разбиты по районам Петербурга и разосланы по заводам, полкам и ротам для непосредственного воздействия и предотвращения манифестации. Делегаты работали всю ночь. А утром в 8 часов, было условлено собраться в Таврическом дворце для учета итогов. Там же в 2 часа дня было назначено собрание всех батальонных комитетов столичного гарнизона — по вопросу о вооруженных выступлениях войск.

Но спрашивается, что же делали в это время главные герои дня и виновники суматохи?.. Призывать на мирную демонстрацию с любыми лозунгами было их неотъемлемым правом. Но теперь уже несколько часов, как вполне определилась воля съезда, определилось резко отрицательное отношение к их затее со стороны советского большинства. Как же большевики реагировали на это? Что предпринимали они?

Конечно, деятельность большевистских центров была покрыта глубокой тайной. Что думали и делали Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, скрывшиеся куда-то со съезда,—об этом никто ничего не знал. А, кстати сказать, где Троцкий, который двое суток назад взывал к двенадцати Пешехоновым, а теперь также исчез со съезда, не желая высказаться о манифестации?.. Все они, конечно, не спали и не гуляли в эту ночь. Но не докладывал о своих кознях Цицерону Катилина.

* * *

О некоторых результатах ночной работы большевистских лидеров делегаты съезда узнали рано утром. Крыленко, очевидно, знал, что говорил ночью на съезде: большевики действительно пошли навстречу правящему советскому большинству. Их центральный комитет ночью отменил манифестацию. В „Правде", на первой странице, на месте известной нам прокламации, корректурой коей потрясал вчера Гегечкори,—красовался аршинный плакат, извещавший о новом решении большевиков. Лойяльный до галантности документ гласил так: „Ввиду того, что съезд Советов постановил, признавши обстоятельства совершенно исключительными, запретить всякие, даже мирные демонстрации на три дня, Ц. К. постановляет отменить назначенную им демонстрацию и призывает всех членов партии и сочувствующих ей провести это постановление в жизнь"... В других местах „Правды", посвященных

ранее демонстрации, теперь зияли белые плешины. Это большевистские лидеры сделали ночью.

В девятом часу утра, 10-го июня, в Таврический дворец стали стекаться делегаты, пребывавшие ночью среди петербургских масс. Сначала образовались митингующие группы по кулуарам; потом открылось совещание в белом зале. Его первая принципиальная часть была непродолжительна, но крайне характерна. Луначарский сообщает об отмене манифестации и рассказывает историю всего дела. Инициатором выступления была, собственно, дача Дурново, где заседает самочинный рабочий комитет из представителей 90 заводов. Большевики же были против демонстрации. Во всяком случае сегодня никаких выступлений не будет. Инцидент ликвидирован. И теперь следует прекратить межпартийную склоку, забыв о прошлых ошибках ради предстоящих задач.

Информация Луначарского была явно недостоверна. Но выводы были не только человечески разумными, но и политически единственно правильными. Однако на него немедленно обрушился Дан—не за информацию, а именно за выводы.

— После всего происшедшего елейность неуместна,—заявил маститый член звездной палаты,—необходимо раз-на-всегда покончить с тем положением, при котором возможны такие неожиданные осложнения. Необходимы реальные гарантии. Необходимо детально расследовать дело, выяснить виновников.

Речь Дана покрывается аплодисментами. Тогда Луначарский выступает снова и пытается разъяснить, что дело не в виновниках и не в большевиках, поиски которых только обострят положение. Глубочайшее брожение рабочих вызвано общими причинами, на которые и следует обратить внимание... Луначарского дополняет большевик Ногин, который требует, чтобы расследовали деятельность не большевиков, а Вр. Правительства, союзных агентов и отечественных локаутчиков.

В итоге перед нами, как „в капле воды"—классические взаимоотношения между властью и оппозицией, или—между беспочвенной диктатурой и поборниками демократизма. Положение остро, под ногами трясина, надо устранять общие факторы и принимать радикальные меры; но для слепых правителей не существует никаких сомнений в правильности их путей к истине и никаких препятствий, кроме злоумышленников... На-лицо сейчас был и Троцкий. Его усиленно звали на трибуну, но он отмалчивался и не пошел. Почему?..

Не менее любопытна вторая информационная часть этого совещания. Делегаты, которые провели ночь среди петербургских масс, докладывали о положении дел в полках и на заводах. И эти доклады как будто бы не могли оставить сомнений в том, что поисками злоумышленников, расправой над ними—дела коалиции исправить нельзя. На трибуне прошло десятка полтора докладчиков—сторонников коалиции и правящего советского блока. И все они говорили приблизительно одно и то же.

Делегатов повсюду встречали крайне недружелюбно и пропускали после долгих пререканий. На Выборгской Стороне—сплошь большевики и анархисты. Ни съезд, ни Петербургский Совет не пользуются ни малейшим авторитетом. О них говорят так же, как и о Вр. Правительстве: меньшевистско-эс-эровское большинство продалось буржуям и империалистам; Вр. Правительство — контр-революционная шайка. В частности, на даче Дурново заявили, что постановление съезда не имеет ни малейшего значения, и выступление произойдет.

На Вас. Острове—то же самое. „Выступление" среди рабочих крайне популярно. С ним связываются самые реальные надежды на изменение всей конъюнктуры... В полках — пулеметном, Московском, 180-м—объявляли съезд сборищем помещиков и капиталистов или подкупленных ими людей; ликвидация коалиционного правительства считается неотложной. Верят только большевикам. Будет или не будет выступление—зависит только от большевистского Ц. К. Министров-социалистов третируют, как изменников и чуть ли не взяточников.

В опаснейший 1-й пулеметный полк была двинута тяжелая артиллерия, в лице Чхеидзе и Авксентьева. Их согласились выслушать и постановили: „В согласии с Ц. К. (большевиков) и военной организацией (их же) полк откладывает свое выступление и эти три дня использует для организации выступления всего пролетариата в пользу мира и хлеба". Очень содержательно.

В московском районе делегатам упорно не давали говорить. Сколько-нибудь авторитетными оказывались только ссылки на „Правду"... Лучше других положение на Путиловском заводе, крупнейшей рабочей цитадели столицы. Там большинство заводского комитета принадлежит не большевикам. Тем не менее рабочие заявили, что постановления съезда для них не обязательны, что они будут подчиняться только своим заводским организациям и сочувствуют Ленину..

Сведений противоположного характера почти не было в докладах. Одно—два исключения подтверждали правило.

Впечатления делегатов во всяком случае сходились и в том, что суть дела не в манифестации и не в ее ликвидации. Корни движения слишком глубоки, и разлив его слишком широк. Сдержать напор народных „низов", подлинных рабочих масс—нет возможности. Если сегодня выступление предотвращено, то оно неизбежно завтра. Никакого контакта, примирения, соглашения между рабочей столицей и правящим советским блоком не может быть. База коалиции трещит и расползается по всем швам.

* * *

Однако, как бы то ни было, 10-е июня прошло без всяких выступлений. В течение дня Исп. Комитет и звездная палата получили

целый ряд успокоительных сведений. На многих фабриках и в воинских частях были приняты резолюции, что назначенного выступления быть не должно. Было даже вырвано несколько выражений лойяльности по отношению к всеросс. съезду советов. Затем состоялось совещание полковых и батальонных комитетов, где была принята резолюция с осуждением самочинных манифестаций и с выражением доверия съезду...

У звездной палаты поднялся дух. Исключения, видимо, показались ей правилом, воинские организации—солдатскими массами; а доверие съезду министры-социалисты, видимо, приняли на свой счет, т.-е. на счет всей коалиции. Все это создало достаточное настроение для принятия „решительных мер".

Но что же это за меры? Не спохватились ли советские лидеры? Не задумали ли они воспользоваться передышкой, чтобы изменить политику коалиции, чтобы перейти к решительному выполнению программы мира, хлеба и земли? А может быть они даже готовы, после печального опыта, пойти навстречу требованию создания действительно революционной и демократической власти?

Увы! Только одного рода меры были доступны мудрости звездной палаты. Преодолев панику, собравшись с духом, меньшевистско-эс-эровские лидеры бросились в наступление против большевиков...

В воскресенье, 11-го июня, часов в пять дня, в одном из классов кадетского корпуса, было назначено закрытое совместное заседание высших советских коллегий: Исп. Комитета, президиума съезда и бюро каждой его фракции. Всего было на-лицо около 100 человек и в том числе большинство партийно-советских лидеров. На-лицо и Троцкий; не помню Зиновьева; но Ленина, конечно, нет... Я к этому времени уже выздоровел и присутствовал на этом знаменательном заседании.

Его цель была, помнится, известна только одним приближенным звездной палаты. Но атмосфера была очень напряженная и была насыщена страстями. Здесь было уже не только возбуждение, но и жестокая ненависть. И было ясно, что правящая кучка готовит какой-то сюрприз...

За председательский стол, учительскую кафедру, сел Чхеидзе, который объявил, что обсуждаться будет вопрос о несостоявшейся вчерашней манифестации. Около председателя, создавая вид беспорядка, сидели на каких-то примитивных скамьях, а также и стояли приближенные и просто „инициативные" люди. Остальные, расположившись на ученических партах, в сосредоточенном молчании, ожидали, что будет.

Оказалось, что существовала некая специальная комиссия для подготовки этого собрания. И от ее имени с докладом выступил тот же Дан.

— То, что делали большевики,—говорит он,—было политической авантюрой. В будущем манифестации отдельных партий должны допускаться только с ведома советов и их согласия. Воинские части, как таковые, т.-е. с присвоенным им оружием, могут участвовать в манифестациях, устраиваемых самими советами. Партии, которые не подчинятся этим требованиям, ставят себя вне рядов демократии и должны исключаться из советов.

Смысл всего этого был элементарен. Большевики были в советах в меньшинстве; вводя разрешительную систему на манифестации и упраздняя „право свободного гражданина“, „особая комиссия“ отдавала большевиков во власть меньшевиков и эс-эров и фактически лишала их права манифестации. Делалось это для того, чтобы злоумышленные большевики не использовали права манифестации для восстаний, подобных апрельскому, или для всяких иных замыслов против правящего блока. Это был, собственно, исключительный закон, исключительный декрет против большевиков...

Больше ничего не могла выдумать мудрость звездной палаты для спасения революции. Но Дан забыл крылатое слово Камилла Демулена: декретом нельзя помешать взять Бастилию... Если дело шло о восстании, то—Боже!—как смешно было ополчаться против него с декретом, хотя бы и исключительным!..

Но Дан забыл и о другом, не менее существенном. Когда в зале начались иронические возгласы, протесты, сарказмы, смех, — то один из первых ораторов, правейший меньшевик, рабочий Булкин, напомнил ему об элементарном факте. Он сказал, что времена меняются, и сегодняшнее большинство может оказаться в меньшинстве завтра. Может оказаться, что оно готовит репрессии против самого себя и вводит в практику революции такие методы политической борьбы, от которых придется плохо их инициаторам.

Это была, конечно, святая истина, но еще не вся: превращение большинства в меньшинство и обратно—было не только возможно,— оно было неизбежно в самом близком будущем. А для тех, кто знал большевиков так хорошо, как знал их Дан и его товарищи, казалось бы, должно было быть ясно, что в случае действительной победы Ленина, правящему блоку не поздоровится... Но меньшевистско-эс-эровским лидерам ничто не было ясно. Они были слепы, как совы среди белого дня.

Собрание пожелало выслушать объяснения самих большевиков. От их имени отвечает на запросы Каменев. Он пытается быть спокойным, солидным и ироническим—под взорами большинства, преисполненными ненависти и презрения. Он даже пытается перейти в наступление. В самом деле, из-за чего весь шум? Чего, собственно, желает большинство, подпирающее коалицию?.. Была назначена мирная манифестация, что вытекает из права революции и никем не было ранее

воспрещено. Затем манифестация была отменена, лишь только съезд пожелал этого. Где тут хотя бы тень незаконности или нелойяльности?

Аргументация Каменева, кажется, вполне ясна и убедительна. Повидимому, многим и многим она представляется неоспоримой. Но почему-то ирония все-таки плохо удается Каменеву... Казалось бы, он „умеет быть в меньшинстве" и привык к ненавидящим взорам. Но он до странности взволнован и бледен. И его состояние передается всей кучке большевиков, разместившихся на задних партах, слева, недалеко от двери.

Каменеву задают целый ряд вопросов. Вопрошающих ораторов записана уже целая вереница. Но вскакивает Церетели и требует прекращения вопросов: ибо дело не в деталях, и вся проблема требует совсем иной постановки. Церетели, конечно, получает слово вне очереди—по существу. Но он бледен не меньше Каменева и, волнуясь, как никогда, он усиленно переминается с ноги на ногу. Повидимому, он собирается сказать что-то из ряда вон выходящее.

И действительно, выходит из ряда вон уже то, что Церетели публично выступает против Дана: очевидно, в „особой комиссии" Церетели оказался в меньшинстве и ныне апеллирует к собранию. Резолюция Дана никуда не годится. Церетели пренебрежительно машет на нее рукой. Теперь нужно другое, так же из ряда вон выходящее.

— То, что произошло, — кричит Церетели, с надувшейся жилой поперек лба,—является не чем иным, как заговором против революции, заговором для низвержения правительства и захвата власти большевиками, которые знают, что иным путем эта власть никогда им не достанется. Заговор был обезврежен в тот момент, когда мы его раскрыли. Но завтра он может повториться. Говорят, что контр-революция подняла голову. Это неверно. Контр-революция не подняла голову, а поникла головой. Контр-революция может к нам проникнуть только через одну дверь: через большевиков. То, что делают теперь большевики, это уже не идейная пропаганда, это заговор. Оружие критики сменяется критикой оружия. Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам борьбы. У тех революционеров, которые не умеют достойно держать в своих руках оружие, надо это оружие отнять. Большевиков надо обезоружить. Нельзя оставить в их руках те слишком большие технические средства, какие они до сих пор имели. Заговоров мы не допустим...

Церетели сел. В собрании поднялась буря и полное смятение умов. Одни были подавлены исключительным содержанием слов Церетели, другие были подавлены их неясностью и странностью. Оппозиция негодовала и требовала разъяснений. Каменев кричит:

— Господин министр, если вы не бросаете слов на ветер, не ограничивайтесь речью, арестуйте меня и судите за заговор против революции..,

Церетели молчит. С шумом поднимается вся кучка большевиков и с протестами выходит из зала.

Но посчитаться с Церетели было кому и помимо большевиков. В зале остался межрайонец Троцкий. Немедленно требует слова Мартов. Но и среди большинства настроение далеко не в пользу господина министра. Какой-то офицер, совершенно потрясенный происходящим, испускает истерические крики. Какой-то трудовик, аттестуя себя самым правым в собрании, отмежевывается от Церетели и его методов. Вообще началась экзекуция на два фронта: и по адресу большевиков, и по адресу Церетели.

В самом деле, прежде всего - какими особыми сведениями располагает господин министр? Если есть определенные сведения о покушении на государственный переворот, то сообщите их. Если нет, не делайте ваших выводов... Затем, что разумеете вы под заговором? Есть ли это злоумышление кучки людей против Вр. Правительства и существующего строя? В вашей куриной слепоте вы можете думать как угодно. Но для зрячего ясно, что перед нами огромное народное движение, что речь может итти только о восстании пролетарских и солдатских масс столицы, и тут никакими репрессиями против кучки, даже против партий помочь нельзя. Тут необходима перемена режима, ликвидация свобод, военное положение, ежовые рукавицы для рабочих; тут логика одна: буржуазная диктатура и конец революции.

Церетели предлагает „разоружить большевиков". Что, собственно, это значит? Отнять какой-нибудь особый арсенал, имеющийся у большевистского центр. комитета?—Пустяки: ведь никаких особых складов оружия у большевиков нет. Ведь все оружие—у солдат и рабочих, которые в огромной массе идут за большевиками. Разоружение большевиков может означать только разоружение пролетариата. Мало того, это—разоружение войск. Это не только буржуазная диктатура, но и наивная бессмыслица. Или, может быть, поднять в рабочей среде брата на брата, разделить пролетариат на белую и черную кость, раздавать оружие в зависимости от партийного ярлыка,—может быть, создать особые кадры преторианцев звездной палаты, Церетели и Терещенки?..

Ну, хорошо. Допустим, что эта программа превосходна, преисполнена подлинным демократизмом и истинной государственной мудростью. Но, спрашивается, как осуществить ее? Не собственноручно ли отберет оружие Церетели у пролетарско-солдатских масс, чтобы сложить его к ногам Терещенки? „Мы не допустим, мы перейдем к другим мерам"... Но каким именно способом?

Конечно, в Петербурге очень много рабочих и еще больше солдат, которые не станут участвовать в большевистском заговоре и не пойдут свергать коалицию с оружием в руках. Но где хоть тень оснований думать, что они пойдут с этим оружием на своих товарищей.

на солдат и рабочих соседних заводов и полков? Напротив, есть все основания думать, что для великолепной программы господина министра наличные небольшевистские полки решительно не годятся.

А еще более очевидно, что **большевистские** рабочие и части, по доброй воле, не отдадут винтовки, которую дала им революция. Разоружить их можно только **силой**, которой нет. Слова великолепного Церетели о „новых мерах борьбы“ были тем же жалким лепетом Львова о „решительных мерах“ и о „всей силе государственной власти“. Их не было. Программа господина министра была утопией.

Но допустим, что силы против внутреннего врага у правящего блока нашлись бы. Допустим, полки выступили бы под лозунгами: „разоружение рабочих“! Что означало бы это? Это означало бы катастрофу свирепой гражданской войны, в которой от Петербурга остались бы одни развалины, а от коалиции—во всяком случае гораздо меньше. Это была программа Церетели...

Этот господин знал только одно: что коалиция священна и ее политика—политика Шингарева, Львова, Терещенки—должна быть незыблемой. Больше он не знал и не видел ничего, как первобытный дикарь, разбивающий себе орех бомбой с динамитом, как медведь, избавляющий друга-пустынника от мухи ударом по лбу увесистым булыжником... Мартов, тут же в прениях, напомнил изречение Кавура, что при помощи осадного положения может управлять каждый осел. Увы!—лидеру звездной палаты, ныне далеко ее опередившему, было бы это не под силу даже при помощи осадного положения.

Я не помню всего хода этого „исторического“ заседания. Но во всяком случае не надо думать, что министр почт и телеграфа остался без поддержки. Все в той же напряженной, насыщенной страстями атмосфере выступил ему на помощь присяжный большевикоед, неистовый и надрывающийся Либер. Он был, несомненно, главным источником информации насчет заговора. Откуда он черпал свои сведения и что именно он слышал, мне неизвестно. Но во всяком случае здесь, на собрании, он не сообщил большего, чем уже сказал Церетели. Его поддержка состояла не в новых сведениях, а в углублении государственной мудрости своего лидера. Подняв свои два пальца, он обрушился на большевиков с яростью голодного зверя, с упоением и сладострастием. Подскакивая на цыпочки, держась на высоких нотах и действуя на нервы аудитории, он требовал в исступлении самых „решительных мер“, требовал обуздания, искоренения, наказания непокорных рабочих всеми средствами государства...

— Мерзавец!—раздалось вдруг со скамьи, где сидел Мартов.

Зал ахнул и потом застыл вместе с президентом и самим оратором. Атмосфера была до крайности раскалена; все вместе взятое было угнетающе, и довело участников до последних градусов нервного напряжения. Но все же такого рода „обмен мнений“ у нас в рево-

люции доселе не практиковался... Потом оказалось, что Мартов бросил Либеру не „мерзавец“, а „в е р с а л е ц“. Это было не бранное слово, а характеристика. И эта характеристика была точной.

Прения продолжались много часов, до полного изнеможения. Но результаты не выяснялись. Заседание было прервано, и вновь открылось только ночью. Принятие резолюции Дана было обеспечено. Но Церетели не хотел с этим примириться и настаивал на принятии иных, не словесных мер. Он боролся со свойственной ему энергией, можно сказать, напропалую. Бесцеремонно злоупотребляя своим министерским положением, он брал слово вне очереди каждую минуту. Я, наконец, не выдержал и крикнул ему какую-то фразу вроде той, какую бросил Луве Дантону, когда тот начал речь без разрешения председателя: „ты еще не король, Дантон!“ ...Церетели молчал несколько секунд, переминаясь с ноги на ногу и не зная, как выразить свое презрение, а затем бросил, махнув рукой: „Я говорю не для Сухановых!“...

Но он все же не убедил и остальных. Точно я не помню, чем кончилось это заседание уже при утренней заре: была ли тут принята резолюция или избрана какая-нибудь редакционная комиссия. Но факт тот, что в общем собрание согласилось с б о л ь ш и н с т в о м звездной палаты, а не с ее зарвавшимся лидером.

* * *

На следующий день, 12-го вечером, после торжественных проводов Вандервельда, вопрос о несостоявшемся выступлении предстал перед пленумом съезда. Церетели не выступал совсем. Но в качестве докладчика на трибуне появился Либер. И понятно, что весь доклад его был ламентацией насчет мягкости и добросердечия лидеров правящего блока, которые согласились ограничиться только осуждением попытки 10-го июня и воспрещением манифестаций без разрешения советов. Либер между прочим сообщил в докладе, что такое мягкое решение вопроса, в интересах единства, было принято е д и н о г л а с н о в собрании, подготовлявшем резолюцию; меньшинство, которое настаивало на гораздо более решительных мерах, „сознательно сняло свое предложение, хотя у него недоставало всего одного голоса“.

А затем, после возражений оппозиции, съездом было принято вчерашнее предложение Дана о мирных и вооруженных манифестациях. Ему было предпослано некое введение, где говорилось о контр-революционных силах, стремящихся разъединить демократию и использовать брожение среди народных масс; а кроме того, глубокомысленно указывалось, что это брожение—на почве голода, разрухи и войны—коренится в несознательности масс, „не отдающих себе отчета, что кризис не может быть полностью разрешен даже решительными мерами“...

Вероятно, потому министерское большинство и не обещало ни одной меры к разрешению кризиса, кроме воспрещения самочинных манифестаций. Впрочем, надо было и без слов понимать, что Терещенке и Львову требуется „самоограничение".

Еще до принятия резолюции, на этом заседании произошел „инцидент" с большевиками. От имени их фракции Ногин просит слова и оглашает заявление большевистского центрального комитета, адресованного съезду. Заявление довольно длинно, весьма знаменательно и отлично написано. Легко допускаю, что непартийный большевик, межрайонец Троцкий к нему руку приложил.

В заявлении говорится, что дело о манифестации началось и кончилось независимо от воли съезда, по постановлению большевистского ц. к. Он согласился на отмену потому, что съезд указывал на опасность использования манифестации организованными контр-революционными силами. Если так, то следовало ожидать, что в порядок дня будет поставлено расследование замыслов контр-революции. Вместо того съезд учинил суд над большевистской партией. Дан предложил ввести разрешительную систему на манифестации. Но ц. к. категорически заявляет: он не подчинится этим ограничениям и не наложит на себя оков, готовый „итти навстречу тюрьме и другим карам во имя идей интернационального социализма, отделяющего нас от вас"... Но Церетели пошел дальше Дана. Он обвинил партию в военном и рабочем заговоре. Это совершенно не согласуется ни с официальными доводами против демонстрации, ни с внесенной на съезд резолюцией Дана. Сам Церетели не делает выводов, не назначая расследования заговора. Мнимый заговор понадобился ему только для того, чтобы выдвинуть явно контр-революционную программу: „фикция военного заговора выдвинута членом Вр. Правительства только для того, чтобы провести обезоружение петербургского пролетариата и расказсирование гарнизона". Смысл этого говорит сам за себя. К таким мерам всегда прибегала буржуазная контр-революция. Но рабочие массы никогда в истории не расставались с оружием без боя. Стало быть, правящая буржуазия со своими министрами-социалистами сознательно вызывают гражданскую войну. Партия предупреждает рабочий класс об этой провокационной политике и разоблачает ее перед лицом съезда. Партия призывает рабочих к стойкости и бдительности.

Большевик Ногин, по словам председателя, затеял свое чтение не совсем во время. Кроме того, как видим, в документе предаются гласности некоторые сведения о закрытом заседании, описанном выше. Поэтому Гегечкори ни больше, ни меньше, как лишил слова большевистского оратора. После неистового шума и протестов большевики снова покинули заседание. Отношения все обострялись.

* * *

А в конце заседания слово для внеочередного предложения от имени президиума получил Богданов. Предложение было интересно. Потом я узнал, что его инициатором был Дан. Это было предложение устроить в Петербурге, а по возможности и в других городах, в ближайшее воскресенье, 18 июня, общесоветскую, рабоче-солдатскую мирную манифестацию. В этот напряженный момент внутри-советской борьбы она должна знаменовать собой единство демократии и ее силу перед лицом общего врага. Лозунгами этой манифестации должны быть только те, которые свойственны всем советским партиям и объединяют их. По мнению инициаторов, эти лозунги суть: объединение демократии вокруг советов, мир без аннексий и контрибуций и скорейший созыв Учр. Собрания.

В идее этой манифестации как-никак проявилось торжество более мягкого течения в звездной палате по отношению к большевикам. Это была идея смягчить принятый „исключительный закон" отеческим назиданием и ликвидировать всю историю демонстрацией единства в „елейной" атмосфере. Правда, на всякую „государственность" довольно наивности: лозунги, по нынешним временам, были, как видим, очень сладенькие. Они не для всех советских партий имели не то что боевое, а просто политическое значение. Было странно думать, что ими можно будет ограничиться, что они всех удовлетворят...

Но, как бы то ни было, идея манифестации 18 июня была данью порока добродетели. Предложение было, конечно, принято съездом в отсутствии большевиков. У большевиков, разумеется, также нет причин возражать. Посмотрим, что выйдет.

* * *

Дело о несостоявшемся большевистском выступлении этим все еще не кончилось. В среду, 14-го в Александринском театре заседал Петербургский Совет по тому же делу. Большевики, которые составляли уже около трети собрания, а может быть и больше, не пожелали участвовать в обсуждении этого пункта и опять-таки с протестами покинули зал. Без них тот же Либер выступил с тем же докладом и с той же резолюцией, что и на съезде. Петербургский Совет, за вычетом большевиков, послушно и единогласно, присоединился к постановлению „всей демократии".

А затем был поставлен вопрос об официальной манифестации 18-го июня. В это время от имени всеросс. бюро профессиональных союзов на каждом заседании стал выступать Рязанов. Выступления его были большевистскими и притом очень бурными, в соответствии с его темпераментом. Депутатская масса их любила, но президиуму от них была одна неприятность... Сейчас Рязанов заявил, что бюро проф. союзов выступит на манифестации с официальными лозунгами съезда; но отдельные союзы ими явно не удовлетворятся.

От имени большевиков было заявлено, что они в манифестации примут живейшее участие; но лозунги у них будут свои собственные,— те самые, что были приготовлены для несостоявшейся мирной манифестации 10 го числа. Ораторам оппозиции возражал Дан, инициатор выступления 18 го июня. Надо сказать, что речь его, призывавшая к единству и забвению, была вполне „елейной" и даже была выдержана в тонах патетического красноречия...

* * *

В номере от 13 июня газета „Правда" напечатала заметку под названием „Правда о демонстрации". Обвинение в заговоре она назвала там грязью и низкой клеветой. А в подтверждение привела свою снятую прокламацию 10-го числа, с перечисленными в ней лозунгами манифестации.

В те времена, летом 17-го года, правда о несостоявшемся выступлении 10 го июня, представлялось участникам событий именно в том виде, как было описано на предыдущих страницах. Разумеется, вся буржуазная и услужающая печать целую неделю жевала „заговор", сеяла панику, разливала злобу, философствовала, читала нотации, ахала и вздыхала. Эта печать, для спокойного взора, была смешна: надо же, в самом деле, разоряться так из-за несостоявшейся мирной манифестации!"..

Но вот теперь, ровно через три года, я могу добавить об этом деле следующее. То, что заявляли в заседаниях большевики, то, что печатала „Правда", была во всяком случае не вся правда о демонстрации. Правду в то время некоторые „чувствовали", но никто не знал ее, кроме десятка, много двух большевиков. Правду я лично узнал много-много спустя, уже в 1920 году. Источник моих сведений я обещал пока не называть в печати, но его „непосредственность" и достоверность не подлежат ни малейшему сомнению.

Действительного „заговора" не было. Определенного плана свержения правительства и захвата власти не существовало в те времена. Ни стратегической диспозиции, ни плана оккупации города, его отдельных пунктов, учреждений не было разработано. С другой стороны, и политические намерения низвергателей, кажется, были оформлены не больше. Но все же дым не был без огня.

Необходимо как следует усвоить, что большевистский „заговор" или большевистское восстание, если бы оно произошло в то время, имело бы свою непреложную логику. Какую цель оно могло иметь? В отрицательной части это не вызывало сомнений: надо было уничтожить коалицию, что было само по себе легче легкого. Но положительная часть? Она—на словах—выражалась формулой: вся власть советам. Но ведь „советы" были все тут на лицо, в виде съезда. Они стояли за коалицию и категорически отказывались от власти.

Навязать им власть против их воли было невозможно. Восстание могло их толкнуть на путь приятия власти; но было более вероятно, что восстание сплотит советско-буржуазные элементы против большевиков и их лозунгов. Во всяком случае было очевидно: если поднимать восстание, то поднимать его придется не только против буржуазии, но и против советской демократии, воплощенной в авторитетнейшем для нее съезде.

Петербургскому пролетариату и большевистским полкам, в качестве инициативного меньшинства, с лозунгами „вся власть советам", предстояло выступить против советов и съезда. Это означало, что власть, по ликвидации Вр. Правительства, могла перейти только к центральному комитету большевиков, поднимающему восстание. Вообще это вполне естественно и неизбежно: в случае успеха восстания, власть, добываемая через него, переходит к тому, кто его поднимает. Такова была непреложная логика и такова была положительная программа большевистского восстания, если бы большевики его подняли в те времена.

Но восстания, прямо направленного к такой цели, большевики не поднимали. Тот густой дым, который еще долго клубился у нас после 10-го июня, пошел от небольшого огонька, светившего вокруг Ленина в конспиративной комнате большевистского ц. к... Положение формулировалось так. Группа Ленина не шла прямо на захват власти в свои руки, но она была готова взять власть при благоприятной обстановке, для создания которой она принимала меры.

Говоря конкретно, ударным пунктом манифестации, назначенной на 10 июня, был Мариинский дворец, резиденция Вр. Правительства. Туда должны были направиться рабочие отряды и верные большевикам полки. Особо назначенные лица должны были вызвать из дворца членов кабинета и предложить им вопросы. Особо назначенные группы должны были во время министерских речей выражать „народное недовольство" и поднимать настроение масс. При надлежащей температуре настроения Вр. Правительство должно было быть тут же арестовано. Столица, конечно, немедленно должна была на это реагировать. И в зависимости от характера этой реакции, центральный комитет большевиков, под тем или иным названием, должен был объявить себя властью. Если в процессе „манифестации" настроение будет для всего этого достаточно благоприятно, и сопротивление Львова-Церетели будет невелико, то оно должно было быть подавлено силой большевистских полков и орудий. По данным большевистской „военной организации", выступление против большевиков допускалось со стороны полков: Семеновского, Преображенского, 9-го кавалерийского запасного, двух казачьих полков и, конечно, юнкеров. Полки—стрелковой гвардии (4), Измайловский, Петроградский, Кексгольмский и Литовский оценивались большевистскими центрами, как коле-

блющиеся и сомнительные. Ненадежным представлялся и Волынский полк. Но во всяком случае эти полки считались не активной враждебной силой, а только нейтральной. Предполагалось, что они не выступят ни за, ни против переворота... Финляндский полк, издавна бывший уделом интернационалистов и с-большевиков, должен был соблюдать, по меньшей мере, благожелательный нейтралитет. Крайне важная часть гарнизона, первостепенный фактор восстания, броневой дивизион, в те времена делился пополам между Лениным и Церетели; но если бы дело решало большинство его состава, то мастерские давали Ленину определенный перевес. Вполне же верные большевикам полки, готовые служить активной силой переворота, были следующие: 1-й и 2-й пулеметные полки, Московский, Гренадерский, 1-й запасный, Павловский, 180-й (со значительным числом большевистских офицеров), гарнизон Петропавловской крепости, солдатская команда Михайловской артиллерийской школы, в распоряжении которой находилась артиллерия. Надо заметить, что все эти части были расположены на Петербургской и Выборгской стороне, вокруг единого большевистского центра, дома Кшесинской. Кроме того, восстание должны были активно поддержать окрестности: во-первых, Кронштадт; затем в Петергофе стоял 3-й запасный армейский полк, где господствовали большевики, а в Красном Селе—176-й полк, где прочно утвердились „межрайонцы". Эти части могли быть немедленно, по нужде, вызваны в Петербург.

Все эти „повстанческие" полки, вместе взятые, должны были подавить сопротивление советско-коалиционной военной силы, устрашить Невский проспект и столичное мещанство и послужить реальной опорой новой власти. Главнокомандующим всеми вооруженными силами „повстанцев" был назначен вышеупомянутый вождь 1-го пулеметного полка, прапорщик Семашко.

Со стороны военно-технической успех переворота был почти обеспечен. В этом смысле большевистская организация уже тогда была на высоте. И один из двух главных ее руководителей, Невский, настаивал на форсировании движения, на доведении его до конца. Другой же, Подвойский, требуя осторожности, едва ли руководствовался при этом „стратегическими", а скорее политическими соображениями.

В политическом центре „восстания", в центр. ком., дело ставилось, как мы видели, условно, факультативно. Переворот и захват власти должны быть совершены при благоприятном стечении обстоятельств. Здесь на деле воплощалось то, что за три дня до того говорил Ленин на съезде: что большевистская партия готова одна взять в свои руки власть каждую минуту. Но готовность взять в руки власть означает только настроение, только политическую позицию. Она еще не означает определенного намерения взять власть в данную минуту. Поставить вопрос

таким образом большевистский ц. к. не решился. Он решил только всеми мерами способствовать созданию благоприятной для переворота обстановки. И это отлично отразило те колебания, какие испытывал он в эти дни. И хочется, и колется. И готовы, и не готовы. И нужно, и страшно. И можно, и нельзя... Разумеется, колебания вызывались главным образом мыслями о том, что скажет провинция. Это понятно без комментариев. Расчеты же основывались преимущественно на популярности большевистской программы, которая подлежала немедленному осуществлению. Эту программу, со слов Ленина, мы хорошо знаем.

Колебания большевистского ц. к. выражали позицию его отдельных членов, центральнейших фигур тогдашнего большевизма. Понятно, колебания их были тем меньше, а стремление к перевороту тем больше, чем меньше им было дано мыслить и рассуждать, или чем больше преобладали у них темперамент и воля к действию над здравым смыслом. Безапелляционно стоял за переворот Сталин, которого поддерживала Стасова, а также и все те из периферии, которые были посвящены и полагали, что революционной каши брандмейстерским маслом не испортишь. Ленин занимал среднюю, самую неустойчивую и оппортунистскую позицию,—ту самую, которая явилась официальной позицией ц. к. Против захвата власти был, конечно, Каменев и, кажется, Зиновьев. Не знаю, кто еще из большевистских вождей решал тогда судьбу „переворота".

В ночь на 10-е, когда „заговор был раскрыт", названные лица в соответствии с занятой общей позицией, решали вопрос об отмене выступления. Сталин был против отмены: он полагал, что сопротивление съезда ничуть не меняет объективной конъюнктуры, а „запрещение" Цицерона действовать Катилине само собою подразумевается; и со своей точки зрения Сталин был прав. Напротив, „парочка товарищей" (Каменев и Зиновьев), конечно, стояла за подчинение съезду и за отмену манифестации. Трудно думать, что она непременно нуждалась в декрете, разрешающем взять Бастилию; скорее, она просто воспользовалась предлогом, чтобы сорвать выступление. Но решил дело, конечно, Ленин. „Манифестация" была отменена.

Какова была роль и позиция „межрайонца" Троцкого во всем этом деле? Я ничего не знаю об этом в данную минуту. Я мог бы собрать справки из самых непосредственных источников, но доселе мне это не случилось, а обязанным делать это я себя не считаю: я пишу только воспоминания... Ленин, за два-три дня до „манифестации" говорил публично, что он готов взять в свои руки всю власть. А Троцкий говорил тогда же, что он желал бы видеть у власти двенадцать Пешехоновых. Это разница. Но все же я полагаю, что Троцкий был привлечен к делу 10 июня. Я не имею сейчас иных данных, кроме отмеченных „штрихов" в его поведении: если они недостаточны для характеристики его позиции, то они как будто ясно говорят об

его осведомленности, а также и о том, что Ленин и тогда не склонен был итти в решительную схватку без сомнительного „межрайонца". Ибо Троцкий был ему подобным монументальным партнером в монументальной игре, а в своей собственной партии после самого Ленина не было ничего долго, долго, долго.

Таково было дело 10-го июня, один из знаменательнейших эпизодов революции.

* * *

Дело 10 июня было „благополучно" ликвидировано звездной палатой при помощи съезда и петербургского совета. Но, понятно, это ровно ничего не изменило в общей политической конъюнктуре того времени. Вожди не прозрели, правители себе не изменили, и настроение масс осталось прежним. Столица явно жила на вулкане. Правительство „управляло" в Мариинском дворце; съезд и его секции вели „органическую работу" в кадетском корпусе. Но все это могло закрыть истинную перспективу только самым заскорузлым мещанам. Гвоздь же ситуации был в том, что в трещине между расколовшейся демократией ныне с полной отчетливостью обозначился силуэт баррикады.

Страсти продолжали кипеть в кадетском корпусе среди нудной и никчемной органической работы. Обе стороны готовились к смотру своих сил на общесоветской манифестации 18 июня.

Правящий блок, впрочем, делал это с прохладцей: во-первых, он не сомневался в победе — под „общесоветским" флагом; во-вторых, он не имел ни надлежащих тяготений к массам, ни сноровки в обращении с ними. Вообще, меньшевистско-эсэровский блок тогда являл собой образец разлагающейся власти, застывшей в своей самоуверенности, в самодовольстве и слепоте. Напротив, большевики лихорадочно орудовали в недрах пролетарской столицы, поднимали целину и строили прозелитов в боевые колонны.

Массы же рвались в бой. Дело 10 июня не дало выхода их настроению и только озлобило их. Официальная советская манифестация, конечно, нисколько не удовлетворяла большевистских рабочих и солдат. Объективно она должна была служить неким предохранительным клапаном против взрыва: общесоветское выступление было явно непригодно в качестве противосоветского. Но потому-то она субъективно и не удовлетворяла: рабоче-солдатские массы, не отказываясь 18-го июня просто продемонстрировать свою силу, надеялись в близком будущем применить ее.

Я не помню, чтобы Исп. Комитет, как таковой, занимался специальной подготовкой своей собственной официальной манифестации. А когда вопрос о ней был все же поставлен, то эта постановка получила следующий своеобразно-характерный вид. Накануне манифестации, в субботу, 17-го июня, в разгар „органической работы" съезда в одном из казенно-неуютных помещений кадетского корпуса со-

стоялось заседание Исп. Комитета. Членов набралось много, сесть было некуда, большинство стояло, сгрудившись вокруг примитивного стола и двух-трех первобытных скамеек. Была жара, духота и атмосфера раздражения: еще раньше, чем говорить о манифестации, снова схватились по поводу перевыборов Исп. Комитета.

Кажется, на-лицо были все лидеры; но застрельщиком по делу о манифестации оказался Либер. С яростью и неистовством он снова стал рассказывать о каких-то „приготовлениях" большевиков и об опасностях, грозящих завтра свободе и существующему порядку. Большевистские отряды рабочих и солдат собираются выступить вооруженными. Эксцессы, кровопролитие, попытки нападений на правительство неизбежны. Необходимо все это пресечь в корне самыми решительными мерами. Надо не допустить оружия на улицу во что бы то ни стало. И в частности, для этого следует поставить по надежному отряду у ворот каждых ненадежных казарм и каждого завода, откуда должны будут выходить манифестанты: если они окажутся с оружием, то надежный отряд должен их предварительно разоружить.

Так, в лице Либера, защищали меньшевистско-эсэровские банкроты коалицию, свободу и порядок. Я не помню, кто еще из правого крыла выступал с поддержкой либеровского рецепта. Но я помню, что я лично потерял равновесие и набросился на Либера с неменьшей яростью, чем он на большевистских предателей и заговорщиков... Я признавал опасность бессмысленного кровопролития и самочинных авантюр при наполнении оружием улиц Петербурга. Но государственная мудрость Либера и его методы, разумеется, ничего этого не предотвращали, а, напротив, все это делали неизбежным. Ведь смешно же было предполагать, что рабочий или солдатский отряд, выходя со сборного пункта с оружием в руках, вопреки постановлению совета, отдаст это оружие без боя либеровской „национальной гвардии". Схватка совершенно неизбежна в силу самого факта наличия заградительного отряда. А десятки таких схваток есть огромное кровопролитие, есть начало нелепого восстания, есть гражданская война, созданная паникой и государственной мудростью Либера. Это чисто практическая сторона дела. С принципиальной точки зрения дело обстояло не лучше. Но тут не приходилось спорить: у парижан с версальцами были споры особые.

Практически я предлагал ввиду тревожного настроения масс, ввиду вероятных эксцессов немедленно разъехаться по заводам и казармам, разъяснить непосредственно характер и значение завтрашней манифестации, убеждать не брать с собой оружия во избежание несчастных случаев и бессмысленного случайного кровопролития. Меня поддержали многие—в числе других, если не ошибаюсь, Чернов. Так и было постановлено. Немедленно установили „опасные пункты" и назначили туда по два три товарища. Большевики также приняли участие в этих экскурсиях: их центральный комитет, повторяю, не свя-

чывал с манифестацией 18 июня никаких особых планов и смотрел на нее, как на мирную демонстрацию сил... Было постановлено: вечером, часов в 10. собраться снова в Таврическом дворце и каждой делегации доложить о результатах своей поездки. Меня послали в самый щекотливый пункт, на дачу Дурново. Со мной должны были поехать для максимальной убедительности: упоминавшийся выше известный большевистский рабочий Федоров и кронштадтский матрос Сладков. Тут же снарядили автомобили и делегации полетели в разные концы.

* * *

Я ехал с сомнениями в таинственное гнездо страшных анархистов. Пустят ли? Станут ли разговаривать? А то, чего доброго, в случае серьезных намерений на завтрашний день не задержат ли в качестве советского заложника? Однако миссия окончилась если не совсем удачно, то во всяком случае вполне благополучно.

Мы беспрепятственно въехали в тенистый двор дачи. На крыльце никаких часовых, никаких пропусков и вообще никакого внимания к нашим особам. Видимо, посещения всеми желающими посторонними людьми были вполне свободны и очень часты. Мы спросили, где бы официально, от имени Совета, переговорить с официальными представителями анархистской организации. Нас попросили в клуб. Тут весть о нашем прибытии моментально распространилась, и нас стали окружать любопытные лица, с довольно ироническим видом. Комнаты были в порядке, мебель в целом виде, хотя и расставлена с нарушением всех стилей. В ожидании официальных парламентеров мы расположились в большом зале, превращенном в аудиторию, разубранном черными знаменами и другими эмблемами анархизма.

В качестве представителя местных высоких сфер довольно быстро явился знакомый нам Блейхман, обычный советский оратор. С ним было еще несколько человек разного вида, рабочего и интеллигентского. Я изложил цель посещения, упирая главным образом на возможность несчастных случаев, непроизвольных эксцессов и самострелящих винтовок. Я сообщил о настояниях Совета и просил изложить мне планы и виды самих анархистов. Блейхман отвечал без лишних слов: Совет для анархистов совершенно не авторитетен; если к его решению присоединяются большевики, то это ничего не меняет,— Совет в целом служит буржуазии и помещикам; никаких определенных намерений у анархистов на завтра нет; участвовать в манифестации они будут со своими черными знаменами. А будут ли с оружием?— Может быть, пойдут без оружия, а может быть, и с оружием.

Диалог завязался довольно продолжительный и довольно нудный Я не мог добиться более определенного ответа: были ли какие-нибудь постановления о характере завтрашнего выступления? Решили итти без оружия или с оружием?.. И моя дипломатия, мои убеждения оставить

оружие дома также не имели сколько-нибудь определенного успеха. Я наталкивался на довольно простую и вместе с тем непреодолимую преграду: на то, мол, мы и анархисты, чтобы никому не подчиняться и действовать, как бог на душу положит... Только когда официальная беседа перешла в частную, мои собеседники стали издавать немного успокоительные ноты.

— Ничего, не тревожьтесь, пронесет, все обойдется благополучно, мы не какие-нибудь,—прямо или косвенно говорили они.

Как частных гостей, они повели нас показывать свои владения. Мы вышли в огромный тенистый сад, где мирно гуляли большие группы рабочего люда. Площадки и лужайки были усеяны детьми. У входа помещался киоск, где продавалась и раздавалась анархистская литература. На высоком пне стоял оратор и говорил наивную речь об идеальном общественном строе. Его слушали не особенно много людей. Здесь, видимо, больше отдыхали, чем занимались политикой. И вполне понятна была популярность этого анархистского гнезда среди самых широких рабочих кругов столицы.

Я был не прочь подольше потолковать с местной публикой на общие темы и, пожалуй, даже не прочь был также взобраться на пень. Но пошел хороший, теплый дождь. Сопровождаемые большой, уже благожелательной группой, мы отыскали свой автомобиль и отправились во-свояси.

Вечером Исп. Комитет собрался снова в Таврическом дворце. Было довольно много народа. Делегаты делали доклады о своих посещениях ненадежных мест. Доклады все были оптимистического свойства. Настро ние всюду было „лойяльное", эксцессов не предполагалось, оружия брать не собирались. Наиболее сомнительной оставалась моя дача Дурново; но надеялись, что „ничего, пронесет, обойдется благополучно".

Не помню и не знаю, почему именно, но Церетели, под влиянием благоприятных сообщений, вдруг торжественно обратил гневно назидательную речь к большевикам—в частности, к Каменеву:

— Вот теперь перед нами открытый и честный смотр революционных сил. Завтра будут манифестировать не отдельные группы, а вся рабочая столица, не против воли Совета, а по его приглашению. Вот теперь мы все увидим, за кем идет большинство—за вами или за нами. Это не подстроенные действия исподтишка, а состязание на открытой арене. Завтра мы увидим.

Каменев скромно молчал. Был ли он так же уверен в своей победе, как Церетели был уверен в своей? Помалкивал ли он исподтишка или молчал, не уверенный в итогах смотра?.. Я лично не был вполне уверен в них, когда поздно ночью ехал на ночлег на Петербургскую Сторону, в редакцию „Летописи".

* * *

На другой день, в воскресенье, 18-го я вышел из дома часу в двенадцатом. Участвовать в шествии я, по обыкновению, не предполагал, хотя было решено, что съезд пойдет в полном составе... Я направился неподалеку—к Горькому. Может быть, он или кто-нибудь из близких литературных людей пойдет со мной посмотреть на манифестацию. Но из литературных людей никого на-лицо не было. А Горький заявил:

— Манифестация не удалась. Мне говорили из нескольких мест. Ходят мелкие кучки. На улицах пусто. Нечего смотреть. Не пойду...

Г-м... Где-то, у кого-то уже готовы выводы. При том эти выводы, если они верны, можно толковать двояко. Манифестация „не удалась" потому, что революционная энергия масс иссякает; они уже не хотят по зову Совета выступать с требованиями мира и проч.; они хотят перейти к мирному труду и кончить революцию вопреки призывам советских демагогов и крикунов. Понятно, какие именно сферы, в своей жажде неудачи манифестации, предвосхищали именно такие выводы... Но можно было понимать дело и иначе: демократическая столица осталась сравнительно равнодушной к манифестации потому, что она была официальной, „общесоветской", и ее лозунги не соответствовали настроению масс; революционная энергия, быть может, давно и решительно перевалила за ту границу, на которой пыталась остановить ее „звездная палата"...

Но позвольте же, не спешите! Может быть, неудача манифестации, это—чистый вздор. Ведь все советские партии постановили в ней участвовать и готовились к ней!..

Я пошел один, направляясь к Марсову полю, через которое должны были продефилировать все колонны. На Каменноостровском проспекте, у Троицкого моста, у дома Кшесинской—было действительно пустовато. Только на другой стороне Невы виднелись отряды манифестантов. День был роскошный и уже было жарко.

На Марсовом поле не было сплошной, запружавшей его толпы. Но навстречу мне двигались густые колонны.

— Большевистская!—подумал я, взглянув на лозунги знамен.

Я подходил к могилам павших, где стояли, пропуская манифестацию, плотные группы знакомых советских людей... Оказывается, манифестация несколько запоздала. Районы тронулись со сборных пунктов позднее назначенного времени. Через Марсово поле дефилировали еще только первые отряды петербургской революционной армии. Во всех концах Петербурга колонны еще были в пути. Ни о каких эксцессах, беспорядках и замешательствах, впрочем, не было слышно. Оружия у манифестантов видно не было.

Колонны шли быстро и густо. О „неудаче" не могло быть речи. Но было некоторое своеобразие этой манифестации. Не было заметно ни энтузиазма, ни праздничного ликования, ни политического гнева. Массы позвали, и они пошли. Пошли все сделать требуемое дело и

вернуться обратно... Вероятно, одна часть, вызванная в этот воскресный день из своих домов, оторванная от частных дел, была равнодушна. Другая считала манифестацию казенной и чувствовала, что делает н е с в о ё, а заказанное, пожалуй, лишнее дело. На всей манифестации был д е л о в о й налет. Но манифестация была грандиозна. Как при похоронах 23 марта, как в первомайской манифестации 18 апреля,—в ней по-прежнему участвовал весь рабочий и солдатский Петербург.

Но каковы же лозунги, какова политическая физиономия манифестации? Что же представляет собою этот, отразившийся в ней рабоче-солдатский Петербург?

— Опять большевики,—отмечал я, смотря на лозунги,—и там, за этой колонной идет тоже большевистская...

— Как будто... и следующая тоже,—считал я дальше, вглядываясь в двигавшиеся на меня знамена и в бесконечные ряды, уходящие к Михайловскому замку, вглубь Садовой.

— „Вся власть Советам!“, „Долой десять министров-капиталистов!“, „Мир хижинам, война дворцам!“...

Так твердо и увесисто выражал свою волю авангард российской и мировой революции, рабоче-крестьянский Петербург... Положение было вполне ясно и недвусмысленно... Кое-где цепь большевистских знамен и колонн прерывалась специфическими эсэровскими и официальными советскими лозунгами. Но они тонули в массе; они казались исключениями, нарочито подтверждающими достоверность правила. И снова, и снова, как непреложный зов самых недр революционной столицы, как сама судьба, как роковой Бирнэмский лес, двигалось на нас:

— „Вся власть Советам!“, „Долой десять министров-капиталистов!“...

Меня всегда приводил в восхищение этот лозунг! Воплощая огромную программу в примитивно-аляповатых, в наивно-топорных словах,—он кажется непосредственно вышедшим из самых народных глубин и воскрешает бессознательный, стихийно-героический дух великой французской революции. Стоит вглядеться в этот лозунг, взвесить, просмаковать каждое его слово и оценить совсем особый аромат его!.. А скромный, но хорошо понимающий политику „глава правительства“, премьер Львов, по поводу этого лозунга в частных разговорах пожимал плечами:

— Не понимаю, чего они хотят! Они сами не знают, чего хотят. „Десять министров-капиталистов“!.. Но у нас в правительстве всего д в а капиталиста—Терещенко и Скобелев[1])!..

Здесь тоже, что ни слово—золото!.. Но так или иначе—пони-

---

[1]) Министр-капиталист Терещенко был крупнейшим сахарозаводчиком, а министр-социалист Скобелев происходил из крупно-буржуазной семьи. Все остальные буржуазные министры коалиции, после ухода Коновалова, были „интеллигенты“.

мает или не понимает, чего хочет пролетарская столица,—глядя на мерно ступающие боевые колонны революционной армии, казалось, что коалиции уже пропета отходная, что она уже ликвидирована, что господа министры, по случаю явного народного недоверия, сегодня же очистят место, не дожидаясь, пока их попросят более внушительными средствами...

Я вспоминал вчерашний задор слепца-Церетели. Вот оно состязание на открытой арене! Вот он честный смотр сил на легальной почве, на общесоветской манифестации!.. В нескольких шагах от меня виднелась в негустой толпе приземистая фигура Каменева, как бы победителя, принимающего парад. Но вид у него скорее был несколько растерянный, чем торжествующий.

— Ну, что же теперь?—обратился я к нему.—Какая же нынче будет власть? Пойдете вы в министерство с Церетели, Скобелевым и Черновым?

— Пойдем,—ответил Каменев, но как-то не совсем определенно.

Программа действий была, видимо, совершенно неустойчивой в головах большевистских лидеров. А лично Каменев был воплощенным колебанием среди них.

Подходил отряд с огромным тяжелым стягом, расшитым золотом: „Центральный Комитет Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии (большевиков)". Предводитель потребовал, чтобы, не в пример прочим, отряду было позволено остановиться и подойти к самым могилам. Кто-то, исполнявший обязанности церемониймейстера, пытался вступить в пререкания, но тут же уступил. Кто и что могло помешать победителям позволить себе этот пустяк, если они того захотели?..

Затем появилась небольшая колонна анархистов. Их черные знамена резко выделялись на фоне бесконечных красных. Анархисты были с оружием и пели свои песни со свирепо-вызывающим видом. Однако толпа на Марсовом поле встретила их только иронией и весельем: они казались совсем не опасными.

Как будто все шло гладко, об эксцессах и беспорядках слышно не было. Простояв у братских могил часа два, насытившись зрелищем, оценив манифестацию количественно и качественно и не надеясь более на перемены, я отправился с компанией в какой-то близлежащий ресторанчик. Там сообщили о происшедшем столкновении неподалеку от Марсова поля. Какая-то группа—может быть, „Единство" или советские „трудовики"—решилась выступить с плакатом: „полное доверие Врем. Правительству". Собственно это был вполне официальный лозунг Совета и Съезда. Он, правда, не был официально рекомендован для манифестации; но он, конечно, имел в тысячу раз больше прав фигурировать на знаменах, чем лозунг долой правительство („в коем участвуют лучшие из наших товарищей!"). Однако, не то другой отряд манифестантов, не то встречная толпа бросилась на хоругвеносцев злосчастной группы и изорвала знамя в клочки. До-

такой степени старая „линия Совета" приходилась не ко двору в столице.

А затем оказалось, что вооруженный отряд анархистов с Марсова поля прямым рейсом отправился к Выборгской тюрьме (к „Крестам") и разгромил ее. Анархисты имели главной целью освободить несколь-ких своих товарищей с дачи Дурново, арестованных по разным делам о захватах. Но разгром принял довольно широкие размеры. Вместе с непосредственными вершителями социальной революции из тюрьмы ушло до 400 человек уголовных, которые на радостях учинили в тот же день несколько погромов в разных частях города. Тюремная стража не оказала анархистам сколько-нибудь серьезного сопротивления, и дело, кажется, обошлось без малейшего кровопролития. Но факт крупнейшего бесчинства оставался фактом.

Вместе с тем расшифровывалось вчерашнее двусмысленное поведение анархистов во время переговоров со мной. Они, как оказалось, действительно не замышляли ничего, во-первых, политического, во-вторых, во время самой манифестации. Тут они не замутили воды, и самый „общесоветский" смотр прошел благополучно. Но после манифестации анархисты учинили „уголовное деяние", которое они могли бы с равным успехом учинить и во всякое другое время.

* * *

Таково было в Петербурге 18-е июня. Оно было основательным ударом хлыста по лицу советского большинства, обывателя и буржуазии. Оно было неожиданным, было откровением для звездной палаты и ее слепого лидера. Но, собственно, какое употребление может сделать слепец из удара обухом по темени. Влекомому своим слепым инстинктом, ему все равно не свернуть с дороги.

Буржуазия и политиканствующий обыватель оценили дело лучше. Но что им было делать? Обыватель просто перешептывался, терзаемый паническими предчувствиями. А буржуазия... Ее правительство, ее министры, конечно, не вышли в отставку, не очистили своих мест добровольно. Таким путем, в данной обстановке, они бы ничего не выиграли и все бы проиграли. Ведь нельзя же в самом деле, охраняя буржуазную диктатуру, серьезно считаться с доверием или недоверием народных масс. Ведь нельзя же в самом деле оставить добровольно власть, когда она всерьез, легко и безболезненно может перейти в руки врагов. Эксперимент очистки места можно допускать только тогда, когда это вызовет затруднения, разведет мутную волну, расстроит вражий стан, послужит к укреплению реакции и буржуазной диктатуры. А сейчас выходить в отставку не стоит...

Но что же делать, когда недра революционной столицы предстали перед самыми глазами? Делать—понятно, что. Во-первых, официально игнорировать. Во-вторых, посредством „общественного мнения", т.-е

большой прессы, доказать, как дважды два, что манифестация не удалась, и жалкие обрывки „революционной демократии", бывшие на улицах со своими демагогами и крикунами, ровно ничего не отражают. В-третьих, спрятаться от них за действительную „революционную демократию", за подавляющее большинство ее: это не столичные большевики, а всероссийский съезд, это не Ленин и Троцкий, а Чайковский и Церетели. Их, правда, надо тут же лягнуть, чтобы знали свое место; но все же надо надеяться, что они не выдадут. Все это и разыграла по поводу манифестации „большая пресса".

А „советская" естественно раскололась. Правая, официальная, испытывала тяжкий Katzenjammer: „Рабочая Газета", устами Череванина, наивно восклицала без обиняков: и кому это пришла в голову злосчастная мысль устроить эту „общесоветскую" манифестацию! Мы знаем, что эта елейная мысль пришла в голову ближайшего соратника Череванина, меньшевистского лидера Дана. Уж и досталось ему потом ото всей звездной палаты, крепкой задним умом... Большевистская „Правда" торжествовала. А я в „Новой Жизни", с удвоенной силой стал завинчивать винт вокруг проблемы власти.

* * *

„Мистическое" совпадение! Ровно два месяца назад, 18 апреля, состоялся грандиозный первомайский смотр революционных сил. Это был праздник, торжество революции. Это было знамение ее огромных достижений и побед. И в тот же день, 18 апреля, из тайников министерских кабинетов ей наносился предательский удар: Милюков писал свою знаменитую ноту, утверждавшую старую царистскую программу войны, сводившую на-нет всю борьбу, всю победу, все значение демократии.

Теперь, через два месяца, 18-го июня снова состоялся грандиозный смотр рабоче-солдатской революционной армии. Он также свидетельствовал о новых достижениях, об огромном движении вперед, о подъеме революции на новые высоты. И в тот же день ей наносился новый предательский удар... Как и два месяца назад, о нем в этот день в столице еще ничего не знали. О нем узнали на другой день. И в лагере „революционной демократии" два эти удара оценили по-разному. В апреле Церетели был не прочь взять Милюкова под свое прикрытие, но он все же был далек от восхищения его нотой 18 апреля. Сейчас удар, нанесенный рабочему делу, Церетели и его друзья объявили величайшей победой революции. Но тем сильнее объективно было поражение, что некогда единая революционная демократия стояла ныне по разным сторонам баррикады.

Предательство 18 июня совершалось не в кабинете. Его ареной были бесконечные равнины и поля, а его действенными участниками— бесчисленные невинные жертвы.

Дня два-три тому назад в газетах было напечатано странное сообщение: военный и морской министр Керенский отбыл в Казань!.. Но Керенский поехал не в Казань. В день манифестации 18-го июня он, на фронте, повел в наступление революционные полки.

Свершилось! Союзный капитал мог праздновать долгожданную и огромную победу. Всеевропейская каннибальская кампания завершилась счастливым концом. Русская революция, с высоты англо-французской биржи, могла казаться совершенно аннулированной. Дело всеобщего мира могло казаться проигранным. Дело мировой революции— приниженным и оплеванным. Это усугубляло торжество англо-франко-русских империалистов. Ведь победа над революцией стоила, пожалуй, не меньше, чем ожидаемая пиратская добыча.

И кто же это воскресил вновь все былые надежды? Кто победил революцию? Кто заплатил за будущие блага союзных биржевых тузов настоящей алой кровью, драгоценной жизнью десятков тысяч „свободных граждан"? Это был „социалист" Керенский. А кто объявил его преступное дело своим великим торжеством и победой пролетариата? Это „социалисты" того самого Совета, который союзные биржевики столько раз требовали разогнать штыками. Это удесятеряло радость победителей...

Да только не долго они тешились. Наступление 18-го июня было не только великим преступлением: оно было великой глупостью.

В Петербурге о начавшемся наступлении стало известно в понедельник днем. Известия были получены в редакциях и в правительственных учреждениях довольно рано, а из них стали быстро облетать весь город. Но я лично узнал об этом в середине дня, когда ехал в трамвае на съезд на Васил. Остров. О наступлении уже выкрикивали мальчишки-газетчики... Известие, можно сказать, пронзило меня в самое сердце.

При входе в кадетский корпус я встретил радостно возбужденную группу мамелюков, во главе с Гоцом, который победоносно во весь рот улыбался, размахивая мне навстречу листом специального газетного выпуска. Ну,—беда!..

На Невском начались сборища и „патриотические" манифестации. Столичное мещанство под предводительством кадетов потянулось на улицу. Шествия, локализированные в центральных кварталах, были не велики, но бурны и полны одушевления. Во главе каждой манифестировавшей группы несли, как иконы, большие и малые портреты Керенского. На Невском я встретил, между прочим, манифестацию плехановской группы „Единство". Окруженная сотней-двумя разных господ, посреди улицы двигалась какая-то колесница, разубранная цветами, с огромным портретом героя 18 июня. На колеснице же восседал старый ветеран революции, Лев Дейч, что-то выкрикивавший толпе, а может быть распевавший в патриотическом восторге. Жалкое, удручающее зрелище!

Когда на другой день, во вторник, 20-го вышли газеты, то в них, конечно, сопоставлялись две манифестации: воскресная, общесоветская, казенная, потерпевшая „жалкий провал“, и наступленская, грандиозная, неподдельная, отразившая поистине всенародное ликование. Ну, что ж! Пусть делают вид, что верят в это.

* * *

В кадетском корпусе, в понедельник, 19 числа, также происходила вакханалия глупости и шовинизма. В открывшемся заседании порядок дня был, разумеется, нарушен. Говорили о наступлении. Его „приветствовали“ до одурения все министры-социалисты. Церетели и Чернов произнесли по две речи. Авксентьев беззубо-плоско выражал восторг от имени крестьян. Оппозиция же твердо защищала пролетарские посты. Резко говорил Мартов, присоединяясь к министерской оценке наступления, как огромного события, но—не в пример министрам—оценивая его, как величайший удар по делу международного пролетариата. „Наши лозунги,—говорил Мартов,—остаются прежними: долой войну! Да здравствует рабочий Интернационал!..“ От имени большевистских групп, соблюдая необходимую дипломатию перед лицом мещанской толпы, выступали Луначарский и Зиновьев. С ними искусно полемизировал наторелый в диалектике Чернов. А Церетели, не гоняясь за тонкостями, шагая прямо, рубил, как топором, по трафарету Рибо и Ллойд-Джорджа:

— Та задача, во имя которой наша армия пролила свою кровь,— достижение всеобщего мира на условиях, исключающих всякое насилие. Россия не могла оторваться от объективных условий жизни народов всего мира. И чтобы устранить эту оторванность, армия исполнила свой долг, перешла в наступление. Шатания, которые имели место в некоторой части русской демократии, должны быть ликвидированы наступлением. Если бы наши войска не были поддержаны нами и дрогнули, этим был бы нанесен удар в самое сердце революции. Теперь для нее наступил поворотный момент. И если тыл стойко выдержит, революция спасена.

Тут же съездом было принято воззвание к армии, где повторялись те же фразы (1914 года) „о войне за мир“. На следующий день, 20-го, вопрос о наступлении был поставлен в Петербургском Совете, в Александринском театре. Там почтенная меньшевистская тройка, Церетели, Либер и Войтинский, произнесли еще более шовинистские, поистине социал-предательские речи о „защите родины“, „германском империализме“, о том, что ныне „все для фронта“. А в тот же день, резюмируя новую ситуацию, прямо продолжая Церетели, кадетская „Речь“ писала: „Жалкая попытка большевиков зажечь пламя восстания, вызвать гражданскую войну—опрокинута на голову новым великим подвигом революционной армии, справедливо награжденной красными

знаменами (!). Последние недели производили неотразимое впечатление, что мы неудержимо летим в бездну, что, как и при старом режиме, нас стихийно увлекает ход событий, что, сколько мы ни говорим, как отчетливо ни сознаем надвигающуюся опасность, мы бессильны что-либо ей противопоставить и должны покорно ждать ударов судьбы. Благая весть о решительном и удачном наступлении дает надежду, что будет положен конец охватившей нас нравственной распущенности, что интересы и судьбы родины возьмут верх над классовыми домогательствами и своекорыстными расчетами и что таким образом великие завоевания революции будут спасены"...

Еще через день газеты печатали телеграммы с „откликами" союзников на наше наступление. Французские газеты совершенно захлебывались от восторга перед этим сюрпризом. Они не жалели места для аршинных портретов Керенского и русских генералов. „Победа!— писал ренегат Эрве.—Сегодня мы можем дышать. Дружественная и союзная армия выздоравливает. Русская революция спасена"... Английская пресса была более сдержанна. Тяжеловесный „Times"—„пока воздерживался от поздравлений": наступление началось только на южной половине фронта, надо подождать выступления бездействующих армий к северу от Припети.

Всем этим торжеством заклятых врагов измерялась глубина урона, понесенного революцией.

* * *

Самое наступление, по описанию газет, происходило так. Приказ-прокламация военного министра была подписана 16 июня. Через двое суток армии юго-западного фронта, 6-я, 7-я и 11-я, двинулись в бой. Повидимому, наступление шло довольно дружно. Но все же, в своей телеграмме, тут же посланной на имя премьера Львова, Керенский говорит о „небольших группах малодушных в немногих полках", которых пришлось „с презрением оставлять в тылу".

Наступление было успешно. Германский фронт был прорван, были захвачены пленные и трофеи. Первым перешедшим в наступление полкам было пожаловано звание „полков 18 июня"... Трудно предполагать, чтобы сила удара была велика. Но сила германского сопротивления была еще меньше: частью германский фронт был количественно слишком разрежен, частью качественно расслаблен и не подготовлен. Во всяком случае наступление продолжалось, и русские армии на различных участках продвигались вперед в течение целых двух недель. Несомненно, что германское сопротивление становилось при этом все сильнее, а затруднения при посылке в бой солдат все больше. Даже бульварная пресса не особенно распространялась об энтузиазме войск. Все эти две недели дело, конечно, висело на волоске.

И для каждого простого здравого рассудка было ясно заранее, что этот волосок не нынче-завтра должен был оборваться. Было ясно, что наступление русской армии—во всем контексте обстоятельств—есть легкомысленная авантюра, которая должна лопнуть в ближайшем будущем. Было ясно—и честному социалисту, и каждому патриоту без кавычек,—что наша армия, при данном объективном положении, при ее субъективном настроении не могла быть орудием победы против тогдашней Германии.

Однако, наши верховные правители, а тем более генералы, не были ни честными социалистами, ни действительными патриотами. Они шли напропалую—не только на авось, но отчасти и на определенный эксперимент: они хотели наглядно учить Россию и „спасать революцию" ценою поражения. Впоследствии Керенский писал о наступлении так: „План наступательной операции 18 июня в общих чертах состоял в том, что все фронты, один за другим, в известной последовательности наносят удары противнику с таким расчетом, чтобы противник не успевал сосредоточивать во-время свои силы на месте удара. Таким образом, общее наступление должно было развиваться довольно быстро. Между тем, на практике все сроки были сразу нарушены, и необходимая связь между операциями отдельных фронтов быстро утеривалась. А следовательно, исчезал и смысл этих операций. Как только это сделалось более или менее очевидным, я... предлагал ген. Брусилову прекратить общее наступление. Однако, сочувствия не встретил. На фронтах продолжались отдельные операции, но живой дух, разум этих действий исчез. Осталась одна инерция движения, только усиливающая разруху и распыляющая армию..."

„Сроки были нарушены" и „связь была утеряна", потому что наша армия, при общей данной конъюнктуре, была неспособна к серьезному наступлению. Огромное политическое преступление было явной стратегической авантюрой, заведомо обреченной на крах. Наступление развивалось, главным образом, на галицийском фронте, а главным военным героем был генерал Корнилов, искусство и доблесть которого тогда воспевала большая пресса. К концу месяца, 27-го числа русскими войсками был взят Галич, и снова открыты пути ко Львову. Пресса делала вид—перед доблестными союзниками,—что „оздоровленная армия" повела дело вполне серьезно. Но на деле не только здравомыслящим людям, а и ближайшим руководителям авантюры была ясна близкая катастрофа.

Как бы то ни было, дело всеобщего мира было ныне возвращено к дореволюционному состоянию. Международная работа интернационалистов была окончательно ликвидирована. Надежды на русскую революцию окончательно исчезли. Социал-патриотизм англо-французских рабочих ныне освящался шовинизмом „пацифистской" и „нигилистской" российской демократии. А агрессивность Согласия заставляла передовые слои Германии, жаждавшие мира, вновь спло-

титься вокруг заправил милитаризма и снова крепче сжать винтовки в усталых руках.

Российский интернационализм был в трудном положении. Он считал наступление величайшим ударом. Но оно стало фактом, оно уже уносило тысячи жертв. Могли ли пролетарские группы России взять на себя его непосредственную дезорганизацию, пытаться прекратить его революционными, „самочинными“ средствами? Дело было, конечно, не в „измене родине“. „Измѣнниками“ мы были и без того: большая пресса ежедневно публиковала проскрипционные списки германских агентов и уголовных преступников из состава оппозиционных советских партий. Но ведь непосредственная дезорганизация наступления, помимо неизбежных лишних жертв, была действительно непосредственной помощью германскому генеральному штабу, который, собрав силы, легко разгромил бы русскую армию и без нашей помощи... Когда наступление стало фактом, нам оставалась только одна трудная и неустойчивая позиция: невмешательство в стратегию и содействие устойчивости армии во избежание ее разгрома, но вместе с тем—разоблачение политической стороны дела и создание такой политической конъюнктуры, которая уничтожила бы значение 18 июня.

Группы, к которым примыкал я, с самого начала революции противились дезорганизации армии и охраняли ее боеспособность. Это предполагало, вообще говоря, и санкцию „активных“ наступательных операций. Но они были допустимы, с нашей точки зрения, только тогда, когда они были чисто стратегическими и не носили в себе ни грана политики. В данном случае этого не было. Со стороны России 18 июня было чисто политическим актом.

Потому этот акт и был таким тяжким ударом. Но потому же интернационалистские группы, перенеся весь центр тяжести в политику, должны были довести до точки кипения свою политическую борьбу за изменение политической конъюнктуры. Да и без вождей массы отлично поняли значение совершившегося факта. Они реагировали немедленно, и реакция была очень острой. После расслабления—на почве неудавшегося 10-го и казенного 18-го—настроение снова повысилось сразу на несколько градусов. Немедленное уничтожение коалиции петербургские массы решительно поставили в порядок дня... Правительство же им в этом попрежнему посильно помогало.

* * *

Анархисты, после воскресной манифестации, освободили из Выборгской тюрьмы десяток человек, среди которых были обвиняемые в провокаторстве, шпионаже, дезертирстве. Правительство не могло этого стерпеть и приняло „решительные меры“. В три часа ночи (на понедельник) к даче Дурново были стянуты надежные войска: отряды семеновцев, преображенцев, казаков, бронированный автомобиль. Во

главе экспедиции против дерзкого врага стоял сам командующий округом, генерал Половцев, сменивший Корнилова после апрельских дней. Вместе с военными силами были мобилизованы и гражданские: не только отряд милиции, но высшие судебные власти, начиная с самого министра юстиции... Все предстали перед знаменитой дачей Дурново в тиши глубокой ночи. Предполагали, что там покоятся сном освобожденные государственные преступники.

Завязались переговоры. Начали гражданские власти через комиссара милиции. Заявили, что речь идет не о выселении и не о репрессиях против анархистов вообще, а только о выдаче арестантов и участников тюремного разгрома. Высланный анархистами делегат не отрицал, что искомые лица находятся внутри дачи; но заявил, что их не выдадут и дачу будут защищать с оружием в руках. Тогда со стороны правительства выступил сам министр Переверзев; но не помогло красноречие. Он объявил законченной миссию гражданской власти и передал дело в руки Половцева.

Надежные войска двинулись внутрь дачи. Анархисты сначала угрожали бомбами, а затем бросили две или три из них. Но это была только демонстрация: бомбы не могли разорваться, так как, согласно данным следствия, какие-то трубки в них не то не были вставлены, не то не были вынуты. Солдаты же, ворвавшись в дачу, произвели в ней разгром, перебили окна, переломали мебель и арестовали человек 60. Я, лично, бывший на даче часов за 30 до этих событий, могу удостоверить, что анархисты содержали ее в полнейшем порядке...

Одна из комнат, однако, оказалась запертой. При „взятии" ее произошла свалка, во время которой был убит анархист Аскин и ранен кронштадтский матрос Железняков. Относительно смерти Аскина существуют две версии: версия властей и их сторонников гласит, что Аскин застрелился, и в запертой комнате солдаты нашли его труп. Версия анархистов, советской оппозиции и очевидцев с Выборгской Стороны утверждает, что Аскина убили озверевшие солдаты выстрелом в спину или в затылок. Не помню, была ли окончательно установлена истина.

Снаряжая экспедицию, наша сильная и авторитетная коалиционная власть была совсем не прочь прикрыться именем Исп. Комитета. Министр юстиции звонил в Таврический дворец по телефону, предупреждая о предпринимаемом шаге и косвенно прося его санкции. Дежурные члены Исп. Комитета ответили, что официально они высказаться не уполномочены, а лично полагают, что власть могла бы и сама решить, что ей надлежит делать и чего ей делать не следует... Теперь, п о с л е э к с п е д и ц и и, министр и прокурор снова звонят в Исп. Комитет, прося его немедленно отправить на дачу Дурново свою собственную следственную комиссию. Такая комиссия действительно была создана.

Беспокойство властей, исполнивших свои естественные функции,

но все же бывших в положении напроказивших школьников, было довольно понятно. Они сознавали, что ночная экспедиция им не пройдет даром. И действительно...

Труп Аскина был вынесен из дачи и положен посреди двора. С раннего утра туда стали стекаться группы рабочих. Прибывший официальный следователь пытался увезти тело для вскрытия в военно-медицинскую академию. Но этого ему не позволили. Рабочие потребовали, чтобы вскрытие состоялось тут же, в их присутствии.

Волнение снова стало охватывать всю Выборгскую Сторону. Начались частичные забастовки. В те самые часы, когда на Невском мещанство ликовало по поводу наступления, в рабочих районах широкой рекой разливались новые волны ненависти и гнева против правительства 18 июня. Положение снова стало тревожным... И съезду, в торжественный момент возобновления бойни на внешнем фронте, пришлось снова взяться за свои функции „департамента полиции"—на фронте внутреннем.

В том же самом заседании, где министры-социалисты с хором мамелюков прославляли наступление, пришлось обсуждать новые события на даче Дурново. Официальным оратором выступил, конечно, комиссар правительства по делам Совета. Церетели говорил, конечно, „о непоправимом ударе революции", который наносят ей анархистские выступления, особенно опасные теперь, в критический момент перелома на фронте. В этом духе была принята и резолюция.

Но резолюция ничего изменить не могла, а прения были не интересны. Интересно было только выступление перед съездом рабочей делегации: рабочие с петербургских заводов, разных партий, явились высказать свое отношение к ночным событиям и дефилировали на трибуне один за другим. Бесхитростно и коряво, они горько упрекали власть за разгром дачи, за бессмысленное убийство; одни возмущались, другие смеялись над грандиозной военной экспедицией, снаряженной против кучки людей, которые никогда не пролили ни капли крови и не пролили ее даже теперь, защищаясь от солдатского разгрома. Один из рабочих вспоминал мое недавнее мирное посещение страшной дачи, как свидетельство того, что для военных действий на внутреннем фронте не было никаких причин.

Съезд молча и мрачно слушал. Все эти пролетарии, без различия партий, были живым свидетельством того, что между рабочей столицей и съездом лежит непроходимая пропасть, что говорят они на разных языках. Невозможно было не видеть этого. А на другой день, опять-таки после наступленских восторгов, та же картина развернулась в Петербургском Совете. Говорило, против обыкновения, довольно много рядовых членов. Опять рабочие выступали против коалиционного большинства. Тут был уже сделан доклад от имени следственной комиссии Исп. Комитета. От ее имени выступал меньшевик-интернационалист Астров. Доклад был неблагоприятен для звезд-

ной палаты. Председатель Чхеидзе поэтому волновался и вел себя более, чем сомнительно. В общем, несмотря на принятие той же нравоучительной и осуждающей резолюции, победа министер кабельных сфер была проблематичной, а пожалуй, и пирровой. Церетели, как никогда, прерывали неистовым шумом, свистом, криками возмущения. А большинство не составило и двух третей, вместо былых четырех пятых или пяти шестых. Главное же—настроение рабочих масс было явно противоположно „линии“ звездной палаты. Рабочая столица кипела.

* * *

Всем этим еще не кончились судебно-полицейские обязанности съезда... В Старом Петергофе, где было расположено много войск, юнкера и подобные им элементы устроили манифестацию по поводу наступления. Узнав о ней, батальон 3-го запасного полка вышел с оружием из казарм, чтобы ее разогнать. Среди петергофского гарнизона уже господствовали большевистские настроения, и большевики имели большинство в местном совете. Отряды юнкеров и большевиков встретились. Произошла кровавая свалка. Человек десять было убито, многие ранены, сброшены с моста, избиты кулаками, ногами, камнями... Съезд снова снарядил и выслушал следственную комиссию, прервав свою „органическую работу“. Все эти „следственные комиссии“, разумеется, были совершенно бесплодны. Но какая же, при всех этих условиях, была „органическая работа“!

Наконец, перед закрытием съезда кадетский корпус облетело еще одно потрясающее известие. Для устранения каких-то эксцессов или „простого“ неповиновения в одном из корпусов северо-западного фронта съезд в эти дни послал туда советскую экспедицию во главе с Н. Д. Соколовым. Там, близ окопов, на митинге в 10-й армии между делегатами и солдатами какого-то полка завязался спор. В ответ на убеждения не нарушать дисциплины, солдаты набросились на делегацию и зверски избили ее... Об этом докладывал в одном из последних заседаний съезда участник делегации Вербо. А глава ее, виновник инцидента, Н. Д. Соколов, лежал в это время в больнице, не приходя в сознание несколько дней... Долго, долго, месяца три после этого он носил белую повязку—„челму“—на голове. Так, с обликом правоверного, прибывшего из Мекки, помнят его в революции десятки и сотни тысяч людей.

Известие об этом избиении было потрясающим. „Правда“ посвятила ему громовую, негодующую статью. Но странно! На лицах многих рыцарей звездной палаты я констатировал явный оттенок злорадства: отличный повод прижать большевиков с их разлагающей агитацией... Съезд снова снарядил следственную комиссию. Чем богат, тем и рад. Смешно, но что же делать?

Объявить прямо и недвусмысленно, ради охраны „порядка", военную, т.-е. буржуазную, диктатуру? Этого съезд не мог по своей „социалистической", т.-е. промежуточной, мелко-буржуазной природе. Да теперь это было и немыслимо по соотношению сил. Стать на путь революционного проведения непреложной программы революции, чтобы догнать ее развитие и итти с ней в ногу? Этого съезд тоже не мог — тоже по своей мелко-буржуазной природе... Все эти эксцессы, отрывавшие кадетский корпус от „органической работы", были признаками несомненного вулканического брожения, грозящих геологических сдвигов. Оставалось в бессилии просто отмечать их, регистрировать, считать, как звезды. Но и этого съезд не мог, он их не видел по своей слепоте.

* * *

Столица кипела. После роспуска съезда, 24-го числа, рабочие с напряженным и обостренным вниманием следили за тем, как Церетели и Чхеидзе, вопреки даже воле съезда, в угоду плутократии, обуздывали Финляндию. Они не могли также не реагировать живо, остро, болезненно—на цитированное воззвание Скобелева о „самоограничении", от 28 числа. Но самым острым и больным пунктом, и для рабочих и для солдат, было, конечно, продолжающееся бестолковое наступление—вместо политики мира. Настроение масс, воля к решительным действиям нарастала с каждым днем. Агитации против коалиции в столице уже не требовалось... Повсюду, во всех углах—в Совете, в Мариинском дворце, в обывательских квартирах, на площадях и бульварах, в казармах и на заводах — говорили о каких-то выступлениях, ожидаемых не нынче-завтра. Воздух столицы был насыщен этими разговорами. Никто не знал толком, кто именно, как и куда будет „выступать". Но город чувствовал себя накануне какого-то взрыва. Даже эс-эровское „Дело Народа", где Чернов ныне ратовал за наступление, видело, что в столице неблагополучно. Газета констатировала всеобщее „тревожное настроение" и спрашивала: „что делать?". Что, в самом деле, делать? „Дело Народа" придумало вот что[1]): „Надо иметь смелость сказать массам прямо, что молочные реки с небес на землю не сваливаются, что кисельных берегов кисельными действиями не завоюешь, нужна упорная, планомерная организованная борьба для утверждения лозунга в революции (!), нужно единение, а не развал, нужны сплоченность, взаимное доверие, а не разброд и явочные импровизации, нужны спокойная уверенность в правоте своего дела и твердая воля к воле, а не шатание, революционный импрессионизм и истерика".

М-да... Вот что придумал министр Чернов в „тревожном настрое-

[1]) Передовица № 82.

нии". Но, в самом деле, что же делать-то? Как же спасать революцию? „Тревожное настроение" дошло даже до самой звездной палаты. Даже и она увидела, что надо что-то сделать. Но что может сделать слепой перед пропастью, когда уже слышны раскаты бури? Звездная палата решила, что ей пора начать серьезную агитацию среди давно заброшенных масс. Пожалуй, даже не мешает пустить в ход тяжелую артиллерию, даже самую тяжелую.

На Путиловский завод, это самое тяжелое орудие рабочего Петербурга, звездная палата решила отправить самого Чхеидзе. Путиловский завод перед неудавшимся большевистским выступлением 10-го июня проявил себя, как относительно надежный; а Чхеидзе это—самая святая икона Таврического дворца, не творившая чудес, но и никому не насолившая, а просто председательствовавшая. Дело обещало быть хорошим прецедентом. Чхеидзе поехал и выступал на митинге. Однако, его нещадно освистали. Положим, ему пришлось иметь дело с Троцким. Такое единоборство было явно не под силу старику. Но дело было явно не в „личностях". Да и свистали-то Чхеидзе ведь не во время речи Троцкого.

Ничего не выходило из агитации, из хождения в массы. Но что же делать? Что делать? Как спасаться? Какие-то „выступления" уже, говорят, начинаются то там, то сям...

Вот в Гренадерский полк явились делегаты от 1-го пулеметного. Они явились узнать, каково настроение гренадеров. Пулеметчики, видите ли, не нынче-завтра выступят против Вр. Правительства. Присоединятся ли гренадеры к ним? Выступить пулеметчики формально решили на общем собрании. Полки Московский и Павловский уже к ним присоединились. Теперь делегаты разосланы и во все прочие полки. Вр. Правительство необходимо свергнуть немедленно... Гренадерский полк, с своей стороны, с этим вполне согласился и решил присоединиться к пулеметчикам.

На-лицо оказался и представитель Путиловского завода. Он сообщил, что 40 тысяч путиловцев твердо решили выступить. И назначили время: в четверг в 8 часов утра. С Советом, разумеется, нечего считаться. Необходимо, чтобы сам народ восстал и передал власть, кому он хочет...

Такие сведения печатались в то время в газетах. Верхи, обыватели, политические межеумки, фланеры на Невском, интеллигенты в редакциях—спрашивали в панике и тоске: что же делать? что делать? как спасаться?

Исп. Комитет обратился к гарнизону с воззванием. Он „решительно осуждает призывы пулеметчиков, действующих вразрез с Всеросс съездом и Петроградским Советом". Пулеметчики „наносят удар в спину армий, героически борющихся на фронте за торжество революции, сеющих всеобщий мир и благо народа". Исп. Комитет „призывает полки не слушать никаких призывов отдельных групп или полков,

сохранять спокойствие и быть готовыми выступить по первому требованию Вр. Правительства на защиту свободы от грозящей анархии". Необходимо еще сообщать о призывах к выступлениям в Исп. Комитет по телефонам таким-то, а также проверять документы приходящих лиц."

М-да. Вот что придумал Исп. Комитет... Больше ничего никто не придумал.

* * *

Днем 2-го июля в Мариинском дворце происходили важные события... Я упоминал о том, как в результате серьезной сепаратистской шумихи на Украйне, Вр. Правительство отправило туда увещательную экспедицию из двух министров, Церетели и Терещенко. Два эти соратника застали в Киеве третьего—Керенского. И все они вместе, после трудных переговоров, выработали некое „соглашение" с местными бесшабашными интеллигентами, верховодившими „украинской радой". В силу этого соглашения Вр. Правительство должно было издать декрет или, по крайней мере, обнародовать декларацию, где—до Учр. Собрания—предрешалась украинская областная автономия и санкционировался особый орган по делам Украйны: через этот орган должны были предварительно проходить все законы и распоряжения Петербурга, касающиеся украинских губерний... Керенский, Терещенко и Церетели желали утвердить этот статус в экстренном порядке и вызвали для этого все правительство к прямому проводу на телеграф. Но кадеты запротестовали: вопрос слишком сложен. Пусть делегация выезжает в Петербург для основательного обсуждения.

Утром 2-го июля три министра вернулись из Киева, а днем в квартире премьера Львова началось жаркое дело. Четыре министра-капиталиста из кадетской партии—Мануилов, Шингарев, Шаховской и Кокошкин—боролись стойко, но безуспешно. Церетели и Терещенко заявили, что правительство уже стоит перед совершившимся фактом, что их соглашение окончательно, и никакие поправки в выработанный текст декларации—невозможны. Кадеты требовали существенных поправок. Но поправки были отвергнуты большинством голосов шести министров-социалистов и всех остальных голосов против „народной свободы". Этого кадеты не выдержали и заявили о своей отставке.

Коалиция „всех живых сил", обреченная на немедленный слом объективным ходом событий, развалилась и от внутренних давлений, не выжив двух месяцев... Троцкий, в своей интересной книжке об „октябрьской революции", высказывается в том смысле, что для кадетских министров легализация украинского сепаратизма была только предлогом разделаться с нелепой коалицией и изменить конъюнктуру. Полагаю, что это не так. Конечно, украинское дело было последней каплей, переполнившей чашу долготерпения истинно-государственных людей. Но эта капля имела особый вес, была особенно тяжелой. Укра-

инское дело ни в каком случае не было только предлогом, но было действительной непосредственной причиной взрыва коалиции. Ведь идея „великой России“ составляла душу всего кадетского национал-либерализма. А украинская „областная автономия“ была решительно несовместима с ней. Был ли резон для кадетов именно в данный момент покидать курульные кресла—об этом во всяком случае можно спорить Но что кадетские лидеры, профессора и интеллигенты, не могли выдержать давления революции прежде всего с этой стороны, что они не могли претерпеть, не в пример многому иному, „нарушения национального единства“—это было совершенно в порядке вещей. Стоит отметить, какое место этому „национально государственному“ вопросу, среди всего контекста событий, отводит Милюков в своей „Истории“...

Коалиция „живых сил“, эта первая коалиция против революции, немного не дождавшись, пока ее сметет взрыв народного гнева, лопнула от внутреннего кризиса. Она продержалась ровно столько же, сколько и первый кабинет Гучкова-Милюкова... Ее гибель создавала новую конъюнктуру. Как два месяца назад уход Гучкова заставил силой советское большинство поставить вопрос о новой власти, так было и теперь. Церетели с компанией тогда, после апрельских дней, ничего не желал знать, кроме поддержки живых сил Милюкова и Гучкова. Потом эти деятели в какую-нибудь неделю перевоплотились в „безответственную буржуазию, отошедшую от революции“. Свое полное доверие и поддержку советские лидеры перенесли на их ближайших единомышленников и друзей. Вместе с Терещенкой и Львовым, Шингарев и Мануилов оставались „живыми силами“; крайне полезными для революции. Сбить „звездную палату“ с этой глубокомысленной позиции были бессильны и самоочевидные факты, и испытанные опасности. Вопрос о власти был способен принимать только одну форму в этих заскорузлых головах: полное доверие и поддержка коалиции.

Теперь волей-неволей вопрос приходилось поставить в более широком объеме. Правда, не из чего не следовало, что **при его решении** советское большинство проявит хоть каплю здравого смысла. Но была надежда, что открытый ныне вопрос будет решаться не одними светлыми головами звездной палаты, не одними руками мамелюков. Должно же в этом решении сыграть надлежащую роль „общественное мнение“ столицы. Должна же оказать влияние вся конъюнктура, сложившаяся после наступления. Должны же непреложные обстоятельства, как и в конце апреля, оказаться сильнее жалких „теорий“ непонимающих людей!..

Разумеется, существует единственное здравое решение вопроса. Создание чисто демократической власти, установление диктатуры демократии. Взамен коалиции мелкой и крупной буржуазии против пролетариата и революции должна быть создана новая коалиция: коалиция советских партий, пролетариата и крестьянства против капитала и империализма. Других решений не было. Но это решение могло

быть дано только единым фронтом, только единой волей в Совете.

Вся власть была давно в его руках. Ему давно принадлежала вся наличная реальная сила в государстве. Диктатура советской демократии могла быть установлена —формально—простым провозглашением правительства советского блока. Переворот мог быть совершен с полнейшей легкостью, без всякого восстания, без реального сопротивления, без пролития капли крови. А фактически диктатура демократии создавалась простой реализацией наличной власти и осуществлением программы мира, хлеба и земли. Здесь путь был ясен и, казалось, гладок. Но все это было так при условии единого советского фронта, при выступлении Совета за переворот.

Так или иначе, вопрос был поставлен во всем объеме—внутренним развалом коалиции. Но сейчас, в воскресенье, 2 июля, когда в Мариинском дворце шли драматические объяснения министров, в столице об этом ничего не знали. Только поздно вечером город стал облетать по телефону слух о выходе кадетов из коалиционного правительства...

Сейчас город по-прежнему был насыщен другими слухами—о разных „выступлениях" большевиков, рабочих и полков против правительства и Совета. Столица кипела, стихия поднималась все выше и выше. Лозунгом бурливших масс была та же диктатура демократии; это была—„вся власть Советам". Казалось бы, события с разных сторон бьют в одну и ту же точку. Казалось бы, что движение масс, выражая „общественное мнение" рабоче-солдатской столицы, послужит отличным фоном, благоприятным фактором правильного решения вопроса о власти. Но это было не так. Стихия поднималась безудержная, безрассудная, неосмысленная. А те, кто были на ее гребне, возглашая все те же лозунги „Советской власти", действовали против Совета, а не единым советским фронтом против буржуазии. Они имели целью передать власть не Совету, в лице блока советских партий, а „инициативному меньшинству", в лице одной только партии большевиков; и они видели средство переворота не в выступлении Совета, а в восстании против него столичных рабоче-солдатских масс. [1]).

При таких условиях движение петербургских „низов" не было благоприятным фактором, а бесконечно запутывало положение. „Общественное мнение" не помогало решению кризиса. Вздымавшиеся волны народной стихии теперь не могли сослужить ту службу революции, какую они сослужили. В апрельские дни стихиями повелевал Совет. Теперь они вышли из всякого повиновения. А если кто и сохранял над ними небольшую долю власти, то это были большевики, которые направляли стихии во имя Совета против него. Получалось объективно противоречивое положение.

---

[1]) В нашей прессе неоднократно выяснялась несостоятельность всех этих рассуждений автора. *Р е д.*

Но власть большевиков над стихиями была не велика. В недрах столицы, еще невидимо для постороннего взора, буря разыгралась безудержно. Десятки и сотни тысяч рабочих действительно рвались к какому-то неизбежному „выступлению". И удержать их было нельзя... Это „выступление" грозило быть роковым. Именно так я оценивал его тогда, по всей совокупности обстоятельств. Именно так я оцениваю его и теперь, через три года, смотря sub specie aeternitatis, на его последствия. Но одинаково тогда и теперь, независимо от политических результатов, нельзя было смотреть иначе, как с восхищением и восторгом, на это изумительное движение народных масс. Считая его гибельным, я не мог не преклоняться перед его гигантским стихийным размахом.

Десятки и сотни тысяч пролетарских сердец поистине горели единой страстью, ненавистью-любовью и жаждой огромного, непонятного подвига. Они рвались тут же, своими руками разметать все препятствия, раздавить всех врагов и устроить свою судьбу, судьбу своего класса, своей страны—по своей воле. Но как? Какими способами? Какую именно судьбу? Этого не знала стихия. Куда, зачем собирался „выступить" каждый из этих сорока тысяч путиловцев, назначивших выступление в четверг на 8 часов утра? Что будет делать каждый из солдат при выступлении всех этих „присоединившихся" полков? Этого они не знали, как не знали они и не спрашивали себя, что выйдет из всего этого, что ожидает их на другой день. Но они рвались, они горели, они должны были выступить. Так судил рок истории, повелевавший стихиями. Это было грандиозное зрелище. Только слепцы могли не чувствовать его величия.

А что из этого вышло? Вышел из этого „эпизод", чреватый последствиями, который войдет в историю под именем июльских дней.

Июль 1920 г.

Германская революция и социал-демократия.

С. Членов.

Конечно, время для подведения итогов германской революции, для ее беспристрастной оценки еще далеко не настало. Уже имеющиеся попытки далеки от объективности. Судьи впадают то в роль адвокатов, то в роль прокуроров, а старики начинают читать нравоучения. Актеры законченного действа, еще не смыв грима, в котором они играли на исторических подмостках отведенную им роль, уже хватаются за перо мемуаристов и спешат не столько зафиксировать свои переживания, сколько дать будущему историку надлежащим образом проработанный и соответственно освещенный материал. Процесс перед судом истории уже кончается. Участники событий спешат выступить свидетелями в свою пользу, подготовить приговор своими показаниями.

Если Филипп Шейдеман и Густав Носке в предисловии к своим мемуарам выставляют сверхличные цели, ради которых они опубликовывают свои воспоминания, то более пассивный Эмиль Барт прямо пишет: „осуждаемый различными партиями справа и слева, я чувствую настоятельную потребность написать то, что мне кажется необходимым для того, чтобы потом я не фигурировал в истории ни как кровопийца, ни как карьерист, ни как осел!

Барт написал себе нечто среднее между апологией и защитительной речью, Носке пытается возвести себя на пьедестал Кромвеля германской революции, Шейдеману больше улыбается амплуа Мирабо. Все они обвиняют и защищают, обличают и восхваляют, пишут на тему „я и революция“ и создают себе вместо пьедестала героев и великих государственных мужей, ходули, которые только резче подчеркивают их карликовый рост. Историки революции—Э. Бернштейн, Штремель, Рункель—несколько объективнее, хотя и им очень, очень далеко до беспристрастной оценки событий. Пока что германская революция еще не нашла сколько-нибудь крупного историка, который сумел бы до известной степени оказаться „au dessus de la mellée“, вдвинуть только что прошедшие события в рамки исторической перспективы. Все писавшие о германской революции писали из гущи свалки. То, что они написали, конечно, только подготовительный материал для историка, но еще не история, хотя бы партийная или классовая. „Классовая борьба во Франции“ Маркса, это история, хотя отнюдь не бесстрастная. „Германская революция“—Бернштейна не история, хотя Маркс дает полный простор выражению своих симпатий

и особенно антипатий, а Бернштейн тщетно симулирует объективность бесстрастного судьи. В одном случае мы видим пружины событий и их исторический смысл. В другом перед нами только описание событий со сделанными на картинках подписями: „хорошо", „плохо", „удовлетворительно". Своего Маркса германская революция не нашла и не найдет. Своего Олара или Жореса она дожидается. Но своего обвинителя перед судом истории, страстного, блестящего и жестокого, она уже имеет. Его обвинительный акт краток, но выводы беспощадны. Обвинитель не собирает фактов: для этого он слишком презирает подсудимого. Несколькими резкими штрихами он очерчивает лик германской революции и приходит к выводу, что это было соединение „революции глупости" с „революцией подлости", „самое бессмысленное деяние в немецкой истории". Прокурора германской революции зовут Освальд Шпенглер. Обвинительный акт заключен в первой главе его книжки: „Preussentum und Sozialismus".

Исходная точка зрения Шпенглера, масштаб, с которым он подходит к революции, настолько пародоксальны и мало приемлемы, что мы не будем на них останавливаться. Но отдельные его мысли бросают яркий свет на события революции, а его оценка, в конечном счете, правильно учитывает исторический удельный вес событий, хотя совсем неправильно их объясняет.

Шпенглер пытается обрисовать лик революции и с отвращением восклицает: „Неописуемое безобразие ноябрьских дней является беспримерным".

„Паленькая, трусливая, половинчатая и гаденькая революция, вот оценка Шпенглера. А причина в позорном банкротстве германской социал-демократии, в ее жалком и недостойном поведении, в том, что она совершенно не доросла до той громадной исторической роли, которая ей досталась, и дезертировала с того поста, на который ее поставила революция.

Мы не можем согласиться с подходом автора к революции, но думаем, что в оценке роли социал-демократии, в ее событиях и в констатировании главной причины крушения революции и победы контр-революции будущий марксистский историк сойдется с Освальдом Шпенглером.

„Мы переживаем эпоху директории до Термидора, — пишет Шпенглер.—Эта лживая комедия не удавшейся и не завершенной революции должна кончиться". Шпенглер верит в то, что эпоха германской директории кончится Наполеоном. Сейчас уже очевидно, что она кончится Стиннесом. Но зрелище директории не только без предшествующего Термидора, но и без конвента, революции, которая только что родившись, впала сразу в фазу старческой дряхлости,—конечно, наиболее характерно для внешнего хода революции.

9-ое ноября 1918 года неожиданно поставило у власти социал-демократию, которая оказалась решающей силой на исторической арене. Буржуазные партии не только не претендовали на участие в правительстве, а просто спрятались, стушевались, исчезли.

„В первые дни революции буржуазия была парализована страхом и как бы исчезла со сцены; каждый реакционер, с которым вы встретились, выдавал себя за старого социалиста",—писал журналист Эрнст Фридегг.

Этот факт единодушно подтверждается всеми историками и мемуаристами, подтверждается содержанием и тоном буржуазных газет этого периода.

Как же отнеслась социал-демократия к своей победе, как использовала власть, которая так легко и неожиданно ей досталась? „Ноябрьская революция напоминала скорее народное празднество",—писал один из очевидцев.

Ответ, который дает на этот вопрос Шпенглер, подтверждается всем имеющимся материалом и, несомненно, в нем главная пружина траги-комедии германской революции.

„Революция подействовала на всех так, как если бы обрушился дом, и больше всего, пожалуй, на самих вождей социалистов,—пишет Шпенглер.—

„Это беспримерно: они внезапно получили то, к чему они стремились сорок лет,—всю полноту власти,—и восприняли это, как несчастие. Те самые солдаты, которые под черно-бело-красным знаменем четыре года сражались, как герои, под красным знаменем ничего не хотели, ни на что не дерзали, ничего не сделали. Эта революция не только не вдохнула мужества в своих участников, но, наоборот, отняла его у них".

Социалисты оказались, по мнению Шпенглера, жалкими трусами. „Революция погибла от трусости. Теперь уже слишком поздно". И еще о вождях: „Вместо того, чтобы стать во главе красных армий, они стали во главе хорошо оплачиваемых рабочих советов".

„Марксисты имели власть в руках. Они добровольно от нее отреклись". „Душа партии умерла в тот момент, когда она испугалась успеха дела, за которое 40 лет боролась, бросилась в объятия вчерашним врагам из страха перед ответственностью, перед тем моментом, когда надо было не только критиковать действительность, но и создавать ее". „Никогда ни одно массовое движение не было так позорно втоптано в грязь, благодаря ничтожеству вождей и их последователей".

Социал-демократия уклонилась от своей исторической задачи, дезертировала со своего поста и тем погубила революцию.

До этого пункта можно безусловно согласиться со Шпенглером в оценке роли социал-демократии в Германской революции, или, вернее, в ее крушении. Но Шпенглер считает, что социал-демократия умерла в тот момент, когда бросилась в объятия буржуазного либерализма и пошла против милитаризма и монархии. Для Шпенглера день 4 августа 1914 года, когда социалисты голосовали за военные кредиты, был днем величайшего торжества социализма, а ноябрьские дни 1918 года черными днями измены социал-демократической партии не только Германии, но и идее социализма. „Подлинные социалисты были в окопах, защищая германскую социалистическую идею государства, стоящего над личностью, против буржуазного индивидуализма, за который сражалась Антанта во главе с Англией. Революция была изменой и отечеству и социализму. Актом предательства, завершенным трусливым бегством из-под собственных знамен, отказом от своих идеалов в самой революции. Для Шпенглера Пруссия—носительница идей социализма. Изменив Пруссии и войне, социал демократы попали в орбиту буржуазных влияний и не могли не изменить и заветам Бебеля. Итак, для Шпенглера революция—двойная измена: сначала измена социал-демократов воинствующей Германии, потом измена их собственной программе, и в результате духовная смерть германского социализма, его идейное и политическое пленение буржуазией.

Объективно дело обстояло как раз наоборот.

Социал-демократы изменили социализму не 9 ноября, а 4 августа. Не тогда, когда восстали против войны, а когда отреклись от лозунга Интернационала: „Война войне". Не потому социал-демократы оказались в революции прихвостнями буржуазии, что изменили войне и монархии, а потому, что, поддерживая в течение 4-х лет войну и монархию, они к моменту революции давно перестали быть социалистами. Не потому, что 9 ноября с.-д. дезертировали из-под черно-бело-красного флага, они были обречены на измену и красному знамени, а потому, что, перебежав 4-го августа из-под красного знамени под знамена милитаризма, они одним ударом довершили процесс своего превращения из революционно-социалистической партии в партию буржуазную и антисоциалистическую.

Мемуары Носке и Шейдемана неопровержимо доказывают, что даже в ноябре 1918 года с.-д. не хотели революции и боялись ее. Они прилагали все усилия, чтобы ее предотаратить, а когда она вспыхнула, старались, ни перед чем не останавливаясь, ее локализовать и ликвидировать.

Уже с первых дней революции с.-д. провозгласили лозунг беспощадной борьбы со всеми попытками превращения буржуазной революции в социалистическую. За учредительное собрание против советов, за порядок и собственность против бунтовщиков, — это были боевые лозунги, во имя которых боролись с.-д. Под этими знаменами они собрали вокруг себя не только всю буржуазию, но и всю феодально-монархическую реакцию и сплотили ее в единый, контр-революционный фронт под своей гегемонией. Прочтите мемуары Носке, дышащие ненавистью к „бунту" и „беспорядку" и чисто унтер-офицерским преклонением перед „порядком", офицерством и старым чиновничеством, как его избранными носителями, и вы поймете, каким духом жила германская социал-демократия. Мемуары Шейдемана и Носке это—бессмертные и бесценные человеческие документы. В меру своих маленьких сил и способностей эти люди неутомимо и настойчиво работали во время войны над укреплением милитаризма, после 9 ноября—над удушением революции. Вся книга Носке „От Киля до Каппа" — это однообразное хвастливое описание организованных им карательных экспедиций и усмирений пролетариата и революционной части армии и флота.

Сначала, посланный рейхстагом в Киль, он прилагает все усилия, чтобы не дать „матросскому мятежу" разрастись в революцию. Он концентрирует вокруг себя все реакционные элементы и с особой признательностью говорит о том понимании и симпатии, которые он встретил со стороны как кадрового офицерства, так и в особенности со стороны унтер-офицеров и фельдфебелей. Сия последняя категория пользуется совершенно особыми симпатиями Носке. Это в его глазах самый „государственный" элемент старой армии, и из них образовалось ядро республиканских опричников, известных под именем „гвардии Носке". Эта гвардия была на своем посту всюду, где дело шло о кровавом подавлении революции. Возьмите оглавление книги Носке. В ней длинный перечень городов, где Носке, действуя именем с.-д. правительства, штыками Вильгельмовской солдатчины разогнал советы и подавил сопротивление рабочих наседающей контр-революции. Берлин, Бремен, Гамбург, Лейпциг, Вестфалия, Браунгшвейг, Мюнхен— это все имена городов и местностей, где „гвардия" одержала победу над пролетариатом. И этими победами, этими триумфами „порядка" Носке хвастает, как своими величайшими заслугами перед „родиной и революцией".

Он с необычайной гордостью цитирует доказательства своей популярности среди монархического офицерства и буржуазии и полностью перепечатывает благодарственные письма к нему принцесс королевского дома и монархически настроенных буржуа. Чувствуется, что Носке искренне умилен до самых глубин своего унтер-офицерского сердца тем, что с ним разговаривают как со своим человеком даже генералы. И трудно сказать, что больше льстит его самолюбию: популярность среди монархистов и буржуазии или честно заработанная кличка—„кровавая собака", под которой он известен в широчайших кругах рабочего класса. Мы потому так долго останавливаемся на этом удешевленном немецком издании Кавеньяка, что Носке наиболее характерная фигура среди германских с.-д. У него все устремления последней доведены до логического конца, формулированы примитивно, открыто и без фиговых листков. Хотя даже лукавый Шейдеман не может скрыть своего глубокого удовлетворения той популярностью среди всех контр-революционных элементов, которая заслуженно выпала на его долю, и своей ненависти к „бунтовщикам" и „анархистам", мешавшим с.-д. вождям спокойно играть почтенную роль буржуазных министров, но Носке гораздо ярче и откровеннее. Его цинизм доходит до своеобразной грации, а его простота прямо умиляет.

По мемуарам Носке можно легко проследить самую сущность германской революции, они—неоценимый исторический документ.

История Носке, это история с.-д. партии, а история с.-д. партии это главная ось истории революции.

Развитие германской революции можно схематически свести к трем этапам:

1) Свержение монархии и замена ее директорией, формально опирающейся на советы рабочих и солдатских депутатов и формально носящей социалистический характер.

2) Немедленно вслед за тем начинающаяся борьба за власть, которая ведется по существу за то: быть ли в Германии диктатуре пролетариата или диктатуре буржуазии, выступающей в союзе с феодальными и монархическими элементами.

В этой борьбе, составляющей все содержание германской революции с первых ее дней и до ее конца, на первый план выступают три момента: борьба между идеей советов и учредительным собранием, борьба за армии и борьба за социализацию. По всем трем пунктам пролетариат терпит решительное и жестокое поражение. Учредительное собрание торжествует над советами, вооруженная сила целиком остается в руках реакционного офицерства и является послушным орудием кровавого подавления революции и оплотом контр-революции, социализация позорно проваливается, и капитализм утверждается во всем своем блеске.

Социал-демократия в этой фазе революции является руководящей партией в лагере реакции.

Все контр-революционные силы страны сплачиваются вокруг нее: буржуазия всех оттенков, реакционное крестьянство и мещанство, земельное дворянство и, особенно, монархическая военная каста. С.-д. партия является организующим центром и гегемоном в контр революционном лагере. Под ее флагом и предводительством идет борьба против советов, быстро заканчивающаяся их беспощадной, зачастую кровавой ликвидацией. Она твердой рукой доводит страну до учредительного собрания с буржуазным большинством. Она ведет борьбу за включение буржуазии в правительство и этого добивается. Она, реши-

тельно и не перед чем не останавливаясь, выступает против вооружения пролетариата и за оставление всей вооруженной силы в руках даже не буржуазии, а сплошь монархического офицерства и генералитета. Рабочий класс обезоруживается, революционно-настроенные военные части разоружаются, расформировываются или расстреливаются. Все это проводится социал-демократом Носке при энергичной поддержке вождей с.-д. партии. Сохранение в руках контр-революции вооруженной силы и большинства ответственных мест в аппарате гражданского управления и юстиции предопределяет исход борьбы за власть.

Попытки реализовать социалистические лозунги путем проведения системы мероприятий по социализации промышленности парализуются сопротивлением всей буржуазной коалиции во главе с социал-демократами.

Попытки социализации кончаются полной неудачей.

3) Последний этап. Торжество контр-революции упрочено. Республикой правит буржуазия при очень большом влиянии феодальных и монархических элементов. „Мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Буржуазия ставит в порядок дня вопрос о снятии с правительства социал-демократического фигового листка и о замене полусоциалистической коалиции открытой буржуазной олигархией.

Социал демократия, желая во что бы то ни стало удержать свою долю участия во власти, выбрасывает за борт последние остатки своего социалистического багажа. Тем не менее вопрос о неприкрытой и неограниченной диктатуре финансового капитала ставится на очередь все более настоятельно, и эта диктатура быстро близится к осуществлению.

Итак, содержание германской революции состоит из краткого пролога—крушения монархии и установления республики; основного действия—борьбы между авангардом пролетариата, который стремится превратить революцию в социальную, и буржуазией, ведущей за собой широкие слои мелкой буржуазии и крестьянства, все реакционные элементы и даже значительную часть пролетариата. Вся эта коалиция, борющаяся за сохранение господства капитала, концентрируется вокруг с.-д. партии, составляющей ее левый фланг. Еще не законченный эпилог состоит в перемещении центра тяжести коалиции слева направо, в непрерывном упадке влияния с.-д. партии и переходе гегемонии к партии крупного капитала, каковой переход сопровождается непрерывным усилением политического влияния и общественного значения землевладельцев и вообще монархических элементов.

Этот процесс отчетливо вырисовывается при изучении обзоров революции и газет, мемуаров и законодательных материалов.

Исключительно интересно, что Ф. Энгельс в одной из своих статей с изумительной ясностью за много лет предвидел основное содержание трагедии будущей германской революции.

Вот что писал Энгельс в статье „Право на революцию":

„Что чистая демократия в Германии играет второстепенную роль, чем в странах с более старым промышленным развитием—это понятно само собой.

Но это не мешает тому, что в момент революции она в качестве самой крайней из буржуазных партий может внезапно получить значение в качестве последнего якоря спасения всего буржуазного и отчасти даже феодального хозяйства. В такой момент вся реакционная масса сплачивается вокруг нее и ее усиливает; все, что было реак-

ционным, теперь выступает под личиной демократизма. Так, в 1848 году вся феодально-бюрократическая масса усиливала с марта до сентября либералов, чтобы совместно подавить революционные массы и чтобы, когда это удалось, прогнать, разумеется, и либералов пинком ноги. Так во Франции в 1848 году с мая и до сентябрьского избрания Бонапарта господствовала чистая республиканская, партия националя, самая крайняя изо всех, при чем она держалась поддержкой организующейся за ее спиной объединенной реакции. Так было во всех революциях: наиболее ручная, еще способная управлять партия становится у кормила, ибо в этом побежденные видели последнюю возможность спасения. Не следует ожидать, что в момент кризиса (т.-е. революции в Германии. *С.Ч.*) мы уже будем иметь за собой большинство избирателей, т.-е. большинство нации. Вес буржуазный класс, остатки феодального, большая часть мелкой буржуазии и сельского населения тогда сплотится вокруг весьма революционной на словах, наиболее крайней из буржуазных партий, и я считаю вероятным, что она не только будет представлена во временном правительстве, но и составит в нем большинство... Во всяком случае в день кризиса и в день, следующий за ним, нашим единственным противником будет объединенная реакция, группирующаяся вокруг крайней демократии".

Представьте всюду вместо крайней демократии и чистой демократии социал-демократию, и вы получите прямо изумительное предвидение хода германской революции. И такая подстановка будет вполне правомерной, уже в момент объявления войны социал-демократия решительно заняла свое место на левом фланге патриотического буржуазно-реакционного блока. Она стояла на нем до конца. Прочтите в мемуарах Шейдемана, как он за спиной своего товарища по партии, Гаазе, интриговал против него и против левого крыла партии с министрами Вильгельма и вождями буржуазных партий. Вспомните роль Шейдемана или Зюдекума в германской империалистической агитации в нейтральных странах. Проследите, хотя бы по мемуарам Барта, роль с.-д. в разгроме независимых газет, в ожесточенных репрессиях против революционных движений рабочего класса во время войны.

Посмотрите на Носке в Киле, на роль с.-д. в деле уничтожения советов; вспомните разгром матросской дивизии на Рождестве 1918 года, январские дни 1919 года, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург, которое Шейдеман и Носке почти открыто оправдывают. Носке не без гордости заявляет, что это именно он утвердил оправдательный приговор убийцам. Дальше, бесчисленные подвиги гвардии Носке. Разгон советов, потопление в крови Баварской советской республики, опять-таки организованное социал-демократами. Март 1919 года в Берлине. Январская стачка и расстрелы 1920 года там же, март 1920 года в Вестфалии, — всюду с.-д. во главе всей реакционной массы выступали в роли наиболее активных и жестоких палачей рабочего класса.

Доказательств этому можно привести сколько угодно. Когда Носке уезжал из Киля в Берлин (в ноябре 1918 года), группа кильских буржуа подала ему заявление, в котором свидетельствовала „о своей твердой воле приложить все свои личные и хозяйственные силы, чтоб помочь социал-демократам руководить государством и водворить порядок".

Носке с удовлетворением цитирует не только этот документ, но и письмо к нему некоего гражданина, который „пришел в ярость, узнав о перевороте в городах на побережьи Северного моря". Германию

влекут к гибели. Миллионы с тревогой ждут дальнейших событий. Но „я верю, что вы и ваши друзья обладают достаточной силой, чтобы остановить бедствие".

Кажется, очень ясно: для корреспондента Носке бедствие—это революция (даже буржуазная), он о ней узнал с яростью: последняя надежда на Носке и на его друзей. Последний якорь спасения для революционеров—социал-демократия. Носке с гордостью повествует читателям о том, как он оправдал доверие. Шейдеман несколько дипломатичнее рассказывает о том же. Из его мемуаров распределение ролей видно столь же ясно. Социал-демократы в правительстве с самого начала ставили своей основной задачей подавление социальной революции, дискретирование своих „независимых" товарищей по правительству и концентрацию вокруг себя всех буржуазных и контр-революционных элементов во имя борьбы за порядок. Буржуазный историк Рункель, с большим одобрением отзывается о деятельности с.-д. в этом направлении. Э. Бернштейн, который всемерно старается обелить своих друзей по партии, не может не признать, что во многих случаях они проявили в борьбе с врагами слева чрезмерную энергию, а с врагами справа—непозволительную слабость. Книга умеренного независимого Генриха Штребеля дает яркую картину неутомимой контр-революционной деятельности социал-демократов. Из сотен фактов, свидетельствующих о позиции социал-демократов в революции и рисующих их идеологию, приведем только одно наугад выбранное место из мемуаров Носке. Это было уже в январе 1920 года. Правительство внесло в рейхстаг ярко буржуазный законопроект о фабричных советах. Независимые и коммунисты устроили демонстрацию протеста. С.-д. министр Гейне приготовил пулеметы. Произошло столкновение с полицией. Толпу расстреляли из пулеметов. „42 убитых и 105 раненых имели независимые на своей совести",—лицемерно повествует Носке. Далее он сообщает, как он немедленно добился от правительства объявления почти всей Германии на исключительном положении и вручения ему, Носке, диктаторских полномочий. Носке сделал из этих полномочий следующее употребление: „Это было, прежде всего, запрещение стачек в предприятиях общественного значения, в частности для железнодорожников и горнорабочих". Дальше Носке впадает в подлинный административный восторг: „одним ударом я задушил всю прессу независимых и коммунистов в Берлине и во всем государстве. Часть вожаков я засадил под стражу и т. д.".

Зато о позорном бегстве правительства перед мятежниками справа, о том, как несколько тысяч солдат выгнали правительство из Берлина, где был в 10 раз более сильный гарнизон, Носке говорит достаточно невразумительно: об этом бессилии правительства против монархистов можно прочесть у Штребеля. Вся картина уже в 1922 году прошла снова перед зрителями на процессе заговорщиков в Имперском суде в Лейпциге. (Между прочим, все главные заговорщики: Капп, Люттвиц, Эркгард, Бауэр до сих пор гуляют на свободе: их, якобы, не могут найти.) Зато, когда массовым порывом рабочего класса заговорщики были сброшены, когда для борьбы с анархистами рабочие снова вооружились, с.-д. правительство проявило колоссальную энергию при их обезоружении. Те самые генералы, которые только что изменили правительству, снова получили от него безграничные полномочия для борьбы против рабочих. Гвардия Носке, только что сдавшая Берлин без выстрела монархическим заговорщикам, снова свирепствовала, заливая рабочей кровью Германию. Беспримерная бойня была

устроена в Рурской области. Ей руководил по приказу правительства генерал Воттер, связанный теснейшими узами с белыми заговорщиками. Установлено, что в проведении белого террора в Рурском районе принимали участие офицеры—участники заговора Каппа.

Каппистов не преследовали. Рабочих, которые только что спасли республику, расстреливали сотнями по приговорам военных судов. Вакханалия белого террора, проводимого военщиной под флагом с.-д. президента Эберта, достигла таких размеров, что даже „Форвертс" писал 18 мая 1920 года: „Долой исключительные военные суды", и „президент республики не должен ни одного дня долее терпеть этот скандал". Президент Эберт, однако, терпел. Он, видно, лучше журналистов из „Форвертс" понимал почтенную историческую задачу социал-демократии быть вождем и организатором контр-революции.

И только сейчас Эберт и его партию настигла рука исторической Немезиды: буржуазные партии решили его сместить и избрать весной буржуазного президента.

„Мавр сделал свое дело"...

Насколько и сами с.-д. и буржуазия сознавали, что социал-демократы играют в Германской революции ту самую роль, которую Энгельс в своем прогнозе отводил наиболее крайней из буржуазных партий, можно видеть, например, из интересной статьи известного с.-д., Фридриха Штампфера, „Национальное собрание и социал-демократия".

Указав, что социал-демократы с самого начала сделали требование немедленного созыва учредительного собрания своим главным требованием, Штампфер отмечает, что между социал-демократией и буржуазными демократами установились более тесные отношения, чем между с.-д. и независимыми. Главная задача социализма в революции, по мнению Штампфера, отнюдь не борьба с буржуазией (об этом с.-д. во время революции даже не заикались), а „защита демократии от нападений справа и слева".

Но самое лучшее дальше: „Буржуазия боится большевизма и спасения от этой опасности она ждет от социал-демократии. Поэтому сопротивление, которое социал-демократия встречает справа, ослабевает, но доверие к ней в рабочих массах подвергается опасности". И уже совсем ясно звучит следующая тирада: „Вчерашняя партия переворота должна проявить себя, как сила, охраняющая народ и государство, в борьбе против оторвавшихся от нее частей, которые жаждут переворота там, где фактически больше нечего переворачивать".

Здесь все ясно. Борьба с социальной революцией за буржуазное государство—вот историческая задача социал-демократии. „Переворачивать нечего". Громадное здание капиталистического хозяйства, построенного на эксплоатации, классовое буржуазное государство,—словом, все то, против чего с.-д. боролись десятилетиями, не только не нужно переворачивать, а нужно всемерно защищать. Партейтаг в Герлице в сентябре 1921 года формально завершил эволюцию с.-демократии, ее переход в лагерь рабов рабочего класса.

Несомненно, рабочий класс в германской революции потерпел поражение. Были ли при этом вместе с рабочим классом разбиты социал-демократические иллюзии его большинства, поняло ли оно, что будущее германского рабочего класса не в борьбе под знаменами с.-д. партии,—а в борьбе против нее,—в этом главный вопрос, от которого зависит судьба германской революции в будущем.

Во всяком случае, всякое движение рабочего класса в Германии отныне принимает форму непосредственной борьбы за диктатуру пролетариата, за социальный переворот. Ибо, хотя правление социал-демократов на сей раз оказалось якорем спасения для буржуазного общества, но не надо забывать, что это—последний якорь, и дальше отступать буржуазному обществу некуда.

Мировое наступление капитала и единый пролетарский фронт.

А. Лозовский.

I.

Если сейчас посмотреть на социальную карту всего мира, то мы увидим крайне любопытное явление, которое за последнее время в мировой литературе стали обозначать, как наступление капитала. Может показаться странным, почему за последнее время так много об этом говорят и пишут. Получается впечатление, как будто это нечто новое в социальной классовой борьбе. На самом деле, в этой борьбе не раз уже имели место подобные наступления. Но если мы сейчас с особенным вниманием рассматриваем происходящую борьбу, то это потому, что она приняла совершенно новую форму и выросла до таких размеров, до которых никогда не достигала раньше: и именно поэтому она представляет исключительный интерес с точки зрения изучения судеб рабочего движения и вместе с тем судеб всего капиталистического мира.

Наступление капитала начинается приблизительно с середины 1920 года. Ну, а до 1920 года что же было? Непосредственно в послевоенный период мы можем отметить во всех странах,—в странах победительницах и в странах побежденных,—бурный рост рабочего движения и на фоне этого роста ряд уступок со стороны буржуазии. Война потрясла весь народохозяйственный организм, и скованные войной силы прорвались непосредственно по окончании войны с колоссальной стихийной силой. Социальная борьба приняла особенно острый характер непосредственно в послевоенный период. Война вызвала в массах громадное недовольство, и стихийная, накопившаяся в период войны ненависть прорвалась непосредственно по окончании войны. Мы это видим в стихийном стремлении масс к борьбе, в громадном небывалом до того росте профессиональных организаций, которые, начиная с 1918 года и до середины 1920 года, выросли приблизительно в 5—6 раз. Вот этот наплыв широких масс в профессиональные организации и глубокий стихийный процесс роста недовольных рабочих масс, с одной стороны, а с другой—ослабление капиталистического организма, которое явилось следствием многолетний войны,—все это вместе взятое заставило господствующие классы отступиться перед грозным натиском пролетариата И мы видим, как буржуазия отступает по всему фронту. Это отступление выразилось прежде всего в „добровольном“ проведении 8-ми часового

рабочего дня во многих странах. Оно выразилось в том, что, например, Французская Палата и Французский Сенат в 1919 году проводят закон о 8-ми часовом рабочем дне, закон, о котором не хотели слышать в течение долгих десятилетий. Оно выразилось в том, что и в Германии был введен этот 8-ми часовой рабочий день, а в ряде других стран рабочие непосредственно завоевали целый ряд крупных, важных социальных реформ, которые были даны формально „добровольно", но фактически явились уступкой, которую делала буржуазия для того, чтобы сохранить свои старые позиции. Вот это отступление буржуазии шло на протяжении всего 1919 года и половины 1920 года. Оно в экономическом отношении совпало с непосредственным послевоенным расцветом промышленности в некоторых странах, вызванным продолжающимися, с одной стороны, военными заказами, а с другой стороны тем, что рынок по сравнению с военным временем расширился, так как в товарооборот была включена Центральная Европа, которая была во время войны отрезана от мирового рынка.

Только с середины 1920 года мы замечаем начало мирового экономического кризиса. Отмечу: кризис, начавшийся с середины 1920 года, был вызван необычайно обострившимися противоречиями внутри мирового капиталистического хозяйства, чрезвычайным ослаблением производительных сил всех стран и в особенности тем фактом, что $^1/_6$ часть земного шара в лице Советской России, оказались вырванной из мирового товарооборота. Кризис характеризуется массовой приостановкой предприятий, уменьшением производства и колоссальным ростом безработицы, какого еще капиталистическое общество не видело за свое довольно долгое существование.

Сам по себе кризис, который является исходным пунктом для наступления капитала, принял крайне своеобразные и особые формы в странах с высокой валютой и в странах с низкой валютой. Если мы сравним Соединенные Штаты, Англию, Скандинавские страны, Голландию, с одной стороны—это все страны с высокой валютой,—а с другой стороны возьмем страны с низкой валютой, как Германия, Австрия и т. д., то мы сразу заметим, как различны формы кризиса в обеих группах стран и как на почве этих своеобразных форм кризиса меняются и самые формы, методы наступления капитала. Прежде всего любопытно отметить следующее: если мы сопоставим рост безработицы в странах с высокой валютой с безработицей в странах с низкой валютой, то мы получаем очень интересную связь и взаимозависимость между уровнем валюты и степенью развития безработицы. Нами в Профинтерне занесены на картограммы валюта и безработица по целому ряду стран. Картограммы доказывают, что за повышением и понижением валюты следует повышение и понижение безработицы. В Германии эти две линии все время совпадают. С одной стороны понижение, с другой понижение безработицы. То же самое мы имеем в Дании: там обе линии—высокой валюты и высокой безработицы совпадают. В Бельгии опять-таки сходятся эти две линии. Мы видим такие совместно связанные колебания валюты и безработицы в Бельгии, Швеции, Англии и т. д.

Эта зависимость между устойчивостью денежной единицы и безработицей весьма любопытна. В чем причина этой связи?

Почему безработица следует, как тень, за высокой валютой, и почему, по мере понижения или падения валюты, мы имеем понижение и падение безработицы. Тут есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что страны с низкой валютой являются также и

странами низкой заработной платы, странами с низкими издержками производства, и по мере того, как мировая конкуренция начинает входить в силу, по мере того, как продукты, производимые в каждой отдельной стране, идут на мировой рынок, производство более дешевое вытесняет производство более дорогое, и таким образом Центральная Европа, и в первую голову Германия с ее прекрасным техническим аппаратом, с ее оборудованной промышленностью и в то же время с низкой заработной платой и с низким жизненным уровнем рабочего, является на мировом рынке наиболее опасной конкуренткой и для Соединенных Штатов, и для Англии, и для Швейцарии, Швеции и Дании, так как в Германии заработная плата и связанные с этим издержки производства здесь в несколько раз ниже.

Таким образом, первая и основная причина этого общего мирового экономического наступления заключается в желании капиталистов всех стран выровнять свои издержки производства по более низкому уровню, и так как издержки производства, в связи с низкой заработной платой и с низким жизненным уровнем, ниже всего в Германии, то мы имеем в странах с высокой заработной платой и с высоким жизненным уровнем тенденцию уменьшения заработной платы, уменьшения издержек производства за счет заработной платы и жизненных условий труда, мы имеем общее планомерное наступление на основные завоевания рабочих, которые они приобрели в течение первых лет после войны.

II.

Каковы же формы этого наступления и в чем выражается самое наступление капитала?

Прежде всего мы имеем перед собой наступление на основное завоевание рабочих, на 8-ми часовой рабочий день. Несколько других основных завоеваний рабочего класса находятся одновременно под обстрелом во всех странах. Этот обстрел направлен по линии борьбы за уменьшение заработной платы, за отмену коллективных договоров и против всех завоеваний в области социального законодательства. Вот по каким направлениям идет борьба во всех странах, вот в какую сторону направлено внимание буржуазии и вот на что сейчас напирают во всех странах организованные в союзы предприниматели и поддерживающие их буржуазные правительства.

Возьмем несколько примеров из области самых форм и методов борьбы. Предо мной лежит ряд постановлений всевозможных объединений предпринимателей. Вы знаете, что предпринимательские организации родились раньше организаций рабочих; они охватывают крупнейших предпринимателей стран, они объединены по производствам и в национальном масштабе. Если мы возьмем любую страну, Америку, Германию, Англию, то мы имеем перед собой союзы фабрикантов, которые являются боевыми организациями предпринимателей для непосредственной борьбы против рабочих и против их требований. Инициатива наступления, инициатива отмены всего того, что было приобретено в первый послевоенный период, исходит от этих организаций. Характерно, что летом этого года на съезде шахтовладельцев в Америке руководители этих организаций выступили с заявлением от имени своей организации о том, что необходимо в настоящее время добиться проведения основных элементов американской консти-

туции также и на фабриках. При чем по мнению этих высоко компетентных руководителей предпринимательских организаций „основная характерная черта американской конституции—это свобода, и поэтому каждый рабочий должен иметь право заключать особый личный контракт с предпринимателем, продавая последнему свой труд на таких условиях, которые подсказывает ему собственный ум". Это довольно витиевато изложено, но суть заключается в том, что предприниматели не хотят иметь дела с организацией рабочих, а предпочитают иметь дело с отдельными рабочими. Не коллектив с коллективом договариваются, а договариваются организованные предприниматели с распыленными рабочими. Это движение за свободу договора получило название в Америке Open Shop, что значит буквально открытая мастерская, т.-е. борьба за право предпринимателя принимать в свое предприятие, на фабрику или завод неорганизованных рабочих, иметь у себя рабочих не членов союза. В этом заключается весь смысл Open Shop или борьбы за открытую мастерскую. На том же съезде председатель Пенсильванской коксовой и угольной компании Уоткин обрушился на Американский союз шахтеров, мешающий проведению принципа открытой мастерской, и заявил категорически, что „существование организаций подобных последней (т.-е. упомянутому союзу), не должно быть терпимо в нашей стране, которая горда тем, что она дает каждому гражданину одинаковые шансы на успех в жизненной борьбе". Я думаю, что и у многих из вас возникает сомнение, вполне ли одинаковые шансы на успех в жизненной борьбе имеет, скажем, Рокфеллер, с одной стороны, и рядовой член союза горнорабочих—с другой. Но так как мы находимся среди цивилизованных предпринимателей, то вы имеете теорию вполне причесанную, которая в основу кладет исключительно „индивидуальную свободу" и вводит требование открытой мастерской во имя „блага" отдельных рабочих против „тирании" рабочих организаций. На другом съезде предпринимателей было сделано сообщение о том, что движение в пользу открытой мастерской охватило 250 городов и довольно успешно проводится. Вот это сообщение об успешном проведении линии предпринимателей свидетельствует о неуспешной борьбе рабочих за сохранение своих завоеваний в области применения организованного труда.

Борьба за открытые мастерские есть одновременно борьба за отмену коллективных договоров. Вот эта борьба за открытую мастерскую, которая приняла особенно острую и особенно яркую форму в Америке, в настоящее время перекинулась и в Европу. Сейчас борьба эта происходит в Скандинавских странах, в Голландии, в Швейцарии. Нет ни одной страны в мире, где бы со стороны предпринимателя не было попытки отменить коллективный договор и попытаться перейти от коллективных разговоров с рабочими своего производства к переговорам индивидуальным до окончательной ликвидации коллективных соглашений.

Второй пункт, который подвергается обстрелу, это, конечно, 8-ми часовой рабочий день. Я, к сожалению, лишен возможности цитировать интереснейшую коллекцию резолюций предпринимательских организаций Франции, Англии, Америки, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, которые высказываются со всех возможных и невозможных точек зрения против 8-ми часового рабочего дня. Это завело бы меня слишком далеко, и поэтому я позволю себе процитировать только лишь постановление Международного съезда предпринимателей строительной промышленности. Первый из этих съездов в своих решениях

в общем и целом сконцентрировал всю мудрость предпринимателей всех стран и довольно удачно сформулировал их притязания. На этом конгрессе, который состоялся в конце октября 1921 года в Брюсселе, присутствовали 50 делегатов, представлявших Францию, Соединенные Штаты, Бельгию, Швецию, Голландию. Были также представители правительства французского, английского, бельгийского и польского. Конгресс занимался различными вопросами, связанными с представляемой им отраслью индустрии, но первым в порядке дня его стояли боевые пункты по рабочему вопросу: закон о 8-ми часовом рабочем дне и участие рабочих в управлении предприятием и доходах последнего.

Буржуазный корреспондент „L'Information Sociale" отмечает, что насколько легко и быстро покончили присутствующие со всеми остальными пунктами повестки дня, почти их не обсуждая, настолько же прочно, наоборот, было приковано их внимание к этому ненавистному закону, который, являясь при данных обстоятельствах одинаково пагубным для всех стран, встретил к себе одинаковое редко единодушное отрицательное отношение со стороны всех членов Конгресса. „Обыкновенно,—продолжает далее корреспондент,—мнения французов никогда не совпадают с мнениями их соседей и друзей, но на этот раз—и это должно быть отмечено — они были вполне солидарны со всеми остальными". Эта полная солидарность французских предпринимателей с их „соседями и друзьями"—дело идет о немецких предпринимателях—нашла свое законченное выражение в следующей резолюции: „Принимая во внимание то, что жилищный кризис и кризис в области общественных работ принял международный характер и особенно интенсивен в странах, пострадавших от войны, Международный Конгресс выражает пожелание, чтобы в странах, где уже существует закон о 8-ми часовом рабочем дне, применение его было приостановлено; в странах же, где этот закон еще не вошел в силу, принятие его было бы приостановленно до наступления более благоприятных к тому обстоятельств".

Я дальше резолюцию не буду цитировать, ибо предприниматели не говорят, какие обстоятельства очень благоприятны для проведения 8-ми часового рабочего дня. Аналогичные решения были приняты целым рядом национальных организаций, которые целиком совпадают с решениями этого Международного Съезда Строителей. Так, например, крупнейшие организации Франции и их руководители выступили против 8-ми часового рабочего дня. Мы имеем ряд постановлений, организаций металлозаводчиков, строителей в Швеции, Норвегии и Дании, мы имеем аналогичные постановления со стороны почти всех предпринимательских союзов. Правда, эти постановления — в зависимости от своеобразных социальных отношений в той или иной стране—носят более прямой или более прикрытый характер. В одних странах говорят только об отсрочке проведения закона, в других странах предлагают значительные отступления от него по существу. В Польше, например, проведение 8-ми часового рабочего дня „отложено" на 2 года, в Швейцарии вносится проект о том, чтобы отсрочить введение этого ненавистного 8-ми часового рабочего дня. Независимо от форм, в которых выражается это наступление на 8-ми часовой рабочий день, смысл один и тот же: или вносятся такие примечания, которые уничтожают самое его содержание, или он откладывается на некоторое время „до наступления более благоприятных условий", как выразились представители упомянутого Конгресса строителей в своей резолюции.

Одновременно с этим идет широкое безостановочное наступление

на заработную плату. Если взять страну за страной, то мы увидим, что это наступление, которое началось приблизительно тоже с средины 1920 года, охватило уже все производство. В воззвании, которое Генеральный совет английских тред-юнионов недавно выпустил „ко всем рабочим и к общественному мнению", указывается, что за один 1921 год рабочие в Англии потеряли на сокращении заработной платы около 5 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Если взять другие страны, как Швецию, Норвегию, Америку и т. д., мы увидим сокращение заработной платы по отдельным отраслям на 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, а в некоторых случаях дело доходит до 60%. Это колоссальное понижение заработной платы должно понизить издержки производства и на почве понижения издержек производства руководители современной индустрии полагают для себя возможным выйти из настоящего кризиса. Вот, например, данные по Швеции: срок коллективного договора для Швеции истек 31 декабря, и предприниматели требуют понижения заработной платы для текстильной промышленности до 45%, в кожевенной промышленности они намечают понижение на 65%. Такое же понижение мы имеем со стороны шведских садовладельцев, шведских владельцев транспортных предприятий; такое же понижение проводится для коммунальных работников. То же самое мы замечаем в других странах.

Как же сказывается это понижение заработной платы, охватывающее страны с высокой валютой, на странах с низкой валютой? Что происходит, например, в Германии в то время, как Швейцария, Швеция, Англия, Соединенные Штаты стараются выравняться „догнать ее", чтобы понизить издержки производства? Каким образом там стоит вопрос о заработной плате? В Германии понижение валюты означает систематическое понижение заработной платы, так как понижение валюты — неизбежно влечет вздорожание жизни, за которым рост заработной платы никогда не поспевает. В этом отношении имеются совершенно определенные данные, составленные доктором Кучинским, который занимается социальной статистикой, который в специально издаваемом им органе проследил взаимоотношение между общей дороговизной и заработной платой — и установил, что заработная плата не поспевает за дороговизной жизни

Таким образом понижение валюты вызывает автоматическое понижение заработной платы, хотя предприниматели непосредственно не уменьшают, а иногда даже повышают заработную плату в связи с понижением валюты. Получается крайне любопытное противоречие. Мы имеем в Австрии и Германии повышение заработной платы. Мы каждый день читаем телеграфные сообщения о том, что тот или другой союз в Австрии предъявляет требования о повышении заработной платы на 50 или 100%, а ему дают 20 или 30%. Может показаться, что в то время, когда во всей Европе и Америке происходит понижение заработной платы, в Австрии и Германии происходит повышение. На самом деле, реальная заработная плата, выраженная в товарах и предметах первой необходимости, для страны с низкой валютой понижается, несмотря на денежное повышение этой самой заработной платы. Таким образом, благодаря общему наступлению капитала, независимо от его форм, реальная заработная плата понижается во всех странах. Разные формы наступления дают одни и те же результаты: общее понижение заработной платы и понижение жизненного уровня рабочих как в странах с высокой, так и в странах с низкой валютой.

Еще на один пункт направлено внимание наступающего капитала.

Дело идет о социальном законодательстве в широком смысле слова, куда входит не только 8-ми часовой рабочий день, но и охрана женского и детского труда, вопросы страхования и целый ряд других вопросов. В этой области мы замечаем также общее наступление против социального законодательства. Любопытные работы проделаны в этом отношении Вашингтонской Конференцией, и Женевской Конференцией Международного Бюро Труда, которая состоялась недавно. Вашингтонская конференция состоялась в октябре 1919 года и на этой конференции была принята довольно широкая программа социальных реформ. На этой Конференции были представители рабочих, предпринимателей и так называемых „нейтральных" правительств. Насколько правительства нейтральны, вы сами знаете. На конференции были представители всех трех основных элементов общества, как выражаются теоретики тред юнизма: труд, капитал и внеклассовые государства. На этой Конференции 83 голосами против 2-х было принято постановление о 8-ми часовом рабочем дне, были приняты постановления об охране женского и детского труда, и довольно широкая программа других реформ, которая была выставлена в свое время реформистскими союзами, Амстердамским Интернационалом и отдельными его секциями. В Женеве в 1921 году дело шло уже не так гладко. В 1919 году мы имели перед собой отступление капитала. И он отступал, вырабатывая соглашения с представителями рабочих организаций, обещая социальные реформы,—это было братание предпринимателей буржуазных правительств с руководителями реформистского профессионального движения. В Женеве в конце 1921 года мы имеем уже другую картину. Здесь мы видим уже выступление капиталистов против 8-ми часового рабочего дня, при чем застрельщиками являются представители французской „демократической" республики, которая осуществляет всегда и повсюду „заветы великой французской революции". Мы имеем здесь поход на 8-ми часовой рабочий день, под целым рядом юридических, экономических и всяких других предлогов, причем особенно резко этот поход был направлен против 8-ми часового рабочего дня в сельском хозяйстве.

III.

Все указанные формы наступления, выражающиеся в отнятии социальных и экономических завоеваний, сопровождаются и другими формами, которые носят более широкий характер, и которые можно назвать **политическими методами наступления**. Здесь мы имеем в виду прежде всего целый ряд стран, где рабочие и революционные организации разгромлены. Достаточно взять Испанию, Юго-Славию, Румынию и целый ряд других стран. Мы видим в них разгром профессиональных и других организаций, разгром коммунистических партий и совершенно открытое политическое наступление для того, чтобы в самом корне подрезать возможность организации со стороны рабочих масс. В Испании формы такого наступления выражаются не только в закрытии профессиональных союзов, но и в систематическом убийстве руководителей революционных союзов, в убийстве революционных лидеров рабочего движения. В Юго-Славии буржуазия также пошла по этому пути, и те факты, которые имеются из Юго-славянской жизни, свидетельствуют о том, что этот метод применяется довольно „успешно". Там разгромлены революционные

союзы, и на их место выплывают реформистские руководители. Получается впечатление, что профсоюзы Юго-Славии стали реформистскими, и это только потому, что революционные лидеры разгромленных союзов сидят в тюрьме. Борьба в Юго-Славии принимает часто испанскую форму открытого разгрома организаций, с целью приостановить нарастающую революционную волну. То же самое мы видим и в Румынии. Я не буду касаться форм разрушения рабочих организаций в Румынии; скажу только, что в тех странах, где нет непосредственного разгрома рабочих организаций, где нет закрытия союзов, тем не менее применяются методы и формы наступления, не менее действительные и основательные, чем те, какие применяются в Испании и Юго-Славии.

Прежде всего мы наблюдаем во всем мире создание специальных организаций, которые ставят перед собою задачу борьбы с революцией. Эти организации носят смешанный характер: это, с одной стороны, штрейкбрехерские организации, организации борьбы со стачками, с другой—это боевые контр-революционные организации, имеющие целью разбить революционное движение. Эти организации носят разное название, но имеют один и тот же характер во всех странах. Такого рода организации носят в Италии название фачио—отсюда фачизм. Фачио—это союз, возникший после окончания войны и созданный специально для борьбы с революционным рабочим движением. Из данных о социальном составе фачистов, которые были опубликованы в одной из итальянских газет—статистика коснулась 200 тысяч членов фачистской организации,—мы видим, что преобладающее большинство членов фачистской органнизации,—это помещики, землевладельцы, предприниматели, студенты учебных заведений и вообще те слои населения, которые имеют что терять от революционного рабочего движения. Борьба этой организации заключается в том, что ее участники громят революционные союзы, сжигают биржи труда, убивают руководителей революционного движения и т. д. Иначе говоря, эта организация делает то же, что делают правительства Испании и Юго-Славии, при чем она также пользуется покровительством правительства и содержится на его средства, но не официально.

Такие организации мы имеем в Испании; там они называются „самотенами". Эти организации, которые состоят из люмпен-пролетариата и белогвардейских элементов и которые имеют своей задачей систематическое уничтожение, избиение и убийство руководителей рабочих организаций. Работа этих соматенов наносит очень сериозный ущерб рабочему движению. Недавно Национальный Совет Испанской Конфедерации Труда опубликовал список убитых соматенами руководителей союзов. Этот синодик занимает три столбца газеты и в нем перечисляют похождения этих белогвардейских и разбойничьих шаек, которые не только поддерживаются деньгами со стороны правительства, но и руководятся в некоторых местах официальными военными властями, полицейскими и гражданскими чиновниками.

Эти белогвардейские организации, которые имеют своей задачей боевое противодействие революционному движению, имеют другой характер и другие формы в таких странах, как Англия. В Англии нет такой организации, как фачисты, но там имеется организация добровольцев, бывших участников войны, часть которых сорганизовалась и задалась целью противодействовать революционному движению. Во время знаменитой стачки углекопов имели место выступления этих добровольческих дружин, которые подавляли это движение, мешали

устройству манифестаций и принимали все меры, чтобы не дать сорганизоваться революционному массовому движению, чтобы его дезорганизовать и деморализовать.

Такие организации под названием „гражданских лиг" имеются и в Бельгии. Это—гражданские союзы, в которые входят бывшие военные, при чем они содержатся на средства предпринимательских организаций. Одно из крупнейших обществ бельгийских предпринимателей постановило выдавать гражданской лиге ежемесячную субсидию в размере 10 тысяч франков. Конечно, предпринимательская организация не отпускает субсидии ради прекрасных глаз бывших военных; она дает субсидию для того, чтобы они боролись с революционным движением и делали все для того, чтобы деморализовать рабочие массы. Такие же гражданские лиги, преследующие по существу такие же цели, имеются и во Франции.

В Германии имеются организации двух типов: с одной стороны,— Общество Технической Помощи, а с другой—всякого рода спортивные лиги, которые носят формально как бы невинный характер, но на самом деле представляют собой организацию белогвардейцев для борьбы с революцией. Общество Технической Помощи имеет своей целью замещать стачечников. В нем организованы инженеры, техники, студенты технических учебных заведений, руководители крупнейших предприятий, и стоит только, например, начаться забастовке на электрической станции, как сейчас инженеры, техники и студенты заменяют рабочих и принимают меры, чтобы электричество не приостанавливалось. Это Общество Технической Помощи является чисто штрейкбрехерской организацией, но вместе с тем оно имеет более широкие цели. Оно борется не только с экономическим вредом этих стачек, оно борется и с политическими последствиями этих стачек, ибо остановка железнодорожного и трамвайного движения, электрического освещения и т. д. имеет громадное политическое значение, производит громадный политический эффект и может всегда послужить исходным пунктом массового революционного рабочего движения.

Надо отметить, что приватные спортивные общества и проч. в Германии носят чисто военный патриотический характер. Они руководятся офицерами, во главе которых стоят такие специалисты, как Людендорф и Тирпиц и ряд других крупных немецких генералов. Вам, вероятно, приходилось также читать о белогвардейской организации, которая была создана известным немецким полковником Эшерихом. Такого рода организации по преимуществу и главным образом имеют своей задачей активную борьбу против революционных выступлений рабочих.

Еще на одну организацию необходимо обратить внимание—это на Ку Клукс Клан в Америке. Это тайная организация, которая возникла давно, но в последнее время она специализировалась главным образом на борьбе с революционным движением. Имеются в Америке и гражданские лиги-союзы, которые занимаются специально тем, что вылавливают руководителей стачек. Организация, известная под именем „Y. W. W." (Индустриальные Рабочие Мира), насчитывают огромное количество жертв, которые пали от руки всякого рода гражданских лиг. В Америке имеется ряд фактов, когда руководителей стачек забирали, увозили за-город, обмазывали смолой и сжигали. Бывали случаи, что их просто убивали и оставляли записку „убит за руководство стачкой". И в Америке, где каждое революционное выступление встречает серьезное сопротивление со стороны государства, и в европейских

странах мы наблюдаем напряжение всего государственного аппарата (юстиция, полиция, жандармерия и проч.), направленного против рабочего класса; мы имеем общую агрессивную политику по всему мировому социальному фронту, против рабочего класса, против его требований. Вот эта агрессивность буржуазии имеет в своей основе боязнь революции и стремление противодействовать тому, чтобы там, у них, не произошло того же самого „несчастия", какое произошло у нас в России. Это наступление, эти попытки отбросить рабочий класс назад—надо сказать—пока-что удаются, ибо почти во всех странах рабочие с большим трудом удерживают завоевания и во многих странах мы уже имеем уступки со стороны рабочих в самых основных вопросах: в заработной плате, в рабочем дне и пр.

IV.

Я указывал на формы, характер и методы наступления капитала в национальном масштабе. Такое же наступление мы имеем и в международном масштабе, при чем оно идет по двум линиям. Прежде всего, мы имеем всеобщее наступление против Советской России, которое продолжается уже 5-й год. Конечно, ни у кого больших надежд, вероятно, не возникло после приглашения Советской России в Геную. Это приглашение ни в какой мере не означает, что наступление приостановилось. Мы имели раньше борьбу всеми средствами, мы имеем сейчас попытку экономическим путем накинуть петлю на Советскую Россию. Во всяком случае, наступление на Советскую Россию является логическим следствием борьбы буржуазии каждой страны за свое господство. Экономическое наступление мирового капитала не менее опасно для Советской России, чем наступление военное.

Кроме наступления на Советскую Россию, которая является оплотом для рабочих всех стран в их борьбе против буржуазии и заразительным примером для всех трудящихся и угнетенных,—кроме этого наступления, имеются другие формы наступления международного капитала на рабочий класс, при чем эти формы наступления довольно удачны для буржуазии и в достаточной степени неудачны для рабочего класса.

Сила буржуазии в ее организованности. Сила буржуазии не только в том, что она имеет свои предпринимательские организации что она организована в тресты и синдикаты, что она организована и экономически и политически, что в руках ее государственный аппарат,—сила ее в том, что она представляет собою единый фронт против социальной революции. Единый фронт буржуазии против растущей революции является историческим фактом. В особенности в тот период, который мы сейчас переживаем, мы имеем ярко выраженный и крепко сплоченный блок всех слоев буржуазии против малейших попыток посягнуть на основы существования обществ. Мощь буржуазии увеличивается тем, что, благодаря определенным своеобразным историческим условиям, буржуазия опирается не только на свои собственные силы, но также отчасти и на силы рабочего класса. И в мировом масштабе мы имеем со стороны буржуазии на протяжении всего послевоенного периода воздействие на рабочий класс через Лигу Наций и через Международное Бюро Труда, попытку через специально созданный аппарат держать в своих руках крупнейшие рабочие организации всех стран. Надо сказать, что из всех форм воздей-

ствия буржуазии на рабочий класс, из всех методов борьбы буржуазии, этот метод непосредственно морального и политического подчинения рабочих организаций оказался для господствующих классов наиболее выгодным, так как давал буржуазии возможность опереться на организованные рабочие массы, входящие в крупнейшие реформистские союзы всех стран.

Что в этой области было сделано? В этой области мы имеем перед собой ряд крайне любопытных наступлений в международном масштабе, которые привели к тому, что международная организация рабочих профсоюзов, Амстердамский Интернационал, является орудием в руках международной организации буржуазии. Любопытно, что уже непосредственно после войны, в тот период, когда буржуазия была наиболее дезорганизована и не была в состоянии сдержать напор рабочих масс, она при выработке Версальского договора привлекла руководителей рабочих союзов принять участие в выработке части Версальского договора, который касается условий труда. В Версальском договоре имеется XIII раздел, в выработке которого принимали участие такие люди, как Жуо, Эппльтон, Гомперс и др. Этот XIII раздел является чем-то вроде Хартии Труда—так его назвали реформистские вожди. В этой Хартии Труда имеется, между прочим, даже такой пункт, что „труд не должен быть впредь товаром". Заметьте иронию. Версальский договор, который является самым разбойничьим договором, который когда-либо человеческий ум создавал на протяжении истории, заключает в себе специальный раздел, трактующий о правах рабочих, и в этом разделе на весь мир провозглашается, что труд не должен быть больше товаром—формула, вероятно, придуманная Жуо и тому подобными реформистами, которые усматривают в этой формуле величайшие завоевания труда.

Вот эта игра, которая началась при выработке Версальского договора, продолжается до настоящего времени, и мы видим, как крупнейшие реформистские организации, французские, немецкие и английские, как они связаны с Международным Бюро Труда и каким образом через это Международное Бюро Труда, которое существует на деньги Лиги Наций, т.-е на деньги американских, французских и английских капиталистов, во главе которого стоит известный „социалист" Альберт Тома,—как оказывается идейное воздействие на рабочий класс и на его организацию. Вот форма идейного политического воздействия буржуазии на рабочих, которая слабеет по мере роста и развития революционного движения во всех странах.

V.

Мы видим, таким образом, общее организованное наступление. Разны формы этого наступления, но одинакова сущность его; разны методы, но одинакова цель; разный подход, но одинаковые результаты. Перед нами—единство фронта буржуазии против всего пролетариата, при чем все это наступление имеет своей задачей понизить издержки производства для того, чтобы выйти из кризиса, охватившего весь капиталистический мир. Вот основная причина и основная цель этого социально-политического наступления буржуазии.

Перед лицом единого фронта буржуазии и агрессивным напором со стороны буржуазных классов мы имеем разрозненный фронт рабочих, мы имеем политически и экономически разрозненный пролета-

риат. И совершенно естественно, что по мере усиления давления буржуазии, по мере усиления наступления капитала, по мере увеличения эксплоатации и применения новых усовершенствованных форм этого наступления, в рабочих массах рождается тяга к единому фронту, тяга к единству действий, которое необходимо для того, чтобы отбить нападение буржуазии.

Что мы имеем в международном и национальном масштабе в области организованного рабочего движения? Прежде всего мы имеем три международных политических организации: II Интернационал, Интернационал 2½, который носит название „Международное Объединение Социалистических Партий" и Коммунистический Интернационал— три международных организации, которые политически объединяют рабочий класс.

Второй Интернационал имеет в своей основе три серьезных политических партии, которые являются фундаментом этого Интернационала: рабочая партия Англии, которая организована английскими союзами, бельгийская рабочая партия и, наконец, социал-демократическая партия Германии или партия Шейдемана. Вот те три партии, которые являются становым хребтом, основой, фундаментом всего Второго Интернационала. И надо сказать, что мы бы сделали большую ошибку, если бы не дооценили сил, составляющих Второй Интернационал. Но Второй Интернационал представляет собой силу, не как Интернационал в целом, а силу представляет собой каждая из отдельных политических партий в перечисленных странах. Рабочая партия является политическим выразителем нескольких миллионов организованных рабочих, входящих в союзы Англии. Шейдемановская партия Германии насчитывает 1.200.000 организованных членов, кроме того она опирается на 9 миллионов рабочих, организованных в профессиональные союзы, во главе которых стоят в большинстве шейдемановцы. В национальном масштабе она представляет собой большую силу. Но Шейдемановская партия прежде всего немецкая партия, ее члены прежде всего немцы, а потом рабочие и только после этого они думают на счет Интернационала. Ясно, что Второй Интернационал —фикция. Как Интернационал, все три партии—английская, бельгийская и германская—фикция, они не могут ни на чем согласиться, ибо Шейдеман связан со своей буржуазией, рабочая партия Англии со своей буржуазией и бельгийская рабочая партия со своей, и они соглашаются лишь в той мере, в какой английская буржуазия соглашается с немецкой буржуазией. Но если эти партии не представляют собой Интернационала, то каждая из них, как национальная сила, действующая на территории своей страны, представляет собою политическую силу, с которой приходится считаться и против которой никакая революция в данных условиях невозможна ни в Англии, ни в Германии, ни в Бельгии, ибо они все еще опираются на громадные слои организованных рабочих, которых нужно еще отвоевать у них.

Если Второй Интернационал представляет собой в смысле международном фикцию, то Интернационал 2½ представляет собой уже в смысле международном известную силу, хотя в национальном масштабе входящие в этот Интернационал партии (кроме Австрийской) представляют очень небольшую силу. В этом можно на первый взгляд усмотреть противоречие, но на самом деле это так. Дело заключается в том, что 2½ Интернационал является по существу равнодействующей всех стремлений внутри рабочего класса. Если взять две основные борющиеся силы, коммунистическую партию, с одной стороны, и шей

демановскую партию, с другой,—тогда средняя равнодействующая представит собой независимую рабочую партию Германии. То же самое относится к остальным партиям, создавшим это „Международное Объединение Социалистических Партий". Это объединение представляет попытку создать равнодействующую борющихся внутри рабочего класса сил революционных, с одной стороны, и сил реакционных, консервативных, воплощением каковых является весь правый реформистский социализм, с другой стороны, 2½ Интернационал опирается на две крупные партии: на партию австрийскую, в которой имеется 450 тысяч членов, что для Австрии с ее 6 миллионами населения цифра колоссальная, особенно по сравнению с коммунистической партией, которая там имеет какие-нибудь 10—15 тысяч членов. Далее, она опирается на немецкую партию независимых, насчитывающую около 300 тысяч членов. В Интернационал 2½ входят также русские меньшевики и левые эс эры. Правые эс-эры тоже хлопотали о том, чтобы их приняли в 2½ Интернационал, но получили отказ. Все эти партии, кроме австрийской, не представляют собой серьезной силы в национальном масштабе, но, взятые все вместе, они отражают собой известный этап в развитии рабочего движения. 2½ Интернационал не представляет собой самостоятельной силы, это равнодействующая, которая в данной исторической обстановке имеет определенное значение, поскольку она отражает настоящее революционное настроение рабочих, находящихся еще вне коммунистической партии, как бы служа придаточным пунктом для революционизирующихся рабочих, которые переходят налево к коммунистическим партиям и к революционным союзам.

Наконец, третья сила, это Третий Интернационал, который во всем мире имеет около 2½ миллионов членов. В смысле количества членов он уступает Второму Интернационалу, ибо три партии—рабочая партия английская, партия бельгийская и партия немецкая численно превышают в два-три раза весь Коммунистический Интернационал, но политически он представляет собой неизмеримо большую силу, которая выходит далеко за рамки его численного состава. Здесь мы имеем перед собой настоящее интернациональное объединение, которое по самому существу своему отражает или воплощает в себе революционную энергию рабочих масс, усиливающуюся или ослабевающую с повышением или понижением революционной энергии этих масс.

Вот те три политические группировки, которые мы имеем.

Что мы имеем в области экономических международных объединений? Мы имеем Амстердамский Интернационал, который по официальным данным насчитывает 24 миллиона членов. Эти амстердамцы, с которыми мы недавно обменялись „дружеской" перепиской, говорят, что у них 24 миллиона, но это статистический мираж, потому что при самом легком подсчете эта цифра оказывается неверной.

Они ссылаются на то, что в Германии за ними стоят 9 миллионов членов, и они включают в эти 9 миллионов и то меньшинство, которое охватывает около трети организованных рабочих, фактически идейно связанных с нами. Они считают во Франции 2 миллиона, тогда как там вообще осталось сейчас 500 тысяч, из которых больше 250 тысяч с реформистами, а вторая половина—революционные синдикалисты. Они считают 800 тысяч в Чехо-Словакии, но последний Съезд профсоюзов, происходивший 24 января, показал, что мы имеем там половину Таким образом, они имеют приблизительно 15—16 миллионов членов, на которых они могут опираться. Основой этого Интернационала являются германские, английские и бельгийские союзы. Это те союзы,

которые в громадном большинстве стоят на реформистском пути и которые являются фундаментом Амстердамского Интернационала. В какой мере он представляет собой подлинный Интернационал, я сейчас останавливаться не буду; замечу только, что Амстердамский Интернационал уже по одному тому не является Интернационалом, что он во всех вопросах подчиняет интересы международные интересам национальным.

В этом отношении имеется крайне любопытный материал, относящийся к Верхней Силезии. В части Верхней Силезии, которая отошла, согласно решению Верховного Совета, к Польше, имеются немецкие союзы. Немецкие союзы входят в Общегерманское Объединение профсоюзов. Польская Центральная комиссия профсоюзов обратилась в Амстердам с жалобой на национализм немецких союзов, не желающих вступать в Польское Объединение, и заканчивает свою записку таким образом: „Как бы Амстердамский Интернационал ни решил этот вопрос, мы будем бороться против немецких союзов, которые являются дезорганизаторами единого рабочего движения Польши". На это последовал ответ Общегерманского Объединения Профсоюзов, что поляки ни в каком случае не имеют права требовать от немецких рабочих вступления в польские союзы, что по постановлению Верховного Совета, они имеют в течение 15 лет право выбора того центрального объединения, к которому они должны принадлежать, и поэтому угроза Польской Центральной Комиссии их ни в коем случае не должна пугать и что поляки поступают, как националисты. Таким образом, стоящие во главе союзов националисты немецкие борются с такими же националистами, с руководителями польских союзов за 50 тысяч рабочих душ, находящихся в Верхней Силезии. Ясно, что если Международное Объединение состоит из таких национальных частей, оно не является интернациональной пролетарской силой, и поэтому-то его и может использовать Лига Наций через свое Международное Бюро Труда.

К Амстердаму также примыкают 24 международных секретариата горнорабочих, текстильщиков, деревообделочников, портных и т. д. В этих 24 объединениях последняя статистика насчитывает 22.300.000 членов, но в это число включены и союзы революционные. Между тем, подсчет, который мы делаем в масштабе международных объединений, указывает, что мы имеем большинство у деревообделочников, строителей, транспортных рабочих и т. д. Эти международные секретариаты к тому же не представляют собой организаций, могущих вести борьбу в международном масштабе и не было ни одного международного выступления, во главе которого стали бы эти международные секретариаты. Характерно, что, когда английские горнорабочие вели весной прошлого года героическую борьбу, Интернационал горнорабочих ничего не сделал, чтобы им помочь: бельгийские, немецкие и французские горнорабочие работали, уголь шел в Англию и таким образом стачка углекопов была сломлена.

Рядом с этими двумя экономическими организациями имеется Красный Интернационал Профессиональных Союзов,—объединение, недавно возникшее, молодое, которое тем не менее по нашему подсчету насчитывает 17—18 милл. членов и в мировом масштабе, по количеству рабочих, он равен Амстердамскому Интернационалу, при чем организационно мы слабее потому, что мы опираемся в крупнейших странах, в Англии и Германии, на меньшинства. В некоторых странах мы в большинстве, и таким образом мы имеем в международном масштабе экономическую организацию, противостоящую Амстердаму по своей

программе и методам воздействия на рабочий класс, по методам противодействия наступлению буржуазии,—международную организацию, связанную с III Коммунистическим Интернационалом. И, наконец, мы имеем ряд международных комитетов пропаганды по производствам, но это чисто пропагандистская организация, ставящая себе задачу объединения революционных элементов по производствам и завоевания большинства в этих Интернационалах.

VI.

Каким же образом при таком разделении в национальном и мировом масштабе на коммунистические, центристские и правые партии, на революционные, реформистские и всякие другие союзы,—каким образом при этом разделении, при этой раздробленности организаций рабочего класса—а нельзя отрицать, что за всеми этими партиями и союзами стоят рабочие массы,—каким образом можно оказать противодействие усиливающемуся и развивающемуся наступлению капитала? И естественно, что по мере усиления капиталистического напора, по мере усиления этого давления, в рабочих массах, которые работают на предприятиях и заводах и которые непосредственно чувствуют тяжесть гнета, родилась мысль о создании единого фронта, о том, чтобы разрушить все эти перегородки и выработать единую тактику в борьбе, создать единый фронт для того, чтобы противопоставить единому фронту капитала единый фронт труда.

Эта тяга к единству выходит снизу из самых недр рабочего класса, при чем чем революционнее положение в стране, тем тяга к единству больше. Характерно, что первою страною, где эта тяга к единству проявилась наиболее резко, была Германии. Могут спросить, но ведь в Германии наступление капитала не было в такой форме, как в Англии и Америке? Ведь в Германии процент безработицы был очень низкий; в то время, как в странах с высокой валютой мы имеем безработицу в 15—30%, мы имели здесь 2—2½% безработицы. Несмотря на то, что здесь безработица была небольшая, в Германии начинается движение в пользу единого фронта, потому что Германия ближе других стран к социальной революции, потому что в Германии давление капитала проявляется двояко, во-первых, как давление Антантовского капитала, стремящегося покрыть издержки войны и получить по французской пословице „за все разбитые горшки",—а во-вторых, на почве этого давления Антанты мы имеем необычайной силы давление национального немецкого капитала, старающегося переложить все тяготы контрибуции на плечи пролетариата путем крайнего усиления его эксплоатации. Все это и вызывает в рабочих массах громадную потребность к противодействию и тягу к единству. Затем, необходимо также помнить, что Германия имела свою революцию в конце 1918 года и что там борьба за власть еще не закончилась, хотя или, скорее, именно потому, что у власти стоит буржуазия вместе с социалдемократией. Буржуазия за последние два года в Германии, безусловно, усилилась, как это признал еще в прошлом году на съезде фабзавкомов в Берлине Гильфердинг. Буржуазию спасли немецкие профсоюзы, и это признают в своих речах и статьях руководители предпринимательских организаций и представители профсоюзов. И вот, на почве противодействия давлению консолидированным силам буржуазии и вырос вопрос о едином фронте. В какой плоскости этот вопрос вырос?

Мы имеем три громадные партии: 1.200.000 шейдемановцев, 300.000 независимых и 350.000 коммунистов, но все же рабочие, входящие в эти партии, находятся внутри централизованных союзов. союзы являются ареной борьбы всех этих политических партий. Союзы едины, они не раскололись, несмотря на то, что шейдемановцы стремятся выбросить революционные элементы из союзов. Вопрос о едином фронте возник в союзах, и первая, кто выдвинула вопрос о создании единого фронта, была Германская Коммунистическая Партия, которая в прошлом году выступила с „Открытым письмом" и предложила социал-демократам, независимым и представителям профсоюзов конкретную программу действий. В своем открытом письме коммунистическая партия предлагала бороться за сохранение 8-часового рабочего дня, за повышение заработной платы в соответствии с повышением цен на предметы первой необходимости, за сохранение социального законодательства. Она выдвинула совершенно конкретную программу и предложила соглашение на этой конкретной программе, и если бы соглашение состоялось, единство сплоченной 9-миллионной массы, конечно, сумело бы победить. Вот исходный пункт этой идеи единого фронта, вот откуда ведет свое начало самая борьба вокруг этой новой тактики.

Любопытно, что социал-демократия враждебно отнеслась к этому лозунгу. Социал-демократия и руководители союзов высказались против того, чтобы принять эти конкретные требования. Более того, в конце прошлого года Германское Объединение Профсоюзов выдвинуло знаменитые 10 требований, которые были противопоставлены напору буржуазии и стремлению ее передать в частную собственность железные дороги, денационализировать национализированный транспорт. В этих требованиях оно высказалось за социализацию шахт, за конфискацию до известного процента ценностей, имеющихся у буржуазии, за сохранение социального законодательства и проч. Коммунистическая Партия заявила: „Мы эти требования поддерживаем и предлагаем на основе нами выработанных требований создать единый фронт". Германское объединение профсоюзов, однако, не пошло и на это. Почему? Потому, что дело не в том, чтобы выставить требования, а в том, как эти конкретные требования провести в жизнь. Германское объединение профсоюзов выдвинуло 10 требований, но оно надеется провести их путем переговоров с буржуазией, тогда как коммунисты считают возможным добиться их осуществления лишь путем революционного воздействия на буржуазию. И поэтому-то в вопросе о едином фронте нет согласия между правыми и левыми течениями, несмотря на то, что имеется громадный напор со стороны масс и шейдемановские рабочие на ряде партийных и заводских собраний, вместе с независимыми и коммунистами принимали резолюции о необходимости революционным путем поддержать те требования, которые были выставлены Всегерманским объединением профсоюзов.

Второй опыт в области единого фронта был проделан в Швейцарии. В Швейцарии выступление капитала происходит в очень резкой форме. Швейцария—это страна с самой высокой валютой в Европе и там вместе с тем самая высокая безработица. Правда, когда швейцарские товарищи начинают сравнивать помощь, которую получают безработные в Швейцарии, с заработной платой, которую получают германские работающие рабочие, то оказывается, что первые получают больше. Тем не менее, на почве кризиса наступление капитала приняло здесь очень резкие формы и грозит отнятием 8-часового рабочего

дня и всех завоеваний рабочего класса. Со стороны коммунистов и революционных союзов было предложено создать единый фронт выработать единую программу, но осуществить это предложение до сих пор не удалось. Часть союзов, настроенных некоммунистически, вместе с коммунистически настроенными создали, правда, такое общеоппозиционное объединение, но мы имеем со стороны социал-демократической партии и со стороны руководителей союзов не только нежелание создать единый фронт, но попытку исключения революционных союзов из старых организаций.

Тяга рабочих масс к единству, вызванная грандиозным наступлением капитала, нашла свое отражение в определенном постановлении Коммунистического Интернационала, которое носит довольно длинное название „Об отношении к рабочим, входящим в 2 и 2 ½ Интернационалы". Это постановление, в общем и целом, учитывая существующие объективные условия, говорит революционным рабочим коммунистических партий и профсоюзов: „Нужно сделать все возможное, чтобы убедить массы в правоте наших взглядов на конкретных методах борьбы и конкретных вопросах". В чем расходятся рабочие трех партий в Германии? Они расходятся в вопросе о диктатуре пролетариата, в вопросе о формах и методах борьбы с буржуазией, в вопросе о том, готова ли почва для социальной революции или нет, — одним словом, в целом ряде вопросов, которые расслоили рабочий класс и привели к созданию нескольких определенных политических группировок. Коммунистический Интернационал одновременно с Красным Интернационалом Профсоюзов предлагает объединить рабочих на почве конкретной борьбы, и мы говорим совершенно открыто каждому рабочему: „Против увеличения рабочего дня, против сокращения заработной платы, против отмены социального законодательства — против всего наступления капитала создадим единый фронт. Если мы согласны в вопросе о том, что нужно отбить нападение, то давайте нападение отбивать".

Но оказывается, что это гораздо легче сказать, чем провести на деле. Как отбить нападение? Его можно отбивать разно: реформистские союзы, например, на это нападение отвечают согласием на сокращение заработной платы на 25—30%. И поэтому, как только мы от вопроса, за что бороться, переходим к тому, как в настоящее время бороться с наступающим капиталом, начинаются разногласия, и эти разногласия вокруг единого фронта носят довольно серьезный характер.

VII.

Прежде всего идея единого фронта встречает возражения со стороны крайнего левого крыла рабочего движения: анархисты и анархо-синдикалисты не хотят и слышать о самом лозунге единого фронта: для них это нечто непонятное, ибо они отрицают необходимость самой борьбы за повседневные интересы рабочего класса. Между коммунистами и анархистами разногласия заключаются в том, что мы боремся за основные цели рабочего класса, убеждая рабочих в необходимости этой борьбы, исходя из их повседневных нужд, непосредственных каждодневных потребностей. Анархисты же рассуждают так: 8-часовой рабочий день, заработная плата — все это пустяки, а самое главное—это низвержение буржуазии. Конечно, это главное, но низвержение буржуазии возможно только тогда, когда мы рабочий

класс организуем на почве его повседневных нужд, свяжем его борьбу за низвержение буржуазии с непосредственной борьбой за свое благосостояние.

Но к единому фронту имеется некоторое недоверчивое отношение и в рядах некоторых коммунистических партий, являющихся секциями III Коммунистического Интернационала. Прежде всего вопрос о едином фронте вызвал противодействия со стороны представителей Итальянской коммунистической партии. Итальянская коммунистическая партия, недавно отколовшаяся от социалистической, не представляет себе возможности единого фронта, и полученные недавно сведения свидетельствуют о том, что Итальянская Коммунистическая Партия довольно сдержанно относится к единому фронту, считая проведение его крайне затруднительным. Во французской коммунистической партии, с этим вопросом также не все обстоит благополучно. На Марсельском Конгрессе 25-го декабря вопрос о едином фронте стоял. Французскими коммунистами была принята резолюция о том, что они в общем и целом на этой точке зрения стоят, но что ее нужно рассматривать в зависимости от страны, условий, обстановки борьбы и т. д. Но на Конференции Секретарей Федерации, которая состоялась в Париже 22-го января, Генеральный Секретарь Партии Фроссар заявил следующее: „Практика единого фронта представит нас в глазах масс, как партию политических комбинаций. Между тем вся сила нашей партии заключалась в том, что мы были окружены в глазах массы ореолом света и чистоты. Если бы массы могли только думать, что снова возвратятся времена избирательных и парламентских маневров, то каким разочарованием это явилось бы для них. Тактика единого фронта восстановила бы против нас все революционное рабочее движение. Это факт. Единый фронт привел бы к тому, что наши секции остались бы без членов. До сих пор мы имели коммунистические организации, теперь у нас не останется ничего".

Вы видите, что единый фронт вызвал недоразумение и неясность не только со стороны не-коммунистов, но и в коммунистических кругах.

Что касается последних, надо сказать, что кроме отрицания единого фронта есть неправильное толкование этого лозунга. Так в некоторых коммунистических партиях есть течение, которое говорит: раз существует единый фронт, стало быть нужно сосредоточить все свое внимание на том, что нас объединяет, оставив в стороне все остальные вопросы, и не заострять разногласий по этим вопросам. Эти элементы идут так далеко, что готовы отказаться от своих принципов. Это ложное понимание единого фронта, которое приводит к отказу от коммунистической тактики. Между тем единый фронт вовсе не означает такого отказа; он означает лишь, что мы, проводя определенные совместные действия, продолжаем на почве противодействия наступлению капитала доказывать абсолютную необходимость для спасения рабочего класса, проведения коммунистической программы и тактики в целом. Дело идет о единстве действия, определенного активного выступления и в этих пределах только дело идет об общем фронте. Там, где нет действия, где нет борьбы, нет фронта, ни единого, ни разрозненного. Поскольку мы говорим о едином фронте, мы говорим о борьбе, а в борьбе каковы бы ни были ее практические задачи, коммунисты должны быть во главе. Вот основная мысль, которая лежала и лежит в идее единого фронта.

Но идея единого фронта встречает противодействие не только

слева,—справа против нас выступает социал-демократия. Любопытно, что социал-демократическая партия совершенно открыто в некоторых странах высказывается против единого фронта. Так, например, Чехословацкая социал-демократия, обвиняя коммунистов в расколе рабочего движения, заявляет, что единый фронт возможен только без коммунистов, а центральный орган железнодорожников той же самой Чехо-Словакии, находящийся под влиянием социал-демократии, говорит, что „единый пролетарский фронт должен носить строго профессиональный характер и иметь перед собою ясно очерченные цели“, иначе говоря, что он не должен выходить за пределы практической борьбы и не должен заниматься вопросами „отвлеченными“, каким этот орган считает борьбу рабочего класса за власть.

Социал-демократия Германии выступала несколько раз довольно резко против единого фронта, а в последней книжке „Neue Zeit“, органа социал-демократии, во главе которого в течение 30 лет стоял Каутский, смещенный во время войны за интернационализм, появилась статья Генриха Кунова под названием „Иллюзии единого фронта“, в которой этот руководитель и теоретик германской социал-демократии высказывается не только скептически, но открыто против идеи единого фронта. Такое же враждебное отношение к идее единого фронта замечается и в выступлениях других правых социал-демократических партий, при чем они обвиняют Коммунистический Интернационал в маневре с целью оторвать от них идущих за ними рабочих, увлекая их на такие действия, на которые рабочие до сих пор не пошли.

Я не буду дальше приводить цитат, подчеркну только, что повсюду в реформистских кругах и в правых социалистических партиях идея единого фронта вызвала довольно холодное к себе отношение и если по соображениям внутренней политики та или иная партия не всегда решалась резко выступать против единого фронта, то, однако, действия руководителей социал-демократии проникнуты определенно враждебным отношением к попыткам действительно провести и создать этот единый фронт.

Против единого фронта выступает не только социал-демократия, но также и Амстердамский Интернационал. Мы проделали очень любопытный опыт, которого я вкратце коснусь. Когда выяснилось, что во Франции Всеобщая Конфедерация Труда раскалывается благодаря определенной тактике реформистов, мы от имени Красного Профинтерна послали амстердамцам телеграмму, в которой мы буквально сказали следующее: „Французская Всеобщая Конфедерация Труда накануне раскола; такой раскол может быть на пользу только буржуазии, поэтому мы предлагаем созвать международную конференцию из представителей от вас, от Амстердамского Интернационала и от обоих течений Всеобщей Конфедерации Труда и попытаться сохранить единство профсоюзов во Франции“. В ответ мы получили следующую телеграмму: „Согласны с вами, что раскол будет на-руку буржуазии, виновником раскола является Коммунистический Интернационал и ваши сторонники. Если вы отложите съезд, который созывают ваши сторонники в Париже, тогда мы готовы иметь с вами совещание“. Этот ответ был опубликован в газетах накануне открытия Съезда Единства во Франции, который имел целью заставить руководителей Всеобщей Конфедерации Труда отступить и не раскалывать союзов. На этом дипломатическая радио-переписка не закончилась. Мы ответили, что утверждение, будто причиной раскола является Коминтерн и Профинтерн, чудовищно, потому что не коммунисты

исключили из Всеобщей Конфедерации Труда 20.000 стачечников Туркуэна, не они исключили ряд союзов из федерации служащих медицинских работников, не они исключили по предложению Конфедерального Бюро, во главе которого стоит первый вице-председатель Амстердамского Интернационала Жуо, революционных рабочих. На это они нам ответили: „Считаем бесполезным какое бы то ни было по этому поводу совещание". Ввиду их категорического отказа нам осталось только констатировать, что „они не хотят единства и боятся его". В ответ на последнюю телеграмму, которая, очевидно, затронула их за самое живое место, получилась длиннейшая телеграмма. В ней утверждается, что амстердамцы только и мечтают об единстве, что они организовали бойкот Венгрии, что во время русско-польской войны они призвали к бойкоту Польши и что раскольники находятся в Москве. До бесконечности такая переписка продолжаться не могла, но мы, конечно, не могли не ответить,—долг вежливости обязывает. И мы ответили, что весь этот перечень мнимых заслуг никакого отношения к вопросу о единстве во Франции не имеет. Допустим, что такие заслуги действительно за ними числятся, но это не ответ на наше предложение. Мы предлагали сохранить единство профсоюзов во Франции, а они от этой практической задачи, которую мы поставили перед ними, уклонились.

Я привел эту переписку, которая очень характерна для психологии руководителей Амстердамского Интернационала, чтобы показать, что дело с единством рабочего фронта обстоит гораздо хуже, чем с единым фронтом буржуазии.

VIII.

Новые формы и методы наступления капитала внесли в рабочие массы целый ряд крайне серьезных изменений. Прежде всего мы имеем отдельные явления, говорящие о некоторой дезорганизации передовых отрядов рабочего класса во всех странах. Так, имеется довольно значительный кризис внутри Германской Коммунистической партии на почве все увеличивающегося откола, имеется недомогание внутри Французской Коммунистической партии, в других коммунистических партиях имеется некоторая дезорганизованность, вызванная тем, что непосредственно после войны наступление пролетариата не удалось, и мировая революция принимает более длительный характер. На почве необходимости более тщательной и длительной подготовки к революции начинает проявляться некоторая усталость, разочарование, которые нашли свое теоретическое и тактическое выражение в писаниях Леви и его группы. Я бы сказал, что замечается некоторое топтание на месте. Нет сейчас такого бурного роста комм. партии, какой был раньше, а внутри комм. партии наблюдается некоторый идейный разброд. Здесь сказывается влияние колоссального наступления капитала, его временное усиление и напор во всех решительно областях.

Мы видим также, как наступление капитала выводит из пассивности, из политического небытия все новые и новые отряды рабочих, как те слои, которые раньше были связаны с реформистами, под давлением капиталистического нажима начинают двигаться и итти налево. Этот процесс имеет несравненно большее значение, чем некоторая временная неустойчивость в известной части комм. партии и в передовых отрядах рабочего класса. Это движение масс влево и вовле-

чение их в борьбу на почве практических вопросов ломает те перегородки, политические и другие, которые были в нем. Рабочий класс в целом втягивается в борьбу, несмотря на то, что он частью своей находится в реформистских союзах или в право-социалистических партиях. Посмотрите, например, на Германию и Англию. В Англии, несмотря на то, что во главе рабочего движения стоит рабочая партия и реформистский Генеральный Совет, мы имеем там громадное недовольство на почве понижения жизненного уровня и огромное движение двух миллионов безработных. Рабочий класс под напором капитала начинает чувствовать себя классом, на низах происходит сплочение масс независимо от тех политических перегородок, которые разделили его в первый период бурной борьбы, и попыток непосредственного, немедленного наступления на капитал, когда консервативные рабочие массы еще не поддержали своего авангарда—коммунистических партий. Это сплочение масс снизу не может не увеличиваться, потому что капитализм ищет выхода в общем понижении жизненного уровня масс, и никаким другим путем не может выйти из того тупика, в котором он находится. Капитализм может найти выход только тогда, когда он восстановит свои производительные силы, удешевит продукты производства и найдет новые рынки сбыта. Только этим он сделает более устойчивыми свои завоевания в национальном и международном масштабе. Эти поиски устойчивости, таким образом, прежде всего идут по линии понижения жизненного уровня масс. Эти поиски выхода приводят к стремлению во что бы то ни стало повысить производительность, уменьшить заработную плату, сделать более дешевым производство, для того, чтобы национальные капиталистические силы могли как можно скорее выйти на мировой рынок, и чем больше усиливается это движение, тем больше снизу будет тяга к единому фронту, которая идет на пользу коммунизму, а не реформизму.

Капитализм, идя по линии уменьшения издержек производства, ищет новых областей для эксплоатации, при чем эти области им мыслятся, как необъятная Россия, Китай и т. д. Любопытно, что в поисках равновесия мировой капитал в последнее время обратился к Советской России, и Вашингтонская конференция и Генуэзская конференция должны дать это устойчивое равновесие капиталистическому миру. Вашингтон должен был бы дать ее путем удешевления ведения войны, ибо это была конференция не для разоружения, а для изыскания способа более дешевого взаимо-уничтожения народов. Здесь никакого равновесия не вышло, потому что не установлено, в каком проценте должна вооружаться каждая страна, и каждая страна вооружается до тех пределов, до которых она только может вооружиться. И когда Ллойд-Джордж выступал против постройки подводных лодок во Франции, то Бриан, этот вообще очень дипломатически воспитанный человек, не сдержался и сказал: „Конечно, вы строите броненосцы для ловли сардинок и устриц, ну, а мы строим подводные лодки для обследования морского дна". Ясно, что остроты об устрицах и морском дне ни в какой мере не способствуют экономической устойчивости капиталистического мира. Генуя является второй попыткой эту устойчивость найти, при чем в этих поисках устойчивого равновесия обратился к Советской России и Ллойд-Джордж, который в свое время обещал сделать лично ответственным всех народных комиссаров за все происходящее в России. Теперь он воспылал нежностью к товарищу Ленину, которого он приглашает для совместного с ним восстановления капиталистического мира. За Лениным числятся, как

известно, заслуги по части разрушения капитализма, а не восстановления его.

Во всяком случае тот факт, что в поисках равновесия начинают обращаться к Советской России, свидетельствует о том, что с равновесием дело обстоит далеко не благополучно, ибо если бы оно было благополучно, то Советскую Россию, и в частности Ленина, не приглашали бы.

Дело в том, что в центре происходящей сейчас борьбы стоит разбитая Германия. Германия выступает, как конкурентка на мировом рынке, и благодаря низкому уровню жизни рабочих масс, благодаря низкой валюте и целому ряду своеобразных условий, сложившихся на почве Версальского договора, Германия является понижателем жизненнаго уровня рабочих масс во всем мире. Получается противоречие: рабочие Франции, Англии и Америки, которые помогли своим капиталистам раздавить рабочий класс Германии, очень страдают от того, что она была раздавлена, ибо рабочий класс Германии является сейчас объективным понижателем жизненного уровня рабочего класса всех стран и международная буржуазия равняет всех по наиболее низкому жизненному уровню. Вот этой конкуренцией Германии увеличивается неустойчивость. Помимо этого, союзные капиталистически развитые страны не имеют возможности покрыть все издержки войны и восстановить разрушенные производительные силы Европы за счет разбитой Германии.

Генуэзская конференция называется „конференция по восстановлению Европы". Можно заранее сказать, что от этого восстановления, если бы что-нибудь удалось сделать, рабочему классу несомненно не поздоровилось бы. Не подлежит ни малейшему сомнению, что никакого восстановления Европы не выйдет, ибо восстановление Европы— это значит восстановление ее на капиталистических основах, что при данных экономических условиях является абсолютно невозможным для капиталистического мира.

Кроме того, помимо этой непосредственной борьбы и конкуренции на мировом рынке мы имеем ряд других противоречий, которые сталкивают господствующие классы разных стран между собою. Мы имеем незаконченный конфликт между Японией и Америкой. Вашингтонская конференция далеко не уладила этот конфликт и, хотя Япония имеет право строить броненосцы в количестве 60% американских, но Япония будет строить столько, сколько она сможет, ибо дело идет о Сибири и Китае, а Сибирь и Китай должны послужить одним из элементов для восстановления капиталистического мира. С другой стороны, мы имеем крайне обостренную борьбу между Францией и Англией, которая заостряется с каждым днем, ибо Франция, имеющая под своим влиянием Польшу, Румынию, Юго-Славию и Чехо-Словакию, является сейчас фактически гегемоном на материке. Она распространяет свое влияние и на Турцию, что сталкивает ее интересы с интересами Англии. Англии выгодно поэтому поднять немного Германию для того, чтобы она могла оказывать противодействие и нейтрализовать напор Франции на Англию, которая является после Германии важнейшим и „наследственным врагом" французского отечества.

Рядом с империалистическими противоречиями заостряются и противоречия национальные. Мы имеем заостренный польско-германский конфликт, который разделом Верхней Силезии не разрешен. Представители из Польши, приехавшие на сессию Совета Профинтерна, сообщили, что сейчас начинается безработица среди горнорабочих в

Польше, что раньше горное дело в Домбровском районе процветало а с тех пор, как часть Верхней Силезии отошла к Польше, верхнесилезский уголь вытесняет домбровский, ибо он гораздо дешевле, и в результате в польских провинциях растет безработица. Конфликт политический и экономический из-за Верхней Силезии еще только начинается, и он осложняет всю обстановку и не способствует восстановлению равновесия, как не способствует восстановлению равновесия на Балканах конфликт между Юго Славией и Италией, между Турцией и Грецией, как не способствует восстановлению равновесия распад мирового владычества Британской империи. Мы имеем громадное революционное национальное движение внутри Британской империи (Индия, Египет и т. д.), которое разлагает эту мировую державу на ее основные части.

Крупнейшие колонии Великобритании, Канада, Индия (Австралия и т. д.) начинают отгораживаться таможенным барьером от своей метрополии.

Кроме этих империалистических и национальных противоречий, мы имеем, несомненно, рост внутриклассовых противоречий в каждой стране. Мы имеем доказанное государственной буржуазной статистикой падение жизненного уровня масс. На почве этого падения мы имеем сплочение масс для противодействия. Для каждого рядового рабочего становится все яснее и яснее безысходность его экономической борьбы, при которой сегодня он повышает заработную плату, а завтра снова цены на предметы первой необходимости скачут вверх. Это было ясно в прошлом году, а теперь еще более ясно. Последние телеграммы сообщают о громадном росте налогов в Германии. Это опять сведет на-нет повышение заработной платы, так как предметы питания будут еще быстрее дорожать и станут снова недоступными для рабочего.

И вот экономическая борьба этого массового рядового реформистски-настроенного рабочего, который не хочет, боится, чурается революции, который недоверчиво относится к Советской России, ввиду безысходности, ставит пред ними вплотную вопрос о революции, рабочие вплотную упираются в проблему власти, как в свое время накануне Октябрьской революции упирался и русский пролетариат. Вот это превращение экономических конфликтов в политически-заостренную борьбу против буржуазии и дальнейшее сплочение масс дает несомненный выход из этого кризиса, в котором находится сейчас человечество. Выход перед рабочим классом только один. Рабочий класс поставлен сейчас историей в такое положение: либо более быстрое или более медленное, но постоянное падение всей Европы, разложение ее при постоянном медленном, но планомерном понижении жизненного уровня рабочих масс, возвращение капиталистической Европы на целые столетия назад,—либо, если рабочий класс по этому историческому пути не пойдет, то он должен пойти по другому—по пути создания другого общественного порядка.

Вот те противоречия, которые раздирают современное человечество. И независимо от того, сколько еще лет такое предреволюционное состояние Европы будет продолжаться, будет ли оно длиться 2—5—10, лет,—революция придет. Противоречия настолько сложны и настолько переплетены, что мы можем иметь, например, социальную революцию в Германии и Австрии и через несколько месяцев, и через несколько лет. Предугадать срок невозможно, но важно то, что развитие всей Европы идет по линии социальной революции. Нет другой

силы, кроме пролетариата, который может поставить современное общество и производство на новые рельсы, нет таких сил, которые могут восстановить капитализм в его старых довоенных формах. Вот какой вывод можно сделать из наступления капитала и вот к чему объективно приводит единый пролетарский фронт.

Таким образом, единый фронт, вытекающий из наступления капитала, как новый метод борьбы, имеет в виду сплочение масс на почве жизненных непосредственных интересов. Идея единого фронта должна привести к сплочению масс снизу, к противопоставлению реформистски настроенных рабочих, которые не могут не бороться за сохранение своего жизненного уровня, их вождям, к отрыву активных масс от их пассивных вождей, к превращению этих реформистских масс в революционные колонны и конечном счете в подготовке их к штурму капитализма и к низвержению господства буржуазии. Вот какой вывод, основанный на изучении всей динамики социальных сил, можно сделать из наступления капитала и из тактики единого пролетарского фронта.

P.S. Борьба течений внутри Коммунистического Интернационала вокруг вопроса о едином фронте с особой яркостью проявилась на закончившемся недавно пленуме Коминтерна. Две партии выступили решительно против тактики единого фронта—французская и итальянская. Причины оппозиции этих двух партий разные. Обе партии не одинаково понимают единый фронт, тем не менее они составили „единый фронт" против предлагаемой тактики. Во Франции единый фронт был понят, как единство организации, иначе говоря—объединение с реформистами, что вызвало бурю в рядах Коммунистической партии. Надо сказать, что в течение 1½—2 месяцев на страницах коммунистической прессы Франции шла пламенная атака против тактики единого фронта, и в партии создалось враждебное отношение к этой тактике.

Когда Даниэль Рену от имени Французской комм. партии излагал мотивы этой враждебности, он особенно подчеркивал: 1) недавно происшедший раскол, 2) незначительность политического влияния диссидентов, 3) наличие в партии элементов, перешедших от синдикализма, остро реагирующих на „соглашательство" с реформистами, 4) наличность революционной Конфедерации Труда, которая откажется от всяких совместных выступлений с Комм. партией, если эта последняя выдвинет тактику единого фронта с реформистами, 5) единый фронт поднимает падающее влияние правого крыла французского социализма.

Наши итальянские товарищи также сделали исходным пунктом своих возражений против единого фронта недавний раскол. Итальянцы, в отличие от французов, выдвинули идею единого фронта в профдвижении, категорически отказываясь от единого фронта политических партий и политических интернационалов. Четырехдневные дебаты по вопросу о едином фронте обнаружили метафизический подход наших французских и итальянских товарищей к конкретным вопросам революционного действия. Во французской прессе тактика единого фронта рассматривалась некоторыми даже как отречение от основных принципов Коммунистического Интернационала. Само собою разумеется, что это пустяки. Новое международное положение требует новых методов борьбы. Защитники единого фронта показали на примерах из классовой борьбы во Франции и Италии необходимость единого

фронта, всю выгоду для Комм. партии взять на себя инициативу проведения этой тактики.

Этот же самый вопрос о едином фронте обсуждался и на сессии Профинтерна. Здесь он не вызвал возражений, потому что в той экономической борьбе, которую приходится сейчас вести профсоюзам, единый фронт является предпосылкой мало-мальски успешного противодействия наступающему капиталу. В общем, страстные прения вокруг вопроса о едином фронте выявили, несмотря на разногласия, единство понимания задач рабочего класса и одинаковый подход к разрешению этих задач.

Характерно, что против тактики единого фронта голосовали французы, итальянцы и испанцы. Чем объяснить то, что латинские страны выступили против этой тактики? Можно это только объяснить тем, что в коммунистических партиях этих стран имеется известный процент элементов, пришедших от синдикализма и анархизма, неосвоившихся еще с коммунистической, т.-е. революционно-марксистской, тактикой. Плох был бы тот Коммунистический Интернационал, который бы выработал одну и ту же тактику на все случаи жизни и смерти, для всех времен и для всех народов. Коммунизм тем и силен, что он чутко реагирует на происходящие явления, что он учитывает социальную передвижку сил, что он приспосабливает свою тактику к изменившимся условиям, что он, ни на минуту не упуская из виду основную задачу низвержения капитализма, меняет свою тактику в зависимости от условий, времени и места.

Но о работах сессий Коминтерна и Профинтерна и о борьбе вокруг тактики единого фронта мы поговорим специально в следующей статье.

10/III 1922.

„Закат Европы“*).

I. Вехисты о Шпенглере.

Карл Грасис.

Что будущность темна, как осенняя ночь, с этим положением не может примириться ничье сознание, тем более—сознание, не удовлетворяющееся настоящим и устремленное к созданию лучших условий своего существования. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно теперь „Закату Европы“ Освальда Шпенглера посвящается целый сборник чуть ли не корифеями нашего отечественного религиозного сознания—Бердяевым, Франком и др.

Для нас не является предметом наших гаданий, — „что день грядущий нам готовит?“. Завтра актуальнее сегодня. Само это сегодня конституируется в зависимости от прозреваемого завтра. Естественным явлением стало — что ни „мыслящая личность“, то пророк. Уже начиная с 1914 года, т.-е. с первого дня империалистической войны, вся периодическая пресса — ежедневная и толстые ежемесячники— заполнялись гаданиями насчет того, что принесет война вообще и что повлекут за собой порожденные войной сотрясения народохозяйственной и общественной жизни в частности [1]). Все военно-революционное время можно, без всяких оговорок, называть мобилизационным периодом пророчеств и гаданий. Мы являемся свидетелями и активными участниками нечеловеческого напряжения прорубить окно в завтра. Воскрешенные через тысячелетия предки—рядом с нами, и кажутся они в цвете сил!

По большей части, исторические воспоминания и повторения старых пророчеств не имеют и не могут иметь решающего значения для действенного решения вопросов современности. Несмотря на это,

---

*) Под общим заглавием „Закат Европы“ объединены статьи: Грасиса, Базарова и С. Боброва о Шпенглере, его критиках и истолкователях. Авторы иногда существенно расходятся в оценке историософии Шпенглера. Однако, ввиду того, что вокруг Шпенглера поднимается ряд вопросов, требующих подробного освещения, редакция считает полезным и своевременным открыть на страницах настоящего номера некоторый „парламент мнений“ с целью наиболее полного выявления в следующих номерах позиции современного коммунизма. Редакция считает также нужным отметить: статья тов. Деборина „Гибель Европы или торжество империализма“ в № 1 2 („Под знаменем марксизма“), вызвавшая критические замечания со стороны тов. Базарова, с точки зрения релятивизма, подкапывающегося под объективизм, — является наиболее соответствующей духу марксизма. К сожалению, тов. Деборин не нашел нужным связать магическую философию Шпенглера с распадом западно-европейской буржуазной цивилизации и интересная статья его поэтому нуждается тоже в этом пункте в поправках.

нельзя все же закрывать глаза на то, что они создают определенные настроения, которые подчас могут сложиться в „общественное мнение“. Новый курс экономической политики Советской власти такую возможность открывает. Пока что первый квартет—Бердяев, Букшпан, Степун и Франк—робко сыграл первую элегию. За ним, нет сомнения, последуют оркестровые упражнения тех, кого столкнула с исторической дороги Октябрьская революция, особенно из той плеяды „естественных вождей“, которые создавали наше отечественное „общественное мнение“ в довоенно-революционный период.

В ожидании осуществления этого нашего пророчества мы можем заняться пока тем, что уже имеется. А имеем мы уже сборник статей вышеназванных авторов под общим заглавием: „О с в а л ь д Ш п е н г л е р и З а к а т Е в р о п ы“. Несмотря на скромность заглавия сборника, авторы все же ставят себе задачу—ввести читателя в мир идей Шпенглера. Книгу Шпенглера „Der Untergang des Abendlandes“ „они находят“ в высшей степени симптоматичной и примечательной, „составившей культурное событие в Германии“. Так аттестуется эта книга в предисловии. В общем такая ее оценка неверна. Во-первых, в момент своего появления она не представляла собой ничего симптоматического и исключительного и таковой она может считаться даже в послеверсальской Германии; во-вторых, историческая морфология Шпенглера в массах имела гораздо меньший успех, чем пангерманская литература всего начала XX го столетия; в конечном счете, как первое, так и второе лишает нас возможности говорить о ней, как о „культурном событии в Германии“. Оценка значения „Заката Европы“ в предисловии сборника слишком субъективна, и мы на ней, поэтому, можем дольше не останавливаться.

Но если „Закат Европы“ не симптоматичен для Германии, родины его автора, а также для Европы в целом, то это отнюдь не значит, что книга Шпенглера не может стать событием для сознания наших отечественных искателей „скрытых тайн“. Мы имеем основание предполагать, что это именно так. Один из авторов сборника, Бердяев, свою статью и заканчивает в таком духе: „...такие книги, как книга Шпенглера, не могут не волновать нас. Такие книги нам ближе, чем европейским людям. Это—н а ш е г о с т и л я книга“ (подчеркн. мною. *Г. Р.*). Соглашаясь с этим, мы все-таки должны ограничить область приложения „нашего стиля“. Сделать это нетрудно, ибо—двое из авторов сборника нам давно и хорошо известны. Это—Бердяев и Франк, участники сборника первых—„Вех“ (1909 г.), призывавшие русскую интеллигенцию после поражения первой революции к подвигу религиозного „смирения“, к „послушанию“, „внутреннему сосредоточению“, „эгоцентризму сознания“. Двенадцать лет тому назад они прокляли революцию, успокоившись на проповеди „смирения“ и „послушания“, и нырнули во внутрь себя с целью обресть „незыблемые ценности“. И действительно, они—Бердяев и Франк—их обрели и „незыблемо“ сохранили до сегодня. И Бердяев и Франк—не нашли ни одного нового слова для тех событий, которые совершились и совершаются перед их глазами. Как тот, так и другой повторяют то же самое, что было ими сказано в 1909 году, как бы желая снова ошибиться и оказаться лжепророками! Николай Бердяев вещает: „Прочности нельзя искать в физическом миропорядке... Мир погибнет от неотвратимого и непреодолимого стремления к физическому равенству. И не есть ли стремление к равенству в мире социальном та же энтропия, та же гибель социального космоса и культуры в равномерном распределении тепло-

вой энергии, необратимой в энергию, творящую культуру... Утеря незыблемости физической не есть безвозвратная утеря. В духовном мире нужно искать незыблемости. В глубине нужно искать точки опоры... Открывается бесконечный внутренний мир. И с ним должны быть связаны наши надежды" (Passim). Теперь мы уже начинаем понимать, что означают „нашего стиля" и „наши надежды". Но у Франка еще больше пророческого пафоса. „Эта книга, напоминающая современному человечеству об истинных духовно-исторических силах культуры, идет навстречу его пробуждающейся жажде подлинного культурного творчества, его стремлению к духовному возрождению. Человечество—вдалеке от шума исторических событий—накопляет силы и духовные навыки для великого дела, начатого Данте и Николаем Кузанским..." (Passim. Подчеркн. автором. *Гр.*). И теперь нам непонятно, почему—„вдалеке от шума исторических событий"—Бердяевы и Франки, бывшие „веховцы", остановили свой взор, немощный и блуждающий в бренном мире, на... Шпенглере, чтобы сказать просто и ясно: назад к „Вехам" к старым „вехам" 1909 года! Ибо никаких других положительных выводов в сборнике нет! Непонятное и недоуменное попытаемся уяснить дальнейшим анализом. Но мы уже имеем определенный ответ на вопрос, который поставили выше:—устами авторов сборника глаголет старая веховская интеллигенция, уставшая и обуянная ликвидационным настроением, повторяет она старые мысли и пропагандирует старую идеологию смирения, покаяния и обретения „внутренних ценностей".

Однако события последних лет внесли в сознание веховцев кое-что новое, конечно, не качественно, но, можно сказать, количественно. В данный момент было бы недостаточно для произнесения приговора одного изучения психики русской интеллигенции. События приняли мировой характер; перед глазами масштабы не национальные, а интернациональные. В таком случае нельзя, очевидно, остаться на старом базисе своих суждений. Его нужно расширить теоретически, а выводы должны быть относимы к большей пространственной плоскости. И тут, с этого момента, начинается знакомство наших модернизованных славянофилов с германцем Освальдом Шпенглером. Перед авторами встала поистине соблазнительная мысль:—доказать, что гибнет Европа, та Европа, которую стремятся обновить новые социальные слои, причем гибнет она „по-славянофильски"; или показать, что в недрах Запада возымели силу „славянофильские" идеи и настроения, по крайней мере, составили „культурное явление в Германии". Пафос Франка, например, выражается в такой находке: „Конечно, самое уловление момента умирания западной культуры в явлениях „цивилизации" XIX века должно быть признано бесспорным. Эта идея Шпенглера, неслыханная по новизне[2]) и смелости в западной мысли, нас, русских, не поражает своей новизной: человек западной культуры впервые осознал то, что давно уже ощущали, видели и говорили великие русские мыслители-славянофилы. От этих страниц Шпенглера, проникнутых страстною любовью к истинной духовной культуре Европы, которая вся в прошлом, и ненавистью к ее омертвению и разложению в лице ее современной мещанской „цивилизации", веет давно знакомыми, родными нам мыслями Киреевского, Достоевского, Константина Леонтьева". То же самое нашел и Бердяев. „Следует еще отметить, что точка зрения Шпенглера неожиданно напоминает точку зрения Н. Данилевского, развитую в его книге „Россия и Европа". Культурно-исторические типы Данилевского очень походят на души

культур Шпенглера, с той разницей, что Данилевский лишен огромного интуитивного дара Шпенглера. Вл. Соловьев критиковал Н. Данилевского с христианской точки зрения"... (На последнем предложении мы цитату оборвали намеренно; почему, будет вскоре видно.) После такого открытия славянофильских идей на Западе, наши модернизированные попы могут дерзать водрузить свое знамя 1909 года на пепелищах Европы. Вводная статья Степуна так и заканчивается: „Наука, эта непогрешимая созидательница европейской жизни, оказалась в годы войны страшной разрушительницей. Она глубоко ошиблась во всех своих предсказаниях. Все ее экономические и политические расчеты были неожиданно опрокинуты жизнью. Под Верденом, быть может, она отстояла себя, как сильнейший мотор современной жизни, но и решительно скомпрометировала себя, как ее сознательный шоффер. И вот на ее место ученым и практиком Шпенглером выдвигается дух искусства, дух гадания и пророчества, быть может, в качестве предзнаменования какого-то нового углубления религиозной мистической жизни Европы. Как знать? Когда душу начинают преследовать мысли о смерти, не значит ли это всегда, что в ней пробуждается, в ней обновляется религиозная жизнь?

Оставим сейчас на-время в стороне утверждение, что наука „глубоко ошиблась во всех своих предсказаниях", и разберем одну мелочь, но весьма характерную. Тот же Степун, которому принадлежит только-что приведенная цитата, пишет и совершенно правильно: „Нет сомнений, что если исследование „Заката Европы" поручить комиссии ученых специалистов, то она представит длинный список фактических неверностей", и тут же освященное философской традицией оправдание: „тем хуже для фактов". Если точно такую же операцию произвести над сборником наших отечественных авторов, результаты были бы еще более печальны для фактов—по мнению авторов, а по нашему мнению—для репутации самих авторов. Характерная мелочь такова. Николай Бердяев утверждает, что Вл. Соловьев критиковал Н. Данилевского с христианской точки зрения". Правда ли это? Ни на иоту. В доказательство мы вынуждены привести довольно-таки скучную справку.

Кроме христианства, в непримиримом противоречии с воззрениями „России и Европы" находится, как мы видели, и историческое явление двух других универсальных, точнее, международных или сверхнародных религий—буддизма и мусульманства, а также и еврейской религии, которая, несмотря на свой национальный характер, передала, однако, свои существенные начала чужим мирам христианства и ислама. Но все это противоречие между теорией нашего писателя и исторической действительностью в области религии не было бы еще окончательным приговором для теории в глазах очень многих. На религию, вообще, нередко смотрят как на явление отжившее или отживающее, которому будет все меньше и меньше места в дальнейших судьбах народов. А при таком взгляде теория, несостоятельная в объяснении религиозного универсализма, могла бы, однако, годиться для определения наших настоящих и будущих судеб. Пусть в старину—так можно рассуждать — люди более объединялись религией, нежели разделялись народностью; теперь вера повсюду теряет свою силу и никогда уже более не вернет своего прежнего значения; следовательно, племенные и национальные деления могут теперь стать окончательно решающим началом человеческих отношений. Но, на беду подобного рода воззрений, универсализм человеческого духа проявлялся и проявляется не в

одной только религиозной области, а еще очевиднее и прямее в другой важной и неустрашимой сфере исторического развития — в науке" (подчеркн. везде Соловьевым Гр.). А далее Вл. Соловьев устанавливает, что „вспомогательный трактат" Данилевского об историческом развитии науки, во-первых, доказывает прямо обратное тому, что предполагалось им доказать, а, во-вторых, опрокидывает мимоходом и главную теорию „России и Европы". „Так писал Владимир Соловьев в свое время, в 1888 году, в „Вестнике Европы" (См. Собр. Соч., изд. „Просвещения", т. V). Из этой справки ясно видно, что Владимир Соловьев критиковал Н. Данилевского не только с христианской точки зрения: на основании научно-исторических данных вообще он камня на камне не оставил от „стройного здания" „России и Европы". Даже более того: Вл. Соловьев доказал, что весь этот „катехизис или кодекс славянофильства"[3]) является жалким плагиатом книг Рюккерта, мелкого немецкого ученого,—„Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung". И мы ничем не погрешим против истины, если скажем, что в книге Данилевского нет ничего чем бы могла гордиться „русская" мысль или славянофильское „религиозное сознание". Вместе с этим, мы могли бы, далее, сказать, рушатся и все построения и прозрения Шпенглера, ибо они уже более чем тридцать лет тому назад не выдержали ни христианской, ни „языческой", т.-е. общенаучной, критики. И так как мы не намереваемся дать обзора взглядов немецкого „ученого" и „практика", а ставим своей целью раскрыть „позицию" нашей старой веховской ветви интеллигенции, то могли бы без ущерба пройти мимо Шпенглера. В таком случае, картина все же осталась бы не вполне ясной. Поучительнее будет, поэтому, взглянуть и на общий лик объекта симпатий г.г. Бердяевых и Франков.

Схему взглядов Освальда Шпенглера можно нарисовать очень просто. Степун их схематизировал в следующем виде: 1) „нет никакого единого человечества", 2) „нет единой истории", 3) „нет развития, нет и прогресса" и 4) „есть только скорбная аналогия круговращения от жизни к смерти, от культуры к цивилизации" (см. стр. 13).

1. Нельзя говорить о человечестве. Простое собрание, скоп физических лиц не есть человечество. У так называемого человечества нет внутренней спайки, нет единой души. Души имеются только у отдельных, конкретных культур, которые в корне отличаются друг от друга [4]) между ними нет ни взаимодействия, ни преемственной связи. Отдельные „души", „стиля", „культурных эпох", а не единое человечество.

2. Каждая из этих „душ" имеет свою судьбу. В судьбах отдельных культур не найти закономерности и причинности... [5]) Значит, говорить об истории—пустая трата слов.

3. Раз нет истории, нет и прогресса, как длящегося в пространстве и во времени потока событий. Свое сочинение Шпенглер называет морфологией „истории".

4. Повсюду мы видим только круговорот от жизни к смерти, от культуры к цивилизации. И если и можно говорить о развитии, то только в том смысле, в каком это понятие применимо к любому растению, и в рамках „от жизни к смерти".

Для „доказательства" этих „положений" потрачено много энергии. Некоторые штрихи морфологии Шпенглера весьма удачны и метки. Но так как нас не интересует ни конкретное содержание отдельных „душ", ни, тем более, их частности, то на этом мы расстанемся с Шпенглером: нас, как уже заявлено, интересует больше то, что по поводу его пишут наши соотечественники — „своя рубашка ближе к телу".

Для основного („метафизического") „положения" Шпенглера Степун устанавливает следующий генезис: „Его убеждение, что души культур свершают каждая свой одинокий круг, кружат каждая над своей собственной смертью, не связанные друг с другом сквозным историческим процессом, не объединенные в единое человечество. Эту мысль еще в начале XVIII столетия высказывал и прочно обосновывал Вико [6]), ее варьировал немецкий историк Рюккерт [7]), передавший ее Данилевскому, который в книге „Россия и Европа" теоретически очень близко подходит к Шпенглеру (30). Мы, со своей стороны, можем „теорию" Шпенглера сделать еще более родовитой. Примитив ее можно найти в любой, более или менее развитой, мифологии. Определенную яркость она приобрела в религии Зороастра и т. д. Продолжить эту экскурсию в седую старину было бы крайне интересно, но и сказанного достаточно, чтобы обнаружить связь между „философией" Шпенглера и тем общим уклоном к примитиву, который сказывается во всей западной культуре начала XX века. Особенно ярко это проявилось в области искусства. Нас такое явление отнюдь не поражает и еще менее смущает. Богатые, правящие и командующие классы исчерпали свою творческую энергию и находят для прикрытия своего оголяющегося тела фиговые листья в „добром", „здоровом" старом времени. Буржуазно-капиталистическая Европа, давно утратившая свои общественные идеалы, шла по линии наименьшего сопротивления, осознав свое бессилие творить новые ценности и новые формы жизни. Шпенглер с изумительным спокойствием плывет в этом общем русле, ясно сознавая, куда оно направляется. Он сам заявляет: „Мы (читайте: богатые классы Европы. *Гр.*) будем умирать сознательно, сопровождая каждую стадию своего разложения острым взором опытного врача".

В связи с этим мы опять касаемся гордости наших современных славянофилов. Бердяев и Франк, как мы уже видели, пальму первенства подарили славянофилам. Их неприятно одергивает третий их коллега—Степун:—эти взгляды „передал" составителю „кодекса славянофильства" Данилевскому, немецкий историк Рюккерт. Вл. Соловьев доказал, что Данилевский совершил просто-на-просто литературную кражу (см. его ст. „Немецкий подлинник и русский список", 1890 г.). После этого гордиться нечем!

Николай Бердяев особенно „протежирует" Константина Леонтьева: полюбил его и хочет вознести выше... Шпенглера. „Всякая культура неизбежно переходит в цивилизацию. Цивилизация есть судьба, рок культуры. Цивилизация же кончается смертью, она есть уже начало смерти, истощение творческих сил культуры. Это—центральная мысль книги Шпенглера. После некоторых пояснений этой мысли, Бердяев пишет: „Проблема Шпенглера совершенно ясно была поставлена К. Леонтьевым" (65). Так ли это? Нет, далеко не так. Эта передержка похожа на ту, которую Бердяев уже свершил над весьма ясно изложенными мыслями Вл. Соловьева.

Константин Леонтьев в „Дополнении к двум статьям о панславизме" писал в 1884 году: „Я верил и тогда (т.-е. когда писал эти две статьи, в 1873 году. *Гр*), верю и теперь, что Россия, имеющая стать во главе какой-то нововосточной государственности, должна дать миру и новую культуру, заменить этой новой славяно-восточной цивилизацией отходящую цивилизацию Романо-Германской Европы. Я и тогда был учеником и ревностным последователем нашего столь замечательного и (увы!) до сих пор одиноко стоящего мыслителя Н. Я.

Данилевского, который в своей книге „Россия и Европа“ сделал такой великий шаг на пути русской науки и русского самосознания, обосновавши так твердо и ясно „теорию смены культурных типов в истории человечества“ (подчерк. везде Леонтьевым. *Гр.*).

То, что здесь, в этой цитате, сказано, замечательно и характерно во многих отношениях. Прежде всего, из нее становится ясно, каким скудным научным багажом обладали виднейшие славянофилы: „сам“ Константин Леонтьев „замечательного“ плагиатора, возводит в ранг замечательного мыслителя! Не оправдание то обстоятельство, что „дополнение“ Леонтьева написано шестью годами раньше критики Вл. Соловьева. Для полноты картины и оценки славянофильской общественной и исторической доктрины и, наконец, для характеристики „славянофильских“ провозвестников религиозного обновления Европы мы вообще не должны упускать из виду, что в ней (славянофильской доктрине) нет абсолютно ничего оригинального и своего, т.-е. русского. Ведь кто первый заговорил о своеобразиях русской действительности? Западно-европейский путешественник. Начиная с XVI века все чаще и чаще европейцы поражались отсталостью России, отмечая это в своих очерках и мемуарах. Возьмем хотя бы Манштейна. Он в 1771 году писал, что „в начале нынешнего столетия образ поведения и нравы русского народа совершенно различались от всех прочих европейских народов, и что он вовсе не знал никаких правил благопристойности“ (см. ст. А. П. Щапова „Исторические условия интеллектуального развития в России“, Собр. соч., т. II. Не в обиду, а в поучение будь сказано, что гораздо полезнее было бы для наших авторов, если бы они ознакомились с трудами этого ученого, обладающего громадной силой интуиции, чем увлекались путанной сигнализацией—термин Степуна—Освальда Шпенглера). К нему добавим еще Гакстгаузена с его идеологией и идеализацией общины. И перед нами тогда будут не только общественно-психологические истоки славянофильства, но и народничества. Межа, с которой начинаются эти два течения российской общественности, помечена чужеземными столбами. Видя их, россияне начали осознавать „свое“; без этих столбов—как бы они дошли до этого? Чужестранцы говорили: „Неблагопристойно“. Россияне ответили: „Это хорошо, это чудно“, и создавали, при помощи тех же самых чужестранцев, теории об „особенной стати“ России. А всем этим кичатся наши пророки чаемого религиозного ренессанса!

В данном случае, однако, нас больше интересует ответ на прямой вопрос: была ли „центральная мысль“ Шпенглера, как это утверждает Бердяев, высказана Леонтьевым? Как видно из этой же замечательной цитаты, Леонтьев считает понятия „культура“ и „цивилизация“ идентичными; и он говорит не о смене романо-германской цивилизации новой культурой, а о замене ее новой же цивилизацией—славяно-восточной.

*) В другом своем сочинении, „Византизм и славянство“ (1875 г.), К. Леонтьев, часто употребляя термины цивилизация и культура, никогда их не разграничивает, как разносмысловые понятия. „Здание европейской культуры было гораздо обширнее и богаче всех предыдущих цивилизаций“. „Цивилизация, культура, есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, государственных, личнонравственных, философских и художественных), которая вырабатывается всей жизнью наций“. Следовательно, „центральной мысли“ шпенглеровской „сигнализации“ нет у Константина Леонтьева. Но худо ли

это, или хорошо— Константин Леонтьев вообще по духу непохож на Шпенглера. Для Леонтьева существует и всемирная история, и культурная преемственность. Он утверждает: „Культуры государственные, сменявшие друг друга, были все шире и шире, сложнее и сложнее: шире и по духу, и по месту, сложнее по содержанию. Персидская была шире и сложнее халдейской, лидийской и египетской, на развалинах коих она воздвигалась; греко-македонская на короткое время еще шире; Римская покрыла собой и претворила в себе все предыдущее; Европейская развилась несравненно пространнее, глубже, сложнее всех прежних государственных систем („Византизм и Славянство"). Или, наконец: „Европейское наследство вечно и до того богато, и до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного" (там же). Но это еще не все. Как на беду Бердяеву, К. Леонтьев даже не верит в гибель европейской цивилизации. „Практику политического гражданского смешения Европа пережила; скоро может быть увидим, как она перенесет попытки экономического, умственного (воспитательного) и полового, окончательного, упростительного смешения" (подчеркнуто везде Леонтьевым. *Гр.*). Леонтьев сторонник развития [8]), и в этом он тоже слишком далек от примитивной морфологии истории Шпенглера. Шпенглер различает два процесса: 1) созидательный, собственно-культурно-творческий и 2) распространительный, цивилизационно-упадочнический. Хотя и Леонтьев неоднократно употребляет термин морфологии („начинается смешение, сглаживание морфологических резких контуров"; „она, т.-е. Европа, не хочет более морфологии"), но он в него вкладывает другой смысл. В V-й главе „Византизм и Славянство? — „Что такое процесс развития?" — Леонтьев понятие развития целиком переносит из естествознания в социальные науки и устанавливает три периода развития: „1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения". При чем, и это в данном случае должно быть „центральной мыслью", процесс „вторичного смесительного упрощения" отнюдь и не предвозвещает гибели... „если дело идет к выздоровлению организма, то картина болезни упрощается", говорит Леонтьев, применив свою триаду к процессу болезни. Вот почему он, видя, что Европа, „не хочет более морфологии", а также то, что она политическое „смесительное упрощение" уже пережила на практике, смертного приговора над нею не произносит.

После всего сказанного мы имеем полное право призвать наших отечественных философов к порядку:—так бесцеремонно с фактами, упрямыми фактами, обращаться нельзя. Если им нужен был шпенглеровский примитив для спасения своей души и своего старого веховского знамени, то нужно было его брать таким, каков он есть. Затеянное ими предприятие—спасти Европу „по-славянофильски" через посредство Шпенглера не удалось. Сближение Шпенглера с славянофильством ни для кого не прибыльно—ни для Шпенглера, ни для славянофилов и тем более для наших авторов. Ибо в итоге этой экскурсии обнаружилось только одно:—в головах представителей когда-то нового у нас „нового религиозного сознания" начался процесс „вторичного смесительного упрощения"...

Таким образом, перед нами довольно-таки занимательная картина, Шпенглер сказал-бы—ландшафт, однако, с ароматом „упростительного смешения". „На берегу пустынных волн" (книгоиздательство „Берег"!) мировой истории сидят четыре наших философа—Бердяев

Букшпан, Степун и Франк, авторы сборника,—и размышляют о судьбах мира, вернее, гадают. В короткий срок перед их глазами повержены в прах три великих монархии. Прошел период колоссальнейшей в истории гражданской войны. В этой войне победа осталась на стороне рабоче-крестьянского режима России — Р.С.Ф.С.Р. Первая в мире Социалистическая Республика выдержала натиск всего мира. На место обанкротившегося II Интернационала вырос III коммунистический, силы которого множатся на почве углубляющегося капиталистического мира. Маятник истории судорожно мечется между социализмом и капитализмом. И в этот момент наши философы хватают за фалды Шпенглера и пифийским языком пророчествуют: „Вы хотите сделать шаг вперед? Напрасные усилия, ибо нет в мире никакого прогресса! Вы хотите социализм водворить в Европе? Напрасные усилия:—Европа гибнет, не будет ничего — ни нашим, ни вашим! Вы отчаиваетесь? Совершенно напрасно, ибо „открывается бесконечный внутренний мир". Смирение и все само собой приложится!" Вот социальный смысл сей проповеди. **Шпенглеровская „морфология" истории, проповедь „Заката Европы", это глубокая реакция старого мира против нарождения нового.** Обращение в „бесконечный внутренний мир" в то время, когда вопрос о жизни или смерти решается столкновением физических сил, это есть **реакционнейшая агитация**, направленная к тому, чтобы вырвать на поле брани меч из руки восходящего класса, утверждающего новый мировой порядок.

Чтобы иметь успех и получить должный размах, наши авторы должны были проделать какое-то „предварительное действо": отвести в сторону науку и на место ее утвердить произвольное гадание по предметам „бесконечного внутреннего мира". Они это и сделали. Нам остается только ознакомиться, как это сделано.

С первой же страницы мы узнаем, что „широкая ученость соединяется в Шпенглере с глубокоосознанной и **принципиально провозглашенной антинаучностью философского мышления**" (подчеркн. нами. *Гр.*). В конце первой статьи читаем: „Вопрос об истинности и объективности „Заката Европы" разрешается в конце концов в пользу Шпенглера",—несмотря на то, что книга его переполнена „с формально-логической и позитивной научной точки зрения произволом и самовластием". Так как, по Шпенглеру, „значение какого-нибудь учения определяется исключительно степенью его необходимости для жизни", то остается еще только доказать, что наука оказывается совсем ненужной и даже вредной. Доказательства на-лицо. „Наука эта непогрешимая созидательница европейской жизни, оказалась в годы войны страшной разрушительницей". Но разве этот факт говорит что-нибудь против науки, как таковой? Ни в малейшей степени. Он свидетельствует лишь о том, что науку употребили во вред человечеству. Социалисты единодушно твердили, что достижения науки использовываются правящими, богатыми классами для удовлетворения своих прихотей и нравственно неоправдываемых предприятий. Частично целью социализма мыслилось освобождение науки из этого позорного плена. Неужели эта азбучная истина неизвестна Степуну? Далее обнаруживается смертный грех науки. „Она глубоко ошиблась во всех своих предсказаниях. Все ее экономические и политические расчеты были неожиданно опрокинуты жизнью". Неужели это пишет человек, претендующий на серьезность? Мировая война. Кто только о ней ни говорил, считая ее неизбежной, продолжительной, разруши-

тельной! Случайно называем Мольтке, Балка, Бернгарди, Куропаткина, Драгомирова[9]) Блиоха[10]). После них можем забыть всех экономистов, историков и публицистов. После войны—социалистическая революция. Так вопрос ставился не только социалистами (Гед, Каутский, Жорес, Гильфердинг, Ленин, Гортер и др.), но и теоретиками буржуазии (Блиох, Баллод, Эпштейн, Туган-Барановский и т. д.). Одним словом, каждый, кто по отношению не ко всему готов кричать: „тем хуже для фактов", должен признать, что мировая война и последующие за ней события блестяще подтвердили истинность общественно-научного знания. Его предсказания сбывались чуть ли не с математической точностью. Но для наших философов, так же как для Шпенглера, нет фактов вне связи с их „новым внутренним опытом". Тем хуже для них!

Наука, таким образом, сброшена с пьедестала. Ее место занимает религия: „дух гаданья и пророчества", „углубление религиозной мистической жизни", „тайна, которую мы сами не можем вполне разгадать". И радость неописуемая охватывает Степуна при мысли, что „успех книги Шпенглера означает потому, думается, благостное пробуждение лучших людей Европы к каким-то новым тревожным чувствам, к чувству хрупкости человеческого бытия и „распавшейся цепи времени", к чувству недоверия к разуму жизни, к логике культуры, к обещаниям заносчивой цивилизации" и т. д. И как недоволен Букшпан, когда слышит заявление Шпенглера: „Мы, люди Запада, религиозно конченные". Не утверждая никакого абсолюта[11]), Шпенглеровский скептицизм и релятивизм весь пропитан духом смирения и покорности судьбе. По своему общественному значению это равно религиозному „томлению" наших обновителей религиозной жизни. Иначе их любовь к чужестранному гадателю и пророку была бы непонятной. Но когда вопрос перенесен на почву религии и веры, то спор становится излишним: они прикрылись щитом тертулиановской фабрикации—credo, quia absurdum. Ибо это последний и окончательный довод верующего человека всех времен и народов. Это не мешает нам признать факта роста религиозности и мистицизма. Сознание приближающейся социальной смерти и неясные очертания завтрашнего дня порождают религиозные настроения и мистические чувства. Рост их прямо пропорционален росту самосознания и осознания своих боевых задач в исторически-восходящих социальных группах. Поступательное движение истории от такого заострения и оформления противоречий только выигрывает[12]).

Авторам, поднявшимся на такую ступень религиозного сознания, окружающее кажется уже одноцветным. Перед абсолютом стираются различия во внешнем мире. У Шпенглера такую же роль в его мышлении играет его „перводушевность" (Urseelentum), эта нирвана истории, и его морфология. Поэтому и он „никуда не идет и никуда не ведет" (Степун), и у него „нет определенного волеустремления" (Букшпан). С этих „высот" „империализм и социализм одинаково—цивилизация, а не культура" (Бердяев), т.-е. признаки упадка и гибели. Слышим и старые напевы: „Капитализм и социализм одинаково заражены этим духом" (духом мещанства и духовной буржуазности). „Империализм и социализм—одно и то же", „Цивилизация через империализм и через социализм должна разлиться по всей поверхности земли, должна двигаться и на Восток". И „истинной духовной культуре, может быть, придется пережить катакомбный период" (Бердяев). Величайший объ-

ективный трагизм переживаемой нами эпохи состоит в том, что поверхность исторической жизни залита бушующими волнами движения, руководимого духовно-отмирающими силами ренессанса" (Франк), т.-е. социализма. При таком положении само собой ясно, что „сейчас мы (т.-е. Россия. *Гр.*) еще более отбрасываемся на Восток". Еще бы! Социализм ведь знаменует воцарение „вечного хама"! Но в этих утверждениях скрыто противоречие, которого не замечает абсолютизированное религиозное сознание.

Если мы отбрасываемся к востоку, если „истинная духовная культура" должна уйти в катакомбы, то не означает ли это, что социализм не только расширяет область господства цивилизации, но и утверждает что-то **свое**, хотя бы и **хамское**, отвергаемое религиозным сознанием „бесконечного внутреннего мира"? Повидимому, „религиозное сознание" просто запуталось. Ему не подняться хотя до им же так любимого Константина Леонтьева. „На розовой воде и сахаре не приготовляются такие коренные перевороты (речь идет о создании в Европе „федеративной, грубо-рабочей, республики". *Гр.*): они предлагаются всегда человечеству путем железа, огня, крови и рыданий..." („Византизм и Славянство"). Никто из здравомыслящих людей иначе думать не может. Паульсен в своих „Основах этики" (М. 1906 г., стр. 234) разбирает вопрос, оправдывает ли цель средства, и приходит к выводу, что „...если понять это положение, что оправдывает средства не любая дозволительная, но лишь одна определенная **цель**, из которой исходит всякая оценка: а именно, высшее благо, **благополучие или совершенная форма жизни человечества**, тогда это положение стоит не только вне сомнения, но и необходимо". Это неоспоримое этическое положение, которое не признается только теми, кто из-за призрачного спасения души жертвуют живым человеком... Подобная нравственная кастрация, однако, возможна и притом как морализующее выражение слишком реальных и грубых общественных сил.

Разительный исторический пример можно привести из недавнего прошлого. „Вехи" ставили крест над русской революцией и интеллигенцией, прикрываясь искательством „высших", „бесконечных внутренних ценностей", а царские жандармы огнем, железом и кровью дезинфицировали зараженную революцией Россию, уничтожая ее физических носителей... Веховцы жестоко ошиблись в своем похоронном настроении и религиозно-мистическом гадании. Через 10 лет воспрянула революция и раскаты ее грома раздаются по всему миру. И что же? Наши веховцы опять тут как тут. И опять „смирение", опять „послушание", опять „бесконечные внутренние ценности"—в то время, когда дьявольские средства пускаются в ход для самого подлинного физического удушения нарождающегося нового мира! Человек, искренно и честно стремящийся к какой бы то ни было цели, с нравственным негодованием должен отвергнуть эту проповедь религиозной пошлости. От нас зависит, повторится ли позорная роль веховцев в новой исторической обстановке, или они будут сидеть и плакать „на берегу пустынных волн" о „бесконечности своей внутренней жизни". Теперь, в 1922 году, мы имеем гораздо больше основания утверждать, что их пророчества и гадания вилами по воде писаны, чем в 1909 году, когда их проповедь прозвучала впервые.

Ибо мы отнюдь не „отброшены на восток". Россия назад во время революции не попятилась. Наоборот: она шагнула вперед. Это, положение утверждают авторы сборника „Смена вех", в том смысле

что авторитет России за годы революционной власти вырос и окреп. И это объективно правильно. Но мы о шаге вперед говорим в другой плоскости. Россия стала центром нового общественного миропорядка, и ее голосу внимают повсюду, где идет борьба за лучшие идеалы человечества, за лучшее будущее. Никогда она такими тесными узами не была связана с другими, самыми отдаленными, странами, как во время империалистической блокады и капиталистического окружения. III Коммунистический Интернационал—это нарождающаяся, невиданная до сих пор, объединенность мира. И понятно, есть, от чего сокрушаться нашим модернизированным славянофилам: все это нисколько не подходит на выявление „скрытых тайн“ России, на осуществление „славяно-восточной“ провиденциальной роли православной Руси.

Это—бушуют „духовно отмирающие силы Ренессанса“! Так ли это? „Отмирающие силы Ренессанса“—это рационалистические, либерально-эгалитарные принципы. Но разве ими исчерпывается содержание социализма? Или правильнее ставить вопрос так, разве они являются характерными, преобладающими чертами современного, марксистского коммунизма или социализма? Стоит только так поставить вопрос и язвительные замечания запоздалых славянофилов сразу теряют свою остроту. Получилась путаница эпох и предмета, и искажение исторической действительности. Весь секрет или все несчастье, заключается в том, что современные нам, запоздалые славянофилы, Бердяев, Франк и сотр. смотрят на марксистский коммунизм глазами своих духовных отцов, глазами, устремленными на утопический, мелко-буржуазный, анархический социализм Бабёфа, Сен-Симона, Прудона и др. Критические стрелы, сокрушающие утопистов, летят мимо марксистского социализма или же дают рикошет в стрелков. „Всеобщее равенство“ и „всеобщее умеренное благоденствие“ (будь все же сказано, что утопический социализм уложить в прокрустово ложе этих двух понятий трудно!) не являются нашими, коммунистическими, идеалами. Мы стремимся не к количественному уравнению, а проявлению качественных различий. Для людей живых, наших современников, это должно звучать скучным трюизмом. Тонкий эстет и острый мыслитель, Оскар Уайльд, будучи знаком с новым социализмом, пришел к выводу, что „социализм сам по себе будет иметь значение, уже хотя бы только потому, что он приведет к индивидуализму“; „новый индивидуализм, для которого волей или неволей работает социализм, будет совершенной гармонией“; „новый индивидуализм—это новый эллинизм“ („Душа человека при социалистическом строе“). Но, быть может, этот аристократ конца XIX века и апостол и пророк красоты ошибается? Быть может, он неправильно истолковывает социализм? Нет,—Оскар Уайльд понял то, что оказалось недоступным последышам Константина Леонтьева. Карл Маркс во главу угла своей теории безусловно ставил индивида, а не „атомизм“ коллектива. „Социальная революция потому находится на точке зрения целого, что она если бы даже происходила лишь в одном фабричном округе—представляет протест человека против лишенной человеческого содержания жизни, что она исходит из точки зрения отдельного действительного индивида“ (Критические примечания к ст. „Король Прусский и социальная реформа“. Подчеркн. мною. *Гр.*). Маркс определенно указывает, что в основе его учения лежит старый принцип коммунизма [13]), а именно: „каждому по его потребностям“.

Фридрих Энгельс в „Анти-Дюринге" пишет: „Действительное содержание пролетарского требования равенства есть требование **отмены классов**. Всякое требование равенства, которое простирается далее этого, необходимо вдается в абсурд. (Подчеркн. Энгельсом. *Гр.*)

К сожалению, мы не имеем возможности здесь развить эти основные мысли: это нас отвело бы далеко в сторону от нашей задачи. Скажем только, что, раз коммунизм центр тяжести своего внимания переносит на действительные потребности действительного индивида, то **осуществление его означает создание возможностей безграничного проявления качественных различий (особенностей), заложенных в человеке**. Генриетта Роланд-Гольст, поэтому, могла с полным правом заявить: „Коммунизм — идеал всего человечества, идеал общечеловеческого объединения. И, как таковой, он является культом человеческой личности"... („Коммунистический Интернационал" № 13). Несмотря на это, находятся философы, утверждающие, что коммунизм и капитализм одинаково пропитаны мещанством. Эту жвачку герои „Вех" жуют уже лет 15 под-ряд и ничто, никакие события не могут заставить их ее переварить. Талантливый Леонтьев в гробу должен краснеть от своих запоздалых и импотентных поклонников.

Леонтьев мог бы попросить прочесть гр. Бердяева следующие строки: „Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь **уважаемой природы**, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически родственного, даже более: **эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития**" („Византизм и Славянство". Подчеркн. Леонтьевым. *Гр.*), т.-е. первый антитеза второму, как упрощение усложнению, как „вторичное смесительное упрощение"—„сложному цветению". С какой бы стороны ни подходить к марксистскому социализму, в нем нельзя найти элементов упрощения. На лицо обратное: через посредство отмены классового неравенства уничтожается деспотическое монопольное господство классовых элементов, выразившееся в распластовании общественного сознания, в общем и главном, на две одноцветных области, и создается возможность проявления человеческого творчества в других плоскостях и соотношениях, вытесненных из поля сознания однообразнейшими классовыми разделами. Теоретическая правильность этого положения не может быть оспариваема фактами иначе, как только отчаянным воплем логического смертника: „тем хуже для фактов".

Значит, и жонглирование „духовно отмирающими силами Ренессанса" необходимо признать неудавшимся. И в этом пункте мы обнаружили бесцеремонное отношение к фактам, искажение исторической перспективы или просто незнание простых вещей людьми такого почтенного возраста, какой имеют веховцы 1909 года. Не старческая ли это слабость? Как знать? В лучшем случае, быть может, это и так. Но классовые силы так причудливо переплелись между собой в смертной схватке, что можно допустить и худшее. По крайней мере, этот псевдонаучный вздор и религиозно мистическое бормотание, будучи созвучным некоторому падению настроения и унынию в массах, могут иметь отрицательное влияние на развитие нашего общественного сознания. А это заставляет нас бороться с ними, как с проявлениями враждебных нам психики и идеологии социально-отмирающих сил капиталистического мира.

Итак, наконец, к чему же мы пришли после разбора сборника „Освальд Шпенглер и закат Европы"? Во-первых, будем откровенны и признаемся, что, зная авторов сборника, мы ждали более серьезного отношения к вопросу, чем то, что обнаружилось на деле. Читая сборник, мы постепенно разочаровывались. Прочтя его,—и это во-вторых—мы были рады. Ведь, если так шатки позиции наших врагов и недругов, то чего же нам бояться? Мы можем смело вступить с ними в открытый бой, заранее предвкушая упоение победой. Пусть это знают все те, кому приходится защищать молодые всходы нового мира! В-третьих, в лице авторов мы встретились со старыми веховцами, защищающими свое старое дело, забрызганное кровью рабочих и крестьян в 1905—1906 годах и окончательно и безвозвратно проигранное в 1917 году. При желании можно восхищаться упорством, с каким авторы ставят себя в положение, которое завидным никто не назовет.

А четвертое—самое главное: вопрос о судьбе Западной Европы, о ее закате даже и не поставлен, по крайней мере—не поставлен на почву, на которой возможно его обсуждение. Ни в книге Шпенглера, ни в книжке о Шпенглере и закате Европы нет научного подхода к теме. Пророчества и гаданья Шпенглера, его характеристики и его „сигнализация" весьма интересны, в большинстве случаев очень удачны, но все это—недостаточное основание для составления представления об исторической судьбе Европы. Но нас ведь интересовали только наши соотечественники. А их попытка упокоить Европу отрыжкой славянофильства и тем возвысить „русское дело" и Восток может, в лучшем случае, вызвать улыбку: — „Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало". Нудно и скучно нанизывая мертвые мысли на ниточку некоторого общего настроения, авторы отнюдь не вводят читателя „в мир идей Шпенглера", а выворачивают наружу в конечных словах „бесконечность своей внутренней жизни".

Наконец, в чем же дело? Откуда закат Европы? Действительно, такой вопрос серьезно поставлен, но не для религиозно-мистических гаданий. Если и такие имеют место, то это свидетельствует, что он глубоко начал волновать послевоенную и революционную Европу. На первом плане—экономическая постановка проблемы. С прорытием Панамского канала экономисты единодушно высказались в том смысле, что центр мировой истории из Европы переходит в Америку. Во время войны Америка (С.-А. С. Ш.) приобрела такую экономическую мощь, что может играть в мире первую скрипку.

Поскольку это так, спорить не приходится. Но это было бы так, если бы сохранил свою прочность капитализм. Если же хотя бы в одном месте в нем пробита брешь, если одна великая страна вырвана из контекста капиталистических отношений, то картина и перспективы меняются. В таком случае, само представление о мировом центре естественно раздваивается: речь может итти тогда о двух центрах, о центре нового и о центре старого миров и о гегемонии одного из них. Вопрос теперь так и поставлен. После войны Европа (да и все мировое хозяйство) переживает все углубляющийся кризис. Возможность социалистической революции далеко не исключена. А при образовании Социалистических Соединенных Штатов Европы вопрос о переходе центра мировой истории в Америку совершенно снимается. Есть все основания утверждать, что европейская социалистическая федерация хозяйственным банкротом и вассалом не будет.

Другие постановки проблемы не столь актуальны. Все они в той или другой плоскости варьируют тему о „кризисе европейской куль-

туры". Частичных кризисов можно насчитать столько, сколько вообще есть проявлений культурного бытия (государство, право, семья, наука, религия, искусство и т. д.). Тем лучше, — так рассуждали и рассуждаем мы, ибо это означает, что буржуазно-капиталистический мир загнивает на корню и что час его упразднения близок. Да не только близок: он уже настал. Это—„бушующие, духовно отмирающие силы Ренессанса"...

Таким образом, вопрос о закате Европы является вопрсом о закате буржуазно-капиталистического Запада. Осознав разложение этого запада, не поняв причин такого разложения и не видя сил, могущих проявить новую творческую энергию, философствующие филистеры этого уходящего мира свои зубные боли превращают в мировую скорбь, что, впрочем, бывало неоднократно. Такова „примечательная" книга Освальда Шпенглера и таков еще более примечательный сборник статей о ней веховцев 1909 г.

Примечания.

1) С особенным азартом пророчествовала и гадала вся пангерманская пресса. Германия, бросившая вызов всему „цивилизованному миру" и окруженная со всех сторон врагами, должна была всеми средствами поддерживать общественное мнение на известной высоте. Германия выше всего! После военного поражения она переживает реакцию—резкое чувство подавленности. Успех книги Шпенглера обусловлен этим понижением общественного настроения. Покорность судьбе и осознание этой судьбы утверждается как высшая мудрость. Это—квинт-эссенция книги Шпенглера. Пророчествующее сознание и ищущий глаз как бы прозрели и успокоились в стоическом равнодушии. Мобилизация пророчеств закончила свою миссию!

2) Идея умирания западно-европейской культуры отнюдь не неслыханна. На это указывает и Ф. Степун, называя Зиммеля, Эйкена, Кона и Эвальда. На самом деле, почти каждый морализующий философ, после обнаружения ярких капиталистических противоречий, в той или другой связи осуждал европейскую культуру (Руссо, Гете, Байрон, Кант и др.). Франку почему-то во что бы то ни стало нужно сделать своего сегоднешняго героя исключительным явлением. Значит, положение гадающего веховца незавидное!

3) „Катехизисом или кодексом славянофильства" Страхов назвал сочинение Данилевского „Россия и Европа". Блаженное неведение, послужившее основой национального самодовольства и гордости!

4) Н. Бердяев: „Культуры, расы—замкнутые монады с замкнутой судьбой". Это тавтология—аналогия неправильна. Шпенглеровские „души"—не монады.

5) Шпенглер настойчиво отрицает историческую закономерность, „законы истории". По его мнению, „историю нужно творить". Но это—творчество обреченного, не имеющего перед собой другого идеала, кроме смерти.

6) Вико все же признает единство человеческого рода, чего не существует для Шпенглера. То же самое следует сказать о внутренней закономерности жизни обществ. Рационализм Вико у Шпенглера заменяется его интуитивизмом.

7) Рюккерту повезло. Литературный и научный плагиаты подчинены определенным „законам развития". Плагиатор никогда не воспользуется звездой первой величины, ибо это было бы сразу обнаружено. Данилевский не нарушил этого общего закона, выбрав для своей цели „третьестепенного ученого".

8) К. Леонтьев признает не только развитие, но он в истории видит и прогрессивное развитие. Поэтому Н. Бердяев совершенно неправ, когда пишет: „он также отрицал прогресс"...

9) Генерал Драгомиров неоднократно вышучивал проповедников мира и третейских международных судов и указывал, что предстоят войны не только международные, но и войны между трудом и капиталом. И этот замечательный стратег, призывая к бдительности, призывал готовиться к этой борьбе, чтобы встретить ее во всеоружии техники. (См. „Одиннадцать лет". 1895—1905 г.г.). Можем здесь добавить для социалистичествующих мещан, что Маркс точно так же думал, что пролетариату придется в войне отстаивать свое право на изменение мира. „Революции придется с современными военными средствами и с современным военным искусством бороться против современных военных средств и современного военного искусства". (См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Неизданные статьи, Харьков 1919 г., стр. 17). Разве нужно еще более блестящее оправдание истинности научного знания?

10) Блиох в своем шеститомном исследовании „Будущая война" и т. д. прямо говорит о том, что после европейской или мировой войны более чем вероятно повторение в огромнейших размерах событий Коммуны 1871 года. (См. „Общие выводы", стр. 269).

11) Шпенглер после гаданий и „сигнализации" по поводу весьма высоких материй, успокаивается на ничем не прикрытом буржуазном практицизме: техника—вместо лирики, мореплавание—вместо живописи и т. д. (См. стр. 86 разбираемого сборника).

12) Конст. Леонтьев весьма уместно напомнил тем, кто утверждал, что знания являются движущими началами истории, что такую же роль следует отвести и незнанию. („Восток, Россия и Славянство", т. II, стр. 12).

13) Дитцель пишет: „Коммунизм доводит до крайности принцип индивидуальности, т.-е. положение, что государство, „организованное общество, существует для личности". (Цит. по Энцикл. Словарю Еф.-Бр., „Коммунизм", ст. Водовозова).

14) См. С. Новаковский—Панамский канал и его мировое значение. Предисловие проф. М. Довнар-Запольского. В этой книге собран богатый материал, на основании которого дается положительный ответ на вопрос, потеряет ли Европа свою первенствующую роль в мировой экономике. Этот материал мною был уже использован в брошюре „Неизбежное будущее" (Казань 1917 г.).

II. О. Шпенглер и его критики.

В. Базаров.

Книга О. Шпенглера „Закат Европы" („Der Untergang des Abendlandes") является одним из самых поучительных событий в умственной жизни современной Германии. Огромный спрос на эту

книгу (32 издания за 2 года); ее широчайшая популярность не только в говорильных „салонах", но и в среде серьезной, интенсивно работающей университетской молодежи; ряд кружков и научных обществ, основанных с целью разрабатывать проблемы истории и культуры в духе нового учения, наконец, внушительный поход против развратителя юношества Шпенглера, организованный во имя спасения „вечных ценностей" культуры немецкими профессорами и приват-доцентами, начиная маститым хранителем традиций, теологом Гарнаком и кончая радикалом и фанатиком „полной социализации" Отто Нейратом,—все это заставляет думать, что Шпенглеру лучше чем кому-либо другому удалось оформить идеологию современного культурного кризиса.

Таким образом, как симптом и символ переживаемой Западом культурной катастрофы „Закат Европы"—бесспорно глубоко знаменательное и значительное явление. И это его значение совершенно не зависит от того, высоко или низко оцениваем мы достижения автора с научной, философской, вообще с какой-либо отвлеченно-теоретической точки зрения. Работа Шпенглера есть прежде всего выдающийся факт реальной жизни, существеннейший кусок конкретной истории наших дней, а уже во вторую очередь „философия истории", быть может, научно-несостоятельная, слабо обоснованная и вообще грешащая против так называемой „истины". Но там, где дело идет о непосредственном постижении действительности, где ставятся вопросы „что?" и „как?" (а не „почему?", „зачем?" или „на каком основании?"), там, по справедливому замечанию Шпенглера, „факты важнее истин".

Однако, и под углом зрения исторического факта, и в качестве идеологического отражения „закатных" процессов западно-европейской культуры, в работе Шпенглера не все равноценно. В закатные и предзакатные эпохи сознание общественных слоев, духовно возглавляющих обреченную гибели культурно-историческую формацию, характеризуется двумя чертами: с одной стороны, известной умственной утонченностью, способностью мысленно отрешиться от тех особых категорий, понятий, чувствований, которые в период расцвета представляются вождям и деятелям данной культуры чем-то абсолютным, непререкаемым, „априорным", с другой стороны—жаждой новых верований, поисками новых абсолютов—жаждой неутолимой, поисками безрезультатными, ибо угасающие культуры бессильны породить живую прочную веру, а способны лишь сплетать обрывки умерших религий в пестрый узор эфемерных суеверий.

Изощренность интеллекта, обостренная зоркость, дающая возможность бросить взгляд за пределы кругозора своей культурной колокольни, обладает бесспорной ценностью не только как содержание данного периода истории, но и как завещание грядущим поколениям, тем чаемым наследникам, которые на обломках и из обломков гибнущей цивилизации, быть может, заложат некогда фундамент нового культурного здания, новой „башни вавилонской". Напротив, предсмертные суеверия, даже как симптомы и факты исторической действительности, представляют ограниченный интерес: в них существенно не то что найдено, а то, что ищется, не те или другие суррогаты религии, а структура самой религиозной потребности, специфический характер религиозного устремления эпохи.

В „Закате Европы" нашли себе выражение обе эти стороны упадочного миросозерцания. К сожалению, дать сколько-нибудь полный и отчетливый очерк взглядов Шпенглера в рамках журнальной статьи нет никакой возможности. Книга Шпенглера—не научная или науко-

образованная „система", а скорее художественное произведение: портретная галлерея культур и культурных феноменов.

Всякое обобщенное схематизированное изложение было бы здесь неизбежным искажением. Познакомить со Шпенглером человека, не читавшего книги, можно лишь путем обширных выдержек, для которых у меня нет места. Вышедшая в Москве коллективная работа „Освальд Шпенглер и Закат Европы" дает предварительную ориентировку, достаточную для того, чтобы понять, о чем идет речь; полезно прочитать также статью Д. Шиковского, переведенную из „Neue Zeit" в № 1-м петербургского журнала „Начала" и статью А. Деборина в № 1—2 московского журнала „Под знаменем марксизма".

Отсылая к этим русским источникам читателя, не имеющего возможности ознакомиться со Шпенглером в подлиннике, я в дальнейшем ограничусь анализом основных архитектурных линий Шпенглеровского построения,—тех линий, которые привлекли к себе особенное внимание германской академической критики, и которые на мой взляд представляют существенный интерес также для марксиста.

В основе концепции Шпенглера лежит понятие культуры или культурной „души", как самодовлеющего органического единства.

— Культура родится в тот момент,—пишет Шпенглер,—когда великая душа пробуждается из вечно младенческого первичного состояния человечества, обособляет себя, как образ из безобразного, как ограниченное и переходящее из безграничного и пребывающего. Культура расцветает на почве строго ограниченной местности („Landschaft"), с которой она растительно связана. Культура умирает, когда ее душа осуществила всю сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук и снова возвращается к первичному состоянию, к „перводушевности" („Urseelentum").

Когда задача культуры выполнена, ее идея осуществлена, вся полнота ее возможностей проявлена, культура быстро окоченевает, отмирает, ее кровь свертывается, ее силы надламываются,—она становится цивилизацией и, подобно мертвому дереву, гиганту первобытного леса—она может еще целые столетия простирать в воздух свои засохшие ветви.

Цивилизация есть закат культуры. В этой фазе и находится в настоящее время Западная Европа.

На протяжении шести тысяч лет нашего исторического кругозора в различных местностях земного шара зародилось, расцвело и увяло несколько таких обособленных, замкнутых в себе культурных организмов: китайская, индусская, египетская, вавилонская культура, майа, античный мир, магическая культура ислама и восточного христианства, которые все уже в прошлом, и, наконец, ныне умирающая „фаустовская" или западно-европейская культура.

Таким образом, никакой „всемирной истории" не существует. Шпенглер едко издевается над наивными усилиями западно-европейских ученых вытягивать историю „человечества" в линейный ряд последовательных ступеней прогрессивного развития, венцом которого является, разумеется, наша новейшая история, т.-е. несколько последних веков в жизни Европы.

Этому смешному в своей ничем неоправданной претенциозности европо-центризму, этой „птоломеевой системе истории" Шпенглер противопоставляет свою „коперниканскую" точку зрения, которая рассматривает каждый культурный организм изнутри, как самодовлеющее

целое, имеющее собственные, ему только свойственные формы существования, идеи, чувствования, страсти, свою особенную судьбу, свою жизнь и смерть, свою историю. „Есть расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, местности, как есть молодые и старые дубы или сосны, цветы, ветви, листья, но нет стареющего „человечества". Каждая культура имеет свои собственные формы проявления, которые возникают, зреют, увядают и никогда не возрождаются вновь. Существует много в глубочайшем существе своем различных пластик, живописей, математик, физик",—столько же, сколько существует различных культур.

Как видим, основной чертой шпенглеровской историософии является последовательный, до конца проведенный исторический или социологический релятивизм. Не только научные теории, эстетические, философские или религиозные построения, но и самые элементарные восприятия, лежащие в основе всякого опыта, каковы восприятия пространства и времени, а также основные приемы логического мышления, одним словом, все то, что Кант считал „априорными", обязательными для каждого разумного существа категориями или формами познания,—все это в действительности различно у представителей различных культур.

Эта основная идея не доказывается Шпенглером, а показывается: демонстрируется наглядно, в ряде живых образов, воспроизводящих стиль наук и искусств, религий и философий, политических и экономических укладов, характерных для различных культурно-исторических типов. Такой художественно-интуитивный или „физиономический" метод Шпенглер считает единственно допустимым в истории и сознательно противополагает его научному, аналитическому или математическому методу, применимому лишь к внешней мертвой природе. Впрочем, и природа в ее целом есть по Шпенглеру живой организм и может созерцаться изнутри, как созерцал ее Гете, презиравший математику с ее мертвыми схемами и рассматривавший природу „исторически", в процессе живого становления. Но современный человек не только созерцатель, но и деятель, борец: механизируя природу, вгоняя ее в неподвижные категории научного познания, он тем самым подчиняет себе силы природы, заставляет их служить своим целям, осуществлять свою „волю к мощи".

Таким образом, противоположность природы и истории, красною нитью проходящая через всю книгу Шпенглера, вовсе не предполагает существования двух раздельных областей или предметов исследования, но устанавливает лишь две точки зрения, одинаково правомерные в любой области, одинаково применимые к любому предмету нашего опыта: при чем выбор той или другой из них всецело зависит от той задачи, которую мы в данном случае себе ставим. Если мы хотим восстановить известное событие так, как оно действительно случилось, т.-е. так, как оно было пережито его непосредственными участниками, то мы постараемся вчувствоваться в психологию актеров интересующей нас исторической драмы или комедии, внутренно отожествиться с ними, это—метод художественного воскрешения эпохи или, говоря словами Шпенглера, изображение „ставшего, как становящегося", физиономика, портретирование.

Без такого портретирования не может, очевидно, обойтись не только историк, но и социолог, стремящийся „наукообразно" познавать эпоху, т.-е. устанавливать закономерные связи между явлениями, причинные зависимости и т. д. Ведь прежде чем „объяснять", надо

возможно отчетливее установить материал, подлежащий объяснению,— что невозможно иначе, как посредством „физиономического" воспроизведения прошлого, на основании тех фрагментов его, которые дают нам так называемые „источники". Физиономика есть необходимая предварительная ступень систематики, и Шпенглер впадает в явное, хотя и весьма распространенное в современной европейской науке недоразумение, когда он, следуя Риккерту, с одной стороны, Бергсону, с другой, полемически противопоставляет свой интуитивный метод научному, „систематическому" исследованию исторической действительности.

Я счел полезным с самого начала остановиться на этом пункте несколько подробнее потому, что прославление интуиции в противовес и в ущерб науке естественно заставляет всякого социолога-объективиста и в особенности материалиста подозрительно настораживаться с первых же страниц чтения книги Шпенглера. Сторонник научного метода спешит занять оборонительную позицию, выискать в построениях автора как можно больше погрешностей и слабых мест, чтобы дискредитировать этого „мистика" и тем самым восстановить попираемый последним авторитет науки. Ошибок и погрешностей имеется у Шпенглера более чем достаточно. Но мы не будем торопиться с изобличениями и разоблачениями, а постараемся сначала указать то положительное и ценное, что можно почерпнуть из шпенглеровских интуитивных экскурсий в „души" различных культур,—памятуя, что возможные успехи этих экскурсий ни в малой мере не поколеблют позиций объективной науки,—напротив, обогащая материал исследования, пойдут на пользу всякого историка и социолога: объективиста и материалиста в такой же степени, как романтика или мистика.

Почти вся германская профессорская критика, в общем чрезвычайно неблагосклонная к Шпенглеру, считает, однако, ценными, „будящими мысль" открытиями нарисованные ими образы культур и культурных стилей. Так, например, базельский профессор Karl Joël заключает свой далеко не милостивый анализ книги Шпенглера следующими словами: „И все же я повторяю: эта богатейшая книга необходима для самопознания нашей эпохи, и помимо того его органические души культур являются открытиями, дающими плодотворнейшие толчки мысли". Надо, впрочем, отметить, что из тех восьми культур, которые насчитывает Шпенглер, большинство затрагивается им лишь весьма поверхностно. Вавилонская, китайская и индусская культуры характеризуются двумя-тремя штрихами, „магическая" христианско-магометанская культура первого тысячелетия нашей эры иллюстрирована также весьма скупо: более детально обрисован стиль египетской культуры, которая, по Шпенглеру, имеет максимальное сродство с западно-европейской. Но и эта тема имеет для автора не самостоятельное, а побочное значение; аналогия между древним Египтом и современным Западом устанавливается в противовес господствующему взгляду, согласно которому наибольшая близость—и притом не только формальная, но и существенная, основанная на непосредственной преемственной связи—имеет место между античным миром и теперешней Европой. Разрушению этой теории, рассматривающей эллинско-римский мир, как нашу собственную „древнюю историю", и посвящены главные усилия автора. Полярная противоположность античной или „аполлинической" культуры, с одной стороны, западно-европейской или „фаустовской", с другой, полнейшая самостоятельность и взаимонепроницаемость их стилей,—таков лейт-мотив „Заката Европы", основ

ная его тема, иллюстрированная сотнями сопоставлений, заимствованных из всевозможных областей нашей и античной жизни.

Уже в самых элементарных понятиях и созерцаниях, в самом устройстве восп ринимающего аппарата проявляется коренное различие между аполлинической и фаустовской душой. Для древнего грека мир есть совокупность со всех сторон отграниченных тел. То бесконечное пространство, в которое для нашего созерцания погружены тела и которое таким образом является основным фоном западно-европейской картины мира, эллину неизвестно; на греческом языке нет слова для выражения такого восприятия; промежутки между телами грек называл „не сущим", „не существующим", „то мэ он". Элементом эллинской математики является рациональное положительное число, как орудие измерения конкретных осязаемых тел. Конечная задача—установить соизмеримость или пропорциональность. Пропорция, основа гармонии не только музыкальной, но и мировой—высший организующий принцип аполлинической души. Там, где нет общей меры, где нельзя выразить соотношение между величинами в виде пропорции (напр., длина диагонали и стороны квадрата), там эллин видел границу логического познания, торжество хаоса над космосом. Отношение между несоизмеримыми величинами он называет „арретос" или „алогос", т.-е. „несказуемое" или „внеразумное",—тот же буквальный смысл имеет и удержавшийся в нашей математике латинский термин „иррациональный". Если в античной математике понятие об иррациональной величине,—не говоря уже о величинах мнимых и комплексных,—осталось неразработанным, то вовсе не потому, что эллинская математика не доразвилась до удовлетворительного решения этой проблемы; греческие ученые по остроте и тонкости мышления, по богатству математической фантазии стоят отнюдь не ниже западно-европейских. Дело здесь не в количественном совершенстве, а в качественной разнородности логических аппаратов; понятие иррационального, так сказать, принципиально неприемлемо для эллинского ума, ибо с античной „эвклидовской" точки зрения это вовсе не „понятие", а прямое отрицание понятия, явный абсурд, „алогичный логос". Эвклид, вместо того, чтобы допустить нелепое для него словосочетание „иррациональное число", говорит вполне логично: „несоизмеримые отрезки не относятся между собой как числа". Характерный эллинский миф рассказывает о трагической гибели того дерзкого пифагорейца, который осмелился открыто обсуждать вопрос о существовании иррациональных соотношений: боги потопили корабль, на котором он ехал, ибо невыразимое и безобразное должно вечно оставаться скрытым".

Иную математику построила себе фаустовская душа, исходное созерцание которой есть бесконечное пространство, убегающая в даль перспектива. Здесь все текуче, бесконечно изменчиво, т.-е. на античный масштаб алогично, полно хаоса. Элемент западной математики—не рациональное число, не символ конкретного тела, а „функция", неопределенная связь между произвольно меняющимися величинами. Рациональные числа являются лишь отдельными моментами в сплошной непрерывности иррациональных и комплексных чисел. Вместо эвклидовской геометрии, заключенной в прочные границы тел и фигур, мы имеем аналитическую геометрию Декарта с ее текучими координатами и тесно связанное с ней исчисление бесконечно малых.

В западной и античной математике уже вполне обрисовываются те два своеобразные, существенно различные по своему характеру

стиля, которые накладывают свою печать и на все прочие проявления обеих культур. В механике эта противоположность стилей сказывается как античная статика и западно-европейская динамика, в общей картине мира, как птоломеевская и коперниковская системы. Шпенглер отмечает, что познавательное удобство гелиоцентрической картины мира было известно древним, но идея эта настолько чужда античному строю души, что она не могла быть усвоена, отбрасывалась эллинским сознанием, извергалась им, как инородное тело.

В искусстве аполлиническая культура воплощает свой идеал статической гармонии форм, фаустовская культура—свой порыв в бесконечность. С одной стороны—прекрасная геометрическая соразмерность античного храма, с другой стороны—„застывшая музыка" готического собора с его устремлением ввысь, с его грандиозной перспективой. Греческие сады—совокупность отдельных цветущих уголков; западно-европейский парк не возможен без „póint de vue", откуда развертываются разбегающиеся перспективы аллей.

Наиболее адекватной формой выявления античной души, ее специфическим искусством является скульптура. Статуя, отграниченная со всех сторон, довлеющая себе, не связанная с окружающим пространством, есть аполлинический художественный символ по преимуществу: прекрасное уравновешенное тело. В западно-европейской духовной жизни скульптуре принадлежит более чем скромное место, а роль искусства par excellence играет оркестровая многоголосная музыка, достигающая полного отрешения от конкретно-чувственного, образного и наглядного и потому лучше всего символизирующая стремление к безграничному. Симфония—эта переложенная в звуки западно-европейская математика—не ведома античному миру.

Столь же ярко обнаруживается своеобразие аполлинического и фаустовского мироощущения в живописи. Греческая живопись не знает дали, перспективы, глубины; ее излюбленные краски—желтая и красная,—цвет крови, чувственной страсти, живого человеческого тела; греческие художники не употребляют ни голубых, ни зеленых тонов, им чуждо и уходящее ввысь небо, и убегающие вдаль поля. В западной живописи—глубина и перспектива занимают центральное место; художественный смысл картины—не в отдельных фигурах, а в общей композиции. Портретная живопись—подлинно „физиономическое" искусство, стремящееся выразить в красках не статуарный статический жест данного момента, а внутреннюю динамику изображаемого лица, его интимную историю и „биографию"—изобретение фаустовской культуры.

В политическом строе Эллады, в ее самостоятельных городских республиках, в ее неспособности сложиться в национально-государственную организацию, мы находим тот же характерный „точечный" стиль: совокупность обособленных тел-организмов.

Восприятие пространства тесно связано с восприятием времени. По Канту пространство и время являются равноправными формами нашего познания. Шпенглер, следуя Бергсону, считает одно только пространство формой объективного рассудочного познания, а время—формой живой субъективной интуиции. Тем самым между пространством и временем устанавливается своеобразная полярная противоположность, родственная противоположности между „я" и „не-я", „душой" и внешним „миром", „становящимся" и „ставшим" „жизнью" и „природой". Оба эти полюса неразрывно слиты друг с другом, характеризуя собой „элементарную структуру сознания". В каждом нашем сознательном акте присутствует и „я" и „не-я"; в действительности

невозможно ни разделить их, ни свести одно к другому. И если одни мыслители (материалисты) пытаются перенести ударение (Akzent) на внешний мир, как „первичное" или „причину", другие (идеалисты)— на душу,— то это, говорит Шпенглер, рисует лишь настроение данной личности, ее темперамент и представляет чисто биографический интерес. Жизнь „становящаяся", непосредственно переживаемая, протекает во времени, обладает таинственным признаком направления, единична, неповторима; ее характеристика—временная дата, хронологическое число; средствами сообщения жизненного переживания служат: образ, символ, сравнение, поэтическая метафора, художественная концепция. Предметом научного познания является не становящееся, а ставшее, не протекающее во времени, а зафиксированное в пространстве, не „жизнь", а „природа"; характеристика природы—математическое число; здесь все вневременно, закономерно, имеет постоянную значимость, здесь царствует формула, закон, схема.

Таким образом, делая живую историческую действительность предметом науки, мы тем самым уничтожаем ее, как жизнь, проэцируем на плоскость „природы", растягиваем время в пространство. Пространство является, следовательно, как бы интеллектуальным символом интуитивно переживаемого времени, и все то в восприятии времени, что характерно для данной культуры, ее „души" и ее стиля, находит себе точный коррелат в восприятии пространства. В частности глубина, третье измерение, даль есть, по Шпенглеру, пространственный символ напряженного, творчески устремленного свершения, символ того „исторического чувства", которое Ницше считал специфическою особенностью западно-европейской культуры, и в основе которого лежит фаустовская воля к беспредельному росту, к преодолению всех извне поставленных границ, „воля к мощи" (Die Wille zur Macht).

Античное мировоззрение, не знающее глубины и дали, чуждо вместе с тем воли к мощи, пафоса творческого свершения, лишено вкуса к истории. Греки были в высшей степени не историчны. Они не выработали устойчивого летоисчисления, не интересовались хронологией, в домашнем быту не чувствовали надобности в часах. Эллин не испытывал потребности выстраивать в непрерывный ряд исторического свершения события прошлого, но превращал их в лишенные хронологической даты, вечно живущие мифы. Великие люди античного мира принимали мифический образ „героев" тотчас же после смерти, иногда даже при жизни (Александр Македонский, Цезарь).

Идея внутренней душевной динамики, развития и роста души в борьбе с внутренними или внешними сопротивлениями отсутствует в античном нравственном сознании. Этический идеал эллина — „калокагатиа", спокойная уравновешенность прекрасной души, высшая добродетель—„атараксиа", т.-е. абсолютно-пассивное, мужественно-безразличное отношение к жестоким ударам неумолимой судьбы. И сама эта трагическая „судьба" воспринимается древним греком или римлянином совершенно иначе, чем представителем западно-европейской культуры. В то время как судьба Отелло, Макбета, Фауста с внутренней необходимостью вытекает из их динамически развивающейся душевной жизни, является естественным итогом борьбы страстей, продуктом напряженного активного волевого устремления, герой античной трагедии лишен всякого внутреннего движения, так же неизменен, так же неподвижен, как и античная статуя. Царь Эдип в конце трагедии тот же, что и в начале; в нем ничто не „развивается"; его гибель никакими внутренними нитями не связана с его душевной жизнью,

отнюдь не предрешается строем его души, но налетает на него извне, как стихийное бедствие, как мгновенная слепая случайность.

Поэтому-то единство времени, места и действия присуще античной трагедии; оно диктуется „статуарностью" трагического героя и „мгновенностью" его судьбы.

Таковы в самых общих схематических контурах образы античной и западно-европейской культуры, нарисованные Шпенглером. Перейдем к его критикам.

Немецкие критики прежде всего подчеркивают не оригинальность основной концепции Шпенглера. Если шпенглеровское понимание „культур", как самодовлеющих организмов, и заслуживает название коперниковской системы истории, то не Шпенглер был тем Коперником, который впервые формулировал эту точку зрения. Профессор Haering в своей книге о „структуре истории" отмечает, что аналогичные взгляды давно уже развивались русским писателем Данилевским, который в свою очередь заимствовал их у немецкого историка 50-х годов, Гейнриха Риккерта.

Joël приводит длинный список предшественников Шпенглера, устанавливает генеалогию его излюбленных и якобы им впервые формулированных идей. Эмансипация „единично-физиономической" истории от естественно-научной закономерности задолго до появления „Заката Европы" осуществлена школой Риккерта-Виндельбанда. Школой марбургских философов (Коген и его ученики) детально разработан „функционализм бесконечно малых". Исторический релятивизм ведет свое начало уже от Гегеля, который сказал: „всякая философия есть данная эпоха, схваченная в мыслях", и провозгласил поэтому историю философии венцом познания. Но истинным вдохновителем Шпенглера в этой области является Dilthey, у которого мы находим, например, такие строки: „не признание какого-либо застывшего apriori, но исключительно история развития может нам ответить на те вопросы, которые мы все обращаем к философии" и далее: „перед взором, охватывающим всю землю и все эпохи, исчезает абсолютная значимость каких бы то ни было абсолютных форм жизни, общественных учреждений, религий или философий". Наконец, сам Joël, не разделяя „односторонности" и „крайности" Шпенглера, в особенности его убеждения в „закате Европы", давно уже писал о несостоятельности прямолинейно-эволюционистской концепции истории, отдавал должное физиономическому своеобразию каждого данного культурно-исторического типа и, в частности, характеризовал особенности античной и современной культур как раз в том духе, как это сделал впоследствии Шпенглер, а именно, противопоставил эллинскую „пластику духа" современному „функционализму".

Гейдельбергский профессор L. Curtius еще резче подчеркивает несамостоятельность Шпенглера. В истории искусства, пишет он, шаблонное деление на древнюю, среднюю и новую эпохи давным-давно уже оставлено. Трудами Dehio, Voege, Pinder'a и самого Curtius'a давным-давно установлено, что античное искусство, а также готика—самостоятельные индивидуальности; то же самое касается и Египта. Курциус ставит себе в особую заслугу то, что ему удалось показать самобытность египетского искусства в противоположность старой точке зрения, рассматривавшей египетское искусство, как некое преддверие или предчувствие греческого. Таким образом, индивидуализация куль-

тур для знатока дела не заключает в себе ничего нового. Во всей книге Шпенглера нельзя найти ни одной мысли, которую в той или иной форме не высказал бы ранее него один из новейших историков или теоретиков искусства: Rigl, Wölfflin, Strzygowski, Pinder, Woringer, Simmel. Всю свою эрудицию Шпенглер черпает из вторых рук, из той „специфической посреднической литературы", которая стоит между источниками и журналистикой, и там, где, как, например, в истории искусства Передней Азии, эта литература отсутствует, Шпенглер совершенно беспомощен.

Египтолог Шпигельберг, подвергнув детальному анализу все сказанное Шпенглером о Египте, также приходит к выводу, что „поскольку дело касается египетской культуры, Шпенглер недорос до серьезного решения поставленной им себе задачи, так как эта культура ему недостаточно известна".

Вообще эрудиция „Заката Европы", импонирующая его русским интерпретаторам и критикам, внушает к себе очень мало уважения соотечественникам Шпенглера. Если Ф. А. Степун в первых же строках своей статьи рекомендует разбираемого автора, как глубокого ученого („Шпенглер бесконечно учен"), то немецкая критика, за немногими исключениями, третирует Шпенглера, как поверхностнейшего из дилетантов. Уничтожающему анализу подвергнуты не только идеи Шпенглера, но в первую голову те конкретные исторические факты, которые являются опорой для этих идей. Весь „Закат Европы" разобран, что называется, по косточкам. И первое впечатление таково, что живой организм этой во всяком случае захватывающей книги под убийственными рентгеновскими лучами научной мысли действительно превращается в беспорядочную груду сухих мертвых костей. В одном случае Шпенглер произвольно выхватил подходящие для его схемы второстепенные факты, опустив существенное и главное, в другом—явно извратил историческую перспективу, дал насильственное толкование; здесь он связал воедино существенно разнородное, там, наоборот, разделил целой пропастью то, что в основе своей едино. Словом, от мастерски нарисованной портретной галлереи остаются обрывки и лоскутки, измятые и жалкие, с поблекшими, полинявшими красками.

Но если это так, то в чем же притягательная сила Шпенглера? Каким образом он мог оказать такое гипнотизирующее влияние на молодые умы? Неужели одним только мастерством изложения? И с другой стороны, те две линии, по которым ведется одинаково уничтожающая критика Шпенглера, как будто бы не совместимы между собой. В самом деле, если Шпенглер совершенно не оригинален, если он только плагиатор ценных открытий, сделанных другими учеными, то, казалось бы, в книге его именно поэтому не должно быть места для особенно грубых извращений и ошибок, и в конце концов ему, как талантливому популяризатору, надо быть лишь благодарным за то, что он сделал достоянием широкой публики идеи, до сих пор доступные лишь специалистам. Если же Шпенглер извратил историю, насильственно втиснув ее в свои предвзятые схемы, то, повидимому, ему нельзя отказать в известной оригинальности, в авторском праве хотя бы на эти предвзятые схемы.

Германские критики Шпенглера выходят из этого противоречия таким образом: по их мнению, грех дилетанта Шпенглера состоит в слишком смелом, слишком последовательном, слишком одностороннем и крайнем осуществлении тех плодотворных концепций и методов, которые он заимствовал у солидных ученых. „Впрочем, одно здесь, ново—

пишет, например, Людвиг Курциус о шпенглеровской морфологии античной, магической и фаустовской культуры,—с такой смелостью (so mutig), с такой последовательностью, с таким всеохватывающим размахом никто еще не делал до сих пор попытки дать образ этих трех мировых культур".

Боязнь последовательности и смелости всегда подозрительна. Когда ненаучной „крайностью" или „односторонностью" объявляется не упрощение той или другой концепции, не суздальски убогое ее понимание, а те последние выводы, которые вытекают из ее внутреннего развития, то можно с большой уверенностью предположить наличность некоторого могущественного практического интереса, мешающего продумать или прочувствовать до конца данное теоретическое построение. В данном случае так именно и обстоит дело. Шпенглер констатирует закат западно-европейской культуры, ее омертвение, распад ее некогда великого и мощного стиля. Высшим пунктом ее развития, а вместе с тем и началом нисходящего движения является, по Шпенглеру, век Гете: Кант—завершитель западной философии, ее Аристотель; последний великий музыкант—Бетховен; западная живопись исчерпала свои творческие силы еще гораздо раньше, достигнув своей вершины в Рембранде.

Можно, конечно, внести целый ряд отдельных хронологических поправок в этот диагноз, относящий весь XIX век к периоду упадка. Можно, например, с полным правом утверждать, что послекантовский идеализм (Фихте, Шеллинг, Гегель) представляет эпоху самого подлинного цветения германской философской мысли. Но едва ли можно серьезно оспаривать тот бьющий в глаза факт, что германская философия последнего полустолетия, несмотря на значительное количество острых и талантливых мыслителей, носит на себе явные признаки эпигонства и схоластического окоченения. Пусть эпоха упадка началась не в первом, а в седьмом десятилетии прошлого столетия. Эта незначительная отсрочка не вносит существенного изменения в общую историческую перспективу. Несомненно, во всяком случае, что в наши дни „закат Европы" обрисовался с полной отчетливостью. Катастрофа военного и послевоенного времени с ее ужасающим духовным одичанием и материальным распадом настолько очевидно подготовлена всей историей последних пятидесяти лет, что ее приходится принять как неотвратимую, предрешенную внутренним развитием Европы „судьбу", и было бы величайшим легкомыслием видеть в ней какое-то несчастное стечение обстоятельств, своего рода стихийное бедствие, последствия которого современное человечество может стряхнуть с себя без глубокого внутреннего переворота, равносильного гибели одной культуры и зарождению на ее место другой.

Примириться с такой перспективой в силах лишь тот, кто чувствует, или, по крайней мере, предчувствует, прозябание зародышей этой грядущей культуры с новой ориентацией человека в мире, с новым строем души, с новым укладом материальной жизни. А раз этого нет, то перед лицом столь явственных признаков омертвения современного общества приходится искать спасения в теории, принципиально отрицающей самую возможность культурной смерти. Такой теорией-утешительницей и является оспариваемая Шпенглером старая концепция всемирной истории, как прямолинейного развития, где каждая предшествующая эпоха служит ступенью для последующей, где нет места трагическим провалам, катастрофам, гибели культурных организмов, а случаются лишь порой временные недомогания, приостановка

роста, после которых благодетельная „эволюция“ снова вступает в свои права, снова начинает вести исцеленное человечество со ступеньки на ступеньку, все вперед и выше.

Правда, во всей своей чистоте и наивности эта теория была приемлема лишь в героические периоды буржуазной истории, например, в эпоху „просветительства“, когда духовные вожди современного общества искренно чувствовали себя венцом и украшением всемирной истории. Обостренный интеллект „цивилизации“ не мирится с элементарностью классических примитивов, он не может не „индивидуализировать“, не различать качественно своеобразных типов там, где в прежнее время видели лишь количественную разницу в степенях или ступенях развития. Но для спасения души от разъедающего пессимизма необходимо ввести эту индивидуализацию в пределы, ограничить ее разумными рамками, необходимо устроить так, чтобы в глубинах исторического процесса, тщательно укрытых от скептической критики, сохранилась старая лесенка прямолинейно восходящих ступеней в виде метафизического стержня истории, гарантирующего вечность нашей культуре, неразрушимость ее абсолютных истин и ценностей. Этой задачей и одушевлены немецкие ученые, критикующие Шпенглера.

„Шпенглер не видит,—пишет Карл Иоель,—что не только проявления каждой отдельной культуры являются символом ее души, но и сами эти культуры в целом—только символы, меняющиеся жесты, направления единой и всеобщей души (Gesammtseele), которая несет на себе свои культуры, развертывает их из себя, как земля отдельные ландшафты... Кроме матери-земли мы нуждаемся еще и в небе, которое Шпенглер отрицает или, по крайней мере, вкладывает в преходящие культуры, вместо того, чтобы поднять его над ними... Но все преходящее есть символ вечного, символ солнца истины, которое никогда не закатывается“.

Та же точка зрения противопоставляется шпенглеровскому историческому релятивизму и всеми прочими его критиками. Заниматься отвлеченным разбором этой концепции не стоит; гораздо интереснее посмотреть, насколько плодотворной оказывается она на практике, в конкретных попытках восстановить подлинную физиономию культур и культурных типов, якобы искаженных „односторонностью“ и „крайностью“ Шпенглера. Для образчика я возьму ту область, в которой субъективный произвол интерпретации имеет наименьше простора, в которой поэтому легче дать в немногих строках реферат исследования без существенных упрощений и извращений,—а именно, область математики.

Шпенглеровскому пониманию античной и западной математики отводит не мало страниц своей книги Леонгард Нельсон; этой же проблеме посвятил в „Logos'e“ специальную статью гейдельбергский проф. Эрих Франк. Э. Франк, не отрицая своеобразия античной математики, старается показать, что Шпенглер произвольно упрощает ее стиль, называя ее „эвклидовской“, и тем самым вырывает несуществующую пропасть между математическим мышлением древнего грека и современного европейца. Подробно останавливаясь на недавно открытом письме Архимеда к Эратосфену, Франк указывает, что излагаемый здесь Архимедом метод вычисления площади параболы, вопреки Шпенглеру, совершенно чужд эвклидовского строя ума и почти в точности совпадает с методом определенных интегралов, изобретенным Лейбницем. Но Архимед не только описывает свой метод, но и называет своих предшественников. При этом оказывается, что уже Демокрит

определяя объем пирамиды и конуса, рассекал исследуемые геометрические тела параллельными плоскостями на бесконечное число бесконечно тонких слоев, предвосхитив таким образом принцип Кавальери. Следовательно, западно-европейское исчисление бесконечно-малых отнюдь не чуждо эллинскому духу; напротив, оно зародилось в Элладе в эпоху расцвета ее культуры и, развиваясь в течение веков, достигло такого совершенства у Архимеда, что этого последнего можно с полным правом назвать отцом современного „высшего анализа". Далее, уже Теэтет развивает учение об иррациональных величинах, а Эвдокс дает ему законченную форму,—чем явно опровергается утверждение Шпенглера, что понятие иррационального неведомо античной математике. Вообще все основные элементы и приемы западно-европейской математики мы находим в более или менее развитом виде у древних греков; математическое мышление последних отлично от нашего не по существу, а лишь по форме выражения; так, например, ту самую идею, которую мы выражаем в алгебраических символах $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$, греки выражали геометрическим построением „гномон" и т. п. Книги Эвклида вовсе не энциклопедия греческой математики, а лишь элементарный школьный учебник, который должны были усвоить вступающие в академию, прежде чем приступить к самостоятельным научным занятиям.

Присмотримся однако несколько ближе к этим фактам, на первый взгляд столь уничтожающим для концепции Шпенглера. Уже Демокрит, предвосхищая принцип Кавальери, нашел, что объем пирамиды составляет одну треть объема призмы с равновеликим основанием. Но греческая мысль не усмотрела в этом приеме исследования никаких опорных пунктов для того, чтобы превратить его в строго обоснованный, научно-доказательный метод. Доказанной для эллинского ума теорема Демокрита стала лишь с того момента, когда Эвдоксу удалось обосновать ее без всякой помощи бесконечно большого числа бесконечно малых величин, но путем рассечения конечных фигур на конечные части, т. е. строго придерживаясь наглядно-геометрического „эвклидовскаго" стиля. Любопытно, что и сам Архимед, которого Э. Франк готов провозгласить отцом интегрального исчисления, как нельзя более далек от мысли, что его способ расчленения площадей на бесконечно тонкие прямоугольники может явиться началом новой системы в области научного познания. Напротив, в том же письме к Эратосфену, он спешит оговориться, что добытые им результаты „должны быть еще геометрически доказаны, так как применяемый им метод сам по себе еще не способен дать строгого доказательства".

Совершенно очевидно, что греческие ученые, применявшие в течение ряда веков метод суммирования бесконечно малых, все время рассматривали этот метод как чисто технический прием, как предварительную прикидку, по самому существу своему лишенную научного значения. За все это время никому из них и в голову не пришло, что в основе такого приема лежит не менее строгая научная достоверность, чем в основе любой чисто „геометрической"

Чем же объяснить такую поразительную недогадливость? Приписать ее недостаточной изощренности интеллекта или бедности математической фантазии нельзя, ибо обоими этими качествами античные мыслители обладали в избытке. Остается лишь одно объяснение, то самое, какое дает Шпенглер: исчисление бесконечно-

малых не развилось в античном мире потому, что его принципы противоречат самым основам античного мировосприятия, самому стилю античного ума.

То же самое приходится сказать и об иррациональных величинах. Эвдокс отнюдь не вводит иррациональных величин в систему чисел, не пытается расширить и обобщить понятие числа, как это сделали Дедекинд, Кантор и др. западно-европейские математики; он определяет иррациональные величины, как такие, которые **сами по себе не относятся между собой как числа, но степени которых сравнимы**. Таким путем, замечает Э. Франк, „рассудку, мыслящему лишь прерывные и соизмеримые величины, делается теоретически доступным понятие непрерывности и несоизмеримости". Комментарий совершенно правильный и благополучно сводящий на-нет всю силу аргументации автора. Античный рассудок, „мыслящий лишь прерывные и соизмеримые величины", не мог воспринять иррациональную величину, как элемент математического мышления; как раз это и утверждает Шпенглер.

Наконец, в высшей степени наивно звучит утверждение Э. Франка, что античная математика отличается от западно-европейской не по существу, а лишь по форме, лишь системой символизации, или, как сказал бы современный математик, своим „алгоритмом". Алгоритм вовсе не есть нечто постороннее существу математического мышления. Между так называемой „формой" и так называемым „содержанием", здесь, как и везде, имеется самая интимная, самая неразрывная связь. В истории современной математики многие интереснейшие проблемы были непосредственно порождены структурой алгоритма. Своеобразие математической символизации свидетельствует лишь о своеобразии математической мысли.

Критический метод Э. Франка типичен и для других ученых критиков Шпенглера. Признавая на словах индивидуальное своеобразие культурных типов, они на деле стараются использовать всякий хотя бы по внешности подходящий факт для доказательства отсутствия своеобразия, наличности непосредственной преемственной связи между культурами, для спасения прямолинейно-лестничной концепции истории. Я не могу более останавливаться на конкретном материале этой критики. Замечу только, что результаты ее, поскольку Шпенглер ниспровергается, как слишком крайний и последовательный индивидуализатор, редко бывают более удачны, чем только что разобранные экскурсии Э. Франка в область математики.

Гораздо больше ошибок, извращений, произвола и явных насилий над фактами истории допускает Шпенглер там, где он выступает не в качестве портретиста и физиономиста, а в качестве „систематика", где он вгоняет историю в хронологические схемы, построенные по горячо рекомендуемому им методу „аналогии" и „гомологии".

Дело в том, что, по Шпенглеру, качественное своеобразие культур не исключает возможности их сопоставления. Различные по существу культуры обнаруживают поразительное морфологическое сходство, пробегают те же самые фазы детства, юности, зрелости, увядания, в том же самом порядке, и в те же самые сроки.

Отсюда—„сравнительная морфология", как единственно правомерный, подлинно **исторический** метод сравнения культур. Метод этот не только дает возможность устанавливать аналогию или гомо-

логию между явлениями и событиями прошлого [1]), но и предсказывать будущее. В самом деле, срок жизни каждой культуры—приблизительно тысячелетие; каждая „фаза" имеет также определенную продолжительность. Следовательно, зная, например, момент вступления нашей культуры в фазу цивилизации и среднюю продолжительность цивилизации, мы с точностью до немногих десятилетий можем исчислить момент окончательной „смерти" Европы. Равным образом, легко предсказать время появления новой мировой монархии цезарей, исходя из аналогии между эпохой Наполеона и Александра Македонского, с одной стороны, Цезаря Римского и грядущего цезаря западно-европейского, с другой, и т. д.

Этим хронологическим сопоставлениям и основанным на них пророчествам, явно произвольным и прямо-таки смешным в своей претенциозности, Шпенглер придает огромное значение. Книга его обезображена целым рядом синхронических таблиц, как бы нарочно предназначенных для того, чтобы дать законную пищу остроумию критиков, даже наименее проницательных. И первая же фраза шпенглеровского произведения гласит: „В этой книге впервые делается попытка заранее определить ход истории. Дело идет о том, чтобы проследить судьбу культуры... в ее еще непройденных стадиях"...

Гадание о судьбах культуры на основании „гомологий" и „аналогий" есть перенесение астрологических „методов" в область истории. Эти своеобразные исторические гороскопы отражают в себе не интеллектуальную, а религиозную потребность современной цивилизации. Это одно из бесчисленных суеверий, заменяющих веру для религиозно охолощенной души интеллигента упадочного периода.

„Сравнительная морфология" Шпенглера, как способ исторического предвидения, лежит в том же плане современного культурного сознания, как, например, спиритические сеансы. Совершенно напрасно поэтому некоторые критики усматривают в шпенглеровских схемах, построенных по методу исторической аналогии, непреодоленный рационализм. В действительности это не рационалистические, а магические схемы. Но так как они обращены не только к будущему, но и к прошлому, то в результате получаются на-ряду с произвольными гаданиями явные насилия над историческими фактами, приводящие иногда к полному извращению всей перспективы. Так, например, необходимость растянуть биографию фаустовской души на протяжении полагающегося ей по сравнительно-морфологическому штату тысячелетия, заставляет Шпенглера втискивать в единый культурный стиль и средневековую готику и новейшую буржуазную культуру с ее далеко не готической „душой". При этом революционная эпоха ренессанса, и реформации, знаменующая в действительности крушение одной культуры и зарождение другой, теряет свой характер исторической катастрофы и становится совершенно непонятной, превращается под пером Шпенглера в какое то сплошное недоразумение. Шпенглер прав, конечно, когда он утверждает, что рецепция античной культуры деятелями ренессанса была иллюзией: вожди ренессанса столь же мало перевоплощались в древних греков, как политики великой французской революции в древних римлян, в „Гракхов" или „Брутов", имена которых они

[1]) Например: гомологичны 1) походы Наполеона и Александра (отнюдь не Цезаря), 2) эпохи Перикла и регентства во Франции, 3) пирамиды 4-й династии и готические соборы, 4) буддизм и стоицизм (христианство, нередко сближаемое с буддизмом, даже не аналогично ему).

себе присвоивали. По своей органической структуре ренессанс не имеет ничего общего с античностью. Но отдельные элементы эллино римской культуры на-ряду с обломками отмирающей, цивилизаторски выродившейся готики несомненно были усвоены эпохой возрождения, образовав тот строительный материал, из которого новая культура, зачатая ренессансом, создала свой особый стиль, существенно отличный и от античного, и от готического.

И такова вообще связь между культурами. Преемственной связи между культурами, как целостными организмами, не существует; но отдельные знания, технические приемы, вообще элементы одной культуры могут усваиваться другой, подобно тому как один животный организм „усваивает“ себе тело другого, поедая его,—подобно тому, как одно здание можно построить из кирпичей, вынутых из другого.

Проникнуть в „душу“ чужой культуры, не теряя своей собственной души, не возможно. Шпенглер впадает в такую же наивную иллюзию, как и воображавшие себя героями Плутарха адвокаты и журналисты французского конвента, если он думает, что его „портреты“ схватывают изнутри душевный мир Эллады. Мы узнаем, что греки называли промежутки между телами „то мэ он“ (не сущее), что восприятие глубины и понятие бесконечного пространства были чужды эллинскому сознанию. Но эти чисто отрицательные признаки отнюдь еще не дают нам проникнуть в эллинскую интуицию пространства и неразрывно связанный с нею стиль математики. Мы получаем в свое распоряжение не интуитивную, а рассудочную концепцию, такую же эвристическую конструкцию, какими мы оперируем в естествознании; она дает возможность заранее определить, какие проблемы могли и какие не могли развиваться в рамках эллинской науки, подобно тому, например, как структурная химическая формула заранее устанавливает, какие сочетания атомов водорода и углерода возможны и какие невозможно в пределах данного жирного ряда. Но внутренняя логика античной математики, отрицающая нашу собственную логику, остается для нас по-прежнему книгой за семью замками.

При смене культур можно условно говорить о прогрессе или регрессе в зависимости от того, насколько богат стиль умершей и вновь возникшей культуры, насколько обширны и разнообразны возможности развития в пределах того и другого. Однако, самая эта „смена“ есть всегда катастрофа, опустошительнейшая революция. И не только в течение так называемого „переходного периода“ разрушаются и погибают бесчисленные культурные ценности; но и по установлении нового стиля жизни, даже если он богаче, „прогрессивнее“ своего предшественника, кое-что оказывается безвозвратно утраченным. Сравнивая античную математику с нашей, мы не замечаем утраты; нам кажется, что в современной математике есть все, что было у древних, плюс еще многое другое. Но не всегда эта утешительная иллюзия возможна даже при самом поверхностном взгляде. Так, например, Э. Франк указывает, что найденные в 1892 г. отрывки музыкальной драмы Эврипида „Орест“ представляются нам „бессвязной последовательностью бессмысленных тонов“. Наша полифоническая и контрапунктическая музыка бесконечно богаче эллинской „гомофонической“, и тем не менее ключа к пониманию этой последней у нас нет.

Если официальная „буржуазная“ наука старается во что бы то ни стало спасти теорию прямолинейного прогресса и подпирающий ее аппарат вечных культурных ценностей, то это, как мы уже упоминали,

вполне понятно: для идейных руководителей современной культуры гибель ее есть гибель всякой вообще человеческой культуры, перспектива беспросветного мрака и одичания. Иного отношения к проблеме естественно было бы ожидать со стороны социалистов, которые чувствуют себя зачинателями нового культурного цикла, и, в особенности со стороны марксистов. Ведь марксистская философия истории уже в силу своего гегелианского происхождения коренным образом отличается от обычной „эволюционной" теории прогресса. Маркс видел в истории не лестничное восхождение единого человечества к солнцу вечной истины, а смену существенно различных по своей структуре общественно-экономических „формаций", главнейшими из которых он считал четыре: азиатскую деспотию, античный мир, феодальный и буржуазный строй. Каждая из этих формаций характеризуется своеобразным типом производственных отношений и особенным, только ей свойственным строем политических учреждений, теоретических взглядов, моральных принципов, верований. Каждый культурно-исторический тип или строй обладает, таким образом, внутренним единством, имеет свой стиль, свою систему организующих связей, которую марксистская теория не только „физиономически" схватывает и констатирует, но и материалистически объясняет. Высшие „ценности культуры", ее „вечные" истины и „священные" заповеди, как раз и являются такими связями или орудиями организации общества. Само собой понятно, что они вечны и святы лишь в пределах данной культурно исторической формации, лишь для организаторов данного общественного строя. Наконец, смена одного строя другим есть всегда социальная катастрофа, смерть и рождение, глубочайшая революция, но ни в коем случае не эволюционное восхождение со ступеньки на ступеньку.

Казалось бы, что марксистская критика, отметив „идеализм" Шпенглера, его политическую реакционность, суеверную призрачность его „аналогических" и „гомологических" гаданий, должна была вместе с тем не без некоторого удовлетворения констатировать приближение закатной буржуазной мысли к той исторической концепции, которую до сих пор отстаивал лишь революционный социализм и которая была естественно чужда буржуазии в период ее расцвета и упоения своей культурной миссией.

К удивлению, в тех немногих отзывах о Шпенглере, которые мне удалось встретить в социалистической прессе, нет и попытки занять собственную позицию и лишь воспроизводятся основные мотивы немецкой профессорской критики.

В немецкой социалистической литературе мне известны две критические заметки о „Закате Европы": одна, Германа Шмоленбаха, помещена в „Joz Monatshefte" в № 7 от 9 дек. 1919 года, и другая, уже упомянутая выше, переведенная журналом „Начало", статья Шиковского из „Neue Zeit" (2/VII 1920 г. № 14). Шмоленбах в своей краткой и весьма поверхностной рецензии заявляет себя ярым сторонником Риккерта и недоволен тем, что попытки Шпенглера установить историческую закономерность противоречат „творческой свободе всегда и до самых глубочайших своих первооснов активного деяния". Но главная опасность шпенглеризма, конечно, „релятивизм". Автор надеется, однако, что читатели не поддадутся этой опасности и сумеют усмотреть „во всех разнообразных цветах преломленного света их единство, а следовательно в каждом отдельном цвете единый свет, включающий в себя на-ряду с данным и все прочие цвета". Шиковский в своей

критике Шпенглера также ни на иоту не выходит из рамок профессорского шаблона. И для него главный враг—релятивизм и связанная с этим последним идея исторических катастроф. „Ничто не гибнет и не погибло как в материальном, так и в духовном мире,—пишет он.— Для того, кто обозревает исторический процесс в его целом, нет ни подъемов, ни падений, есть лишь переходы... изолированные культуры и цивилизации содержат в сердцевине своей столько элементов общечеловеческого чувства, что дух их становится понятен каждому, кто захочет проникнуть в них умственным взором.. Принцип культурного развития, вопреки Шпенглеру, не в бессмысленном, бессвязном восхождении и падении, а в постоянно стремящемся к определенной цели образовании и росте культурных ценностей".

Итак, все обстоит благополучно: „исторический процесс в целом" не знает смерти, без резких подъемов и падений постепенно поднимается он по лесенке прогресса, все выше и выше, к солнцу вечных „культурных ценностей".

Из русских марксистов обстоятельную статью посвятил Шпенглеру А. Деборин в только что вышедшем в свет № 1–2 нового журнала „Под знаменем марксизма". А. Деборин подробно разбирает и критикует не только обще философские, но и политические взгляды Шпенглера, изложенные этим последним не в „Закате Европы", а в более поздней его работе „Preussentum und Sozialismus". В противоположность только что разобранным статьям немецких социалистических журналов, работа А. Деборина по своему подходу к теме, по приемам критики и по самому стилю строго выдержана в духе традиций ортодоксального марксизма. Автор разоблачает реакционную сущность Шпенглера, вскрывает его классовую подоплеку, саркастически смеется над его попыткой спаять воедино прусскую национально-монархическую традицию и социалистический идеал пролетариата. Все это совершенно справедливо и по заслугам. Мечты Шпенглера о возрождении и мировом торжестве пруссачества под флагом империалистического рабочего Интернационала, бесспорно, реакционны и заслуживают всяческого порицания. Правда, и в этой идейке Шпенглера, быть может, не все так беспочвенно, как это кажется с первого взгляда; быть может, и тут скрывается кое-что более серьезное, чем безбрежная фантазия отчаявшегося, выбитого революцией из седла реакционера. Но эту сторону вопроса мы оставим в стороне. Политические симпатии Шпенглера имеют, говоря его словами, исключительно „биографический интерес". С основной его историко-философской концепцией они органически не связаны, и насколько можно судить из нашего прекрасного далека, „шпенглеризм" в Германии не выступает обязательно в сочетании с монархизмом, но легко мирится и с иными, более демократическими перспективами бытия.

Вернемся поэтому к основной проблеме, к проблеме смены культур. „Содержание культуры меняется,—пишет А. Деборин,—сама же культура остается и делает все новые и новые завоевания. Социализм стремится не к разрушению культуры, а к „завоеванию" ее и к дальнейшему ее развитию, вложив в нее новое содержание. Стало быть речь может итти о „гибели" определенного содержания культуры, но не культуры вообще". Гибнущему содержанию культуры здесь противопоставляется неизменность самой культуры или „культуры вообще", т.-е. очевидно неизменность форм культуры ее организующих принципов, ее объединяющих связей. В истории, как будто бы, происходило как раз наоборот. Отдельные „со-

держания", — полезные сведения, технические изобретения, приемы труда,—перекочевывали из культуры в культуру, но „сами культуры", живя и развиваясь до поры до времени, в конце концов всегда гибли, уступая место другим. Можно ли, например, сказать, что христианство сохранило неизменной языческую римскую культуру, обогатив ее новым содержанием? Или что формы культуры остались неизменными при переходе от феодального строя к буржуазному? И уже во всяком случае очевидно, что социализм, предполагающий новый тип организации производства, новые стимулы к труду, новые политические учреждения, новый строй идей и чувств, есть в первую голову изменение самой культуры, основных краеугольных форм ее. И если бы эти новые формы уже возникли в недрах социалистического движения, хотя бы в зародыше, социалисты, ощущая их жизненную силу, имели бы достаточно присутствия духа, для того, чтобы без головокружения смотреть на закат буржуазной культуры и не испытывали бы потребности в иллюзорных „вечных ценностях", „объективных истинах" и прочих реликвиях покойного божественного откровения. Знаменательно, однако, что даже А. Деборин, остающийся по форме в максимальной степени верным марксистской ортодоксии, по существу дела занимает ту же позицию, которая, как мы только что видели, объединила в борьбе против шпенглеризма немецких профессоров и умеренных социалистов. „Меняется содержание культур, но культуры, как таковые, никогда не погибают"—это перифраза цитированных выше слов Шиковского: „исторический процесс в целом" не знает ни подъемов, ни падений, а знает лишь переходы. А. Деборин не усматривает никаких признаков заката Европы и считает пессимизм Шпенглера чем-то вроде послевоенного и пореволюционного „Katzenjammer'a", забывая, что Шпенглер написал свою книгу до войны, и что самая война, а пуще того послевоенное состояние „ни мира, ни войны", являются разительнейшими симптомами начавшегося „заката". И, наконец, подобно всем тем критикам Шпенглера, с которыми мы имели дело выше, А. Деборин в конце концов укрывается от культурных бедствий и катастроф под сень объективной истины и прогрессивной эволюции человечества: „Глубокомысленная метафизика Шпенглера—Данилевского,—пишет он,—ведет, таким образом, неизбежно к отрицанию эволюции и человеческого прогресса, к крушению науки и всякого объективного знания, но наши идеологи национализма хорошо чувствуют, в каком месте „башмак жмет". Оба с одинаковым ожесточением нападают на дарвинизм и социализм, хорошо сознавая, что идея эволюции и научного объективизма составляют серьезную опасность для их идеологии" (курсив мой. *В. Б.*).

Ах если бы „идея" эволюции могла повернуть вспять реальный процесс деградации, а „идея" объективизма предохраняла истины от фактического умирания!

Итак, наш беглый обзор анти-шпенглеровской литературы приводит к неожиданному выводу, что все противники Шпенглера при всем разнообразии их философских взглядов, политических убеждений, личных темпераментов образуют нечто вроде „единого фронта" палладинов вечной истины, мировой эволюции и непрерывного прогресса. И до сих пор никто еще, насколько мне известно, не противопоставил шпенглеровскому пессимизму увядания оптимизм зарождения, исходящий не из боязливого отрицания, а из мужественного признания катастрофичности мирового процесса, преходящего характера культур и их истин и, в частности, из признания обреченности ныне доживающей

твой век европейской культуры. Что же это значит? Неужели в подлунном мире не осталось ни одного верующего социалиста? Или, быть может, подлинные революционеры, истинные носители ростков грядущей культуры, заняты более важными делами, и им некогда реагировать на шпенглеризм? Будем надеяться, что справедливо последнее.

В. Ваганян, рецензируя посвященные Шпенглеру статьи Ф. А. Степуна, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева и Я. М. Букшпана, озаглавил свою заметку: „Наши российские шпенглеристы“ („Под знаменем марксизма“ № 1—2). Это, разумеется, преувеличение: никто из перечисленных авторов не может быть назван „шпенглеристом“. Но верно то, что все они относятся к Шпенглеру гораздо более благожелательно, чем большинство немецких критиков „Заката Европы“. И С. Л. Франк и Н. А. Бердяев видят в шпенглеризме симптом некоторого „благостного“ поворота в умах западной интеллигенции, а именно, ее поворот к в е р е. „Закат Европы“ есть кара за безбожие; возвращение к христианству было бы возрождением умирающей культуры“—таков итог их размышлений над книгой Шпенглера.

Что жажда веры является одним из основных мотивов шпенглеровской симфонии настроений, это—бесспорно, но, по Шпенглеру, отпадение от христианства не может быть рассматриваемо, как случайный и поправимый „грех“, а возвращение к вере не зависит от доброй воли западных интеллигентов: христианство внутренне изжило себя, оно умирает, как умерли другие великие религии; такова историческая судьба, с которой необходимо примириться, ибо всякие попытки восстания против нее приведут лишь к развитию бессильной, расслабляющей душу романтически-религиозной мечтательности, но ни в коем случае не вернут умирающему христианству утраченной им действенной, культурно-созидающей силы. И любопытно, что русская религиозно-философская мысль, традицию которой поддерживает С. Л. Франк и, в особенности, Н. А. Бердяев, в лице своих последних крупных представителей приходит в сущности к тому же выводу. В самом деле, что такое „Великий Инквизитор“, как не картина безрелигиозной „цивилизации“, к которой смерть христианского бога неизбежно должна привести современное человечество после ряда опустошительных революций? Но то, на что Достоевский намекал притчами, Владимир Соловьев высказал прямо и недвусмысленно в своих „Трех разговорах“: историческая миссия христианства закончена, а вместе с тем исчерпан и смысл истории; никакое культурное возрождение отныне невозможно, и верующему остается лишь ждать возвещенного апокалипсисом апофеоза.

Этим я и ограничу свои замечания по существу и в заключение скажу еще несколько слов о том „портрете“ Шпенглера, который нарисован Ф. А. Степуном. Он различает в Шпенглере „три лика“: Шпенглер „не только романтик-иллюзионист вчерашнего дня, и не только мистик-гностик вечного дня человечества, он, кроме того, еще и современный человек, отравленный всеми ядами всеевропейской цивилизации. Разгадав с пророческой силой образ этой цивилизации, как образ уготованной Европе смерти, он в каком-то смысле все же остался ее мечом и ее песнью“. Рисуя образ Шпенглера, Ф. А. Степун старается быть верным действительности; но не даром говорят, что всякое художественное произведение прежде всего похоже на своего творца. И в степунском портрете Шпенглера невольно проступают черты а в т о п о р т р е т а: лик романтика-иллюзиониста, столь близкий

душе художника, выдвигается на первый план, оттесняя и затушевывая прочие „лики", в особенности чуждый и непонятный Ф. А. Степуну лик „меча и певца современной цивилизации". А между тем именно этот лик, перед которым Степун останавливается в полном недоумении („в каком-то смысле", „каким то своим римско-прусским вкусом" и т. п.), внутреннюю связь которого с миросозерцанием Шпенглера он ни разу не пытается выявить,—именно этот лик и является самым подлинным ликом Шпенглера, органически слитым с его основной интуицией „судьбы".

„Судьба", как ее понимает и ощущает Шпенглер, не имеет ничего общего с фатализмом, с идеей рока или предопределения [1]). Шпенглеровская идея „судьбы" тожественна с бергсоновским пониманием определенной направленности творческого устремления. Это есть то направление, в котором творческие силы культуры, следуя своему внутреннему импульсу, своей органической природе, созидают историю, и вне которого ничего культурно ценного, исторически-значительного создано быть не может. Одним словом, на интуитивном языке Шпенглера „исторической судьбой" именуется то самое, что в плоскости объективного познания марксисты называют „тенденцией исторического развития". Понимаемая в этом смысле „судьба" вовсе не есть неумолимый фатум: можно не следовать ее велениям, не признавать их и даже бороться с ними, но всякое такое неприятие исторической судьбы равносильно бесплодному и бездарному расточению сил. Основным признаком одаренности является для Шпенглера „физиономический такт", т.-е. способность интуитивно угадывать судьбу и действовать в ее направлении. Вот почему Шпенглер так презрительно третирует „романтический иллюзионизм", так желчно смеется над его „провинциальной" идеалистической мечтательностью. В глазах Шпенглера, романтизм свидетельствует не только о бессилии, но и о бездарности пораженной им души. Возможно, что при этом Шпенглер борется со своим собственным подсознательным романтическим ликом, но во всяком случае из области ясного дневного сознания этот лик изгоняется Шпенглером с величайшей беспощадностью.

Таким образом, при чтении очерка Ф. А. Степуна, для восстановления правильной перспективы необходимо произвести существенную передвижку шпенглеровских „ликов". Тем не менее, очерк этот из всех известных мне изложений философии Шпенглера, не только на русском, но и на немецком языке, представляет наибольшее приближение к оригиналу и потому прочитать его следует всякому, интересующемуся Шпенглером и не имеющему возможности познакомиться с ним в подлиннике.

III. Контуженный разум.

Сергей Бобров.

Русский читатель давно уже привык к страчным и странно-настойчивым воплям о „кризисе сознания", воплям, которые стлались понад русской литературой трудами символистов-писателей, а тем паче и острее символистов-философов врэде Бердяева, Булгакова и тутти кванти. Впечатление распылялось: то ли это поистине дело, — и

[1]) Этого не замечает большинство критиков Шпенглера. Так, в смысле „рока" истолковывают шпенглеровскую „судьбу" Карл Иоель, А. М. Деборин, Н. А. Бердяев и многие другие.

куда нам тогда деваться, если это так?—либо это чепуха непроходимая, хлыстовский вертеж интеллекта, в ужасе спасающегося в это уединение параноика от мира и жизни,—а тогда зевота нестерпимая хрустела в ушах. Писатели эти равнялись жизненно по „хаосу“, предвечной недифференцированной материи, подсознательное и бессознательное были их душевным субстратом (вот почему так сосали они Тютчева и опасную сладость его разложений), болезненно-существенное начало тащило их, как пьяницу на блеск бутылочного стекла, к Достоевскому... отсюда сваливались они в религию. Цыплячье сознание выплевывало жизни в лицо глупейшее „не приемлю“, но тут же холодные струи страха убивали в нем окончательно всякую способность соображать:—пусть весь мир „не приемлет“ самого себя,—тогда, по мере крайней, не так жутко будет отрекаться от самого себя.

Этих людей читать не надо, но изучать историю этого коллективного сумасбродства необходимо точно и детально. Вот как вертелся мир перед кровопусканием 1914, и вот какие индивиды собирались спасать его от этой самой вертячки—этой же самой вертячкой. Вы легко уследите эти цепи разложений, эту потерю чувства равновесия, чувства верного и неверного, эту нелепую страсть к смерти, и страстную жажду схемы, схемы и схемы. „Бездна верхняя“ и „бездна нижняя“, Аполлон и Дионис, лунное и солнечное... да, этим полюсам нет конца,—высшее же удовольствие получалось при объединении всего добра воедино:—помирить, например, Бога с чортом, что и достигалось в применении к пословице о кочерге и свечке. Этим способом всерьез любая мораль нивеллировалась до средней арифметической между Богом и чортом, далее эта средняя приравнивалась человеку,—философ многозначительно упирался лбом в эту стенку, а через страницу вся канитель заводилась с начала. Но здесь на примере видно, что привело коллективную душу земного шара к этой удивительной резне, прекратившейся только тогда, когда несколько стран были выпиты до-чиста и резать там уже было некого. Не осмелимся все решать журнальной статейкой,—но разве не ясно было: мир живет какой-то колоссальной несправедливостью, он должен за нее ответить. А наши приятели-писатели играли в жмурки с этим духовным банкротством обезопашенного-якобы мира. Изучать их надо с микроскопом—каждую клеточку; вот где в мире дыра:—осторожнее, не оступитесь, ребята!

Так выли в России; казалось, что остекленная, забетоненная и в сталь бронированная Европа не боится таких ужасиков, ибо пережила своевременно Торквемаду и не думает к нему возвращаться. Но с войной, похоже, переборщили. И вот теперь, когда над Немецким морем еще носятся проклятья захлебнувшихся дредноутов; над Фландрией еще предсмертно пулеметит затравленный танк-призрак, а тени героев, погибших в порядке коэффициента рассеяния митральезы—лезут вам в душу из каждого костыля и с каждого слова одуревших от миллиона пройденных отступлений и паник—в Германии контуженный войной разум Освальда Шпенглера объявляет конец мира в плане полного и окончательного израсходования Европой культурных возможностей [1]).

[1]) Во избежание недоразумений оговоримся заранее: Шпенглера самого нам прочесть не удалось, мы говорим о нем на основании сборника „Освальд Шпенглер и закат Европы“ (сборник статей Н. А Бердяева, Я. М. Букшпана, Ф. А. Степуна и С. Л. Франка, к-во „Берег“ М. 1922, стр. 96), статей Евг. Браудо и Д. Шиковского, помещенных в № 1 журнала „Начала“ да бесед с людьми, которым довелось читать Шпенглера.

Духовная паника не новая миру вещь: ее достаточно наглотались в средние века, но сейчас это любопытное явление общественной психологии вырастает снова. Тридцать три тысячи книг Шпенглера распродано в Германии. До 1918 года о нем не слыхал никто, кроме учеников реального училища в Бонне, а теперь уже образованы скопища людей, „изучающих" историю мира с его, Шпенглеровской, точки зрения.

Шесть авторов, помянутых нами в примечании, относятся по разному к Шпенглеру, но все сходятся на одном—это человек чрезвычайно талантливый. „Никто не отрицал за ним значительного таланта, умения своеобразно и остро доказывать свои положения... В лице Шпенглера мы имеем дело с незаурядным литературным явлением... Утверждает он и отрицает с одинаковой силой темперамента... С удивительным мастерством, какого я никогда не встречал в историко философских сочинениях, он умеет извлекать из одной и той же основной темы сотни вариаций. Его изобретательность в деле подыскания эпитетов и прилагательных совершенно неисчерпаема. Одно и то же явление он умеет разлагать призмой критического анализа на десятки составных красок, никогда не впадая в повторение или банальность" (Браудо). „Книга Гибель Запада —несомненно, литературное событие... Замечательная книга" (Шиковский). Так говорят авторы „Начал", авторы „Берега" чуть что не обижаются, что Шпенглер отбивает у них хлеб,—тема так близка им, изложение так очевидно построено „по-ихнему", что коекому кажется, что другой пишет на его собственную тему, на которую не имеет решительно никакого права. Бердяева и действительно стоит пожалеть,—этот предсказывает и предвидит лет пятнадцать под-ряд: и (какая неприятность!) лавры и слава пророка достаются какому-то Шпенглеру, а не Бердяеву [1]).

Книга, по словам Браудо, действует на читателя гипнотизирующе,—раз за разом, нетвердый разум сваливается в гостеприимн е красноречие, не жалеющее эпитетов,—изловленный становится адептом и напрасно его уверять, что суть Шпенглера в новом подходе к истории и ее философии, как это делает Шиковский; „пророческая" суть доминирует над любым интеллектуальным достоинством Шпенглера: она всеобъемлюща, она единственно правильна—контуженному разуму—и вывод, приведенный с недоумением Шиковским: „наша гибель неизбежна",—естественно воцаряется в читателе. Призрак танка плывет над Рейном, вовсе не призрачные французские войска завтра займут город и потребуют золота и угля, телефон и железные дороги бастуют:—наша гибель неизбежна, честь и слава Шпенглеру, который предлагает по крайней мере умереть мужественно.

Этот обыватель, который назвался Шпенглером и убежденно, „заносчиво и надменно" (Степун) кричит о своем бессилии что-либо поправить в расстреляпной стране, с которой поступают так же милостиво, как и она поступала, когда имела возможность быть милостивой, а не выпрашивать милости,—не сразу пришел в это отчаянье. Он пробовал учиться у „великих" своего времени,—он преклоняется перед рядом имен,—это Шопенгауер, Вагнер, Ницше, Маркс, Дюринг, Геббель, Ибсен, Стриндберг и Шоу (Степун),—и тут же уверяет, что философии нет, что искусство кончилось в Европе, что культуры ныне нет никакой, есть только мертвая „цивилизация". Сплошь, одно за другим

[1]) Бердяев так и пишет: „Еще до мировой войны я очень остро ощутил... наступление конца... мировой эпохи..." и ссылается на ряд своих книг. О, счастливая простота!

встречаете вы в описаниях Шпенглеровского мышления то того, то другого из перечисленных авторов, а всего чаще тех, кого он забывает упомянуть и видимо относит к числу конченных людей. Он выпоен и выкормлен на тех антимониях, которые развертывало мышление Европы за последние десятилетия. От обывателя требовалась тонкость и „проникновение":—он проглотил все, ему предложенное;—но обыватель не только эстет, он хочет жить—за раскрашенными сводными картинками эстетизма не оказалось ничего (за покрывалом Изиды—пустота): он проклял свой эстетический модус, объявил совершенное—ничем, ибо оно ничем не кончается,—он проклял время и место, где он живет... но ведь все это пока лишь словесные жесты, на которые действительность не привыкла реагировать. Если же она и этого не слышит, очевидно она мертва: покинем душевно ее. Но трагедия Шпенглера в том, что мир не слушается никаких проклятий и истерик расставаний, и вся неразрешимость мирового тупика от этого для предсказателя только обостряется. Поэтому ему и суждена профессия пророка, как нашему Бердяеву. А в крайнем случае выдуманное Шпенглером мироощущение годится для игры в прятки со своей собственной особой, на манер анекдотического страуса: спрятал голову—и все благополучно. Так и прячут голову ныне повсюду,—кто в Шпенглера, кто в антропософию Штейнера, который, говорят, тоже ужасно какой талантливый и обворожительный. То же наплывает и у нас, и в Англии. Игра в солдатики—серьезная игра: она стоит много денег и много крови, она портит затем и кровь и деньги. Кровь становится водянистой, деньги—бумажными, плохо жить в этаких посылочках. Но, к сожалению, эту плохость никак не исчерпать при помощи проклятий любого сорта и свойства,—и даже Шпенглер приходит к необходимости провозглашения примата работы и технического творчества, но его работа—своеобычный наркотик, может быть, это и по плечу Бальзаку и Флоберу, но мир жить наркозом работы не сможет и не захочет. Шпенглер с досадной дотошностью пристает к миру: „в чем дело? как? зачем? почему?"—ответов нет, и тогда из „зачем" выползает иудино слово „жить незачем". В письмах Флобера после франко-прусской войны с негодованием описывается подобное же настроение,—а мы можем легко вспомнить такой же примерно душевный ад после 1905 г. в России [1]). Принципиальное сверхчеловечество (дрянь и гадость чуть вроде ложноклассицизма), гениальность и небывалая чуткость всех и каждого правильно ведут по этой дорожке. Любой скептик из ненавидимых Шпенглером модернистов больше человек, нежели он сам,—ибо метод эстетический модерниста—только метод (и философ не обязан быть дураком, как говорил Шопенгауер), его болтовня о жизненности метода только метонимия,—обыватель-Шпенглер объелся этим методом: метод им усвоен,—но только один метод. Дыра душевная незаткнута, ибо методом ее не заткнешь: велика.

Диву даешься, читая наших излагателей, с какими пустяками преподаватель реального училища думает въехать в вечность. Рядом с ним, через стену другой обыватель обучал мальчишек истории,—и Шпенглер честно записал рубрики учебника. Вот тебе древняя история, вот средняя история и далее—по Иловайскому. Описание мировоззрений античности до такой степени лезет куда-то вбок, что становится странно за читателей и почитателей. Все же, что в подтверждение деревянных схем, надеваемых им на древность, говорится о

---

[1]) См. еще письма Ал. Тургенева о войне 1812 г.

математике, до того странно, что об этом как-то неловко серьезно говорить. Браудо отмечает это, говоря: „придавать какое-либо серьезное научное значение историко-философским построениям Шпенглера я не намерен, и считал бы своим долгом обратить внимание всех будущих читателей Шпенглера на крайнюю легковесность научного багажа этой книги... Недавно солидный философский журнал Логос выпустил целую полемическую тетрадь против (Шпенглера)..., в которой различными специалистами разоблачались ошибки в книге“.

Устанавливая „органичность“ каждой культуры, т.-е. — много проще—естественную связность эпохиального мышления, связанного бытом, мениском науки и проч., Шпенглер, „портретируя“ античность,—проще: подгоняя ее под свою довольно узенькую схему, говорит, что мысль античности не выходила за пределы чувственного опыта и конкретностей, тогда как в нашей культуре царствует обезвещивание, взаимоотносительность явлений, ньютоно-декартовы функции, символика бесконечно малых и так далее. По его мнению, Эвклид—только оптичен, а иррациональное число для античности казалось „таинственно зловещим“ (Браудо), что и подтверждается соответствующим мифом. Последнее подтверждение только смешно: мифами, пословицами и цитатами можно доказать все, что угодно, только умей их подобрать и не стесняйся пропускать или искривлять противоположные [1]). Из этих примеров явствует, что история математики для Шпенглера замерзла на курсе реального училища, который курьезно обрывается на Эвклиде в простейшем изложении. Говорить, что феноменальный - для нас и невообразимый—ум Архимеда, например, не мог оперировать с иррациональностями и что они казались ему „таинственно-зловещими“ может только человек, существенно некультурный и совершенно непонимающий смысла истории математического мышления, истории, за которую он так жадно цепляется. Уже не говоря о выводе соотношения между радиусом и окружностью, о вычислении объема надводной части плавающего деревянного параболоида, о знаменитой задаче удвоения кубического жертвенника (задаче, решенной помощью конических сечений Менехмом)—Архимед, да и любой грек, знавший Пифагорову теорему, сталкивался с иррациональностью числа, вычисляя диагональ квадрата со стороной, равной единице, которая по этой теореме равняется квадратному корню из двух, который есть число иррациональное и не может быть выражена никаким конечным числом [2]). С теми же знаниями Шпенглер подходит и к дифференциальному исчислению, „изобретение“ которого ему кажется некоторым поворотным пунктом в истории математики, и которое он никак не может уложить в органический ход математической мысли. Эта точка зрения весьма характерна как раз для математиков возрождения,—про Лейбница в связи с дифференциалами и его неуверенностью в данном методе говорили: „Лейбниц построил дом, в котором сам боится жить“, отголоски этого настроения, которое характеризовалось тем, что анализ бесконечно малых подозревался в

---

[1]) Математик Лоренц с другой стороны рассматривает этот миф, как указание на то, что пифагорейцы прекрасно понимали огромную важность роли иррациональностей в мировом процессе.

[2]) Наконец, одно из сочинений Архимеда „Псаммит“ специально занято доказательством того, что человеческое *представление о бесконечности больше* (фактически), грандиозней любой данности, какую бы часть вселенной эта данность не охватывала бы и на какие сравнительно ничтожные составные части она не делилась бы.

какой-то сверхестественности, слышны в назывании выражения $\frac{dx}{dy}$: „дэ икс по дэ игрек“ вместо „дэ икс на дэ игрек“, как обычно говорится про дробь, ибо „изобретатели“ дифференциалов боялись уверять, что это выражение есть дробь. Примерно в том же круге суждений живет и Шпенглер, что, конечно, чересчур скромно для современного „мыслителя“.

Шпенглер, видимо, старается всюду подчеркнуть разницу между конкретной и наглядной, „телесной“ математикой древности и „отвлеченной“ математической мыслью нашего времени (Франк), но разница эта существует лишь в его анти-математическом уме. Пользование абстракциями характерно для любого логизирования, для математического в особенности—и на пространстве всей истории математики абстракция всюду занимает почетное место, но она есть в этой дисциплине—метод и не более того. Как бы ни были отвлеченны наши суждения о строении атома, напр., как бы ни относили эти суждения пугливые мудрецы к мирам существенно-иллюзорным,—без этих суждений невозможна конструкция некоторых аппаратов радио-телеграфа, последний аппарат есть конкретность высокой квалификации... а суждения об инфра-мировых явлениях покоятся на соответственном математическом фундаменте. Шпенглеровский научно-математический релятивизм—основное недоразумение его философии. Можно сказать, не боясь обобщения, что философская мысль в общем и целом, всегда покоится на научных—а, следовательно, математических—предпосылках: идея процесса, как непрерывности и прогресса, выросла из учения о непрерывном толчкообразном движении, об интеграции бесконечно-малых отрезков пройденного пути, из учения об интегрировании, как выделении основной тенденции ряда подобных явлений. Отсутствие такого постулата у Шпенглера и есть характерный признак его „философии“—какая без этого обращается в простейшее резонерство, одинаково а-гуманитарное, как бы ни было талантливо его изложение. Но наш умник Бердяев, конечно, перешпенглерил и самого Шпенглера. По его мнению, Шпенглер тем плох, что не сознает, что „христианство сделало возможным фаустовскую математику, математику бесконечного“: очень остроумно,—хоть можно мыслить и еще тоньше,—не христианство предопределило фаустовскую (ну, напр., решение кубического уравнения Карданом) математику, а математика, имея возникнуть во тьме времен, постулировала египетское учение Эхнатона и примат единобожия, который... и т. д. Как жаль, что сложный и неповоротливый аппарат теогносического мышления чуточку тяжел для нашего неврастеника Бердяева!—какой бы из него Аквинат вышел, коли бы не это.

Но Шпенглер, однако, мог бы базироваться—по видимости—на новейшей математике со своим релятивизмом. Он, надо полагать, это и делает, только вряд ли это доходит до его излагателей, не-математиков. Новейшие работы математиков,—логистов, и разрабатывающих учение о трансфинитных числах изумляют непосвященного необъятным количеством парадоксов и алогизмов, к которому эти работы приводят. Немало таких „заумностей“ и у Эйнштейна. Но чтобы не забираться далеко, можно сказать попросту, относительность логики,—будь она установлена хоть завтра в полном объеме,—никак не разрушает единства космоса и разрушить его, разумеется, не может: вполне мыслимы пространственные (а следовательно и мыслительные) системы, для которых логическая связь событий мыслится в иных

формах, которые определимы иными формами восприятия. Будем апеллировать к теологии, столь милой сердцу наших теологических эстетов а-ля Бердяев (Шпенглер ведь то же „ихний".—„это нашего стиля книга", говорит Бердяев): идея истинной бесконечности (в канторовском смысле). Абсолют, Бог, всегда наделялась особой не человеческой логикой (и вытекающей отсюда моралью), но раз мыслимы две логики, то возможно и бесчисленное множество их в порядке натурального ряда. Острота новой математики направлена, конечно, не сюда,—ее основное: разрушение процессуализма, как такового, „мощность группы всех функций более мощности группы непрерывных функций" у Бореля [1]), это и есть новое миросозерцание, которое „предвидели" наши „пророки",—недоумкам-старичкам естественно кажется, что все кончено [2]). А блазированный их эстетизм, ни разу не давший им ознакомиться с богословами просто, как с мыслителями,—их веру заменил по существу обрывками вульгарных предрассудков, суеверием. Поэтому на шпенглерианство всех толков известие о разложении Резерфордом аллюминия должно действовать панически: они ничего не имеют против черной и белой магии, какими бы способами та ни пользовалась и чего бы ни достигала, но магия в лаборатории ученого бросает их в холодный пот,—помилуйте, все тайны раскрыты,—а мы то что же будем делать? Как должно быть завидует такая пародия на человека—корове, для которой никаких тайн вообще не существует, а все не-ядущее (все вегетарианцы) и несъедобное просто признается алогичным...

Но все же, что думает „Берег" о Шпенглере? Итак: большой артист (Степун), пессимист (Букшпан), безусловный скептик (Степун), ритор („в основе З а к а т а Е в р о п ы... лежит организм слов"—Степун), релятивист, позер („пафос позы"), упадочник („быть может, Шпенглер вовсе не пророк, а только пациент современной Европы в безответственно взятой на себя роли пророка"—Степун), эпигон (Франк), надлом, кризис рационализма (Букшпан), мысли Шпенглера—бесплодны (Франк), призрачны и бесплодны (Букшпан), „дразнение разума" (он же), „творчество Шпенглера как-то нерешительно витает в промежутке между блазированным эстетизмом и... и пр.", „горячий, благородный и тоскующий эстетизм" (Франк)... И с другой стороны: „это наша книга". Степун — остроумный баловник — рассуждая о Шпенглере, много говорит о портрете вообще, по его мнению портрет должен быть сразу похож и на модель и на автора; что до последнего, четыре портрета Шпенглера в „Береге"—хорошо рисуют наших авторов, сразу видно какие это устойчивые, крепкие и положительные люди. Любопытна та аналогия, которую проводят авторы „Берега" (да наверно и сам Шпенглер) между Гетевским и Шпенглеровским мышлением: „Гете интуитивно созерцал первофеномены природы, Шпенглер интуитивно созерцает историю, первофеномены культуры" (Бердяев). Возможно такое толкование этих параллельных процессов: и Гете и Шпенглер берут каждый свою феноменальную данность, как отражение искомой действительности, жизни, мира. Однако, на это приходится возразить так: раз необходимо искать для природы и

---

[1]) Или: „Непрерывность пространства не является необходимым следствием непрерывности отдельных участков (составляющих) его" у Кантора и др., и пр.

[2]) Можно было бы также указать на то, что вся „трагедия" Шпенглера просто растерянность плохой головы: ощущение новой культуры у него есть, но управиться с этим ощущением он никак не может.

истории объединяющий момент, их разница—и существенная—становится очевидной уже из одной этой необходимости. Дальше, первофеномен природы может служить некоторым субстанциональным субстратом созерцанию, тогда как „первофеномены культуры", явления исторические не могут быть познаваемы, как онтологические данности, под каким бы архиэстетическим соусом все это не воспринималось. Карфагеняне Флобера суть лишь эстетические организмы, лужайки Бальзака носят на себе явные следы патетического мироощущения, характеризующегося не только построительными достоинствами. И это так не потому, что Флобер и Бальзак разные люди,—возьмите грешницу и волка у Альфреда де Виньи, и вы получите те же результаты. Художественно воспринятая история есть диссолютивно воспринятая данность, обратно - художественно воспринятая природа обращается в синкретическое состояние духа, независимо от того, возможно ли вообще выделить из этого материала основной стержень суждения или нет. Наконец, эстетический историзм может быть только тропом, и тогда он только топик. К тропу вообще и сводится историзм Шпенглера. Эстетически морализующий историк, Шпенглер,—не художник, не философ, не ученый историограф,—он коллекционер ощущений, набранных профаном в этих различных областях, ощущений, ничем по существу не объединенных и потому действующих на своего держателя разлагающим образом.

У всех авторов „Берега" есть одно основное положение, нигде однако, полностью не высказываемое:—явление может быть постижимо лишь при наличии духовного сродства между ним, явлением, и воспринимающей его системой. Пойдем с этим предположением в лабораторию Рентгена, впервые увидавшего на пластинке снимок, проецированный икс-лучами. Явление это во всей его оглушительной новизне,—требует ли оно от случайного оператора особой психической связи с ним или оно удовлетворяется для своего абсорбирования человеческим умом лишь последовательностью логики,—опыт показывает, что экспериментатор в полной мере устроен вторым положением. Нельзя же в самом деле думать, что Шпенглеровские концепции в такой мере сложны, что для них и катодной трубки мало. Наконец опыты Майкельсона и Морли, Лоренца и Фицджеральда,—требовали ли они ангелического подхода к своим неизъяснимостям?—нет, они удовольствовались для проникновения в наш разум обычными с точки зрения философа синтетическими суждениями. Но даже и не споря с приведенным выше положением, надо всячески бороться с обращенной теоремой:—восприятие (даже объяснение, схематизация даже) обнаруживает существенное сродство меж восприпятым и воспринимающим. Ведь здесь раньше всего надо спросить,—а что есть истинное восприятие и как вы различаете истинное восприятие от восприятия неистинного? Если это делается „интуитивно" („мне так кажется"), то ведь этому еще позволительно и не поверить, а такое сомнение в корне разрушает все последующие схематизации. „Бережане" уверены, что раз Шпенглер изъясняется красиво, красота его благородна и тосклива, следовательно ему можно простить и очевидное бесплодие его размышлений. Но ведь можно начать и с другого конца: поскольку в результате этот эстетический сумбур оказывается бесплодным, постольку метод сей мне кажется—шарлатанством. Вопрос другой—сколько сознательно такое шарлатанство, может говорить о том, что Шпенглер болен помрачением культурного сознания, что и вызывает в его душевном мире рождение такого скорбного листа культуры, что

та социальная энтропия, которую он выдумал (именно: выдумал), есть явление временное, вызванное к жизни новой эпохой, начало которой уже ознаменовано катаклистическими социальными судорогами.

Но и у „бережан" легко найти не мало подтверждений этим мыслям,—Шпенглер несвязен, говорит Франк,—„в своих исторических конструкциях... (он) делает шаг назад—с чисто формально методической стороны—даже по сравнению с ходячими, ординарными историческими представлениями". То выравнивание, которое производится Шпенглером над своим материалом, как говорит Франк, та „абсолютизация по существу относительных категорий"—операция очень характерная для резонеров его типа. Необходимость таких-то и таких-то положений постулируется для Шпенглера некоторой странной одержимостью (это-то обстоятельство и приводит в восторг тех, кто славословит его, как пророка), повышенной чувствительностью ко всем колебаниям духовной жизни коллектива, которые оказывают на него какое-то каталитическое действие—в таком случае вопрос исчерпывается выяснением того, поскольку эти реакции жизненны и общеполезны. В этом плане и можно ответить „бережанам"—может быть, вы и правы, друзья, аналогизуя меж Гете и Шпенглером, но одна художественная одержимость не переходит в манию преследования и не разрешается в ряд бредовых идей,—и тогда она Паскалевские „esprit de finesse", „esprit de jugement", а другая, как вы ни называйте ее—художественная метафизика (чудная новость,—а Платоновская метафизика разве не эстетична?), интуиция по Бергсону и все, что хотите—она выливается в простейшее маньячество, и художественного интеллекта хватает лишь на грубое оформление ее, безо всякой обработки первичного материала.

Как-то неблагополучно у Шпенглера по части религии. Его тоскливость кое-где, как будто, основывается, на его атеизме. Культура умерла, а культура религиозна... как будто в этом роде идет аргументация. Все наши „бережане" на это сетуют и головой покачивают,—большой мальчик, известность можно сказать, а в церковь не ходишь... „В Шпенглере поразителен вообще религиозный идиотизм" (Букшпан), „где он говорит о религии, она является у него либо в роли только духовного материала, формируемого силами эстетического порядка, либо подменяется эстетической метафизикой" (Франк),—и тем не менее Степун определенно называет его мистиком. Тут и вырисовывается привлекательный образ этого безрелигиозного мистика, либо мистического атеиста, но ведь он „парадоксалист" по Бердяеву. Итак: культура умерла, чудеса сданы в архив,—осталось на всех мистиков одно чудо: смерть мира,—оно-то и обрабатывается по способам мистическим, но арелигиозным,—что за отвратительная каша!

Россия тоже здесь. „Сущность России есть—обетование грядущей культуры" (Букшпан). Но что это за Россия,—это вреднейшие эстетически воспринятые мраки Достоевского, русская экзотика, тяжелый, с трудом изживаемый груз азиатчины, повисший нам на плечи, которым развлекается мистико-релятивистский эстет Шпенглер. К Достоевскому надобно относиться с величайшей осторожностью, ведь, он формируется из ряда взаимно-исключающих настроений, создающих в результате такой мрачный хаос, до которого не всякому Шпенглеру додуматься. Тут: тема и игра с ней, фотографическое закрепление со всей силой изобразительности художника, тут сентиментальное вскрытие данности, страшное своей неожиданностью и чисто случайным в каждом случае появлением, тут отчаянная артистическая энергия, рез-

кая форма,—и, наконец, сардоническое разложение мира, проникающее все построения. Хаос мировой жизни мрачно подменяется хаосом микрокосма,—жизнь подменяется разложением, сардонические силлогизмы, накопляясь, постулируют полную свободу автора порывать с любой конкретностью, как организмом. О такой России вздыхает Шпенглер, но теперь она не узнает своего Фальстафа. И это так, несмотря на предупредительную радость Бердяева: „и мы! и мы!"—они, оказывается, тоже „борятся с духом мещанства" (какой аристократ—Достоевский!) и с „духовной буржуазностью"—приятно видеть именно у Бердяева этот обгрызанный термин. Принадлежность к данному классу определяет мироощущение... последний кусочек определения обрывается и уже, оказывается, в праве рассчитывать на самостоятельное бытие,—таланг, талант!

Попробуем подвести кое-какие итоги.

Шпенглеровская „физиономика", „духовное портретирование"—всего лишь ловкий вольт философического шулера, его портреты—карикатурны в высшей мере,—характерные черты, выдавленные из модели, в этой карикатуре разламывают самое модель, сводя ее до роли носителя таких-то, полюбившихся портретисту деталей. Если культура есть сущность духовной жизни эпохи, а цивилизация—раскрытие этой сущности на ряде конкретных выполнений (Герц—культура, Маркони—цивилизация), то только силлогистически можно противоставлять одну другой, опять-таки это дело карикатуриста и маньяка. Смысл цивилизации?—а каков был смысл больших египетских пирамид, сооружение которых разоряло государство и толкало его на революции или разграбление соседями? Ведь это-то, кажется,—весьма „культурные" построения.

История—ряд замерших и незаконченных внутренно эпизодов по Шпенглеру. Эти эпизоды он подвергает насильственному синкретированию внутри их самих. Так родятся эти мрачные гомункулусы исторических „физиономий"—иррациональные постольку, поскольку рассудок во всей операции занимает чисто служебную роль: выделения намеченных „интуитивно" ингредиентов и оживления их. Этот якобы-философский метод должен приводить исследователя в тупик. И беготня Шпенглера из тупика в тупик, из положения—культура осуждена,—к тому же точно: „мы гибнем", и обеспечивает всем его построениям, чего бы они ни касались, именно это характерное бесплодие, удивляющее излагателей. Вся его философия заключена в раскрытии предпосылки, как вывода: небольшое дело, как это делается, вопрос в том, стоит ли этим заниматься?

Интуиция Шпенглера ставит себе задачу: отрешившись от любых априорных суждений, внедриться в явление чистым и голым изыскателем, задача неразрешимая в плане истории и нелепая для философа,—отсюда та спутанность Шпенглера и его туманные термины в роде „душа культуры", „Urseelentum" имагинационного типа, которые выкидывает подсознательный мир, заваленный страхами и ужасиками. Здесь Шпенглер впадает в чистое дикарство со своей интуицией—и его „душа культуры" немногим лучше любого фетиша, олицетворяющего грозную и совершенно непостижную фетишисту волю и силу.

„Судьба" Шпенглера—другой фетиш с совершенно неочевидным содержанием, где „тонко" различаются физическая необходимость умирания и трагическая безысходность того же самого процесса. Очевидно, что это различие коренится в постулатах, а не в явлении. Теософией бы Шпенглеру заниматься, а не инженерией. Абсолютистское пред-

ставление о „судьбе" ведет к разложению исторической точки зрения— ибо разлагает самый процесс, подвергнутый рассмотрению. Нет, конечно, необходимости неизбежно навязывать историческому процессу обязательную непрерывность, но ведь это и делается нами в порядке рабочей гипотезы, не больше,—но нет с другой стороны никакой трагедии в том, что исчезновение идеи процесса из нашего сознания заставляет (или заставит) мыслить процесс прерывным. Из этого вытекают, между прочим, и многие другие спутанности,—что такое пресловутая „фаустовская" культура, ведь остается неясным. Шпенглер, между прочим, с великой легкостью перескакивает от самых туманных терминов к конкретности. „Смерть культуры" произошла в таком-то году, открытие дифференциалов совпадает с кончинами „последних великих" живописцев. Грубость таких сопоставлений не оставляет желать большего.

Характерной кажется растерянность „бережан" перед Шпенглером. Философы не знают, что им делать с человеком! А ведь шум, поднятый около Шпенглера, говорит о том, что это многим близко и дорого. Мрачная трагедия расстрелянного мира... где они от нее прятались так ловко, что вовсе проглядели? Ведь Шпенглер не философ, не художник,—это трагедия читателя, не писателя. Читателя, обвиняющего своих писателей—в а-человечности. И пережитая война говорит, что материала, по крайней мере, для таких настроений накоплено более чем достаточно. К сожалению, надобно сказать, что этот хáос безвременных путаниц — разрешить может только тот же читатель,—но дело ли „учителей" гутировать болезнь читателя и только копаться в ней?

И в конце концов приходится признать, что читатель все же както здоровее своих учителей. Он тянется в конце-концов к строительству: к инженерии [1]), тянется к творящему человеку, к крестьянину. Ведь он задохся в эстетических и гносеологических констатированиях: „когда старейшины молчат, тупых клыков лелея опыт,—не вой ли маленьких волчат снега замерзшие растопит?" (Асеев). И таким образом—симптоматическое значение Шпенглера чрезвычайно велико, несмотря ни на что, ни на его нелепости и безграмотщину, ни на тот хаотический морфоургический феноменализм, который он называет философией.

Мрачно и тяжело опоминается мир от кровавого потопа мировой войны. Но он должен опомниться и опомнится! Но Шпенглер и шпеглериане вряд ли опомнятся, — их-то гибель неизбежна. В ощущении гибели такого сознания — все очарование Шпенглера.

---

[1]) С инженерией у Шпенглера опять недоразумение: именно технические революции и предопределяют новые культуры (каменный век—бронзовый век)—и с точки зрения боязни нового нужно бы советовать бросить инженерство, а не звать к нему.

Русский рубль за время войны и революции.

Е. Преображенский.

Настоящая статья по своему содержанию связана с моими статьями в „Правде“ под названием „Торговля, спекуляция и падающая валюта“ („Правда“ от 9 и 18 января и 11 марта), являясь их продолжением. Обе статьи составляют две главы из подготовляемой к печати книги о системе хозяйства Советской России. Я печатаю настоящую статью до окончания всей работы ввиду крайней злободневности рассматриваемого здесь вопроса.

История нашего бумажно-денежного обращения за время войны и революции и в частности движение курса нашего рубля являются полнейшим экспериментальным подтверждением правильности тех теоретических положений о торговле и падающей валюте, которые были изложены мною в „Правде“. Бумажно-денежное обращение России потому представляет огромный интерес для изучения и хороший пробный камень для каждой теории бумажных денег, что почти четыре года страна представляла из себя в хозяйственном отношении замкнутый круг, влияние мировых хозяйственных процессов было исключено, и законы изменения бумажной валюты и все сопутствующие явления мы можем наблюдать в чистом виде. Общественные науки и в том числе политическая экономия отличаются, например, от химии тем, что метод экспериментального изучения для них недоступен. Наоборот, выпадение России из орбиты мирового хозяйства создало возможность как бы огромного эксперимента в области изучения законов денежного обращения, давая редкий случай проследить все изменения в валюте внутри данного хозяйственного комплекса, со сведением на-нет осложняющего действия мировых хозяйственных процессов. Правда, у нас были и свои внутренние осложняющие моменты,—прежде всего натуральные взаимоотношения внутри государственного хозяйства и отчасти во взаимоотношениях государственного хозяйства с мелким товарным производством. В этом смысле эксперимент недостаточно „чист“ для изучения законов бумажно-денежного обращения чистого товарного хозяйства. Но если мы вспомним, что истекший год был годом перехода от натуральных форм государственного хозяйства к денежным, а внешние торговые сношения были еще за это время ничтожны и влияние их на внутренний товарообмен было и того меньше, то материал для чистого эксперимента имеется налицо.

Рассмотрим движение курса нашего рубля, начиная с момента войны, и проследим влияние на темп его падения всех основных факторов, держащих в своих руках судьбу валюты в стране.

После объявления войны царское правительство приостановило свободный размен кредитных билетов на золото, ввело принудительный курс на кредитные билеты и в сущности превратило эти билеты в бумажные деньги. С этого момента мы можем считать начало истории нашего бумажного денежного обращения времени войны и революции, последняя глава каковой истории еще не скоро будет написана.

С начала войны, т.-е. с июля по 1-е января, царское правительство к 1.633 миллионам кредитных билетов, имевшихся в обращении до войны, прибавило еще сумму в 1.397 миллионов. Всего в обращении бумажных денег к 1-му января 1915 года было 3.030 миллионов. Это увеличение эмиссии заметного влияния на курс рубля и на цены не оказало. Мы рассмотрим вторую половину 1914 года и весь 1915 год сразу и постараемся проследить действие всех факторов, влияющих на курс рубля, по очереди. Тогда суммарный результат, получающий свое отражение в курсе, представится нам, как равнодействующая разных сил, действующих в различных направлениях.

Начнем с важнейшего фактора, т.-е. с выпуска бумажных денег. В 1915 году было выпущено бумажных денег на сумму 2.586 миллионов, что, вместе с выпущенными во второе полугодие 1.397 миллионами, дает увеличение денежной массы за полтора года в 3.983 миллионов. До войны, как мы видели, в обращении было 1.633 миллиона. Таким образом общая денежная масса увеличилась в 3,4 раза. Если бы все остальные факторы остались без изменения, то это должно было бы обесценить рубль примерно в 3,4 раза. В действительрости же курс рубля понизился значительно меньше. Внутри же страны курс рубля пал всего до 59—60 коп. вместо падения в 3,4 раза или приблизительно до 30 коп. И это несмотря на то, что находившееся на руках золото исчезло из обращения в фонд накопления и таким образом сократило возможный размер денежного накопления в бумажной форме. Кроме того, из обращения стали исчезать и серебряные и медные монеты, имевшиеся в количестве 142 миллионов, и кроме того несколько десятков миллионов, выпущенных вновь за рассматриваемый период.

Возьмем другой мощный фактор, влияющий на валюту, т.-е. состояние производства и размеры товарооборота. Быть может, этот фактор со времени войны влиял на повышение?

Ничего подобного. Наоборот, массовые мобилизации на войну привели к уменьшению продукции ряда предприятий, работавших на рынок. Переход ряда предприятий к работе на оборону приводил к тому, что огромное количество ценностей, раньше выбрасывавшихся на рынок, теперь прямо с заводских складов стало притекать в склады военного ведомства. Кроме того, огромное количество товаров, необходимых для армии, принудительно закупалось военным ведомством, без выхода их на рынок, а расчеты давались в большинстве случаев не столько наличными деньгами на всю сумму, сколько безденежным путем, обязательствами государственного казначейства и проч. Таким образом размеры товарного оборота в стране вообще и размеры денежных расчетов в отношении той части продукции, которая теперь шла для нужд фронта, сокращались. Кроме того, уже явственно обнаружилось развитие спекуляции, задержка товаров от реализации и сокращение поэтому товарооборота по этой причине. Насколько было велико это сокращение и каково его числовое выражение, мы не знаем и это не

поддается точному учету. Но вряд ли будет преувеличением предположить, что за полтора года войны товарооборот сократился по крайней мере на одну треть. Если прибавить этот фактор к предыдущему, то мы должны были бы иметь падение курса рубля еще процентов на 30, т.-е. курс рубля должен был бы быть не 60, каковым он был к 1 января 1916 г., а примерно 19—20 коп.

Теперь нам остается рассмотреть действие трех факторов, от которых мы абстрагировались и которые должны явиться ключами для объяснения поразительно малого падения курса рубля, т.-е. факторов быстроты оборота денег, накопления и безденежных расчетов.

Что касается быстроты оборота денег, то вследствие начавшегося падения валюты этот оборот не мог стать более замедленным, так как никаких побудительных мотивов к этому не могло быть. Возможно было бы ожидать обратного, т.-е. увеличения быстроты оборота вследствие начавшейся спекуляции, начавшейся задержки торгового капитала в товарной форме, вызванной ростом цен и уменьшением предложения товаров от производителей, поскольку дело идет о промышленности. Но так как падение валюты было незначительным и темп падения пока еще весьма медленный (в сравнении с дальнейшим), то этот фактор без большой погрешности мы можем совсем исключить из рассмотрения, приняв его равным нулю.

Остается поэтому рассмотреть факторы накопления и безденежных расчетов и в них искать разгадки проблемы. Что касается фактора накопления, то накопление отчасти поддается цифровому учету за это время.

С начала войны до 1 ноября 1916 года количество вкладов в государственном банке увеличилось на 647 милл., в сберегательных кассах на 633 милл. и в частных банках на 1.000 милл., а всего на 2.230 милл. Насколько это накопление было необычным по своим размерам и темпу, можно видеть хотя бы из такой справки. За десятилетие с 1903 по 1913 г.г. сумма вкладов в сберегательной кассе возросла с 784 до 1.594 милл., т. е. на 103%, или в среднем на 81 милл. в год. С 1 июля 1914 г. по 1 июля 1915 г., т.-е. за год войны, денежные вклады увеличились на 430 милл., т.-е. обнаружили годовой рост в пять раз больше средней за предыдущее десятилетие.

Текущие счета и вклады в госуд. банке, частных сберегат. кассах, обществах взаимн. и мелкого кредита были

1 января 1914 г. — 6.111 милл.
1 „ 1915 „ — 6.821 „
1 ноября 1916 „ — 9.273 „

Таким образом накопление достигло за один 1915 год суммы 2.452 миллиона, а с прибавлением 2 полугодия 1914 г. до 2.700 милл. Правда, было бы неправильно вычесть целиком эту сумму из суммы эмиссии и затем вычислить, как это должно было бы задерживать падение валюты. Не надо забывать, что вклады не лежат в соответствующих кредитных учреждениях без движения. Они бросались банками, как в торгово промышленный оборот, так и обращались на покупку облигаций государственных займов. И в том и в другом случае бумажные деньги появлялись снова в каналах денежного обращения, а не находились в связанном состоянии. Но, во-первых, известная часть вкладов, в качестве оперативного резерва кредитных учреждений, всегда находилась в наличности в кассах, следовательно, находилась в связном состоянии. С другой же стороны определенная часть нака-

пливаемых в бумажно-денежной форме средств никогда не поступала в кредитные учреждения в виде вкладов и хранилась в домашних „банках“ населения. Это особенно относится к крестьянству, которое, освободившись от 10 миллионов едоков, призванных в армию и содержавшихся за счет казны, и имея сбережения благодаря уничтожению продажи водки, значительно увеличило приходную часть своего бюджета, но денежные сбережения, вследствие непривычки вносить свободные средства в кредитные учреждения или вследствие недоверия к ним, хранило у себя на руках. Если нельзя считать увеличение денежной массы, попавшей в связанное состояние в результате накопления, в 2 $^{2}/_{3}$ миллиарда, то, с другой стороны, их следует считать вряд ли много меньше этой суммы. Если принять приблизительно, что та часть накопления, которая означала увеличение денег, находящихся в связанном состоянии, увеличилась до 2.000 милл., то тогда в обращении фактически надо было бы считать сумму не в 5.616 милл., а в 3.616 милл., что привело бы при прочих равных условиях к падению курса рубля до 40 копеек, а с присоединением фактора сокращения оборота это даст курс рубля на одну треть ниже, т.-е. курс рубля должен был бы быть равен 27 коп. вместо реального 60 коп.

Таким образом мы подошли к последнему фактору, игравшему на повышение, т.-е. к уничтожению кредита в частной торговле и к ликвидации безденежных расчетов. Читатель помнит, вероятно, или знает из литературы, как много говорилось и писалось в 1915 г. по поводу перехода торговли к оборотам только за наличные. Только действию этого фактора и остается приписать, что к январю 1916 г. курс рубля пал не до 27, а лишь до 60 коп. Если даже мы предположим, что накопление рассосало больший процент эмиссии, чем мы установили, а сокращение товарооборота было меньше, чем на одну треть, то и тогда огромная роль уничтожения безденежного расчета и сокращение кредита до минимума будет огромна. По крайней мере около половины эмиссии пошло на это увеличение минимума обращения, возросшего вследствие прекращения безденежных расчетов.

После сделанного нами анализа движения валютного курса за полтора года войны нам остается продолжить это исследование по тому же методу в отношении дальнейших лет войны и революции.

В 1916 году было выпущено в обращение бумажных денег еще на 3,6 миллиарда, и общая бумажно-денежная масса достигла 9,2 миллиардов.

Курс рубля к 1 января 1917 года был равен внутри страны 38 коп. Мы все время будем исходить из курса рубля на внутреннем рынке, потому что только движение курса внутри не носило случайного характера, а являлось отражением совокупности всех хозяйственных процессов страны, чего нельзя сказать про движение курса рубля за границей.

Рассмотрим, как получилась эта цифра и какова при этом была роль каждого из факторов, влияющих на валюту.

Если бумажно-денежную массу к январю 1916 года и курс рубля принять за исходный пункт, то увеличение денежной массы путем эмиссии почти на $^{1}/_{3}$ общей суммы должно было бы привести к падению рубля на $^{1}/_{3}$, т.-е. курс рубля должен был бы при действии только этой причины пасть с 60 к. до 40 коп.

Что касается сокращения товарооборота и понижающего влияния его на курс, то некоторое представление о размерах сокращения могут дать следующие факты: посевная площадь в 1916 г. в сравнении с

площадью 1914 г. сократилась на 24,7%, животноводство сократилось на 30%, продукция промышленности также сократилась, хотя и в меньшей пропорции.

Кроме того, мобилизация промышленности привела к тому, что огромное количество предприятий, работавших на рынок, начало работать на войну, сдавая всю продукцию непосредственно военному ведомству и тем уменьшая рыночный товарооборот. Насколько это обстоятельство могло иметь значение за год войны и в частности за 1916 год, видно из суммы военных расходов с одной стороны и цифры довоенной продукции с другой. Военные расходы составляли

в 1914 г.— 1.656 милл. руб.
„ 1915 г.— 8.815 „ „
„ 1916 г.—12.670 „ „

Весь национальный доход России перед войной был равен сумме от 11 до 13 миллиардов золотых рублей. Из этого количества в товарооборот поступало до ⅔, т.-е. до 8 миллиардов. Если сопоставить эту цифру с цифрой военных расходов, то станет ясно, в какой мере должен был уменьшиться товарооборот страны. В товарообороте, правда, кроме выносимой на рынок части ежегодной продукции страны участвуют также и ценности, созданные за предыдущее время и входящие в сумму национального богатства (перед войной национальное богатство России исчислялось около 120 миллиардов золотых рублей), но главная масса ценностей, оборачивающихся на рынке, относится к продукции промышленности и земледелия данного года. Правда, из суммы расходов надо вычесть те, которые делались за счет иностранных займов и реализировались за границей (главным образом, военное снаряжение). Кроме того, для сравнения с довоенным положением, расходы 1916 г. надо взять по среднему курсу 1916 г., т.-е. уменьшить раза в два с половиной. Тем не менее огромный и безвозвратный вычет из товарооборота страны для войны на-лицо. Не будет поэтому преувеличением допустить, что в 1916 г. общие размеры товарооборота по сравнению с 1915 годом уменьшились еще на одну треть. Иными словами, рост эмиссии и сокращение товарооборота должны были привести к падению курса рубля на 1 января 1917 г. на ²/₃ в сравнении с курсом на 1 января 1916 г., т.-е. курс рубля, если бы действовали только эти причины, был бы равен не 60 коп., а только 20 коп.

К этому времени начало сказываться действие третьего фактора, влиявшего на понижение, т.-е. быстрота оборота денег. Условия торговли в 1916 году были таковы, что замедление товарооборота и увеличение быстроты оборота денег сказывалось уже очень сильно. Перерождение торговли в спекуляцию шло уже быстрым темпом. Под действием и еще этого фактора курс рубля должен был бы еще больше пасть и должен был бы быть меньше 20 коп. Насколько меньше, мы, к сожалению, выразить в цифрах этого не в состоянии. В действительности же, как мы видели, курс рубля был равен к 1 января около 38 коп. Причина этого заключается в действии тех факторов, которые влияли на повышение в 1918 году, т.-е. факторы накопления и сокращения безденежных расчетов. Но действие этих факторов было уже в 1916 г. иным, чем в предыдущем году. Повышение курса вследствие дальнейшего сокращения безденежных расчетов должно было быть менее заметным, потому что основной переход на оплату за наличные был уже совершен в 1915 г. В 1916 г. ликвидиро-

вали лишь остатки безденежных расчетов. Можно допустить, что действие этого фактора уравновешивалось противоположным действием более быстрого оборота денег. Тогда основную сумму повышения курса рубля нужно будет приписать накоплению, и притом более всего крестьянскому накоплению. В самом деле, текущие счета и вклады за 1916 г. к 1 января 1917 г. хотя и продолжали расти, но продолжали расти медленней, чем за предыдущий год. Если принять во внимание падение курса рубля, то прирост не только не покрывал падение стоимости рубля, а, наоборот, выраженная в золоте стоимость вкладов и текущих счетов была меньше, чем в предыдущем году. Таким путем царизм производил посредством своей эмиссии экспроприацию бумажно-денежных накоплений страны. Основное же накопление шло в деревне, тем более, что уже в 1916 г. замечалась тенденция к выбиранию вкладов их владельцами, особенно со стороны торгово-промышленного класса, который предпочитал застраховать от обесценения свои капиталы, обращая их в товарную форму [1]). В это время также усилилась тенденция к помещению капитала в недвижимость, в дома и т. д.

Переходим теперь к 1917 году. За этот год в стране существовало три режима, и произошли две революции. Как известно, финансы страны не любят ни войн, ни революций, и с этой точки зрения ухудшение валюты должно быть приписано в известном проценте также и этим явлениям. Но в основном падение валюты продолжалось неуклонно под влиянием все тех же факторов, о которых шла речь, хотя, разумеется, сама революция усилила действие важнейшего фактора, т.-е. расстройства производства и сокращения товарооборота.

За 1917 год было выпущено бумажных денег 18,1 миллиардов и всего в обращении к концу года имелось 27,3 миллиардов против 9,2 к концу предыдущего года. Если бы действовал только один фактор эмиссии, при прочих равных условиях, в сравнении с предыдущим годом, курс рубля должен был бы пасть к 1 января 1918 г. примерно в три раза, т.-е. равнялся бы около 13 копеек. В действительности курс пал до 4,3 копейки. Такое падение произошло в результате действия расстройства производства, резкого уменьшения товарооборота и в результате увеличения быстроты оборота денег. Но благодаря этим факторам, если бы они действовали только одни, курс рубля пал бы еще ниже, чем он пал в действительности. В самом деле, земледелие в 1917 г. продолжало сокращать площадь. Животноводство продолжало падать. По промышленности общее сокращение достигло огромных размеров.

Весь национальный доход по сравнению с довоенным должен был сократиться почти в три раза, а по сравнению с 1916 г. в два слишком раза. А так как по мере сокращения продукции увеличивалась относительно доля крестьянского самопотребления в общем национальном доходе, то сокращение товарооборота можно принять минимум раза в четыре больше в сравнении с предыдущим годом. Эта сумма меньше и потому, что расход на войну в 1916 г. был особенно велик и опустошение рынка особенно чувствительно.

---

[1]) С 1916 по 1917 г. срочные вклады в коммерческих банках возрасли всего на 15%, а в сравнении с 1914 г. понизились.

При всяких условиях курс рубля должен был бы быть к 1 января 1918 г. равен примерно $\frac{38}{12} = 3^1/_6$ копейки. А если положить кое-что на действие фактора увеличившейся быстроты оборота денег, то и еще меньше этой суммы. Действительный курс, как мы видели, был выше. Приписать это действию сокращения безденежных расчетов вряд ли есть основания, потому что в 1917 г. такие расчеты совсем почти прекратились, а с национализацией банков совсем не могли иметь место. И еще до национализации банков кредитные институты были почти парализованы, происходило быстрое изъятие вкладов вкладчиками. Остается допустить, что задержка в падении курса произошла исключительно вследствие продолжавшегося крестьянского накопления бумажных денег.

Переходим к 1918 году. Бумажных денег выпущено за год на 35,5 миллиардов, денежная масса к 1 января 1919 года возрасла до 60,8 миллиардов. В сравнении с денежной наличностью в 27,3 к 1 января 1918 г. это означает увеличение денежной массы в 2,2 раза. Это должно было бы понизить курс рубля до 1,9 копейки. В действительности же курс, если судить по московским ценам, пал в 10 раз, а по общероссийским—в 8 раз, т.-е. почти в четыре раза больше, чем это должно было бы быть вследствие увеличения эмиссии.

Этот пример, как и все предыдущие, является экспериментальным доказательством того, что ни в каком случае невозможно приписывать падение курса только эмиссии и размеры падения ставить в связь с размерами эмиссии. Если бы не было крестьянского накопления, которое продолжалось и в 1918 году, мы могли бы падение курса в 4 раза сверх действия фактора эмиссии отнести за счет сокращения товарооборота и увеличения быстроты обращения денег. Но это было бы неправильно. Крестьянское накопление продолжало действовать. 1918 год был годом максимального развала промышленности, сокращения с.-х. продукции, уменьшения территории Р. С. Ф. С. Р. почти вдвое, а следовательно произошло сужение рынка и по этой причине. В этом году почти прекратилась городская торговля. В этом году был совершен натиск на кулачество, и торговому земледелию, т.-е. такому, которое всегда выносит излишки на рынок, был нанесен сильнейший удар. В этом году была национализирована промышленность со всеми остатками продукции от прошлых лет, и из товарооборота были вычеркнуты рессурсы всей промышленности, кроме ремесленной. На рынке обращались, с одной стороны, распродаваемые городским населением старые запасы, находившиеся в индивидуальном пользовании, с другой стороны, продукты сельского хозяйства. В этом году началась проводиться разверстка, и таким образом часть продукции деревни, до того поступавшая на рынок, стала распределяться плановым образом государством помимо рынка. Все это должно было оказать огромное влияние на сокращение размеров товарооборота. Чтобы хотя приблизительно уяснить себе эти размеры, а также уяснить, как скрадывает это сокращение курс рубля на 1 января 1919 г. благодаря крестьянскому накоплению, сделаем кое-какие исчисления. Денег в обращении было к 1 января 1919 г. 60,8 миллиардов. Денег в обращении после объявления войны, т.-е. тогда, когда продукция и товарооборот не сокращались, золото вышло из обращения и курс рубля был равен 100%, было вместе с серебряной и медной монетой около 1.800 миллионов. Под действием одного фактора эмиссии курс рубля должен был бы пасть приблизительно в 33 раза и быть равным 3 коп. Пал же

он фактически в 230 раз, считая по индексу московских цен, т.-е. уменьшение от сокращения товарооборота и увеличение быстроты оборота денег составляет цифру в 7 раз. Если принять, что быстрота оборота денег не увеличилась заметно, то сокращение товарооборота должно было бы равняться цифре в 6—7 раз, что является абсолютно нереальной цифрой, цифрой до крайности преуменьшенной. В самом деле. Продукция крупной и средней промышленности сбрасывается со счетов. Продукция земледелия и кустарной промышленности сократилась почти в два раза. Из этой сокращенной продукции на самопотребление крестьянства пошла в 1918 году подавляющая часть всего дохода от земледелия.

В 1918 году город далеко не потреблял тех 400 милл. пудов хлеба, которые он получал от деревни до войны. Если даже допустить, что город потребил только $^{2}/_{3}$ этой суммы и вычесть из этих $^{2}/_{3}$ хлеб, собранный по продналогу, и добавить стоимость других продуктов питания, то вряд ли стоимость всего оборота деревни с городом на деньги могла быть больше 400 миллионов по довоенным ценам. Добавим сюда примерно половину этой суммы за счет ремесла, что также явно преувеличено, выключим все товарообменные операции без участия денег и мы получим емкость рынка примерно в 600 миллиардов золотых рублей. Пусть на 100 миллионов было продано на деньги из старых запасов внутри самого города и в торговле города с деревней. Тогда в самом лучшем случае мы имеем товарную стоимость оборота в 600—700 золотых рублей против 8 миллиардов довоенных (из одной только годовой продукции), т.-е. сокращение примерно в 12 раз. А кроме того, должно быть принято во внимание, что до войны один товар иногда перепродавался не один раз и число сделок было гораздо больше, тогда как торговля 1918 г. состояла в подавляющем большинстве случаев из одноактных куплей и продаж и пробег товара от потребителя к производителю носил характер непосредственной передачи из одних рук в другие. Рынок сократился гораздо в большей степени, чем об этом прокричал темп падения курса рубля. Это сокращение в 12 раз при увеличении денежной массы в 33 раза должно было привести к падению рубля в 396 раз, а при увеличении быстроты оборота и еще того больше. В действительности курс рубля пал только в 230 раз. Несоответствие должно быть объяснено только тем, что фактор крестьянского накопления продолжал играть на повышение советского рубля, как он играл на повышение бумажных денег царизма и временного правительства. Если же мы примем во внимание сокращение территории, то надо будет принять, что влияние крестьянского накопления было еще бо̀льшее. Не половина, а вероятно $^{2}/_{3}$, если не $^{3}/_{4}$ всех денежных знаков находилось в 1918 г. в связанном состоянии в бутылках и иных „земельных банках" деревни. Деревня торговала не покупая, город покупал не продавая.

1919 год является типичным годом с точки зрения хозяйственной системы военного коммунизма. Национализированная промышленность ничего не дает для рынка, кроме, разумеется, того, что раскрадывается и поступает в продажу нелегальным путем. Размеры торговли оборота деревни с городом сокращаются по меньшей мере на всю сумму стоимости получаемых государством по разверстке продуктов крестьянского хозяйства. Но с другой стороны территория республики расширяется, обогащаясь рынками окраин. Падение курса рубля происходит по всем тем причинам, которые действовали в 1918 г., но в области крестьянского накопления происходит крупный перелом. 1919 г. является

с этой стороны интересным годом в том отношении, что крестьянское накопление денег приостанавливается и не оказывает своего повышательного влияния на курс рубля. В самом деле. Количество денег в обращении возрасло с 1 января 1919 г. по 1 января 1920 г. с 60,8 миллиардов до 225 миллиардов, что составляет увеличение денежной массы в 3,7 раз. Сокращение товарооборота на вольном рынке произошло: 1) вследствие уменьшения продукции в крестьянском хозяйстве под влиянием продолжавшего увеличиваться процента недосева, хотя этот процесс теперь замедлился, 2) под влиянием увеличения разверстки и военных реквизиций и уменьшения соответствующей доли сельскохозяйственных продуктов, которая могла бы пойти в товарообмен на вольный рынок, 3) вследствие дальнейшего сокращения того товарного фонда, который город был в состоянии выбросить на торговлю с деревней вследствие сокращения запасов от прежних лет, 4) под влиянием увеличившегося количества товарообменных операций без посредства денег. В результате этого, крестьянство, не будучи в состоянии реализовать на городском рынке всю свою свободную продукцию, увеличивает собственное потребление.

В обратную сторону влияло расширение территории вследствие военных успехов Советской власти, расширившей территорию за счет окраин, еще достаточно богатых продуктами потребления. Под действием всех этих причин товарообмен на деньги сократился по сравнению с 1918 годом весьма значительно. Мы имеем все основания принять цифру сжатия денежной торговли по крайней мере в два раза. Если в 1918 г. мы определили размер торговли города с деревней и ремеслом в сумму 700 миллионов золотых рублей, то теперь эту цифру можно уменьшить вдвое. Уменьшить ее больше было бы неосторожно. Мы не смогли бы тогда объяснить, как в 1919 г. смог бы город прокормиться на основе того среднего потребления продуктов с.-х. производства, помимо получаемых по государственному снабжению, которое было установлено статистическими бюджетными обследованиями. Если даже число товарообменных безденежных операций принять очень большим, то и тогда денежный товарообмен не мог бы быть меньше всей суммы, вырученной от эмиссии за год, каковая сумма, по моим подсчетам, равнялась для 1919 г. около 380 милл. на золото. Эти все соображения заставляют признать сокращение товарной массы, участвовавшей в товарно-денежном обороте, не больше, чем в два раза. А раз так, то прибавив этот фактор к эмиссии, т.-е. помножая 3,7 на два, мы должны были бы иметь падение курса рубля в сравнении с предыдущим годом в 7,4 раз. Реально же курс рубля в сравнении с довоенным пал в 3,136 раз, а в сравнении с 1 января 1919 г. пал в 15 раз, если считать по ценам московского рынка, и примерно в 12 раз, если считать по ценам общероссийским (точные цифры есть только для Москвы). Перед нами таким образом любопытнейшее явление. В то время, как в предыдущие годы совместное действие двух факторов—эмиссии и сокращения товарооборота—давало курс рубля ниже того, который был реально вследствие того, что крестьянское накопление денег действовало на повышение, то теперь мы видим обратную картину. Курс рубля пал ниже, чем можно было бы ожидать в результате действия эмиссии и сокращения товарооборота. Это доказывает с полной очевидностью, что 1919 год был переломным годом в крестьянском накоплении денег. Накопление не только в *общем и целом* почти прекратилось, но и начался обратный процесс: накопленные в деревне деньги стали ломиться на городские рынки, стали прощупы-

вать их и своим выходом из связанного состояния сильно понижали курс рубля, увеличивая циркулирующую денежную массу. Но действие этого фактора, разумеется, потому не могло быть большим и сравняться по силе с обратным действием накопления в прежние годы, что денежная масса, находившаяся на руках крестьян, уже обесценилась и продолжала обесцениваться. Некоторое исключение представляли керенки и царские деньги, падавшие медленней и сохранявшие еще за собой функции средств накопления. Что касается увеличения быстроты оборота денег, то этот фактор продолжал оказывать свое действие. Чем быстрее шло обесценение денег, тем меньше времени задерживались деньги по всем тем рукам, через которые они проходили.

1920 год существенно не отличается от 1919 года. Если крестьянское накопление в 1919 г. еще имело место некоторое время, особенно на окраинах, то в 1920 г. оно представляет исключение. В 1920 году обратный выход на рынок накопленных раньше денег вряд ли мог заметно влиять на курс, потому что основная масса денег уже в 1919 году притекла из накопления в сферу циркуляции. Поэтому в 1920 году мы можем наблюдать в чистом виде действие трех факторов: эмиссии, сокращения товарооборота и увеличения быстроты оборота денег.

Что касается эмиссии, то вновь выпущено было в 1920 г. 943,6 миллиардов по сравнению с 164,2 миллиардами, выпущенными в 1919 г. Общая же денежная масса к 1 января 1921 г. возрасла до 1.168 миллиардов против 225 миллиардов к 1 января 1920 г. Таким образом мы имеем за год увеличение денежной массы в 5,2 раза. Курс рубля, павший к 1 января 1920 г. в 3.136 раз (для 1920 и 1921 г. данные на основании всероссийских цен), к 1 января 1921 г. пал в 26.539 раз, т.-е. в 8,5 раз за год. Таким образом в 1920 г. уже главной причиной падения курса является эмиссия, в то время как действие сокращения товарооборота сказывается относительно меньшее, чем в предыдущие годы. Это вполне понятно, если мы вспомним, что в 1920 году к Советской России были присоединены все окраины с большими запасами хлеба, как Сибирь и Кубань, и это расширение территории только ослабляло уменьшение товарооборота, имевшего место вследствие увеличения разверстки, плохого урожая и сокращения торговли деревни с городом на той территории, которая все время находилась в руках Советской власти. Что касается увеличения быстроты оборота денег, то этот фактор по сравнению с 1919 годом не мог проявиться очень сильно потому, что темп падения курса рубля под действием основных причин, т.-е. эмиссии и уменьшения товарооборота, не был больше чем в 1919 году. А этот фактор, сам являясь следствием действия вышеуказанных причин, превращается в причину только тогда, когда действие эмиссии и сокращение товарооборота быстро нарастает. Иными словами, если в течение месяца одного сравниваемого года курс рубля под действием этих двух основных причин падает на 20% и в следующем году падает на те же 20% или даже меньше, то быстрота оборота денег не имеет данных повышаться, если нет иных еще причин к этому.

1921 год является весьма своеобразным годом. Первая четверть года является типичным продолжением предыдущего года как по сокращению товарооборота, так и по движению вниз курса рубля, как это видно из следующей таблицы.

Курс рубля по месяцам [1]) 1921 года и размеры эмиссии.

Месяц.	Курс рубля.	Размеры эмиссии.
Январь	26.539	130,3 миллиардов.
Февраль	29.686	189,3 „
Март	40.096	198,5 „
Апрель	42.029	230,5 „
Май	39.173	205,1 „
Июнь	50.901	224,9 „
Июль	63.114	460,9 „
Август	64.603	702,6 „
Сентябрь	61.941	1.023,7 „
Октябрь	85.506	1.950,3 „
Ноябрь	100.507	3.365,0 „
Декабрь	153.218	7.694,2 „

Наоборот, во вторую четверть начинается любопытнейший поворот. Несмотря на то, что весной обыкновенно происходит сезонное сокращение рынка вследствие уменьшения притока продуктов сельскохозяйственного производства, что при продолжении эмиссии должно было бы привести к более быстрому падению курса, мы видим как раз обратную картину: апрель показывает ничтожное падение в сравнении с мартом, а в мае курс рубля даже повышается. Явление, совершенно небывалое за время революции. Объясняется, это, разумеется, тем, что в результате разрешения свободы торговли емкость рынка за счет припрятанных товаров сразу возрасла и в результате вместо фактора сокращения товарооборота, который раньше все время действовал вместе с эмиссией на понижение валюты, выступил фактор расширения товарооборота, действующей на повышение. Но запасы рынка оказались небольшими продолжающаяся эмиссия пересиливает, и июнь и июль дают падение курса. Но вот приходит момент реализации урожая, промышленность выбрасывает на рынок часть продукции и происходит снова резкое расширение товарооборота. В то же время резко увеличивается и эмиссия. Два фактора, дружно действовавшие раньше в одном направлении, в направлении понижения курса, вступают теперь в единоборство. Расширяющийся рынок обороняет курс рубля от натиска столь же быстро растущей эмиссии. Июль, август и сентябрь обнаруживают равновесие борющихся сил, и рубль почти стабилизовался. Но уже в октябре рынок не выдерживает напора экспедиции заготовления государственных бумаг, и курс рубля начинает падать.

Падение продолжается в ноябре, а в декабре достигает катастрофических размеров. Это падение нисколько не удивительно, если принять во внимание цифры эмиссии, показанные по месяцам в вышеприведенной таблице. Из цифр видно, что падение курса все-таки шло медленней, чем возрастала эмиссия. Излишество эмиссии в ноябре и особенно в декабре приводит к финансовому кризису в январе, так как декабрьские знаки реализовались главным образом в январе. В результате курс рубля к 1 января падает в 172.461 раз в сравнении с довоенным. Как ни велика эта цифра абсолютно, но относительно она меньше той, которая могла бы быть, если бы в 1921 г. не было совершенно перехода на новую экономическую политику. В самом деле, если бы в 1921 г. падение шло, как в 1920 году, то курс рубля к 1 января 1922 года должен был бы равняться 225.581, т.-е. значительно ниже, чем он в действительности был. О том же говорит и другой подсчет, если исходить из размеров эмиссии. Денежная масса к 1 января 1922 г. равнялась 17.539 миллиардов против 1.168 миллиардов к 1 января 1921 г. т.-е. увеличилась в 15 раз. Если бы курс рубля падал только под дей-

[1]) Берется средний курс за весь месяц.

ствием эмиссии, то он был бы равен к 1 января 26.539×15=398.085, т.-е. был бы примерно в $2^1/_3$ раза ниже реального. Если же этого не было, то это надо приписать действию расширившегося товарооборота. Как в годы войны и в 1918 году крестьянское накопление задерживало падение курса, так в 1921 г. задерживало падение расширение емкости рынка. Между прочим, по действию эмиссии на курс рубля можно косвенно вывести заключение о степени расширения емкости рынка. Если в сравнении с июлем эмиссия в октябре возрасла почти в 4½ раза, а курс рубля колебнулся с июля по октябрь только на 35%, то это уже даст представление о росте стоимости минимума обращения, т.-е. в данном случае, когда в связанном состоянии бумажных денег нет и все они в обороте, минимум обращения это есть стоимость всей бумажно-денежной массы в стране в переводе на золотой рубль. В июле стоимость обращения была равна, включая июльскую эмиссию 44,4 миллионов, в октябре 62,1 миллионов, в ноябре 99,4 миллионов, в декабре 119,6 милл., на 1 января 1922 г. около 103 миллионов. Правда, кроме расширения товарооборота денежного имело влияние и увеличение денежных расчетов там, где раньше существовали натуральные взаимоотношения, хотя бы объем обращающихся ценностей не возрос. Вероятно, имело значение и замедление темпа оборота денег, поскольку три месяца стабилизации курса рубля могли способствовать тому, что владельцам денег уже не было острой необходимости немедленно сбрасывать с рук денежное богатство, заменяя это товарным. Но в данные месяцы влияние этого фактора осязательно нет возможности уловить. Зато дальше мы будем иметь единственный в своем роде случай сфотографировать действие этого фактора в весьма благоприятном сочетании. Но об этом ниже.

Что касается накопления, то хотя при начавшемся оживлении в стране оно имеет известную экономическую базу, правда, весьма небольшую, тем не менее при быстро падающей валюте оно невозможно, и охотников разоряться на таком накоплении после опыта военного периода не находится.

Накопление происходит в товарной форме и путем скопления золота и драгоценностей в руках некоторых групп населения. Точно также и влияние безденежных расчетов, несмотря на открытие государственного банка, так ничтожно, что его можно не принимать в расчет.

Теперь мы посмотрим, как изменялась стоимость всего нашего денежного запаса в стране, т.-е. каков был минимум обращения. Нужно однако заметить, что для 1915, 1916, 1917 и 1918 годов количество денег в стране в рублях, деленных на курс рубля, не даст представления о стоимости реально обращавшихся денег, потому что огромная их часть находилась в связанном состоянии, находилась в сфере накопления. Мы приводим соответствующие цифры лишь для лишнего доказательства того, как велико было это накопление. Достаточно указать на цифры для 1 января 1916 г., когда бумажных денег было в стране на 5.616 миллионов и стоимость их была равна 3.369 миллионов, так как курс рубля пал только до 60 коп. Думать, что через полтора года войны реальный товарооборот возрос по сравнению с периодом перед войной почти в два раза (перед войной в обращении было 1.633 миллионов полноценных кредитных билетов) совершенно бессмысленно. Именно это несоответствие стоимости денежной массы с размерами товарного оборота лишний раз доказывает огромную роль накопления в первые годы войны.

Количество бумажных денег в стране и их стоимость по реальному курсу.

	Колич. денег.	Стоимость.	
1 января 1915 г.	3.030 милл.	3 030 милл.	
" 1916 "	5.616 "	3.369 "	
" 1917 "	9.225 "	2.421 "	
" 1918 "	27.313 "	1.177 "	
" 1919 "	61.265 "	266 "	
" 1920 "	225.016 "	65 "	или 71 [1]) милл.
" 1921 "	1.168.600 "	50,8 "	

1921 г.	январь—49,0
"	июль—44,6
"	октябрь—62,1
"	ноябрь—99,4
"	декабрь—114,6
1922 г.	1 января—103,0
"	1 февр. —72,4
"	1 марта —37,7

Эти цифры позволяют не только оценить размеры расширения товарооборота осенью и зимой 1921 г., не только характеризуют кризис начала 1922 г., но и позволяют уловить влияние того фактора, который ускользал до сих пор от более точного анализа, т.-е. фактора быстроты оборота денег. Стоимость денежной массы январь—февраль 1921 г. в среднем равна стоимости за январь—февраль в среднем 1922 г., а к 1 марта она даже ниже таковой в сравнении с мартом 1921 г. так как в начале 1922 г. факторы накопления и безденежных расчетов не действуют, а товарооборот при посредстве денег значительно больше, чем за первые месяцы 1921 года, то обслуживание возросшего товарооборота и денежных расчетов той же стоимостью обращения можно объяснить только одним единственным фактором—страшно возросшей быстротой обращения денег. Здесь мы ловим этот фактор и определяем размеры его действия. Силу действия этого фактора можно вывести из такой пропорции. Быстрота оборота денег первые три месяца 1922 г. во столько раз больше быстроты оборота первых трех месяцев 1921 г., во сколько раз денежный товарооборот первых месяцев 1922 г. больше денежного товарооборота первых месяцев 1921 года. А так как денежный товарооборот в начале 1922 г. вследствие расширения емкости рынка благодаря продаже за деньги той части продукции государственной промышленности, которая раньше распределялась безденежно в натуральном виде, сильно возрос, также как он возрос вследствие платности государственных и коммунальных услуг, введения денежных налогов и увеличения продажи продуктов кустарной промышленности, то все это увеличение было съедено, было уравновешено возросшею быстротой оборота денег. К сожалению, цифру этого увеличения мы не можем установить. Одно только можно утверждать, что это увеличение произошло значительно больше, чем в два раза.

Теперь посмотрим, сколько давала по годам эмиссия государству, начиная с момента войны. Оговариваемся, что вычисление относительно первых лет является грубо приблизительным, на основании среднего годового курса рубля, за последние же годы более точным, за 1921 г. и начало 1922 самым точным, поскольку здесь стоимость эмиссии за данный месяц я высчитывал не по среднему курсу данного месяца,

---

[1]) Последняя цифра получается, если брать индекс цен по всей России.

а по среднему курсу между данным месяцем и следующим, потому что главная масса денег реализуется обыкновенно в первой половине следующего месяца.

Годы.	Стоимость эмиссии в золоте.	
1914 г.	—1.397 милл.	
1915 г.	—2.068 „	за вторую часть.
1916 г.	—1.768 „	
1917 г.	—2.500 „	(приблизительно)
1918 г.	— 525 „	
1919 г.	— 386 „	
1920 г.	— 186 „	
1921 г.	— 145,8 „	

В 1921 г. эмиссия по месяцам давала:

Январь	4,7
Февраль	5,4
Март	4,8
Апрель	5,7
Май	4,5
Июнь	3,9
Июль	7,2
Август	11,1
Сентябрь	13,9
Октябрь	21,0
Ноябрь	26,5
Декабрь	37,1

В 1922 году:

Январь	23,9
Февраль	15,6 [1]

Из этих цифр видно, какую богатую жатву собрали от эмиссии царское правительство и временное правительство, и как немного осталось получать Советской власти, которой только в конце 1917 г. и в 1918 г. удалось использовать крестьянское накопление для получения от эмиссии по полмиллиарду рублей. Дальнейшие годы дают непрерывное понижение дохода от эмиссии. Исключение представляет лишь второе полугодие 1921 года, которое против 29 миллионов за первое полугодие даст за второе 114,8 миллионов, т.-е. в среднем более высокую цифру, чем за полугодие предыдущего года [2]).

[1]) Февральскую эмиссию я делю не на средний курс рубля февраль—март, а на курс к 1-му марта, так как средний мартовский курс еще неизвестен в то время, когда пишутся эти строки.

[2]) Эти цифры, которые я очень рекомендую вниманию товарищей Ю. Ларина и О. Ю. Шмидта, дают исчерпывающий ответ на вопрос, сколько мы объективно могли бы получить от эмиссии в 1922 г. Я утверждал тогда в спорах с названными товарищами, что месячный доход от эмиссии даже в 25 милл. в месяц, как было предусмотрено бюджетом, является преувеличенным, и в первом проекте своем предлагал для 1922 года 18—19 миллионов для первого полугодия и 22—23 миллиона с момента реализации урожая, тогда как мои оппоненты находили возможным брать от эмиссии от 30 до 40 милл. золотом в месяц. Действительность целиком подтвердила мои расчеты. Излишество, допущенное с эмиссией в декабре, вызвало на рынке резкую реакцию, и эта контр-атака рынка заставила нас в беспорядке отступать с большими потерями, к каковым потерям надо отнести прежде всего падение курса рубля за три месяца почти в 10 раз. Меня упрекали в том, что я теоретическими выкладками хочу зарезать наше хозяйство и комиссариат. Как видит читатель, спор целиком решен в пользу теории, без помощи которой финансовая политика вообще является авантюризмом или рядом опасных экспериментов.

В заключение мне остается проанализировать сущность финансового кризиса за первые три месяца 1922 года. Для понимания причин кризиса необходимо бросить взгляд на предыдущие месяцы 1921 года, потому что падение курса рубля началось с октября 1921 года. Падение курса и рост эмиссии по сравнению с сентябрем, т.-е. последним месяцем временной стабилизации, дают следующую таблицу:

	Рост эмиссии в сравнении с предыдущим месяцем.	Падение курса в сравнении с предыдущим месяцем.
Октябрь	90,6%	38,1%
Ноябрь	72,6%	17,5%
Декабрь	128,6%	52,7%
Январь	56,0%	90,0%
Февраль	56,7%	190,1%

Для полноты картины надо иметь в виду, что курс рубля к 1 февраля пал на 137% по сравнению с 1 января, а курс к 1 марта на 215,4% в сравнении с 1 февраля. В таблице дано вычисление по среднему январскому и среднему февральскому курсу, благодаря чему скрадывается размер падения курса к концу января. Что касается марта, то первая половина обнаруживает замедление темпа падения рубля.

Таким образом особо кризисными являются январь и февраль. Так как эмиссия за январь и февраль обнаруживает резкое сокращение по сравнению с предыдущими месяцами, а курс рубля, несмотря на это, обнаруживает гораздо более быстрое падение, то совершенно очевидно, что падение идет не только вследствие продолжающейся эмиссии или, вернее, не столько вследствие эмиссии. Если бы падение шло только вследствие эмиссии, то курс рубля был бы на 1 февраля примерно 268.000 вместо реального 408.243, а на 1-е марта 423.000 вместо реального 1.283.965. На падение курса особенно повлияла декабрьская эмиссия, которая сказалась только в январе, а затем основными причинами падения кроме эмиссии вообще является: сокращение рынка после его сезонного расширения осенью 1921 года и то увеличение быстроты оборота денег, о котором говорилось выше. Падение курса рубля в три раза больше того, что можно было бы ожидать от эмиссии, говорит о размерах действия этих факторов. Практический вывод отсюда вытекает такой, что повышение эмиссии в обстановке сужения рынка не достигает цели, которую преследуют выпуском бумажных денег, доход от эмиссии сокращается, а не растет, а рубль катастрофически падает.

Очень возможно, что стремительное падение курса рубля в январе и феврале настолько понизило стоимость всей бумажно денежной валюты страны (цифры мы видели выше), что эта валюта с такой стоимостью даже при сверхбыстром обращении денег не сможет обслужить всего оборота страны. Тогда начнет чувствоваться всеобщий денежный голод, а дальнейшая эмиссия будет рассасываться, не приводя к быстрому падению курса рубля, пока не будет достигнуто известного подвижного равновесия между разменом оборота и стоимостью валюты. Если незначительное увеличение цен, обнаружившееся за вторую неделю марта, является началом этого процесса, то в апреле, в связи с увеличением подвоза хлеба из-за границы и из Сибири после прекращения семенных перевозок, можно будет ожидать дальнейшего развития этого процесса. Он может привести к более медленному па-

дению курса рубля и к увеличению стоимости всего минимума обращения. Все это в том случае, если наша валюта вообще переживет весь этот кризис, на что как будто есть все данные.

Сделанный нами анализ причин падения курса нашего рубля за время войны и революции с полной очевидностью подтверждает правильность тех теоретических предпосылок о бумажно-денежном обращении, которые были формулированы в моих статьях „Торговля, спекуляция и падающая валюта“, помещенных в „Правде“.

Этот теоретический анализ, я уверен, был бы подтвержден исследованием любой из валют европейских государств, хотя, разумеется, в обстановке мировой торговли исследование нуждалось бы в особом анализе влияния внешней торговли на падающую валюту.

Красная новь - 1922, №: 2(6)

Литературные отклики.

А. Воронский.

I.

Утверждают, что наша литература „воскресает из мертвых". В известном смысле это так. В связи с ликвидацией фронтов, с новой и „новейшей" экономической политикой книжный рынок уже успел в значительной мере заполниться всякими изданиями. В витринах „воскресение из мертвых литературы" демонстрируется десятками книжек и книжонок в хороших и часто изящных обложках: тут и стихи, и альманахи, и журналы „толстые", и серьезные „труды", и сборники рассказов; а на углах улиц—бойкие журнальчики, еженедельники, листки объявлений. Если не ошибаемся, зарегистрировано более 200 частных издательств, из которых около 70 так или иначе функционируют.

Заметное оживление наблюдается и в советской печати. Государственное Издательство выпустило за последние месяцы серию ценных книг и—что не менее отрадно—внешний вид московских изданий сделался несравненно лучше. Возникает „толстая" советская журналистика: есть „Печать и Революция", „Книга и Революция", „Пролетарская Революция", „Красная Летопись" „Красная Новь", „Военная наука и революция", „Красный Архив", „Культура и Жизнь", „Под знаменем марксизма" и т. д. Еще больше намечено журналов к изданию, находящихся в наборе: „Новый Мир", журнал молодежи, студенческий журнал.

В наблюдаемом литературном оживлении многое уже выкристаллизовалось, приобрело законченность, во всяком случае достаточную ясность.

Прежде всего ясно, что образуется два основных литературных лагеря. Фронтов пока нет, но борьба переместилась и ведется в другой сфере: критика оружием сменилась оружием критики. Советская печать—один лагерь. Группа частных издательств—конечно, не все—другой. Меж ними уже началась борьба и она с каждым днем обостряется. Нам придется пережить полосу сильнейших идейных штурмов, состязаний, и здесь, как и всюду, будут побежденные и победители. Советская власть победила в гражданской войне, но победа оказалась не полной—нет на-лицо победоносной мировой революции; победа досталась ценой разрухи, жесточайшего голода, „новейшей" экономической политики, всеобщей усталости, распыления пролетарских сил. Прежние враги республики Советов не сложили оружия. За их спиной стоит буржуазный Запад, на них работает голод и вся-

ческие кризисы внутри страны; простор, предоставленный мелко-буржуазной стихии, они пытаются использовать для организации ее, стихии, под своими старыми, потрепанными знаменами.

Сама эта стихия пока идеологически беспомощна. Герой нашего времени поглощен быстрейшим оборотом советских денег, падающих с быстротой катастрофической; в часы же досуга вместо стихов Ахматовой, исследований Жирмунского, публицистики Изгоева он покупает „Экран“, „Запад“, „Петербург“, но, и заручившись ими, „прет“ все-таки в притоны, кабаки, театришки, вместе с отбросами коммунизма. Паладин и мученик советского рубля насквозь актуален. Он усиленно скупает у голодных вещи и все, что попадается, он спешит быстро „обернуться“, он переживает медовый месяц „свобод“ и пока он аполитичен. Советская власть, коммунисты... это потом; ежели повезет, нужно будет с ними посчитаться; пока не до этого; на очереди найти „верного человечка“—„есть у меня один такой“,—найти „руку“, обделать при помощи этой „руки“ „верное дело“. Что сверх того,—то от лукавого. И поелику верных человечков не мало, то дела обделываются в лучшем виде.

Новый „чумазый“ находится еще пока в состоянии политической невинности, по крайней мере, в смысле положительной программы, бульварные же листочки и журнальчики он хотя и покупает иногда, но не всегда развертывает: во-1-х, ведутся они с бесталанностью удручающей, а во-2-х, героя наших дней можно пронять чем-нибудь сверхнеобычайным. Кожа у него толстая, нервы—канатищи; за время войны и революции он на все насмотрелся, все видал и не народился еще тот литературный гений бульвара, который бы сумел расшевелить его. Кроме того боятся советов. Поэтому уличная литература робко и стыдливо прячется в „театральные обозрения“, в „хронику“ Запада, в листки объявлений, да еще на страницах советской ежедневной прессы бог знает как проскользнувший ужем оборотистый и вертлявый „товарищ“ из биржевки нет-нет да и выглянет со своей посильной лептой.

Она идет—эта пресса и литература углов, киосков—более бесцеремонная, бесшабашная, наглая и беспардонная, чем ее дореволюционная сестра, и эта уличная проститутка сумеет растлить многих из молодежи, если наша советская политпросветительная работа будет почивать на лаврах и путаться в инструкциях, резолюциях, входящих и исходящих, как это часто бывает с ней теперь.

Идеологически оформившейся является литература другого лагеря. Литература тех частных издательств, куда нельзя итти с рукописью, в которой есть несколько „добрых слов“ о большевиках и об октябре. Участь таких рукописей там заранее предопределена, при чем наш политотдел является сущим наивным несмышленышем по сравнению с той идейной выдержкой, коей обладают литературные церберы и охранители литературных врат, ведущих в этот лагерь.

Этот лагерь... Когда встречаешь знакомого, получившего редкую возможность иметь книгу, выпущенную русскими белогвардейцами за рубежем, и довольного по сему поводу, невольно думаешь: „подумаешь, какое счастье нашел, да у нас, у самих, этого добра немало, нужно только поискать в литературе дней наших, святая простота“. Факт тот, что русская эмиграция, духовно растленная и поверженная физически, начинает просачиваться и к нам. „Там“ делать нечего, здесь, она ищет „живой жизни“. Задыхаясь от безделья в душной атмосфере

эмигрантских пустячков, она вползает сюда, ища приюта и уголка. И такие приюты и уголки у нас есть. И нужно сказать, в этих приютах и уголках подчас сидят люди куда умней и опытней, чем рыцари печального образа из „Руля" и „Общего Дела". И если нам говорят из глубины сих уголков, что претензия зарубежников говорить от имени интеллигенции России неосновательна, то это — святая правда. Верно, что „публицистическая мысль России (какой— увидим ниже. *А. В.*) безмерно обогатилась огромным социально-политическим опытом революционной эпохи". С точки зрения такого опыта поведение, например, „Общего Дела", ошалевшего до последних мыслимых пределов, нужно признать по меньшей мере бестактным. Отсюда некая разноголосица: Александр Яблоновский отчитывает кое-кого из оставшихся внутри Сов. России, а эти тоже не остаются в долгу. Разнобой, однако, ничуть не мешает последним считать тех же сотрудников „Общего Дела" братьями-писателями (еще бы—Амфитеатров-то там, в этом „Деле"—и как пописывает!), а для представителей „новой России" подыскивать сдержанно-елейно-ехидные замечаньица, словесные заковыки, „пускать" рецензии, которые нужно понимать „духовно, трояко и иносказательно". И уж, конечно, братья-писатели из „Общего Дела" в тысячу раз духовно ближе, чем какой-нибудь честный красном или коммунист, грудью отстаивавший эту „новую Россию" от граждан Бурцевых, Амфитеатровых и тутти кванти. Ибо никто не докажет, что существует значительная разница между г. Изгоевым и Булгаковым, или что идеологически Бердяев и Франк далеко ушли от Мережковского.

По силе сказанного не будет большого преувеличения сказать, что „воскресение из мертвых" литературы, поскольку „воскресают" Бердяев, Изгоев, Франк, есть воистину „воскресение" тех, кто был основательно завален в могильной пещере камнями октябрьского обвала и кто уже смердел четыре дня. При таком воскресении мы отчасти и присутствуем. Но, как андреевские мертвецы, наши отечественные мертвецы пережили в могиле холод тлена, безмолвие конца, одиночество склепа и выходят из гробов с пустыми, мертвыми, незрячими глазами, без животворящей силы жизни. Для них мир—могила и гроб; в нем нет красок, на него легла тень смерти. В склепе почали они истину смерти и небытия. Они смотрят на мир глазами трупа—и вот приходят к живым и им, как высшую правду, как венценосную ценность ценностей, они сообщают эту правду смердевших.

Подлинно живых, полных таинственных сил жизни они не увлекут своей правдой, но есть такие, кто в жесткие дни нашего века оказались тяжело ранеными, больными, доведенными до страшного духовного истощения и изнеможденности, и для них правда живых трупов может явиться большим соблазном и препятствием к выздоровлению. Она вредна для них.

II.

О правде живых трупов мы сейчас и поведем речь. Но прежде всего немного о больных и раненых.

В „Вестнике Литературы" № 1 от 1922 г. К. Боженко пишет:

„Слава Богу, у нас нет больше никакого долга перед народом"... Так заявил на одной дискуссии о сборнике „Смена Вех" один убеленный сединами писатель... К сожалению, мысль о том, что отныне интел-

лигенция больше ничего не должна народу, что мол „чорт с ним, с народом, — пусть дальше живет как знает, но только без нас", в последнее время приходится слышать все чаще и чаще, и не только из уст рядового обывателя. Особенно печально то, что такие заявления исходят от литераторов, от людей, претендующих на то, чтобы их считали „солью земли". И говорят об этом совершенно серьезно,—без всякой иронии, без злорадства или торжества, так, как говорят, например, о самых повседневных мало волнующих вещах"...

К. Боженко—человек, повидимому, осведомленный по части интеллигентских настроений, и слова его правильны. Все течет, все изменяется. Не так еще давно в интеллигентских кругах, близких к „Вестнику Литературы" по духу и всему жизненному укладу, кипела ярая ненависть к народу—хам, охлос, чернь, рабы, стадо и пр.,—теперь это уже—превзойденная ступень. Нет ни ярости, ни скрежета зубовного; вопли о черни и хамстве сменились равнодушно-нигилистическим: „чорт с ним, с народом". Он сам по себе, мы сами по себе. Отечество, русские незапамятные равнины, хмурый север, народ, давший Толстого, Достоевского, Желябова, Ленина,—чорт с ними, со всеми. Времена не те. Ушло оно, доброе, старое время, с комфортом, уютом, журналами, добродетельно демократическими разговорчиками и спорами. „А как ели, а как пили—и какие были либералы!" Все в прошлом. Были дни борьбы—разбиты этими, как их,—хамами. Были дни глумления, ненависти,—прошло и это. Ни торжества, ни злорадства. Равнодушие, безразличие, сознательный эгоизм, возведение обывательщины в догмат, в принцип, в кредо.

Тут нужна основательная борьба. Соратники „Вестника Литературы" как-будто уверены, что они ее ведут. Тому же самому Боженко „лозунг": „чорт с ним, с народом"—очень не нравится. Ему хочется думать, что добровольного политического самоубийства интеллигенция не сделает. Он за старые заветы. И посему пишет: „Отступить от этой традиции, это значит не только сменить вехи, к чему зовут зарубежные публицисты, а много хуже:—совсем срубить всякие вехи".

Недоумение охватывает при чтении этих строк. Зарубежные публицисты—смено-вехисты—стараются примирить дореволюционную интеллигенцию с Советской властью, пробудить в интеллигенции активность, дать ей положительное политическое credo, преодолеть новейший нигилизм и эгоизм обывателя, а Боженко утверждает—это худо: сменять вехи, а еще хуже—срубить всякие вехи. Очень странно. Тут чем-то начинает „пахнуть" специфическим и как будто знакомым.

Недоумение разрешается, впрочем, довольно скоро г. Изгоевым. Гражданин Боженко ходит вокруг да около. Изгоев „берет быка за рога". В статье „Личность и власть" в том же № 1 „Вестника" он так отвечает на вопрос „что делать" интеллигенции вообще и как следует разрешать проблему отношения интеллигенции к власти в частности.

„Интеллигенция, — поучает он,—должна быть независима от власти, в духовном и моральном отношении... Возродиться, почерпнуть новые духовные силы интеллигенция сможет только из источников духовных. Не от того или иного отношения к власти, а от силы духа интеллигенции зависит будущая ее роль в русской жизни". Тут же в пояснение своих мыслей Изгоев говорит о „безусловных, абсолютных, религиозных критериях", коими следует руководствоваться. Основной грех интеллигенции прежних лет до революции заключался в том, что она была слишком „политична", почему превращалась в „анти-правительство".

Смысл проповеди Изгоева станет совсем ясным, если отметить, по какому поводу все это написано. По поводу споров вокруг „Смены Вех". В таком контексте изгоевские писания приобретают особый, довольно прозрачный смысл. „Смена Вех" зовет интеллигенцию к активной поддержке Советской власти. Изгоев отвечает: не в том дело, поддерживать Сов. власть не нужно. Следует проникнуться религиозным сознанием, уверовать в абсолют. В этом закон и пророки и смысл философии всей. Предупредительно Изгоев поясняет, что сотрудничать с Сов. властью не следует не только в сфере политики, но и в области экономики, ибо и здесь „неизбежно возникнут те или другие отношения к власти". Святым духом, надо полагать, интеллигенция существовать все-таки не будет, ибо абсолют обладает одним досадным свойством: он много обещает на небе, но по грехам нашим считает излишним вслушиваться в скучные песни земли. Требуется поэтому предположить, что какой-то „экономический базис" должен существовать для интеллигенции. Нельзя же предположить, что она будет заниматься по рецепту Изгоева только формированием независимого общественного мнения. Раз нельзя сотрудничать с Сов. властью ни в политике, ни в экономике, остается предположить, что интеллигенции остается один путь: пойти сотрудничать с новым чумазым, с гражданином Нэпманом. Предположение это подкрепляется тем обстоятельством, что Изгоев в своей статье указывает, как на пример, достойный подражания, на западно-европейскую интеллигенцию, которая не в пример нашей отечественной, анти-правительственными делами не занимается, а формирует драгоценное „независимое общественное мнение".

Итак, сотрудничество с новым „чумазым", а не с Советской властью, потусторонний мир, а не низменная сфера политики.

В новом старое нам слышится. Было это. Революция 1905 года временно оказалась разбитой, и интеллигенция по всей линии совершала переоценку старых „заветов". Звучали речи и немало было написано статей о грядущем хаме, взасос зачитывались „Саниным", появились какие-то подозрительные тихие мальчики и зловеще пронесся „Конь бледный". Когда почва оказалась достаточно подготовленной, раздался вещий голос вехистов, смысл их проповеди сводился к тому, чтобы убедить читателя в пагубности увлечения социализмом, революцией и политикой: вехисты убеждали бросить сии пагубные увлечения, отказаться от безбожия и поверить в абсолют. На-ряду с этим проповедывался эгоцентризм, индивидуализм и предлагали также лучше капусту сажать, чем книжки читать, особливо от Маркса и Энгельса—от нее все качества. Проповедь новых пророков многим пришлась по вкусу. Безбожие, социализм и революция были объявлены грехами молодости,—о подполье и митингах говорили с кривыми улыбочками, а русских революционеров совсем развенчали: и дураки-то они, и люди-то безнравственные, и личную-то жизнь чорт знает на что тратят, и догматики-то, и буквоеды, и кружковщина их заела и т. д. За сим все это как-то очень уж удачно сочеталось и с мечтами о Дарданеллах и с войной до победнейшего конца. На-ряду с хлопотами об абсолюте не забывали разжигать самый дешевенький ура-патриотизм, а войну изобразили как великую освободительницу угнетенных народов и пр.

Так что путь, по которому Изгоев предлагает итти интеллигенции, был уже испробован. По признанию Изгоева, интеллигенция подверглась разгрому. И—заметьте—в первую голову разгром коснулся интеллигенции не безбожной, не какой-нибудь марксистской, а „настоящей"

изгоевской, струвеанской, божественной, покончившей со всякими социалистическими бреднями. По какому же праву гражданин Изгоев вылезает вновь в роли пророка и вещает нечто, что уже было испробовано и привело к краху? И не правдоподобнее ли будет сказать, что интеллигенцию разгромили именно за вехизм, за уход от революции и от социализма, за отвращение к „классовой терминологии", именно тогда, когда эта „терминология" как раз нужнее нужного была?

Может быть интеллигенция плохо внимала вехистам? Нет, успехи Изгоева и Бердяева несомненны: они сумели „в свою веру" обратить весьма широкие круги интеллигенции. А в годы войны положительно пожинали богатейшую жатву. И даже социалисты поступали по писаниям Изгоева. В бога, правда, они тогда еще не уверовали—до этого только теперь многие из них доходят,—но в оборонцев и патриотов превратилось огромное большинство из них.

В чем же дело?

Дело в том, что вновь запахло мертвечинкой в связи с усталостью, голодом, с задержкой мировой революции, с уступками мелкой буржуазии. И вот опять выступает Изгоев и вытаскивает старый хлам. Смысл его проповеди ясен: против сменовеховцев за старые „вехи". Не беда, что старые „вехи" завели в болота и топи. Есть все-таки надежда, что будет же, наконец, и „на нашей улице праздник",—может быть, вытянет „чумазый", на него—главная ставка. Но новый чумазый—человек в сущности чужой всей прежней буржуазнопомещичьей культуры. Не та складка, не те повадки, ухватки и приемы. Да и выведет ли он из болот и топей—еще неизвестно. Западная культура на явном ущербе, а Советская власть продолжает оставаться фактом. Поэтому разложившиеся духовно и политически старые силы ничего не находят лучшего, как возвести очи горе и засветить лампадку. К тому же единственное, что можно противопоставить современному коммунизму, это—вера в абсолют.

Разумеется, далеко не вся интеллигенция приемлет эту дилемму; есть такие, которые давно наплевали на всякие идеологии и уверовали твердо и незыблемо лишь в одно: рви зубами, руками и чем попало. Есть еще много разновидностей, но в конечном итоге остаются два лагеря, к которым тяготеют все промежуточники: с коммунистами, с советами к деловой работе; против коммунистов, против Сов. власти к религиозному мракобесию. Вот, например, Питирим Сорокин, когда-то, если память не изменяет нам, публично каявшийся в своих анти-советских грехах. Теперь он с этим покончил. Видите ли: большевики обманывают простоватых русских читателей. Даже Бердяева и Франка они обманули и заставили их говорить о „Закате Европы", когда никакого „заката" нет; какие хитрые, а Бердяев и Франк—доверчивые! На Западе ничего „такого" нет. Научная мысль Запада работает сейчас более интенсивно, чем когда бы то ни было. Экономический кризис изживается. Работа налаживается. Духовная жизнь уравновешивается („Вестник Литературы" №2—3—„Начало великой ревизии"). В противовес Бердяеву Сорокин полагает, что науку нельзя считать виновницей кризиса Запада; однако „глубокое познание вполне совместимо с таким религиозным отношением к жизни, которое пламенно проповедывал хотя бы Карлейль. Посему он—Сорокин—приветствует ту „ревизию", которую начали Бердяев, Франк и Изгоев, а поднятые сменовеховцами вопросы—за или против Советской власти—кажутся ему „малюсенькими вопросиками". В итоге П. Сорокин обеими ногами стоит в лагере Бердяева.

Струя религиозно-мистическая сильна и в литературно-художественной жизни части интеллигенции, при чем подобные настроения идут рука об руку чаще всего с отрицательной оценкой советской действительности. В этом отношении такие юбилеи, как юбилей Достоевского, являются подлинным кладом. И если Айхенвальд писал в том же „Вестнике“, что „нам, гражданам социалистического отечества, с Достоевским не по пути, что нашей республике не подобает славить годовщину его рождения и что необходимо сделать выбор между Достоевским и ею, республикой этой“,—то он выразил только общую тенденцию родственных ему кругов: использовать юбилей для того, чтобы „лягнуть“ „республику эту“.

Из Достоевского вообще пытаются сделать политическое знамя. Достоевский предвидел „бесов“, Достоевский видел спасение России в религии, Достоевский верил, что Россия скажет новое религиозное слово всему миру и т. д. Беды нет, что Достоевский в сущности был атеистом, жаждавшим веры, но не имевшим ее,—что провозглашать пророком, написавшего „Исповедь Ставрогина“—по меньшей мере неуместно и неумно. Верно, однако, то, что, являясь ярким выразителем разложения, Достоевский во многих отношениях импонирует теперь группам и слоям, сметенным с исторической сцены[1]).

Точно так же смерть Блока эти господа пытаются и пытались использовать по своему, по заумному. С каким рвением и тщанием принялись доказывать, что Блок никогда ни на иоту не принимал октября, что чистейшее недоразумение считать его „Двенадцать“ произведением, где он по-своему благословил и принял революцию! На мертвого валить все можно. Люди, „за революционность“ не подававшие в свое время руки Блоку, теперь усиленно хлопочут вокруг его могилы, жонглируют его именем, обсасывают его, стараясь превратить Блока в белогвардейца и мистика из „Общего Дела“. И хотя Блок об этих господах писал, что они „визгливо лают как мелкие шавки из-за забора и что нелепо считать русскую революцию „скверным анекдотом“, это отнюдь не мешает людям, травившим его три года, превращать Блока в своего знаменосца, а большевиков винить в его преждевременной смерти. Многие из редких и ценных людей погибли зря в эти годы и, разумеется, Советская власть отвечает здесь за свое неумение во-время прийти на помощь им. Но, прежде всего, ответьте вы сами, кричащие, что Блока „уморили большевики“: в какой степени виновны те, кто три с половиной года поносил Блока на всех перекрестках, кто старался загрязнить, втоптать в грязь его имя за то, что он не объявил русскую революцию „скверным анекдотом“, а впереди двенадцати красноармейцев, которые „полоскали ножичком“, увидел Христа с кровавым флагом! Вот об этом усиленно молчат многие питерские и московские литераторы.

Нужно отметить, что во всех этих компаниях ничего кроме политического озорства нет. Бессильные, вышвырнутые за борт жизни людишки способны только на подсиживание, поддразнивание, брюзжание. Сегодня они треплют имя Достоевского, завтра Блока, на третий день они стремятся гаденько лягнуть какого-нибудь из „братьев-писателей“, оказавшихся в советских рядах. В том же самом „Вестнике

---

[1]) Л. Карсавин недавно объявил, что Федор Карамазов был идеологом самой чистой любви (См. его статью в № 1 журнала „Начало“). Остается пожалеть, что автору была еще неведома „Исповедь Ставрогина“. К Федору Карамазову он по праву мог бы присоединить и Ставрогина, изнасиловавшего ребенка.

Литературы", где Изгоев так убедительно увещевает интеллигенцию уверовать в абсолют, некий Борис Аннибал сводит счеты с Валерием Брюсовым, сообщая, что „Брюсов—большой любитель щекотать под мышками у дам с разбежавшимися грудями и пышными ляжками", к чему скромно приписывает: „это никак уж не рекомендует Брюсова с хорошей стороны ни как человека, ни как поэта". Все это тоже называется „воскресением из мертвых литературы" и „литературным оживлением" и печатается в литературном вестнике!..

...Создаются эстетические теории, ставящие художественному слову задачу находить „в обрывках слов туманный ход иных миров". В этом отношении очень характерна в петербургском сборнике о Блоке статья Бор. Энгельгардта „В пути погибший". Указав на весь яд, который таится в „нигилистическом созерцании", Энгельгардт дальше уверяет, что поэзия первая „подняла" знамя восстания против „мира Базарова" с его мертвым сухим материализмом. И вот пред поэзией возникла новая задача, которой она не знала раньше: „преобразование содержания созерцаний в значении слов стало означать для нее восстановление религиозной сущности являющегося в воззрении". По этой схеме Энгельгардт и обрабатывает Блока; выходит хорошо: Блок очень много потрудился над преодолением материализма и укрепления „нового религиозного сознания"; жаль—не докончил. За него доканчивает теперь г. Энгельгардт.

Так, пред поэзией ставится тенденциознейшая задача; отныне она должна служить абсолюту.

III.

Переходя к художественному слову наших дней, мы должны прежде всего отметить крайнюю скудость и бедность современной литературной жизни. Со стихами еще так-сяк, но с прозой, с рассказами, повестями, романами дело обстоит до крайности плохо. То немногое, что вышло из печати за последние месяцы, только подтверждает сказанное. Еще не так давно, примерно прошлой зимой, ходили слухи, что у беллетристов накопилась груда рукописей, что писатели ждут не дождутся, когда они смогут предстать пред читателем со своими „вещами". Все это оказалось сплошным вздором. Никаких рукописей не накопилось и, когда наступил момент показать товар лицом, вышли тощие книжечки с малюсенькими рассказиками, достоинство художественное которых весьма невелико. Так же слабо и в журналах.

Сказались в этом тяжкие материальные условия, в которых жил писатель в последние годы. Но суть не в этом. Русскому писателю не привыкать стать писать в холодных чердаках и подвалах. На художественной прозе отразился прежде всего революционный кризис. Крах интеллигенции сделался и крахом литературы. Уже накануне революции отход основного русла художественной литературы от революции был совершившимся фактом. Достаточно вспомнить, как во время войны почти сплошь наши отечественные художники слова взяли высокопатриотические ноты и на все лады звали взять чуть ли не в три дня „заносчивый Берлин", а более прыткие и пылкие мечтали о кресте на св. Софии и о целом полмире. К этому русская литература была подготовлена всем предыдущим ходом своего развития. Не удивительно, что такое художество, покончившее с революционным подпольем, социализмом и лучшими демократическими заветами, должно было вступить в полосу полного разложения в годы октябрьской ре-

волюции. Крайний индивидуализм, самодовлеющий эстетизм и пр. никак не в состоянии были ужиться с революцией, выдвинувшей на арену истории рабочего, солдата, крестьянина. Рухнул старый быт, а с ним и только с ним был связан старый писатель-интеллигент. Жестокая гражданская война отбросила его в лагерь реакции, он потерял связь с новой современностью, принял ее за „скверный анекдот", за нелепость и шалость истории. Кроме этого, вообще годы революции, когда действуют армии, коллективы, классы, когда с „человеком тихо". очень неблагоприятны для художественного слова, где прежде всего индивид, личное, свое. Бумажные и прочие кризисы только усугубляли это паралчное состояние русской литературы. Что дело заключалось не в так называемых внешних обстоятельствах, видно из того, что русская эмиграция, не ведавшая ни типографских, ни бумажных кризисов, пользовавшаяся всеми „свободами" благоустроенных буржуазных государств, не дала за эти годы ничего заметного и выдающегося. А ведь за рубежем собрались сливки старой литературы: Бунин, Куприн, Мережковский, Ал. Толстой, Гиппиус, Чириков, Сургучев и т. д. И если в настоящее время мы замечаем некоторое оживление в литературном мире, то не следует забывать, что это оживление, во-первых, в значительной мере только внешнее—в витринах появляются книжки в хороших обложках, но весьма безотрадные по своей художественной ценности,—а во-вторых, оживление это совпадает с новой фазой русской революции, характеризуемой прежде всего ликвидацией гражданской войны.

Каковы же ближайшие перспективы художественного слова? Оговоримся заранее: мы будем иметь в виду главным образом художественную прозу, ибо она именно по многим причинам представляет сейчас наибольший интерес для публициста.

Прежде всего о „стариках".

Дадут ли они что-нибудь ценное в будущем? Или, быть может, так и останутся в состоянии бездейственности и импотенции? Думается, что многие погибли для нашего времени совсем и окончательно. Одни пережили период полного душевного разгрома и стали внутренно пусты и мертвы. Другие оказались столь крепко связанными со старым бытом и укладом, что им не под силу приспособиться к новому и переработать художественно это новое, рожденное революционной эпохой. Многие так и останутся „мелкими шавками, лающими из-за забора", и будут продолжать разносить „самые грязные сплетни и небылицы", по прежнему от них будут нестись „жалобы, вздохи и подвизгивания"—выражения А. Блока о русской эмиграции. Ждать от них чего-нибудь положительного бесполезно. Другая часть „стариков" несомненно со временем приспособится к новым условиям жизни. Их голос будет слышен, они еще скажут свое слово. Во всяком случае ставить крест над „стариками" огулом, сплошь, неправильно и неразумно. Было бы крайне печально, если бы это пришлось сделать. Это означало бы, что в новой жизни не оказалось бы никакой культурной преемственности, и новому писателю пришлось бы действовать без помощи умудренных „людей опыта". Обычно так не бывает и, очевидно, не будет. Среди известной части „стариков" все больше укореняется взгляд, что русская революция и новый быт не есть нечто случайное, наносное, а действительно глубокое, органическое и знаменательное явление огромной важности. Отсюда—путь к изучению нового быта и к его серьезному отображению.

Есть, однако, много подводных камней на этом пути. В том лите-

ратурном оживлении, которое наметилось за последние месяцы, очень сильно дает знать мистицизм и всякие заумные настроения. Теория, ставящая своей задачей находить „в обрывках слов туманный ход иных миров", повидимому найдет немало последователей. Для примера укажем хотя бы на альманах „Пересвет". Он проникнут этими „заумными" настроениями, религиозной созерцательностью, стремлением найти выход из противоречий действительности в потустороннем мире, когда кажется, что „людей нет, а есть Бог, вечность, природа, медленно, беззвучно протекающие". „Жизнь—как она есть—долой".

Но легко это сказать, и безмерно труднее сделать: непокорная жизнь не дает себя связать и примирения как будто не получается. Есть только видимость примирения жесткой действительности с далеким богом и туманной вечностью.

„Я войду и в другую комнату, увижу там кровать, икону Божьей Матери в ризе серебряной на столе, убранную иммортелями. И с ней рядом из трех фотографий взглянет на меня лицо молодое и бодрое. Взгляд острый, почти задорный. И нож быстро ополоснет сердце и не отразить ножа, не отразить! А вот и девушка, ему близкая, тоже ушедшая. Вот его друг, лицо полудетское,—мученики времени, жертвоприношения сердец наших и удары Рока.

Вспоминая кровь, должен сдержаться. Это трудно.

— Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас...

Много здесь выжито, много здесь перемучено. Но это—жизнь!

На столе Богородица в ризе серебряной. О ты, прибежище всех матерей истерзанных! „Благодатная Мария, Господь с тобой" („Пересвет" № 1, Борис Зайцев „Душа").

„Не отразить ножа, не отразить" и „любите врагов ваших",—а разрешение в бессильном восклике: „О ты, прибежище всех матерей истерзанных!.." Бессильная бескрылая вера, бескровная мистика, она никогда не двинет горами. Тут больше эстетизма, чем веры. Что-то унылое, нежизненное, недейственное. Реально другое: не отразить ножа. Это—правда, это—живое, личное, глубоко пережитое. Но ведь это правда не настоящая, полправды и потому не правда, ибо с большим правом мы, против кого должен сдерживаться автор, можем рассказать о портретах, которые висят в наших комнатах. И тут тоже лица молодые и взгляды задорные, и они тоже ушли и тоже вспоминается кровь. Об этой правде сердце автора молчит. В немощных, далеких, не здешних тонах написан и другой рассказ Б. Зайцева „Карл V" в сборнике II „Северные дни". Карл заносит в дневник:

„Несу лавину дней. Дни—как тяжелый путь, в порфире, облачениях, грехе, ненужности. Но такова воля, таков путь. Господи, освободи меня. Боже милостивый, прими!" И так же бессильно молитвенное настроение изменить непокорную жизнь, ибо в тот же вечер Карл V „принял депутацию купцов Севильи, попытавшихся, но тщетно, оправдаться в деле с галионами". Мертвенный пепел лежит на этих рассказах, и самые строки как-будто теряют свою краску, сереют, и образы расплываются в чем-то, не имеющем ясных и живых очертаний. Как сны—всегда без солнца, легко забываемые. И сердце не захватывается, никакого ясного отпечатка не оставляют строки, от которых веет холодком, унылыми буднями. Нет движения, солнца, нет жизни, живого, а нет, следовательно, и самого главного, как бы мастерски ни были подобраны слова друг к другу. Оттого крепнет убеждение, что все это сделано, а не идет из нутра.

Мистикой попытался испортить свой интересный рассказ А. Яков-

лев „Терновый венец". Тема бытовая—голод в Поволжье. Ряд хорошо и правдиво написанных чисто бытовых картин, жутких и мрачных. Зачем понадобилось автору в эти картины вплести странный образ Белой Девы и еще более странного светлого мальчика в терновом венце,—непонятно.

С этим внесением религиозного элемента и веры в потустороннее придется встречаться и впредь и в стихах и художественной прозе. Первые шаги в этом направлении показывают анемичность и мертвенность этих настроений. Такая вера никаких миров не спасет, но вред от нее очень ощутимый в художественном слове: лишенная плоти и крови, она, вера эта, будет способствовать появлению произведений, лишенных главного—жизни. И чем скорее будет покончено с этой немощной гостьей, тем скорее русское слово выберется на широкую, светлую, торную дорогу. Тут здоровое и молодое, идущее от новой жизни, задерживается мертвым прошлым, так как вся эта литературная мистика—продукт разложения групп и слоев, обреченных историей. Им больше податься некуда.

Другое, на что следует обратить внимание в нашем „литературном оживлении", это на наличность обывательщины и на возведение ее в своеобразный принцип. Эту черту хорошо выявил Андрей Белый в „Записках мечтателей" № 5 в статье „Так говорит правда".

„Отвращает меня,—пишет он,—всякий привкус партийности, действующей сознательно, на „благо других"; здесь маленький действует под прикрытием великого „лозунга", т.-е. под гипсовым бюстом какого-нибудь из „великих", тут „маленький", размноженный несчетно, бьет жизнь томагавком, имеющим изображение великого...

„Великое"—принципиально, зло, лживо, жестоко и подло; все великое нажимает своей носорожьей стопой...

„...Да, я—обыватель; я не желаю пресечь обывателя в своем духе...

„Из двух зол: быть маленькою живою лягушкою, или дохлой лягушкой, разорванной ложным порывом к великому, предпочитаю остаться лягушкой живою, и становлюсь обывателем"...

Далее А. Белый развенчивает великие принципы во имя „живой лягушки". Религиозно-общественную проблему он не приемлет, ибо она—„дух пьяного кабацкого перегара из уст семинариста". Социальный вопрос и Маркс хотя и занимали Белого, и он, по его признанию, даже чуть не попал когда-то в марксисты, „но „банком" мне веет от их борьбы с банками". Наука—„насквозь ложь". Ее истины „скачут, играя друг с другом в игру", и наука „разряжается... пушкой". Искусство не убеждает. Итог: „несказанной, огромной любви недостаточно; недостаточно любви к человечеству, к нации, к классу; все это—перепрыги; начало любви к человечеству в любви, жалости во имя рек, к одному, к единственному, к обывателю, к малому"...

Вопрос о маленьком человеке и великих принципах—вопрос древний. Марксистской школой эта антиномия разрешается в том смысле, что марксизм стремится великие принципы связать с обычными, повседневными, практическими интересами сегодняшнего дня наиболее передового и жизнеспособного класса. Таким путем перекидывается мост от великого к малому человеку, к обывателю. Заслуга Маркса и научного социализма в том и заключается, что отвлеченный утопический дотоле идеал социализма он соединил с рабочим движением, с практикой, с повседневными нуждами рабочего люда. Именно поэтому создалось современное величайшее социальное движение. Великие принципы без „обывателя" превращаются в сухие догматы, в

пустые мечтания, либо в тиранов; с другой стороны, практика, „живая жизнь“ без великих принципов превращается в простое делячество. По-своему это сочетание в революционном марксизме идеала с практикой признает и Андрей Белый, когда пишет о марксистах, что у них и великие принципы и дельцы они не плохие. Вот именно. Почему это так, этого А. Белый не понимает, ибо само существо, душа марксизма, ему чуждо.

Но нас интересует сейчас больше другое. Желание А. Белого— хочу быть живой лягушкой и только—надо признать характерным для литературных настроений наших дней. Гершензон жаждет сбросить с себя как тяжкие вериги все умственные богатства постижений, знаний и ценностей. Написано и напечатано немало рассказов на эту тему. В том же № 5 „Записок мечтателей“ имеется рассказ Е. Замятина „Пещера“, в котором автор повествует, как интеллигентная семья живет зимой в холодной и запущенной квартире, а обитатель ее Мартин Мартиныч крадет дрова у своего соседа. Сам по себе—тут быт, но освещение рассказа, фон, настроение— сплошная обывательщина.

В провозглашении обывательщины, как принципа, сказывается усталость и отлив революционной волны. Тут реакция против недавнего прошлого, когда человеческая личность исчезала, делалась маленькой пылинкой в вихре событий. Война, революция, гражданская война. В грандиозных событиях действуют массы, армии, классы, с отдельным человеком не считаются. Человек превращается в абстракцию, в безличную частичку нации, армии, класса. Проходят, минуют катастрофические месяцы и годы, или наступает заминка в борьбе— и тогда неизбежно рождается реакция. И у победителей и у побежденных тухнет взаимная жестокая ненависть, звериная, не знающая пощады, борьба принимает более „культурные“ формы. Человека хотят восстановить в его личных правах. „Маленький“ человек заявляет о себе, о своем, обыденном. И такая реакция может стать законной и полезной. Она приводит к большему уважению „прав человека“, индивида с его личными радостями и горем, жестокие формы борьбы смягчаются, часть их делается ненужной. В известной подобной реакции мы несомненно будем нуждаться. Война 1914 года, потом революция, несомненно, сопровождались у нас большим огрубением нравов и, как закон, с человеческим индивидом считались мало. Но эта реакция в данном случае для класса-победителя—рабочего класса—будет законна и плодотворна при условии, если, во-первых, новая созданная революцией жизнь войдет в нормальное спокойное русло и классовый враг окажется повержен окончательно и бесповоротно, и во-вторых, если с водой не выплескивают из ванны ребенка, т.-е. не происходит измены тому основному идеалу, за который боролись,—когда не принижают его, не развенчивают, не совершают ренегатских поступков.

Сейчас и в ближайшем будущем самого главного нет—уверенности, что борьба, борьба в самой жестокой форме кончилась. Наоборот, состояние неустойчивого равновесия может нарушиться в любой момент. Вытаскивать сейчас на свет божий права обывателя в том виде, в каком это делает Андрей Белый—великие принципы долой, да здравствует маленький человек,—значит сдавать позиции, впадать в недопустимую расхлябанность, возводить усталость, утомление, больное в добродетель, значит открывать двери всему упадочному. Такие настроения у нас есть не только в среде, близкой А. Белому, но и в

толщах рабочих масс, в молодежи, даже в кругах коммунистической партии. Это—вредное, подлинно реакционное настроение, и его нужно побороть во что бы то ни стало. Оно ведет к угашению классовой ненависти к врагу, к падению общественных чувств, боевых качеств и т. д. Нужно, чтобы пролетариат и все, кто с ним, видели в буржуа своего заклятого и опаснейшего врага и в тех, с кем борются, не человека вообще, не обывателя, а представителя класса-противника.

Между тем в художественной литературе наших дней настроения А. Белого захватывают широкие круги „демоса", а не только выращиваются в литературных кружках избранников. В редакции поступает очень много рассказов, очерков, повестей, стихов. Большая часть их принадлежит новой интеллигенции, выпестованной революцией. Художественная ценность их по большей части незначительна—все это произведения начинающих. И сплошь и рядом в них чувствуется падение активных чувств к врагу, общественных настроений, какое-то толстовство и примиренчество, желание поставить свои радости и огорчения в центре жизни.

С обывательщиной в литературе и в жизни придется вести серьезную борьбу, и время для этой борьбы приспело.

IV.

Все, что мы писали выше о современных литературных лейт-мотивах, касается главным образом наших „стариков", писателей, вышедших из среды прежней интеллигенции. Это они в первую голову проповедуют мистицизм, тянутся к „лягушечьей жизни" и т. д. Вести с ними идейную борьбу должна новая литературная молодежь, вышедшая по большей части из рядов рабоче-крестьянской интеллигенции. Такая литературная молодежь у нас есть. Пусть белые зарубежники тешат себя мыслью, что в советской России—тишина кладбища и что без Мережковского и Куприна русская литература пропадет ни за грош—чем бы дитя ни тешилось. За годы революции у нас появился целый ряд молодых писателей и поэтов, приявших революцию и октябрь. Некоторые из них уже в достаточной степени выявили себя, другие обещают это в ближайшем будущем. Оставляя в стороне писателей, сложившихся ранее, Демьяна Бедного, Маяковского, Б. Пастернака, Есенина, наложивших глубокий отпечаток на литературную жизнь последних лет, мы можем указать на Казина, Кириллова, Герасимова, Малашкина и т. д., как на поэтов, находящих положительную оценку не только у сторонников пролеткульта. Поэты выступили раньше. Писатели-прозаики выступают только теперь. Последние месяцы характерны именно появлением художественной прозы. Б. Пильняк, Всев. Иванов, Ник. Никитин, А. Яковлев, Константин Федин, Мих. Зощенко, С. А. Семенов, А. Аросев, Н. Ляшко, Мих. Волков, Ив. Касаткин, ряд других писателей-прозаиков начали печататься, и их имена все чаще и чаще встречаются в сборниках, журналах и отдельных изданиях. При всем различии в характере их творчества, есть у них у всех много общего: они вышли из революции, пережили ее, стремятся каждый по своему ее отобразить, их тянет к быту, к современности, к недавним дням. Их реализм причудливо порой переплетается с Гофманом,—это потому, что в нашем быту так много страшного, фантастического, невероятного, не укладывающегося в нормальные рамки. У большинства стиль и язык, резко отличимые от языка, от манеры писателей дореволю-

ционной эпохи. Стихи белые, более похожие на прозу, в них нет обычного ритма, к которым привык старый читатель, в прозе—напряженность, нарочитая недоговоренность, часто намек; чрезмерная сгущенность и насыщенность образов, нервность, недоконченность, несвязность частей, глав, иногда страниц и строк, часто упрощенность, примитив народной сказки, стилизация, разорванность, подчас символика, хаотичность. Такой же язык. Читаешь и спотыкаешься. Это—не ровная спокойная река катит медленно воды свои, а играет бурный, мятежный поток, разбивается о камни-пороги. В нем много мутного, сорного, но он по-весеннему свеж. Нравится или не нравится эта манера, стиль, язык, привык или не привык читатель, воспитавший себя на „стариках“,—тут дух времени. Россия сейчас как после землетрясения. Наблюдатель подходит к месту, где только-что бушевала огненная стихия. Лава еще не застыла, всюду бесформенные груды камней, пепла, хаос. Это—первое, что схватывает глаз. Трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, хочется охватить все сразу, а оно неустоявшееся, беспорядочное. И нервы, и сердце, и мозг потрясены катастрофой. Спокойное и ровное отношение тех, кто жил раньше в тихих усадьбах, творил в тиши кабинета,—тут физически не возможно. Потом, может быть, это уступит место более объективному, уравновешенному художественному созерцанию, когда жизнь „отстоится“, но это дело будущего, заглядывать в него бесполезно пока.

Почти все „молодые“ подражают кому-нибудь. В рассказах Пильняка нередко чувствуется А. Белый, у Лидина—Бунин, у Всеволода Иванова—М. Горький, у Ник. Никитина—Замятин и Ремизов, у Зощенко—Замятин и Лесков и т. д. Это понятно, так было—так будет, и не опасно, так как у большинства своя достаточно выявленная индивидуальность. Да и влияние часто внешнее, формальное.

В мистике новое литературное поколение неповинно. Огромное большинство „молодых“ пришло из низов, прошло школу войны, побывало в Красной армии и на фронтах гражданской войны, выварилось в котле советской действительности и слишком приковано к настоящему, к быту. „Заумные“ настроения многих „стариков“ им чужды. Тут—другая психология, иной духовный облик, другой культурный тип.

В том, что сейчас напечатано и написано, довольно ярко отразились современные революционные противоречия между городом и деревней. Городу вообще сейчас не везет. О нем пишут неохотно, он не привлекает внимания. Он отошел куда-то на задний план, может быть потому, что в городах разруха, распыление рабочего люда, что улицы порастают травой и по ним бродят свиньи, коровы и пробирается сторонкой угрюмый обыватель с кульком. В деревне покрепче, она стоит более прочно,—так, по крайней мере, кажется.

У Бориса Пильняка целая своеобразная художественная социология: он за октябрь потому, что последний освободил подлинную мужицкую Русь от цепких когтей Европы и городов. Революция противопоставила Россию Европе и, как только она произошла, Россия своим бытом, нравами ушла в семнадцатый век. Петр, самодержавие, города, интеллигенция,—все это наносное, с Запада, насильственно привитое Руси мужицкой. Православие тоже. Истинный лик Руси—в лесах, в мужицких бунтах, в сказках, в песнях. Бунтовали на Дону, на Яике, теперь дошли до Москвы, взяли свою власть и будут строить свое государство. Православие погибнет, а будет „либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин“. А города!—Пусть на худой

конец послужат они мужику. Города... „Советская власть—городам значит крышка, говорит в „Голом годе" председатель совета.—Чугунка, се-таки,—хучь бы ей издохнуть". А ему вторит дед Кононов: „Господам, к примеру, нужно ездить по начальству, либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит". И тот и другой за советы и за большевиков, но против коммунистов. Разумеется, Пильняк не против чугунки, без нее он прожить не думает, но полагает, что революция отдаст ее в конце концов в безраздельное пользование мужику, и он восстановит свой исконный быт, без Петра, самодержавия, без власти города, без поповщины и православия. В сущности, Пильняк—идеолог мужицкого анархо-большевизма. Он отразил мужицкую стихию 1918 года в своих произведениях, к сожалению, очень мало еще известных читателю, отразил наиболее полно и красочно. И тот, кто говорит,—а такие голоса есть,—что у него нет ничего своего, что рассказы его деланные и бездушные—пишут и говорят с кондачка. Свое нутро у Пильняка есть: оно анархо-большевистское, не коммунистическое, а мужичье,—и в этом отношении Пильняк для публициста и бытописателей нашей эпохи—сущий клад. Тут целая социология мужика, участника русской революции, победителя Деникина, Колчака и Антанты, но весьма косо посматривающего на город и „коммунию".

У Всеволода Иванова, наоборот, сквозит горьковская неприязнь к мужику и к его быту. Его партизаны—сомнительные и случайные революционеры. К городу они относятся сторожко. Их все время тянет к себе земля. И Селезнев и Вершинин—начальники партизанских отрядов—тоскуют по земле. Вершинин говорит про крестьян: „им на любое правительство начхать, абы их не трогали". Они способны действовать только скопом: скопом они почти голыми руками берут колчаковский бронепоезд, устилая землю трупами; в одиночку они теряются, становятся беспомощными, их героизм улетучивается. Недаром бронепоезд пришлось останавливать китайцу Син-Бин-У, легшему на рельсы, русского мужика не хватило на отдельный героический акт. Еще более сомнителен их интернационализм.„ Корявый мужиченко, партизан,—говорит Вершинину хитро:—Я тебя понимаю. Ты им вбей в голову, поверят и пойдут!.. Само главно в человека поверить... А интернасынал-то? Я ведь знаю—там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое,—скажем, пашня... Хорошее слово"... Партизаны в другом рассказе Иванова „Дите", чтобы сохранить жизнь „хрестьянскому" ребенку, взятому в плен у белых, равнодушно, как котенка, отбирают у киргизки ее ребенка, бросают в реку и заставляют молодую киргизку выкармливать „своего".

В рассказах и очерках С. П. Подьячева—это уже из стариков—деревня выступает в роли бессовестной грабительницы всякой бедноты. У Есенина, наоборот, город, это—„черная гибель" и „железный враг" родимых полей. Он уверен, что деревня в итоге пропадет от города, но еще намерен посчитаться и „отпробовать вражеской крови" и „пропеть песнь отмщения", звучащей в его устах более как крик отчаяния. За недостатком места, мы, к сожалению, должны ограничиться этими беглыми замечаниями по злободневному вопросу о городе и деревне, отложив это до другого раза. Во всяком случае, вопрос этот сильно волнует и приковывает к себе внимание современной художественной прозы.

Если у Пильняка отразилась деревня 1918 года, а в рассказах и повестях Всеволода Иванова—партизанская борьба сибирских крестьян 1918-го и 1919 го годов, то в вещах других молодых беллетристов заметно

стремление приобщиться к быту города и захватить более поздний период. И в этих вещах чаще всего находит свое выражение не героическая сторона русской революции с ее титанической борьбой против всего эксплоататорского мира, а мрачные, тяжелые условия быта— с голодом, холодом, рвачеством, цинизмом, анархией, бюрократизмом и т. д. С. А. Семенов пишет роман-дневник „Голод", где девочка-подросток повествует, как с голоду умирает в Петербурге ее семья. В другой его повести „На дорогах войны" пред читателем проходит ряд картин гражданской войны на Украйне, поражающих своей холодной, беспримерной общей жестокостью. Других, как, например, Ник. Никитина и Мих. Зощенко, тянет к художественной сатире Есть тяга к изображению безобразий, чинимых продотрядами, комиссарами, советскими бюрократами и т. д. Литература последнего сорта—да будет позволено ее назвать обличительной и критической—еще не выявилась в достаточной мере. Но это—вопрос времени. Значительным препятствием являются старые навыки и традиции в среде представителей Советской власти,—навыки, приобретающие в настоящий момент прочность предрассудка. Бояться сатиры на темные стороны советского быта вредно прежде всего для Советской власти и для всех трудящихся. Нужно перестать толковать о мрачных настроениях, о „тяжелых темах", когда темные стороны нашего быта настоятельно требуют художественного освещения. Непонятно, почему мы привыкли к газетным статьям на эту тему, и нас бросает в дрожь, как только мы те же самые мысли видим в форме художественного слова. И пора перестать искать упадочное там, где только правда, хотя бы и тяжелая, где законная тревога и боль подлинного революционера. Нужно помнить, что сейчас очень трудно быть настроенным на мажорные тона, когда миллионы людей пухнут и умирают с голода и мы доведены „культурными народами" до людоедства, а в городах изо всех щелей ползет мещанство, и господа Нэпманы заполняют кафе и рестораны и где то собираются новые тучи военной непогоды.

Последняя тема о приходе нового „чумазого" очень волнует многих писателей.

Не затем высока
Дума-правда у нас,
В соболях-рысаках
Чтоб скакали глумясь.
Не затем у врага
Кровь лилась по дешевке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки... (В. Хлебников).

Это настроение—очень глубокое и в рабочих массах, и в среде новой молодежи, и в среде коммунистов. И в нем больше здорового чутья, больше действенного, чем в штампованном оптимизме, ибо далеко не всегда такой оптимизм—показатель революционной воли и твердокаменности. В наше время за ним частенько скрывается чиновничья боязнь и нежелание беспокоить себя мрачными сторонами советского быта.

Для примера укажем на №№ 8 и 9-ый „Кузницы". Они поражают своим пессимизмом на первый взгляд и унылостью. „Лучше повеситься в ряд фонарем, склизкую муть рвать, чем одному в поле вертеть пустоту" (Полетаев). „О, проклятый, позорный жребий! Так и хочется головой о гранит" (Александровский). „Опять про осло пошлое клеймо, выжженное прошлым на лбах. А рабочих поэтов распяли на фонарных

Красная Новь № 2(6) 1922

(нужно самоопределение)

столбах" (Герасимов). Таких и подобных выдержек можно привести еще очень много из „Кузницы". И с первого взгляда может показаться, что мы имеем дело с „заумной" тоской и прочими интеллигентски-упадочными чувствованьицами. Возможно, что кое-что тут есть от усталости, голодухи, но суть не в этом. Герасимова донимает „врагов жеребиное ржание", „искрящиеся шелки совбурских дам", „кожаные галифе", и ему хочется крикнуть: „забинтуйте карминные губы,—они, как язвы, пошло сочатся прошлым!". Точно так же Александровскому „хочется головой о гранит", потому что „есть жизнь такая паршивая, такая обыденная и нелепая", которую хочется уничтожить „декретом Совнаркома". Она „глядит из глаз слепых и полупьяных, она ползет в правление, в местком, вцепившись в подол барыньки румяной" и т. д. Тот же Александровский уверен, что „мы добредем, куда надо", а другой товарищ по журналу Родов говорит: „Ничего! Устал, но молод, не прошу помочь". Пессимизм пролетарских поэтов, это—болезнь роста, чуткое отношение к действительности, переход к углубленному ее восприятию от внешнего машинизма. Иные времена—иные песни. Перелом и надлом пролетарских писателей—процесс совершенно неизбежный, и приведет он к большому художественному их обогащению, к новому расцвету и размаху их сил.

На примере пролетарских писателей можно явственно проследить, насколько осторожно следует относиться к дешевым упрекам в упадочности, раздаваемым направо и налево без разбора и без должного внимания. Но на что следует, в свою очередь, обратить внимание молодому литературному поколению и вообще писателю в условиях новой современности, это—на самоопределение. Прав был Петр Орешин, когда на одном из литературных собеседований заявил, что пора писателю точно и недвусмысленно сказать, с кем он, за что думает бороться в ближайшее время. Нам предстоит ожесточенная идейная борьба, если только новый натиск Антанты не положит конец „передышке". И в этом бою нельзя будет долго скрывать своего лица, сидеть на двух стульях, отмахиваться теорийками относительно стихийного творчества, чистого искусства. Конечно, преднамеренность нарочитая, тенденциозность вредны искусству и ничего не дадут, кроме плохих агит-рассказов и агит-пьес, но плавание без руля и ветрил, беззаботность в области общего миросозерцания, сознательный аполитизм с возведением его в божка и принцип, это—смерть для писателя в наши дни, какими бы данными он ни располагал.

Самоопределиться писателю нужно теперь, как никогда, и, конечно, такое основное широкое расслоение произойдет. Молодому писателю сейчас угрожают две опасности: „заумности" стариков и опасность сделаться идеологами нового чумазого. Вторая опасность несравненно серьезней первой. Новый мещанин не только на Сухаревке, он часто сидит в коммунисте в правлениях и коллегиях, в литературных студиях и по редакциям. Он спрашивает и требует своей литературы. И очень легко сатира может скатиться до щекотания его нервов, дойти до аверченковщинки, бесцельного зубоскальства. Рассказы могут превратиться в рассказики для бульвара, а в повестях будет „разделываться" Советская власть на потеху тому же чумазому. Такая опасность намечается уже теперь и это не трудно бы показать на примерах, если бы позволило место. Противоядие тут одно: нужно иметь „изюминку", „бога живого человека", хорошее и твердое нутро и знать, с кем идешь и во имя чего. Без минимума моральных и социально-политических устоев писатель неизбежно очутится в стане

заклятых врагов труда. А этого минимума частенько не находишь. У старого писателя, у классика такой минимум в широком смысле этого слова всегда был, потому так человечно и прекрасно было русское художественное слово. „По нынешним временам“ отсутствие этого нутра сплошь и рядом вуалируется разными ухищрениями и словесными вывертами, и возведением формы в самодовлеющий принцип. Очень удобно. Поди и разберись. Нужды нет, что разбираться в сущности не в чем, зато как „умно“ выглядит. То же самое относится и к „деланности“ художественных вещей. Все чаще и чаще встречаешь выражение: рассказ прекрасно сделан. Именно сделан. Делать рассказ, разумеется, нужно, но пусть этого не замечает читатель,—в противном случае получается нарочитость. Думается, что „деланность“ находится в тесной связи с нехваткой „нутра“ и „бога живого человека“. Наличие такого нутра избавляет обычно писателя от метания от одной формы к другой, от преднамеренной „деланности“ и чрезмерных забот об этом.

Что касается существа этого нутра, то в одном оно ясно: задача писателя сейчас заключается в борьбе с новым мещанством, которое заражает советский воздух,– с мещанством, где бы оно ни было. Борьба во имя старых, славных заветов, во имя испытанных лозунгов революции. Это—основное, остальное приложится. Это достаточно широкая „платформа“ для писательской деятельности. Мистицизм и стихийный уклон жизни к новому чумазому во всех ее областях—вот главные враги молодой литературы. Провозглашение и возведение обывательщины в принцип, как это сделал Андрей Белый, опасно не только тем, что ведет по пути отказа от „великих принципов“, но приводит как раз к этому чумазому, принижает активность, сосредоточивая ум, сердце и душу на узеньком, личном, анти-общественном, бескрылом. Это как раз то, что нужно гражданину Нэпману. Ему нужно сорвать флаги с великими лозунгами, и тогда он уже беспрепятственно займется магазинами, кафе, биржей, личным уютом, и песнь торжествующей свиньи сменит боевые звуки Интернационала. Вот его идеал. Его вожделенное будущее. Другой идеал—подчинить г. Нэпмана интересам труда, указать ему место, не дать влезть свинье на стол всеми четырьмя ногами, не дать ему испошлить жизнь, сделать совсем мутным поток революции. То, что идейно г. Нэпман пребывает в состоянии пока как бы аморфном—ничего не значит. В гуще жизни он уже орудует и накладывает на все свой отпечаток. „Молодая“ литература и молодой литератор-художник должен хорошенько прощупать этого гражданина. Не нужно понимать эту задачу в узком и буквальном смысле: изображайте, мол, гражданина Нэпмана, бичуйте его „пороки“. Мы говорим об окраске, об основном настроении, о фоне, о художественной призме писателя.

В следующем очерке некоторые положения, намеченные в данной статье, мы постараемся конкретизировать путем характеристики отдельных художников-прозаиков.

КРАСНАЯ НОВЬ 1922 № 2

Старое и новое.

(Из писем о культуре).

М. Рейснер

I.

Завтра, казалось, придут новые небеса и новая земля...

Движение было так всеобъемлюще и громадно. Оно захватывало такие веками на дне лежащие глубины. Так радикален и страшен был его убийственный удар, направленный с научной меткостью в живые центры буржуазной системы—сомнений больше не могло быть.

Завтра, именно завтра новый человек, одушевленный не корыстью, а братской солидарностью, согреет похолодевший горн, выбьет искру из стали, опустит как перышко тысячепудовую громаду на огненное тело болванки и выкует стропила дворца, созданного из тепла, воздуха и света.

Пойдут, зашагают железные слоны по полям без конца и края и причешут черную землю стальным гребнем механических плугов. Живоносные проволоки, напоенные электричеством, разнесут вплоть до мертвых захолустий потоки прирученной молнии. И расцветет земля...

Богачом станет нищий. Разожмет труженик закорузлую руку, выпрямит стан свой согбенный и впервые не как раб, а как царь обнимет взор небесные пучины. Золотые моря хлеба, наукой и техникой освобожденный труд,— наконец то настоящая подлинная культура, где артистом станет каждый труженик, а предметом искусства сама жизнь.

Мечты революции. Ее безумная творящая романтика...

Две стихии слились в русской революции: пролетарская и крестьянская, мелко-буржуазная. И если первая мыслит, то вторая мечтает и верит Не настало время еще, чтобы провести границу между ними. Но отрицать силу и значение второй уже никто не сможет.

Одни и те же слова звучали по-разному для разных классовых групп. То, что было для одних понятием, для других становилось мистическим символом. И где видел один технически построенную целесообразность, другой великолепное чудо, которое должен выполнить истинный пророк, почему-то названный товарищем Лениным[1]...

---

[1]) Так в одной из восточных окраин никейский символ веры был заменен новым, где партия была одета мистическим сиянием церкви, а Ильич превращен в самого подлинного мессию, от марксизма исходяща, раснпна и воскресша во спасение трудящихся...

У нас медленный рост производительных сил. И силы эти слагаются из напряженного движения горячих рук, из нервных разрядов творящей мысли, из точных ударов металла, из взрыва замкнутой и освобожденной стихии. Их надо как звуки в симфонии слить в одно творящее солнце, которое бесконечно умножает жизнь и дает победу.

У них—веселое, беззаботное чудо. Капризное, оно некогда ушло от человека и выбросило его из райской перины на камни бесплодной земли и черной могилы. Ибо человек пожелал стать мудрым и нравственным, и в этом был его смертный грех. Бог мудрости не любит. Но он простит, но он придет, и свершится обетование.

Без знаний, без труда, без веков стремления и борьбы, так, играючи, само собой. И у этого чуда одно желание и один план: поделить богатства и уравнять всех. А нужное—все само собой вырастет из земли. Ангелы или бесы станут на работу и доделают остальное. По щучьему велению, по моему хотению.

Спрашивается теперь, чего было больше в русской революции: Ленина или Исайи, острого света экономики, или мерцающих огней веры? Для мелко-буржуазной стихии этот вопрос решается утвердительно во втором смысле. И не потому, чтобы наше мещанство или крестьяне были особенно начитаны в священном писании, а потому, что Исайя в том или другом виде и есть самая душа этого класса.

К несчастью, слишком многое объясняется крестьянской душой в русской революции. И ненависть к городу деревни, и пьяная месть чужой культуре, и фанатизм разрушения, и подвиг красной веры, и политический анархизм, и жажда коммунистического чудотворения.

А в конце концов сладкий отдых на золотых полатях, при чем вареники сами прыгают из одной миски в другую, золотеют в масле и белеют в сметане.

II.

В каждой революции несколько революций. Это—закон. И не только в последовательной смене ее зигзагов, но во внутренней диалектике ее течений. Общий холодный и неразличимый цвет так называемой нормальной жизни разлагается в ней как в призме и сразу отбрасывает сотни многоцветных лучей.

Это же зрелище наблюдаем мы и в нашем перевороте. Особенно в нашем. Ибо у нас не доделан не только пятый год, но было не докончено даже религиозное освобождение. И не только можно различать линии социального, политического, национального и культурного спектров, но не менее революции буржуазной и пролетарской.

Последние две революции сплелись самой причудливой тканью. Державная личность буржуазии и пролетарский коммунизм, социализм крестьянского захвата и анархия нищеты, экспроприация могучей системы производства и мелкий грабеж предметов потребления, наконец оргия спекуляции наряду с социалистическим единым хозяйством—это ли не сумасшедшая трагедия, поставленная на мировой сцене по строгим законам истории?

Попробуем разъять этот закономерный хаос на его отдельные нити. Вот пролетарский коммунизм. Здесь все ясно и последовательно. С колоссальной машины общественного производства сдирается кровососная банка биржи, наполненная друг друга пожирающими пауками. Творцу возвращается его творение. На место прыгающих в смертельной конкуренции хозяев становится целый объединенный, организо-

ванный класс, который именем общества берет на себя управление общественным достоянием.

Производство... А следовательно,—не кучи сырья, не груды лома, не каучук ремней, не куски угля или поленницы дров, а целокупная связь техники и труда, глубоко целесообразный и необычайно тонкий аппарат, где именно в данной пропорции и соотношении, именно в строго продуманном порядке и гармонии, работают поршни и нервы, рычаги и мускулы, пар и человек.

Пролетарский социализм есть производственный социализм. И уже на основе обобществленного производства распределяется все, что оно дает: бесконечные змеи рельс, целые реки миткаля, водопады гвоздей, паутину проволоки, горы консервов, табуны паровозов и стаи механических зверей, которые летают, пашут, штампуют, ткут, куют, точат и режут и т. д. без конца.

В деревне этот социализм не меняет своего лица. Он также широк и расчетлив, могуч и технически совершенен. Громадная экономия, где кормят землю досыта, а берут у нее чудеса, где как в театре сегодня голубой или желтый лупин, а завтра бобрик озимой пшеницы, нынче белорозовый клевер, а там, глядишь, трезвая сахарная свекла. Пролетарское царство в селе, это—та же громадная механика, с ее монометрами и проводами, только впившаяся в землю, бросающая в нее жизнь, работающая вместе с Ярилой и дождливым Стрибогом. И конечно—единая строгая коллективная организация... Коммуния!

И такой же механизм крови. Братство умных, расчетливых рыцарей, полных размеренного огненного героизма. Сердце, охваченное идеей, рука, послушная дальномеру тяжелого орудия. Железная дисциплина—своя над собой—и сладкое слово „товарищ", рожденное в расплавленной лаве завода и здесь, на поле революционной войны, закаленной жертвой и смертью.

Есть незабвенные картины. Две из них горят в моей памяти, пока она жива. Первая. Рыбница с косыми парусами понизовой Волги. Под килем груз—мина Уайтхеда, приготовленная для наших врагов. В одежде ловцов добровольцы—наши моряки Балтийского флота. Идут на смерть: „Да здравствует Республика, обреченные тебя приветствуют!" Были узнаны и погибли.

Другая. Волга верховая. Под Нижним. В морозную стужу при свете дуговых фонарей сормовские рабочие вырубают бревна из трехаршинного льда, чтобы накормить печи и дать республике лишний маршрутный паровоз. Работают сверхурочно. Несут бревно. От усталости и голода падают вместе с ним. Поднимаются и падают снова. И опять несут. „Да здравствует Революция"...

Пролетарская революция. Выросшая из нежной стали машин. Вскормленная трудом и гением. Тончайшее произведение западной культуры, немыслимое без Фультона и Эдиссона, Гельмгольца и Маркса. Дитя пролетариата, который воспитан машиной и классовой борьбой, цивилизацией и героизмом. Величайшее творение XX века.

И рядом век XV, XIV, даже XIII. Более того—IV до нашего летосчисления. До жути яркая картина мужицкого гнева и крестьянских войн страшного суда за вековую неправду и бессильного прыжка из царства хищного капитала в царство свободного пахаря.

Еще во Второзаконии дана та экономическая теория мелкого земледелия, которая в силу божественного откровения предвидит гибель мелкого производителя. Рок неотвратим. Пахарь должен погибнуть.

Хищник и угнетатель отнимет у него землю и волю. И господь ничего не может поделать против страшного закона.

Одно лишь поэтому установил бог: через каждые 50 лет юбилейное освобождение всех рабов и крепостных с землею, с инвентарем и возможностью начать сначала игру мелкого хозяйства. Пройдут новые 50 лет, и опять надо освобождать освобожденных, ибо к тому времени снова отнимет у них богач нечестивый и землю и волю. За новым освобождением—новое порабощение—словно гигантское колесо то захватывает и давит, то на-время выпускает жертву из неотвратимых зубьев.

И аграрные революции крестьянства всегда отличались одними и теми же чертами. Охваченные вдохновением бунта поднимались они, как ангелы, восставшие против бога. И огненный столп библейского пророчества вел их—язычников, евреев или христиан—все равно—от победы к победе, и над каждой господской усадьбой свивался он дымом пожарищ. Земли и воли!..

Горели ипотечные книги и ненавистный процент, под ножом падали господские стада, а торжествующие патары, Жаки, Михели, Джон Боллы и рассейские Иваны громили барскую мебель и упивались краткой минутой могущества и свободы. Поделив добычу и землю, расходились по домам, где шли в поле или, сытно покушавши, ложились спать. Земля и воля.

Пробуждение по общему правилу было ужасно. Разрозненных, распыленных, неспособных ни к какой длительной организации, их вырезывали в одиночку как баранов чудесно воскресшие господа, а уцелевшим на упругую шею налагали двойное и тройное ярмо. Ни земли, ни воли...

Только под командой революционной буржуазии могли они во Франции получить свои крохотные парцеллы, только в союзе с пролетариатом сумели они в России не только захватить, но и удержать миллионы десятин их сиятельств, степенств и благородий. Лишь благодаря пролетариату и вместе с ним удалось вечным рабам земли снять словно бритвой своих прирожденных врагов. Скатертью дорога!

Древний и страшный лик у крестьянской революции. И недаром те, кто с грязным любопытством Хама стремится опозорить нашу победу и разоблачить стыд ее, с такой настойчивостью всю сводят ее к одному голому мужицкому бунту—даже не революции—и с упоением славят разинщину да пугачевщину.

III.

Война была матерью русской революции. Империалистская война. И странно, умные проницательные люди как слепцы не видели тогда ничего. А между тем на их глазах каждый день с упрямым постоянством и механической точностью понижался уровень живых вод, все медленнее текла струя, все скорее уходила в землю. С часами в руках можно было рассчитать, когда высохнут последние капли...

Не видели и того, что с каждым днем кривился, оседал и рушился их приличный старый дом, срывались с петель окна и двери, и приходилось все крепче стягивать железом уцелевшие стены, чтобы они не рухнули совсем. Странно чужим стал он наконец, и новые жильцы появились в нем.

В одних комнатах захлебывался разгул, визжали пьяные кошки

и стонал распущенный зверь. Мазали горчицей Рафаеля, салом пятнали Менье. В других беспомощно. как вздох прорвавшихся мехов, хрипела агония, и жалобно пела горькая слеза. Оттуда выносили окровавленные тряпки и что-то завернутое в них.

Не замечали ничего. И, вращаясь на колесе под рукой палача, притворялись, что будто бы сами выдумали себе новое и прелестное развлечение—новые масляничные качели. И бодрились, и делали вид, и пыжились в патриотическом самодовольстве, и заражались ядом кровавой рулетки и грабежа.

А за их спиной мобилизовали миллион за миллионом, пока к концу 16-го года не подняли четырнадцатый для начинки облезлых окопов и фарша из рваной и стреляной человечины. Они не видели и того, что благодаря мировому землетрясению великие превращения легли среди старого привычного общества.

Словно трещина прошла через всю толщу народной жизни. На одной стороне под знаменем „войны до конца" образовалась колоссальная опухоль, которая сосредоточила в себе судорожно работающую машину военной промышленности и притянула все уцелевшие силы страны, а на другой все дальше и дальше раздвигала свои гнойные края грандиозная язва голода, грязи и варварства.

Революция остановила тяжелую болезнь. Но кое-в-чем сама стала ее наследием и жертвой.

Не революция, а война первая измерила тонкость кожи, ограждающей пульс алой жизни, и беспомощность в черепе раскрытого мозга. Война первая изобрела игру, где вместе с людьми гасли целые миры, а великое будущее становилось жалким, раздавленным, прошедшим. На ее полях совершилось освобождение человека от человека и... человечности.

Истинное завершение буржуазного освобождения личности. Индивидуум, дозревший до злодеяния. Сверхчеловек, перешедший от легального удушения на рынке к не менее легальному и почетному убийству на войне. Даже не голый человек на голой земле, а прямо механический истребитель нежелательного конкурента.

Наша зарубежная печать надрывается над „зверствами и свирепостью большевиков". Странно. Почему она не оглянется немного назад—на тыл и фронт империалистской войны? Там она нашла бы достаточное объяснение последующего огрубения нравов.

Заграничные святоши не менее сокрушаются о нашем неуважении и к вечным принципам справедливости и права. В особенности рыдают они над могилой частной собственности. Но и здесь приходится указать на училище правоведения, пройденное нами с отличием на войне.

Разве там не было произведено некоторых блистательных экспериментов, которые весьма убедительно выявили истинную природу права?

Штык был первым учителем, голод—вторым. Характерно, что незадолго перед войной у нас зачитывались Джеком Лондоном. В теплой комнате после сытого обеда так остро щекотали нервы его рассказы о пустынях Клондайка, где голодный человек превращался в один разъяренный желудок с дрожащими членами и оскаленным ртом. Разве то был человек?—В борьбе, которая решалась крепостью кулака и меткостью железа! Нас очень забавляла та легкость, с которой спадала как скорлупа вся пресловутая цивилизация с человека, раз только он оказывался среди вечных снегов.

И голод пришел к нам. Не только в промозглую конуру рабочего.

Он притаился за портьерой адвоката, в книгах ученого, под калькой инженера. Его роковую близость поняли те, кто считали себя так надежно и плотно укрытыми. Рушились высокие подмостки, и внезапно ощущали падавшие холодное прикосновение пропасти.

Карабкались и рвались к жизни. Кто как умел и мог. Один спасался как мешечник, скрюченный на тормозах. Другой продавался в шпионы или палачи. Третий обдирал нужду и из ее лохмотьев мастерил капитал, четвертый грабил официально как власть. Пятый обкрадывал трупы. От экономически организованного, политически осознанного, морально сдержанного общества не осталось почти ничего.

С каждым днем гасли наши производительные силы. Капитал, который некогда служил производству и в труде рабочих находил вечный источник своего обновления, теперь завертелся в спекуляции, ушел в дело массового, систематического, последовательного разрушения всего, что он раньше создал, стал костенеть в громадных мертвых запасах, бросился в дикое ростовщичество, где кредитором явились ряды еще нерожденных душ.

И на смену падающему XX веку капиталистического производства постепенно стали вставать на историческом кладбище старые знакомые: поезда, превратившиеся в дилижансы, фабрики, работающие как древняя мануфактура, земледелие на липовой сохе и капитал, питающийся ростовщичеством и разбоем, спрятанный под кроватью в глиняном горшке.

Революция отдала все лучшие свои силы, чтобы остановить это сползание назад, в давно пройденные болота и обвалы прошлого. Из XX века—ко временам нищеты, лености и неравенства. Но блокада и гражданская война оказались сильнее. Пришлось шаг за шагом отступать с горы, обагряя кровью каждую отданную ступень. Советы спасли, но многое отдали.

В своих горных крепостях—на фабриках и заводах—удержался пролетариат. Но снизу из долин поднялись как встарь древние люди. Своими назвали они покинутые замки. А насыпи, бетон, дренажные канавы распахали под свое замкнутое, натуральное хозяйство. Явились новые классы, а с ними новая мораль.

IV.

Мы теперь хорошо знаем, что такое революция. Ее механика до крайности проста. Пример? Взрыв любого парового котла. Безмерное нарастание сил, не находящих выхода. В результате колоссальное давление. И... взрыв, который разносит вдребезги негодную машину и расточает в пространство полезные рабочие силы.

Революция сама не творит ничего. Она дает выход и расчищает путь. А то, что творит в ней—это под спудом лежавшие классы, до революции накопленные силы, та сдавленная под страшным гнетом энергия, которая несет в себе не только семена, но полураскрывшиеся почки, полузадушенные ростки. Легко размывает весенний ливень кочку, поднятую прорастающим стволом.

Нужен, однако, исключительный по силе удар и даже несколько следующих один за другим толчков для того, чтобы размозжить уже расшатанную машину государства с невидимым аппаратом интересов и привычек, эмоций и рутины, идей и кумиров. Поэтому всякая рево-

люция есть прежде всего и больше всего страсть, жаждущая обладания. Лишь она может так разрушать.

Отсюда мистика и романтика революции, ибо нет и не может быть точных понятий, которые могли бы вместить в себя бури и вихри эмоционального цикла она. Отсюда ее жгучая нетерпимость, так как этого требует закон сосредоточения сил. Отсюда, наконец, ее несравненный материализм, так как лишь акт обладания дает новую жизнь.

Страшна внешняя война. Однако в известном смысле страшнее гражданская. Революция победила... Восставшие в стане врагов. И здесь жестоко мстит за себя то отчуждение, которое легло между народом господ и народом рабов, между культурой, выросшей там, наверху и варварским бытом загнанных туда, вниз. Самые великие ценности первых мертвы для вторых, а для многих превращаются в злые символы, ибо подсчитываются капли пота, из которого созданы золотые ножки стула, и взвешивается кровь, запекшаяся в драгоценном чепце. Узнают свою украденную жизнь и разбивают фиалы об пол.

Но многие влекут к себе, в свои постылые логова нежные и ядовитые цветы, выращенные на горячем кровавом навозе в оранжереях господ, и пробуют пересадить в песок и пепел своих жилищ. С удивлением наблюдают их смерть и черные трупы выбрасывают вон. Другие умнее. Те прямо грабят на вес, на золото, а награбленное зарывают в землю.

Среди нового встает старое. Накопленный годами гной вздувает пузыри. Горячечное тело, впервые открытое солнцу и ветру, мешает загар революции с упорною сыпью тюремной ямы.

Мещанство—вот проклятие нашего прошлого, которое бьется под знаменем контр-революции, вплетается в гимн революции и проникает своими спорами весь наш быт. Тупое и злобное, жадное и косное, оно свило себе теплое гнездо во всех складках и углах нашей старой жизни. Медленно тянулась эта жизнь, порой застаивалась и загнивала, порой заполняла бездонные трясины. И как черви роились в ней мещане.

Революция выплеснула их на берег, прошла водоворотами по застывшим омутам, вырвала с корнем заросшие плотины. Но как по Волге в половодье несутся жирные пятна глины и грязи, так и на лоне революции много старого гноя прошло, а порою и засохло.

НЭП. Быт экономический. Азарт добычника и прибыльщика. Бросаются друг на друга и не разбирают больше, пролетарий перед ними или спекулянты, общественное учреждение или шкура шакала. Государственный трест старается сорвать с такого же треста. Ради прибыли заводят шикарные кафэ-шантаны. Почему бы не старую добрую винополию, тотошку и... дома свиданий?

Вылезли окаянные из всех щелей и трещин. Долго выжидали в подполье: когда же? Только и утешения было, что собирались как заговорщики и на тайной бирже играли в мертвые акции и нарисованные бумажки. А теперь появились на свет—все лисьи, хорьковые и волчьи морды. Засветились стеклами торжища, завертели колесо. Проедают ходы в советском фундаменте.

А вчерашний день—национализация... Разве не они, слепые и алчные, тупицы революции, превращали в несчастие и трагедию самые великие ее благодеяния? За луковицу тащили бабу в чрезвычайку, а мимо носа пропускали крупного грабителя, разрушали дома, чтобы вытащить один кирпич, по винтику растаскивали фабрику и „по неосторожности“ сжигали остальное.

Как крупный песок, попавший в машину, рвали они тело революции в ее самом ценном—социалистическом хозяйстве. Рвали и питались. И если бы не громадный избыток энергии и подвига у рабочих станка и плуга, давно бы задушили и дорвались.

А быт политический? Кто и здесь сумел сохранить преемственность управы благочиния с ее промозглым духом взятки и холодной? Все они же—российские мещане из вчерашних благородий и писарей, умных мужичков и целовальников, разжалованных господ и фабричных с землицей и домиком. Кого только ни встретишь в рядах этих почек и бутончиков новой русской буржуазии. Бывший князь рядом с бывшим пролетарием.

Они жаждут порядка в государственном масштабе. С выпушками и кокардами. В свое время мне по должности политического работника пришлось снять со стен одного флотского учреждения ни больше и ни меньше, как громадную медную доску в память открытия хлебопекарни в присутствии нашего... и прочая и прочая, товарища Имярека, который обладал не только сокровищницей с мандатами необычайной длины, но и целым погребом с благодарственными адресами, альбомами и подобными сувенирами. Лишь при последней чистке, как слышно, он вылетел наконец из партии.

В чисто мещанском стиле у нас кое-где начинают складываться даже зачатки казенной метафизики, своего рода музея деревянных фигур. Зародыши новой сословности. Обращение классовых понятий в какие-то особые звания и чичы. Так недавно в один из подмосковных советов поступило прошение одного обывателя о снятии с него звания буржуя и пожаловании пролетарским чином. Совет постановил просьбу „отклонить"...

Хорошо еще, что пока дело ограничивается пустяками. Скверно будет, если мещанство заползет к нам в наш строй советов и там попробует перекрасить, подремонтировать на испытанный фасон.

За государством следует церковь. Уже не Исайя, а просто поп. Всех цветов, обрядов и исповеданий. Ибо мещанин не может без бога высасывать брата своего во бозе, без небесного рая творить ад на земле, без чудесного очищения хранить мир занавоженной совести.

И чем дальше отходит гроза, глуше раскаты и слабее зарницы, тем слышнее голос колокольной меди и быстрее бьют поклоны человеческие церковные стада. О, великое чудо! Вчерашние атеисты крадутся к отреченным алтарям, холодные согреваются новым жаром, претерпевшие до конца прямо возносятся к святой Пятнице и святому отцу нашему Аллилуйе... Разочарованные в уме ищут безумия.

Но хуже другое. Мещанин и в коммунизме видит крещение, в революционном долге обряд. Из марксизма стремится соорудить Филаретов катехизис, а из партийной программы—рекрутский устав. Диктатура пролетариата для него не то папа, не то всесвятейший собор. Он желал бы все наши партшколы превратить в епархиальные зубрильни, а пролетарские университеты в семинарии для натаскивания.

Слово для него заменяет сущность, буква—жизнь. Узкий фанатик—он желает во что бы то ни стало навязать свою догму пролетарию и очень поражен, что тот зевотой отвечает на затверженные слова, граммофоном напетые речи. Но еще больше поражается такой начетчик и звонарь, когда внезапно убеждается, что и крестьяне и рабочие живые люди, а совсем не те оловянные солдатики и деревянные куклы, за которых он их считал...

V.

Тяжелее всего сейчас романтикам революции. Так близко от них вспыхнуло видение золотого века. Обожгло их сердца. Как струна потянулась их воля к одному сияющему центру и вот, кажется, оборвалась.

И уже ходят печальные слухи. Там застрелился, придя домой, один из героев войны. Не выдержал мелкой и гнусной придирки. Лишняя капля переполнила чашу. Как кровь лежит пролетарский орден на остывшей груди. А там говорят о преждевременной смерти молодого рабочего, члена союза молодежи. И тоже из-за пустяков.

Таких случаев не мало. Одних выпила революция как жадная любовница до последнего глотка. Другие, отдельные былинки, были сжаты бурей в крепкий сноп, а теперь развалились и не нашли в себе ни воли, ни силы. Третьи, ослепшие от восторга, взяли на себя подвиг неимоверный и не смогли поднять...

Правда, и мыслящим сейчас трудно разобраться. Так перемешались два вражеских стана, впились друг в друга, как два зубчатых колеса. Противоречия растут. Социализм, ведущий биржу, пролетарий, царствующий над буржуа. Собственник под охраной рабоче-крестьянской милиции. Где здесь свое и чужое, где враг и друг?

Война белых и красных, с ее четкостью шахматных фигур и режущей линией фронта, перешла в сплошное поле отдельных схваток, где бьются отрядами, толпами, одиночками. И оружие переменилось. Вместо шашки, пули и штыка—соперничество, везде и всюду, многообразное, настойчивое—в производстве, в обмене, в культуре, в этике, в науке.

Вот откуда у пролетария такая жажда внутреннего обогащения. Рабочие факультеты переполнены. И если бы число их сейчас увеличить в сто раз, то точно так же все они были бы до краев полны этой невиданной в наших университетах массой. Какие только мучения и мытарства готовы они переносить, лишь бы дорваться до вожделенной науки!

Правда, есть среди них тоже добычники и мещане. В старых университетах едва ли не они составляли большинство. Это карьеристы, рвущиеся к дипломной профессии. Жаждущие золотых очков и значка на обшлаг. Тысячами штамповала старая школа эти медные лбы дипломами первой и второй степени. Они и теперь гримируются пролетариями, проползают на рабфаки и назубривают что угодно на зачеты.

Но большинство сейчас принадлежит не им. Масса, наполняющая теперь высшую школу—вчерашние ее отверженцы. Как андерсоновская принцесса купила себе дар божественного танца болью пронзенных кинжалами ног, так и они учатся мыслить страданием впервые напряженного мозга. Страданием учись—так гласила надпись на древнем эллинском храме.

Но одного знания мало. Нужна культура. Где она? Говорили о культуре пролетарской. Мешали красную краску с заводскими колесами. В качестве кухмистеров позвали футуристов, кубистов и иное мистическое отрепье умирающей буржуазии.

У пролетариата до революции была одна своя культура: стачек и социализма. Лишь после революции начинает пролетариат творить свою культуру, начиная от чистоты в клозете и кончая новой этикой.

К сожалению, наши официальные культуртрегеры не всегда были достаточно тверды в сих предметах, а порою даже сомневались в их надобности: дескать при наличии производственного базиса нужно ли хлопотать о столь ничтожной надстройке?

В результате масса, предоставленная себе самой, прослоенная и без того крестьянской анархией и мещанской грязью, потащила в новый дом чужую рухлядь.

Поднявшийся пролетариат часто не находит себе ни воздуха, ни света. До такой степении все вокруг него загромождено не только старой культурой, но ее отбросами.

В свое время прыщавые гимназисты и юнкера бравых лошадиных училищ старались превзойти друг друга в барковщине и венерическом удальстве. Теперь на улицах районов встречаешь иногда молодежь, которая не без успеха изображает из себя по крайней мере бывших военных писарей с их вонючей галантерейностью.

А на улицах афиши с надписью: „Преступная страсть и кровосмешение“, „Джек-потрошитель“, „Похождения маркиза де-Сад“ или вход в дешевый, общедоступный шантан, где ходит кверху ногами замученная халтурой женщина, разделывается танго сверхапашей, а какие-нибудь Бим-Бомы преподносят шуточку: изображают переехавших на новую квартиру жильцов и примеряют, что им делать с портретами Ленина [redacted]—Оказывается одного надо повесить, а другого к стенке поставить... Воспитательное зрелище.

К духовным кастратам часто приходится итти учиться пролетарию с победным венцом на голове, жаждущему радости и красоты, знания и мысли. Жалко смотреть, как пролетарские поэты обдирают свои крылья на крючьях изломанного изыска, шепеляво щелкают и свистят, чтобы стать похожими на „настоящих“ арлекинов слова.

Культура наша! Она придет вместе с новой жизнью и ее отвердением. К несчастию, мы все заняты другим.

А, между тем, как много можно было бы сделать... Но об этом в другой раз.

Аскания-Нова.

Мих. Завадовский.

В сорока верстах к северо-востоку от Перекопа в Днепровском уезде, Таврической губернии, находится широко известное миру имение б. Ф. Э. Фальц-Фейна Аскания-Нова. Это степной зоопарк, не имеющий себе равного по широте акклиматизационного опыта. По праву Аскания-Нова стяжала себе широчайшую известность, о чем свидетельствует литература на различных европейских языках. Нам известно более сорока статей на русском языке, двадцать три на немецком, три на французском, три на польском и т. д.

О глубоком интересе к Аскании свидетельствует неоднократное посещение этого имения многими видными представителями европейской и русской науки (Гек, Матчи, Насонов, Сушкин, Козлов и мн. др.).

Чтобы читателю было ясно, чем была Аскания с внешней стороны в период своего мирного существования, я позволю себе процитировать страничку впечатлений 1913 года:

„Аскания-Нова—это уголок далекого русского юга, расположенный недалеко от берегов Черного моря. Там легко дышится среди вольных степей, среди гомона птиц, среди мирно пасущихся представителей животного мира далеких стран...

„Расположена Аскания среди ровной, невспаханной степи, на которой она кажется оазисом. 500 десятин целины, непосредственно прилегающей к парку, частью поросших высоким ковылем, являются достоянием обширных стад разнообразных парно- и непарнокопытных. Кругом—лишь широкая, глубоко задумавшаяся, дышащая спокойствием к вечеру, степь; или она же наивно лживая в жаркий солнечный полдень, когда желтоколосный хлеб, да редкие деревья на далеком горизонте погружаются в тихие зеркальные воды миража.

„Непосредственно к дому владельца примыкает старый тенистый парк, полный жизни и движения.

„Прежде всего вы попадаете в царство мелкой по преимуществу воробьиной и голенастой птицы, даже в Аскании томящейся за решетками. Меж растущих в обширных вольерах дерев струятся ручьи чистой воды. Кругом поразительная чистота.

„Многочисленные птицы то влетают через окошечки в зимнее помещение, где скрыты их гнезда, то забиваются в густую чащу листвы. Голенастые преследуют в воде добычу.. Возня, писк, резвый полет говорят об относительно хорошем самочувствии узников. Кругом на полной свободе порхают канарейки и китайские соловьи.

„Под ногами бегают маленькие, высиженные в инкубаторе южно-американские страусы—нанду. Поодаль прохаживаются не боящиеся человека дрофы.

„Вы направляетесь в парк, покрытый сетью каналов, где вас встречают важно и осторожно ступающие венценосные журавли. По каналу, рядом с аллеей, смело подплывают что-то шепчущие австралийские черные лебеди с молодым поколением, в еще сером пуху. Из-под ног то здесь, то там взлетают тяжелым лётом фазаны, в большом количестве населяющие парк и украшающие его яркими красками. Встревоженные, они наполняют стрекотом и парк и степь.

„Когда остаешься один среди этой своеобразной природы, на минуту чувствуешь веяние первобытной нетронутости.

„Вы выходите из парка на берег пруда... Открывается прекрасная панорама.

„Сквозь просвет меж двумя островами с высокими берегами, поросшими кустарником и деревьями, виден противоположный низменный берег пруда... Там—излюбленное место фламинго... Живописной группой они, в своем нежно-розовом оперении, с огненным цветом распростертого крыла, на высоких, стройных, карминово-красных ногах, с гибкими тонкими шеями, дают всему окружающему колорит изящества. Берега, склоны островов и вся водная гладь покрыты многочисленными видами гусей и уток. А дальше, за прудом, участок, поросший буйной травой степи; его населяют оригинальные патагонские зайцы, там щиплют траву австралийские гуси, прогуливаются журавли и цапли. Порой на холме, на фоне голубого неба, вырисовывается сильная и стройная фигура оленя.

„Идете берегом пруда... Утки, гуси проворно бросаются в воду. Спокойно проплывают белые, черные австралийские, белые с черной шеей южно-американские лебеди.

„Миновав окаймленный парком берег, вы вышли на открытое ровное место...

„С криком поднялось стадо огорей и нильских гусей и, покруживши над прудом, потянуло в сторону. Опустилось в степи.

„Затрубили зычно лебеди, загоготали гуси, закрякали утки...

„Легко дышится среди гомона пернатого царства.

„Поплыли красавицы краснозобые казарки... Вот пускает пузыри по водной глади японский красный карп—хигон.

„Фламинго, завидев человека, осторожно отходит на середину пруда. Красивые австралийские гуси, проводящие почти весь день на суше, направляются из предосторожности к воде Вдали прохаживаются и, изредка сделавши своеобразное па, расставивши крылья подобно аэроплану, кружат друг вокруг друга венценосные журавли.

„Сворачиваете налево по широкой полосе низкорослой травы... Близко подпустивши, комично прыгая на все четыре ноги, как на деревяшках, поскакали патагонские зайцы и, чудно поводя ноздрями и насторожившись, вновь уселись поодаль.

„Оглядываешься и дивишься: сколько любви, сколько внимания, забот, средств затрачено на создание и поддержку этого уголка. Пруд искусственно заполняется водою... Исчезни водопроводные трубы... выпило бы жаркое южное солнце его воду.

„Как обдуманно оформлены берега прудов и островов; здесь и крутые и пологие, сухие и болотистые, поросшие и голые участки. Выбирай, птица, какое нравится пристанище.

„Подходим к забору... Нанду подает знаки своему многочисленному потомству и уводит его в сторону...

„Подымаемся по лестнице на вышку, представляющую собою площадку, расположенную над забором. В степи живописными группами расположились представители млекопитающих. Здесь: оленебыки, козероги, бубалы, нильгау, блесбоки, прыгуны, гну, гарны, маралы, благородные и свиные олени, аксисы, лани, муфлоны, гривистые бараны, газели, ламы, сайга и т. д. Вдали прыгают кенгуру, поводят крыльями страусы, одиноко бродит эму. Родственные формы держатся группами несколько обособленно. Одни мирно пасутся, другие отдыхают, третьи, упершись лбами, скрещивая рога, пробуют осилить друг друга.

„Время-от-времени кто-либо из животных энергично стучит рогами о ветви сухого срубленного дерева, брошенного среди жаркой степи.

„Немного в стороне, у искусственно-поддерживаемого водоема, дает небольшую тень группа деревьев.

„Около 6-ти часов вечера картина меняется. На поле привозят арбу-две кукурузы, которой с большой охотой лакомятся животные.

„Открывается оригинальное шествие... За арбами доверху наполненными кукурузой, нетерпеливо шествуют тяжеловесные оленебыки, стройные миниатюрные газели и антилопы гарна, ветвисторогие олени и горбоносая сайга, гордые козероги, антилопы-прыгуны, важные ламы, желтые бубалы, белолобые быки, скромные лани, а откуда-нибудь, галопом, нагнувши бородатые морды, вертя поднятыми кверху хвостами, комично подбрасывая заднюю часть корпуса, скачут голубые, полосатые гну. Спокойно выступают величественные африканские страусы, застенчивые нанду и надоедливые эму.

„Прогулка среди мирно щиплющих траву животных доставляет истинное наслаждение. Лишь пугливые кенгуру да осторожные козероги, сайгаки и гарна не позволяют близко подойти к ним.

„Есть и буяны-самцы, но они по-одиночке сидят в загонах.

„В стороне от парка находятся загоны, где содержатся старые бодливые зубр и бизон, куда на ночь загоняют часть животных, пасущихся на вольном пастбище. С чувством глубокого удовлетворения смотришь на стада яков, зебр, оленебыков, оленей гну, лам, нильгау и других, пасущихся на совершенно открытой, вольной, поросшей густой высокой травой степи. Животные весь день проводят в степи, а вечером под руководством верховых пастухов направляются к загонам.

„Еще дальше, в стороне, пасется рогатый домашний скот в перемежку с зубрами, бизонами, зубро-бизонами, зубро-быками, бизоно-быками и другими гибридами. Что-то грозное и могучее чувствуется в их громоздких, крепких фигурах и диких налитых кровью глазах, провожающих любопытствующего.

„От стада парнокопытных отправляемся к табуну лошадей, в котором ходят дикие лошади Пржевальского и гордость Аскании зеброиды.

„Кругом жизнь... жизнь полная красок и содержания для испытателя природы...

Но Аскания интересна не только своей необычной показной стороной, а также теми серьезными опытно-научными тенденциями, которые, видимо, прочно начинают прививаться в этом замечательном учреждении.

Все вышеуказанное привлекло внимание русского правительства мирного времени и Временного, которые поставили на очередь вопрос о приобретении Аскании-Нова в собственность государства, как национального заповедного и опытного государственного имения. Планы о национализации Аскании осуществлены Советской властью.

Внимание русского правительства к Аскании-Нова еще ранее выразилось в том, что при указанном зоопарке была учреждена хорошо оборудованная зоотехническая лаборатория, находившаяся в заведывании министерства внутренних дел. Были заарендованы специальные постройки и сооружены вольеры и загоны.

В Аскании-Нова мы устраиваем следующие весьма ценные составные части:

а) собственно зоопарк со степными пространствами и ботанический сад,

б) участок заповедной степи 500 десятин,

в) зоотехническая лаборатория,

г) отделение опытной зоотехнической станции Петровской с. х. академии,

д) музей при зоопарке,

е) библиотека,

ж) благоустроенная экономия и земельные угодия.

Зоопарк характеризуется прежде всего тем, что разнообразные представители животного мира разных стран света находятся на полной свободе в открытой Таврической степи в естественных природных условиях.

Участок земли, предоставленный животным, обнимает собою: около 500 десятин собственно степи, 36 десятин зоопарка, из коих $^2/_3$ заняты степью и прудом и $^1/_3$ парком, 70 десятин ботанического сада, 20 десятин площадь внешнего пруда в полую воду.

Животные и птицы частью находятся на полной свободе в парке, в степи, ботаническом саду, частью размещены в хорошо оборудованных постройках и вольерах.

К 1 июня 1920 года в Аскании насчитывалось 237 млекопитающих 30 видов и 1.420 птиц 119 видов.

Заповедная степь обнимает 500 десятин и представляет собой огромную научную ценность, как „памятник природы". Она дает представление о естественном ходе эволюции степной растительности без грубого непосредственного вмешательства человека.

Зоотехническая лаборатория[1]) размещалась в 4-х комнатах в заарендованном государством небольшом доме. При лаборатории находилась квартира заведующего, постройка для опытных животных из 5-ти изолированных помещений и три просторных вольера. На другом конце экономии находится домик с квартирой ассистента и помещение для животных; в ста, приблизительно, саженях расположены принадлежащие лаборатории загоны для крупных млекопитающих. Лаборатория была оборудована микроскопами и иным научным инвентарем.

Отделению опытной зоотехнической станции Петровской с.-х. академии было предоставлено помещение на окраине экономии в районе так наз. цегельни.

Музей при зоопарке, в котором собраны коллекции чучел животных, павших в Аскании-Нова и убитых на перелете, представляет

---

[1]) Организована проф. Ильей Ивановичем Ивановым.

также значительную ценность; в нем собраны коллекции местной перелетной птицы, представляющие наибольший интерес, коллекции птичьих яиц; имелся, но в настоящее время погиб, весьма ценный гербарий степной растительности, собранный Почесским и Ф. Э. Фальц-Фейном; имеется весьма ценная коллекция черепов домашнего рогатого скота и его диких родственников, черепа дикой монгольской лошади; хранится археологическая коллекция из местных курганов, коллекция негативов 1.500 штук снимков из жизни Аскании-Нова и пр.

Библиотека научного содержания, небольшая по размерам, обнимает литературу по естествознанию, географии и сельскому хозяйству с отделом об Аскании-Нова, всего 562 названия на русском, немецком, английском, французском и польском языках.

Экономия и земельные угодия обнимают площадь в 20.000 десятин земли.

Экономия, в свое время весьма благоустроенная, включает в себя два больших дома самого владельца Ф. Э. Фальц-Фейна, из коих один в два этажа, приезжий дом, дом для конторы, родового архива и кладовой, обширные хозяйственные постройки, школу, церковь и более 15 построек для служащих. В экономии имеется электрическая станция, хорошо оборудованная мастерская, кирпичный завод. Вода подается водонапорной башней большой емкости, которая и обеспечивает в значительной степени существование этого мирового учреждения.

До 1917 г. посевная площадь обнимала 3000 десятин, сенокос 8.000 десятин, выпас 3.000 десятин.

Крупное овцеводство экономии насчитывало более 45.000 голов, рогатый крупный скот насчитывал более 1.000 голов; был свой конский завод.

Современное положение Аскании-Нова.

Бывший владелец имения, создатель и вдохновитель Аскании-Нова Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, покинул Асканию-Нова более 4-х лет тому назад и с той поры не имеет с ней связи; в настоящее время он лежит в могиле в Германии.

Хозяином Аскании является Украинская Советская Республика.

Зоопарк вследствие военных действий, постоев войск обеих борющихся сторон, пострадал, главным образом, в смысле уменьшения численного состава животных, что выражается в следующих цифрах: млекопитающих к 1-му января 1920 г. числилось 284 штуки 37 видов, к 31 мая 1920 г. их состояло 237 штук 30 видов; летом 1921 г. насчитывается 27 видов. Часть из оставшихся редких млекопитающих обречена на вымирание, если своевременно не будут приняты меры. Я имею в виду белохвостых гну и козерогов, среди которых остались только самцы, и голубых гну с антилопой и нильгау, среди которых остались только самки.

Птиц к 1 января 1920 г. насчитывалось около 2.376 шт. 151 вида, к 31 мая 1920 г. их состояло около 1.420 шт. 119 видов. Число их значительно сократилось в 1921 г. и пало ниже 100 видов. Фазаны, в массах населявшие зоопарк и ботанический сад и наполнявшие звуками парки и степи, значительно убыли в числе. Причиной тому—сокращение числа выводков и яйцекладки, что стоит в зависимости от передвижения в степях Аскании воинских частей в 1919, 1920 и 1921 годах. Передвижение воинских масс совпадало с весенним периодом.

Что касается рыб, то большая часть из них погибла вследствие безобразий проходящих воинских частей и недостатка воды в каналах и прудах; последнее находит себе объяснение в сокращении деятельности водонапорной станции, из-за недостатка топлива. Дальнейшее уменьшение подачи воды грозит вызвать полное осушение водоемов, могущее повлечь за собой очень крупные потери в водяной птице, в оставшейся рыбе и среди растительных насаждений, за невозможностью производить поливку последних.

Загоны, изгороди, вольеры в некоторых местах разобраны и требуют немедленной починки.

Заповедная степь полностью сохранилась, ввиду отсутствия каких бы то ни было запашек на земельных угодьях Аскании-Нова.

Зоотехническая лаборатория наиболее пострадала: увезены и украдены микроскопы, уничтожена часть реактивов, погибли опытные животные, весь инвентарь лаборатории приведен в хаотическое состояние, вольеры разобраны.

Музей сильно пострадал в течение последнего года: совершенно уничтожены коллекции яиц, собиравшихся в течение 25-ти лет, бабочек и насекомых. Совершенно сожжен гербарий, увезена коллекция старинного оружия, сорваны этикетки с большинства шкурок птиц, уничтожены этикетки на археологической коллекции, около $^1/_3$ чучел испорчено, из 1.500 негативов, хранившихся в музее,—уцелело 1.000 штук наиболее ценных.

Несмотря на эти сериозные разрушения можно констатировать, что наиболее ценные коллекции сохранились; так, сохранилась представляющая большой научный интерес коллекция птиц, убитых на перелетах через Асканию; цела коллекция шкур и черепов млекопитающих.

Библиотека в значительной своей части уничтожена: часть увезена офицерами добровольческой армии при отступлении, часть разобрана и сожжена советскими частями.

Экономия. Разрушения в экономии коснулись по преимуществу жилых помещений, сельскохозяйственного живого и мертвого инвентаря. Совершенно уничтожена,—увезена или изломана,—обстановка домов владельца, приезжего дома и конторы; частью разорены изгороди; разорен мертвый с.-х. инвентарь. Сокращение живого с.-х инвентаря выражается в следующих цифрах:

	Было ранее.	Имеется к 1 июня 1920 г.	Всего убыло.
Лошадей	400	51	396
Волов	1 000	50	950
Коров	300	4	296
Бугаев производителей	6	6	—
Верблюдов	120	86	34
Свиней	200	68	132
Овец	45.000	5.000	40.000

Число животных сельскохозяйственного назначения значительно сократилось в период октябрьских боев 1921 г., но в настоящее время имеет тенденцию к повышению в связи с энергичными мерами государственной власти. В частности количество голов овец возрасло до 8-ми тысяч, возрасло количество лошадей и коров.

Электрическая станция, водонапорная башня, мастерская и кирпичный завод сохранились.

Общий итог: Аскания продолжает в своем израненном виде сохранять свою мировую ценность и требует к себе прежнего концентрированного внимания.

Зоопарк можно считать сохранившимся и обеспечивающим дальнейшую научную работу.

Восстановление многого из утраченного возможно и в нынещних условиях [1].

Научная и хозяйственная заслуги Аскании-Нова.

В обществе существует не совсем правильное представление, что Аскания-Нова—всего лишь необычайный зоологический сад, в котором животные бродят на просторе степей в естественной обстановке. По существу же Аскания-Нова представляет собою огромное опытное учреждение научно-теоретического и прикладного характера, пребывавшее, правда, без надлежащего единого научного руководства, но и в таком виде уже давшее и еще более обещающее дать весьма ценное наследство.

Необходимо подчеркнуть, что для Российского государства, оскудевшего не только мертвым, но и живым хозяйственным инвентарем, подобное учреждение может и должно оказать неоценимые услуги в деле строительства и воссоздания нормальной хозяйственной жизни. Русское сельское хозяйство в ближайшее же время потребует и уже требует немедленной помощи в деле воссоздания скотоводства; взять хотя бы овцеводство, которое быстро угасает на юге России, или, вернее, почти сведено на-нет, в то время, как весь мир переживает острую нужду в шерсти. Россия, особенно Туркестан и Закаспийская область, изобилуют степными пространствами, негодными для полеводства, но весьма подходящими для овцеводства. Однако может оказаться, что не будет овцы. Опытное овцеводное хозяйство Аскании, достигавшее в мирное время более 45.000 голов, еще тлеет и заботливым уходом еще может быть возрождено. По свидетельству проф. М. Ф. Иванова, оно могло бы послужить рассадником этого рода хозяйства по всей Руси. В Аскании еще сохранились производители знаменитого Фальц-Фейновского рогатого скота. Сохранился конский молодняк в числе 25 голов прекрасной крови. Сохранились верблюды. Необходимо приложить усилия к поддержанию и развитию всего этого. В том—государственная и хозяйственная нужда настоящего момента, заботы о которой не терпят отлагательства, так как скоро может быть слишком поздно.

Но это лишь небольшая часть Аскании и не она стяжала к себе внимание мира. Аскания в своем научно-хозяйственном развитии уходит далеко за пределы обычных наших представлений. В немногих словах попытаемся осветить эту сторону заслуг Аскании-Нова,—заслуг, которых можно ожидать в будущем еще больше.

---

[1]) Будучи в Аскании-Нова с 1919 г. сначала во главе научно-учебной экспедиции, организованной унив. им. Шанявского, затем с 1920 г. заведующим научными учреждениями и зоопарком Аскании, по избранию Крымского университета, я был свидетелем тяжелых дней этого мирового учреждения, которое понесло немалые потери, находясь в котле гражданской борьбы. Аскания страдала более всего от отходящих воинских частей, независимо от их окраски. Решительные усилия власти сберечь Асканию все же достигли цели

Моими предшественниками,—попечителями об Аскания-Нова в трудные годы,—были проф. Почесский и известный путешественник Козлов. Последний едва не погиб на своем посту в начале 1919 года.

Местом научной работы в Аскания-Нова являются зоопарк, как таковой, зоотехническая лаборатория, отделение опытной зоотехнической станции Московской с.-х. Петровской академии и заповедная степь.

Уже при взгляде на африканских и американских страусов, сопровождаемых молодым выводком, на молодых оленебыков, гну, нильгау, яков, диких лошадей Пржевальского, зебр, оленей, муфлонов, сайгаков и т. д., родившихся и подросших в Аскании, становится ясным, каких больших успехов достигли в этом питомнике в деле акклиматизации животных, часть из которых может иметь не малое хозяйственное значение.

Так, например, сделана попытка акклиматизировать в Аскании крупную антилопу, оленебыка, которую практические англичане на юге Африки сумели использовать как прекрасный убойный скот. Гастрономы считают мясо этой антилопы лучшим вкусовым блюдом. Насколько в общем удачна эта попытка акклиматизации и одомашнения оленебыка видно из того, что из двух особей, ввезенных в Асканию в 1894 году и одного самца в 1907 году, в 1919 году образовалось стадо в 21 голову, несмотря на то, что Ф. Э. Фальц-Фейн щедро дарил их, даже группами, в ряд зоологических садов.

Делалась попытка испытать оленебыка, как очень сильное животное, в роли рабочего скота; лишь события последних лет оборвали этот ценный опыт.

Хорошо акклиматизировались и успешно множатся в Таврической степи: южно-американское нагорное вьючное животное — лама, индийский рабочий скот—зебу, тибетский як и т. д.

Весьма интересны в хозяйственном отношении попытки улучшения пород домашнего скота, лошадей и овец, путем скрещивания их с их дикими родичами. Силомер и практический опыт Аскании показали, что полученные там помеси зубра и быка, бизона и быка, зубробизона-быка много сильнее (в полтора раза) и работоспособнее, чем наш рогатый скот; к тому же эти помеси плодовиты. Помеси лошади и зебры, так называемые зеброиды, в полтора раза сильнее нашей домашней лошади и прекрасно выполняют хозяйственные работы в Аскании, как и помеси дикой монгольской лошади Пржевальского с домашней лошадью. Хороший рабочий скот получается путем скрещивания яка и нашего рогатого скота.

Мало того, Аскания представляет собою исключительное учреждение в смысле масштаба опыта одомашнения диких животных, и при первом взгляде не может не поразить все разнообразие копытных млекопитающих, гусей, уток, куриной и иной птицы, которая, имея родиной Африку, Азию, Америку и Австралию, но вскормленная рукой человека, ходит по его пятам.

В высшей степени крупная роль выпала на долю Аскании в деле разработки вопроса об искусственном оплодотворении млекопитающих. Масштаб, в котором были поставлены опыты искусственного оплодотворения лошадей, рогатого скота, овец, свиней, морских свинок, крыс, кур, инициатором этих опытов проф. Ильей Ивановичем Ивановым, послужил не только к развитию метода для чисто-научных, но и хозяйственно-технических заданий. Широкое применение метода искусственного оплодотворения в земской практике во многих концах России говорит, что ему может принадлежать практическое будущее. Практические выгоды очевидны при умелом пользовании методом: один ценный самец производитель может обслужить

большее, чем при нормальных условиях количество маток (в 8 раз). Зародышевые клетки ценного производителя можно пересылать на дальние расстояния, не рискуя пересылкой самого производителя. Можно осуществлять скрещивания там, где этому имеются в нормальных условиях препятствия и т. д. Научно-теоретическое значение метода искусственного оплодотворения животных с внутри-утробным оплодотворением чрезвычайно велико и делает доступным целый ряд новых проблем теоретической и технической природы, которые частью получили свое развитие в лабораториях Аскании-Нова.

Аскания-Нова, как опытное учреждение, многое осуществило и многое может осуществить при должной организации. Практические янки не жалеют средств на создание большого количества богато оборудованных исследовательских институтов экспериментальной биологии, очевидно учитывая те широкие перспективы зоотехнии и фитотехнии, которые дал и еще более обещает дать двадцатый век и развитие которых невозможно без научно-теоретической базы. Аскания-Нова во многих отношениях уже в настоящем своем виде осуществляет подобное исследовательское экспериментально-биологическое учреждение, единственное по масштабу у нас в России.

Из работ экспериментального характера в Аскании-Нова, помимо упомянутых, имеющих прикладное значение, заслуживает внимания широко поставленный опыт акклиматизации в Таврической степи различных млекопитающих и птиц южного полушария и экваториальной полосы, обитателей горных областей Азии и Южной Америки, лесов Сибири и степей Северной Америки.

Серьезный интерес для биолога представляет стадо ветвисторогих маралов и благородных оленей, переведенных рукою человека из тенистых лесов в жаркую степь; из нескольких штук, купленных в 1894 и 1907 г.г., стадо разраслось до 48 голов в 1919 г. Лань, купленная в числе нескольких экземпляров в 1893 г. и 1900 г., насчитывается в 1919 г. в числе 23 голов. Из пяти свиных оленьков 1913 г. в 1919 г. образовалось стадо в 14 голов; из четырех оленей аксисов в 1913 г. в 1919 г. образовалось стадо в 13 голов и т. д.

Олени имеют и промысловое значение по сбыту рогов в Китай. Один олень в до-военное время мог давать до 700 рублей в год.

Могучие фигуры зубров, украшающие чащи Беловежской пущи, так же успешно, как и бизоны — обитатели степей Америки, рядом с оленем, вытаптывают ковыльную степь Таврии. Обитатели гор, муфлоны и гривистые бараны, проявляют нормальную производительность в Асканийских степях; жители тропических жарких стран—страусы выносят заморозки севера черноморских побережий.

Весьма интересны иллюстрации того, как организм, применяясь к температурным условиям новой родины, меняет условия теплоотдачи; например—белохвостый гну, обитатель Африки, не знающий на родине, что такое стужа, на зиму надевает теплую густую шубу, применяясь к необычному климату юга России.

Интересны перемены в проявлениях инстинкта: так южно-американский белый лебедь с черною шеей, австралийский черный лебедь и Магелланов гусь, применительно ко времени года Северного полушария, на полгода изменяют время кладки яиц. Рядом эму и Австралийский куриный гусь упрямо сохраняют свои привычки жителей Южного полушария,—кладут свои яйца и высиживают их в стужу нашей зимы, иллюстрируя тем неподатливость своих организмов.

Много мыслей будит у биолога этот обширный, собранный нами опыт, о которых не место, впрочем, говорить в короткой статье.

Заслуживают внимания попытки вернуть Таврической степи, что ею было утеряно. Я имею в виду опыты ре-акклиматизации небольшой антилопки—сайги, неведомой силой оттесненной от берегов Днепра к берегам Волги в Астраханские степи.

Стада зайцев, достигавшие в осеннее время нескольких тысяч голов, норки тушканчиков, парк, населенный пернатыми юга России, подчеркивают насколько велики заслуги Аскании в деле сохранения местной фауны, а заповедная ковыльная и типчаковая степь говорит о сохранении местной степной флоры. Это „памятники природы", бесценные для летописи природы, которые ценить по-настоящему мы научились слишком поздно, когда многое уже исчезло бесследно.

Богата Аскания материалами для выяснения законов наследования при скрещивании особей разных видов (бизона с зубром, бизона с домашним рогатым скотом, зубра с рогатым скотом, яка с рогатым скотом, зебры с лошадью, лошади с дикой лошадью Пржевальского, овцы с муфлоном, олене-козы с джейраном, серого гуся с белым полярным, канадской казарки с серым гусем, нильского гуся с огором, индийского с гуменником, маньчжурского журавля с серым и т. д.). Насколько важны законы наследования и для практической жизни видно из того, что их печать лежит на законодательстве Америки и ими руководствуется животновод и растениевод в рационально поставленном хозяйстве. Видовая гибридизация, помимо чисто практических выводов, обещает пролить свет на основную проблему формотворчества в природе, на проблему видообразования.

Аскания в этом направлении дает богатейший материал, который еще далеко недостаточно использован.

Весьма важная и с теоретической и с практической точки зрения проблема бесплодия при скрещивании особей разных видов уже получила и обещает дальнейшее освещение на Асканийском материале. Так помеси лошади и зебры бесплодны и в женском и в мужском потомстве, помеси зубра или бизона с рогатым скотом плодовиты в женском потомстве, бесплодны в мужском; помеси дикой лошади Пржевальского с домашней,— плодовиты и в женском и в мужском потомстве. Бесплодие, как показали исследования И. И. Иванова в Асканийской лаборатории, объясняются неразвитием зародышевых клеток; выяснение причин последнего составляет очередную задачу для той же лаборатории.

Аскания для целого ряда проблем, уже упомянутых и оставленных без упоминания из-за недостатка места, незаменима. Она экспериментатору дает простор при выборе материала. Обычные институты экспериментальной биологии вынуждены вращаться в кругу обычных домашних и лабораторных животных—морских свинок, кроликов, крыс, мышей, кур и немногих других. Аскания выносит опыт в природу и дает возможность по проблеме выбирать объект,—в связи с богатством и разнообразием объектов, расширять круг проблем.

Упомяну свои опыты (1919—1921 года), которые привели к превращению петуха в „курицу" и курицы в „петуха"[1]).

Искусственная курица несла типичное куриное перо, головной убор и откладывала яйца в полость тела. Искусственный петух, пре-

---

[1]) См. М. Завадовский. Пол и развитие его признаков (к анализу формообразования у животных). Госуд. Изд. 1922 г.

вращенный из курицы, имел петушьи: перо, шпоры, головной убор, голос и инстинкт со всеми его проявлениями. В привитых семенниках прекрасно развивались нормальные сперматозоиды.

Превращение достигнуто путем пересадки: яичника предварительно кастрированному петуху и — семенника кастрированной курочке.

Замечательно, что уже только кастрация курочек вела к появлению у кастрированной особи петушьего пера и шпор.

Кастрированные петухи и куры поразительно похожи друг на друга; их тип организации может быть назван внеполовым типом.

Дальнейшее экпериментальное исследование показало, что то же положение распространяется на фазанов, уток и, очевидно, прочих птиц.

Из своих опытов мы убедились, что признаки пола формируются в результате взаимодействия клеточной ткани (X) и особых химических агентов (Y), которые носят название гормонов и отделяются половыми железами. Яичник отделяет феминизин (F), семенник отделяет маскулинизин (M).

Клеточные ткани самца и самки подобны друг другу. Дифференцируется эта ткань (X) в самца, под воздействием M, и в самку, под воздействием F:

$$X + M \rightarrow \male$$
$$X + F \rightarrow \female$$

Однако выяснилось, что яичник курицы содержит не только феминизин, но и маскулинизин.

Отсюда формула самки—

$$X + F(M) \rightarrow \female$$

Исследования на антилопах нильгау, антилопах гарна, ланях, козулях, быках, баранах и человеке привели нас к выводу, что у млекопитающих отношение иное, чем у птиц. Серый самец нильгау после кастрации надевает рыжий наряд самки, черно-бурый самец гарны надевает бледно-рыжий наряд своей самки, мужчина после кастрации лишается бороды, усов, низкого голоса, т.-е. мужчина приобретает женоподобные признаки, и т. д.

Таким образом у птиц признаки внеполого существа, особенно покровы, близки к признакам самца, у млекопитающих признаки внеполового существа близки к признакам самки.

Экспериментальное исследование явлений передачи по наследству признаков в связи с одним полом дало возможность убедиться, что столь различные методы, как тот, которым пользовались мы, и тот, которым пользуется наука о наследовании (генетика), приводит к принципиальному сходному решению проблемы пола.

Опыты с утками, когда самка в результате кастрации надевала яркий „брачный наряд“, показали нам, что этот наряд не зависит от функции семенника, а является признаком внеполовым. Эти результаты опытов создают потребность снова критически пересмотреть теорию полового отбора, созданную Дарвином.

Дальнейшие опыты показали, что проявление у некоторых стареющих женщин подобия бороды и усов, появление серого пигмента

у стареющих самок антилопы нильгау и рогов—у старых самок козуль, не есть показатели того, что самка млекопитающих содержит на-ряду с F и M, т. к. эти признаки развиваются к старости и у кастрированных самцов.

В Аскании же Б. М. Завадовским были поставлены опыты по выяснению роли щитовидной железы в зимней спячке (на сусликах) и в смене пера и выпадению пигментов у птиц (на курах).

Напомним опыты И. И. Иванова по влиянию острого алкогольного отравления родителей в момент зачатия на потомство, поставленных на овцах; его опыты по влиянию разных агентов на зародышевые клетки самца и через последних на потомство, что стоит в связи с опытами искусственного оплодотворения, и опыты влияния перезревания половых продуктов на соотношение самцов и самок в потомстве.

Аскания дала материал для выяснения вопроса—сказывается ли на потомстве данного года случка предшествующего года с другим производителем (лошадь—зебра) и т. д.

Помимо Государственной Зоотехнической Лаборатории, возглавляемой до 1919 года Ильей Ивановичем Ивановым, в 1919 и 1920 г.г. мною, Московская С.-Х. Петровская академия имела в Аскании свое Зоотехническое Отделение, которое уже дало ряд научных прикладных исследований в области практического овцеводства под руководством профессора Михаила Федоровича Иванова:

1) по оплате кормов разных пород овец,
2) по влиянию разных кормов на качество шерсти,
3) по влиянию разных кормов на развитие плода.

Наконец, необходимо отметить, что заповедный степной участок (500 десят.) оказал в исследованиях Почесского и окажет еще более в будущем, неоценимую услугу делу выяснения эволюции степного покрова в его естественных условиях и делу выяснения эволюции почв.

Сохранение образца степи, который повсеместно безжалостно уничтожается человеком во имя своих практических потребностей, является насущной потребностью.

Полагаем, что этого беглого и неполного обзора тем, которые были разработаны на асканийских материалах, достаточно, чтобы очертить Асканию-Нова, как опытное научное учреждение, дающее необыкновенный простор теоретической и прикладной мысли.

Аскания-Нова из прекрасного акклиматизационного степного зоопарка за последние десять лет выросла в крупное исследовательское учреждение, которое ожидает еще большая будущность, если усилиями культурных сил удастся ее сохранить.

Остается прибавить, что опыт работы в Аскания-Нова с группой сотрудников студентов убеждает меня в том, что Аскания уже оказала, может и должна оказать в будущем совершенно исключительную услугу нашему высшему образованию своими богатейшими материалами.

Наши сельско-хозяйственные высшие школы хронически страдают недостатком опытных учреждений, где бы исследователь-ученый мог в широком масштабе поставить хозяйственный опыт, где бы студент на образцовом хозяйстве мог бы воочию убедиться в преимуществах рационального ведения дела и, главное, приобрести серьезный практический навык. Высшей агрономической школе нужны Аскании, как научно-исследовательские и учебно-вспомогательные учреждения, и если бы их не было, их необходимо было бы создать.

В настоящее время перед Республикой стоит вопрос, в какой форме использовать природу Аскании.

Мы полагаем, что при определении дальнейших судеб Аскания-Нова прежде всего следует помнить, что Аскания-Нова не только заповедник с акклимитизационными и натурализационными заданиями, что Аскания-Нова не зверинец, преследующий исключительно-культурно-просветительные цели.

Аскания-Нова преследовала и должна преследовать в будущем задачи опытного исследовательского учреждения.

Организация опытно-биологического отделения, в первую очередь, диктуется всей историей существования Аскании-Нова, ее традициями, ее славой в этой области и заветами ее создателя...

Внимание, которое западно-европейская пресса уделяет Аскании, надеюсь, служит аргументом в пользу больших планов.

Войны будущего.

П. Садыкер.

„Война войне“, „уничтожение милитаризма“, „последняя война“ и другие лозунги, которыми гипнотизировались народные массы всех стран, лозунги, в которые эти массы искренно верили,—где они? Нашли ли они хотя бы частичное воплощение в договорах, заключивших эту величайшую из войн человечества?

Есть ли малейшая уверенность, что мировая бойня не повторится?—Такой уверенности нет ни у кого.

Новая всемирная война уже и сейчас считается почти неизбежной и весь вопрос как будто лишь в сроке: сколько времени осталось на подготовку? Вот почему изучение новых способов ведения войны, на основании опыта войны минувшей, ведется повсюду с неослабной и небывалой еще энергией, правда, параллельно с разговорами и конференциями о разоружении.

Вашингтонская конференция, которая, казалось, искренно хотела выяснить возможности сокращения вооружений, очень скоро обнаружила свое истинное лицо: самое важное для нее было зафиксировать новое соотношение вооруженных сил главнейших государств в момент, наиболее выгодный для некоторых из них.

И вот, если война в будущем считается вероятной, если вырабатываются не способы избежания войны, а только правила ее регулирования, то естественно возникает целый ряд вопросов:

Окажется ли грядущая война неизбежно подобна минувшей, и не будут ли внесены радикальные изменения в основы тактики, сухопутной и морской? Какую роль надлежит отвести артиллерии? Какую—атакам пехоты? А на море—за кем будет главенство? За тем ли, кто обладает наиболее крупными и наиболее мощно забронированными кораблями (Capital Ships), или за тем, кто насчитывает у себя больше подводных лодок и аэропланов? Какова будет в грядущей войне роль химии? роль механики?

Ведь, уже в течение минувшей войны пришлось изменить все привычные способы ведения войны, вследствие применения танков, аэропланов, дымовых завес, удушливых газов, огневыбрасывателей. Будущее, наверное, сулит еще более решительные перемены.

Почти все авторитеты сходятся на том, что главнейшим оружием в будущей войне явятся подводные лодки и аэропланы.

Мы не будем здесь подробно останавливаться на роли подводных лодок. Опыт „беспощадной“ германской подводной войны всем еще памятен.

Немцы уже тогда применяли бронированные подводные крейсера в 2.200 тонн водоизмещения, длиною более 100 метров, с погружением под воду в течение всего 30 секунд. Эти подводные крейсера неоднократно пересекали весь Атлантический океан, несмотря на всю сложную сторожевую службу союзного флота. Недостатком их была слишком слабая броня.

Вспомним германскую „коммерческую" подводную лодку Deutshland, которая привезла во время войны из Германии в Америку груз анилиновых красок и, погрузив в Америке никкель, благополучно дошла обратно до Бремена, хотя английский флот был осведомлен точно о моменте ее выхода из американского порта.

Теперь же открытие германского проф. Фламма делает целую революцию в области подводного кораблестроения. Проф. Фламм открыл особый способ стабилизации подводных кораблей, благодаря чему можно строить подводные лодки небывалых еще до сего времени размеров и—что самое существенное—покрывать их целиком мощной броней. До сего времени имеется одна такая лодка-модель в 1.443 тонны, снабженная двумя бронированными башнями, вооруженными 10,5 cm орудиями.

Проф. Фламмом вполне разработан уже план подводного корабля в 4.870 тонн, вооруженного 21 cm. орудиями и обладающего скоростью в 25 узлов. Недавно, на докладе в шарлоттенбургском политехникуме проф. Фламм сообщил, что им, при содействии заводов Круппа и Сименс-Шуккерт, разработаны планы больших подводных бронированных крейсеров в 8.400 и 9.900 тонн, обладающих скоростью в 28 узлов и вооруженных 24 cm орудиями, помещенными в броневые башни с броней в 60 и 70 mm толщиной.

Понятным становится беспокойство великих морских держав, обладающих громадным надводным флотом и считающих себя, поэтому, по традиции, властелинами морей. Этот флот обпеспечивал им до настоящего времени возможность применения самого страшного оружия—блокады,—бьющего по мирному населению целой страны. Подводные корабли, несомненно, сумеют если не свести к нулю эффект этой блокады, то, во всяком случае, значительно ослабят причиняемые ею бедствия. Они, кроме того, дадут возможность применить эту самую блокаду и к территории властелинов моря. Они—оружие обороны столько же, сколько и оружие нападения. Они, поэтому,—оружие более слабых на море держав, вынужденных отстаивать свои жизненные интересы против чьей бы то ни было гегемонии.

Второе мощное оружие, призванное произвести переворот как в морской войне, так и в сухопутной,—авиация.

„Какой смысл,—спрашивает г. *XXX* в „Revue des deux Mondes" (15 декабря 1921 г.),—иметь флот мастодонтов, если они вынуждены оставаться в своих базах, а летательные машины могут и там сбрасывать на них двухтонные бомбы, содержащие во много раз больше взрывчатого вещества, чем наиболее крупные из известных до сих пор торпед?"

Какой смысл, спросим мы, затрачивать много миллионов на сооружение дредноута, если даже в море он не может чувствовать себя в безопасности от аэропланов, которые одним удачным попаданием могут пустить его ко дну?

Целый ряд интереснейших опытов в подтверждение изложенного выше взгляда был произведен недавнов Америке генералом Митчелем, начальником военной авиации, неутомимым поборником развития авиации, как главного оружия грядущих войн.

„Броненосцы,—говорит ген. Митчель,—так же беспомощны против аэропланов, как закованный в латы воин средних веков против современного оружия. Я берусь потопить при помощи аэропланов все корабли, какие мне будут для этого предоставлены".

И корабли ему были даны для его опытов. Бывшие германские: подводная лодка U-117, легкий крейсер „Frankfurt" и дредноут „Ostfriedland" предназначены были в жертву, чтобы наконец установить, может ли аэроплан потопить военный корабль? Кроме того, чтобы выяснить влияние скорости корабля на точность попадания в него, ген. Митчелю был предоставлен устаревший броненосец американского флота „Iowa", управляемый на расстоянии с другого корабля, при помощи беспроволочного телеграфа.

Опыты начались с бомбардировки подводной лодки U-117: после второго залпа в шесть бомб подводная лодка пошла ко дну. Одной бомбы в 100 килограмм было достаточно для ее потопления. Конечно, во время войны условия попадания значительно труднее, но этот опыт, во всяком случае, доказал, что попадание с аэроплана может быть достаточно точным.

Еще более показательна—бомбардировка броненосца „Iowa".

Применявшиеся для опытов бомбы были начинены песком и могли причинять лишь незначительные внешние повреждения, давая все же представление о точности попадания.

В назначенный день морской отряд, окружавший корабль, находился в открытом море в 100 милях от берега, в пункте, неизвестном воздушной эскадре; и через час после момента, определенного как начало опытов, над „Iowa" показались аэропланы.

Наблюдения за опытом производились с крейсера „Henderson" (на котором находились иностранные военные агенты), двигавшегося в 3 килом. от „Iowa".

Несмотря на изменения направления „Iowa", на меняющуюся его скорость (от 1 до 6 узл.) результаты получились следующие: 76 бомб сброшено, 2 попадания в корабль непосредственно, 15 попаданий на расстоянии менее 20 метров от корабля и все остальные—на расстоянии менее 100 метров от корабля.

Если принять во внимание, что бомбы, попавшие в зону в 20 метров вокруг корабля, несравнимо более опасны для него, чем попавшие в него непосредственно, то надо признать, что результаты бомбардировки блестящи.

Опыты с бомбардировкой „Frankfurt'a" и „Ostfriedland'a" полностью подтвердили расчеты ген. Митчеля.

Крейсер „Frankfurt" был потоплен одной бомбой в 300 килогр., взорвавшейся вне его, в 10 метрах от ватерлинии. До этого „Frankfurt" противостоял 11 попаданиям непосредственно в него, не причинившим больших повреждений ни палубной броне, ни орудиям.

Оставалась самая трудная задача—потопить дредноут „Ostfriedland".

Это—броненосец в 23 000 тонн, с бортовой броней в 11 дюймов толщиной и палубной в 3 дюйма. В свое время он блестяще выдержал взрыв мины в морском бою у Ютланда. Первая фаза опыта с бомбами в 300 килогр. кончилась неудачей: было сброшено 42 бомбы,

13 попали в корабль, но не причинили ему существенных повреждений.

Вторая фаза продолжалась 25 минут. Взрывом двух бомб по 800 килограмм (содержащих каждая по 350 килогр. тринитротолуола), упавших в нескольких метрах от правого борта дредноута, было оторвано несколько плит его брони, и 15 минут спустя „Ostfriedland" пошел ко дну.

Эффект полный: небольшой аэроплан топит огромное морское чудовище в 23.000 тонн, постройки 1913 года, которое, по мысли его конструкторов, должно было противостоять любым минам, снарядам и торпедам (и противостояло в нормальном морском бою)!

Американский морской министр делает из этого вывод, что надо усилить броню... Один из иностранных военных агентов, присутствовавший при опытах и огорченный за традицию, нашел, „что такие опыты не следует разрешать"(!). Выигравший же испытание ген. Митчель счел нужным отметить: „Это еще ничего, у меня были до сих пор лишь небольшие бомбы, но теперь я уже имею бомбы в 2.150 килогр., но и это только еще начало".

Ген. Митчель предсказывает грядущую войну, как войну специально воздушную, при помощи огромных авиационных масс; тактической единицей он считает группу в 100 аэропланов.

„Война без коммуникационных линий: воздушная армия поднимается, концентрируется, атакует, возвращается в свою базу, не завися от сухопутных сообщений. Она обладает необыкновенной активностью, подвижностью, благодаря чему может чрезвычайно быстро наносить то тут, то там ужасные удары".

Ее снабжение (питание), которое в минувшую войну совершалось при помощи автомобильных колонн, будет теперь осуществляться воздушным путем; для этой цели будут служить огромные дирижабли типа Цеппелин, поднимающие до 30 тонн груза, с районом полета до 15 000 километров. На них будет транспортироваться бензин, масло, запасные части, провиант.

Ген. Митчель предсказывает в случае войны с Японией, что огромный американский воздушный флот, питаемый дирижаблями (1 дирижабль на 1.000 аэропланов), перелетит Берингов пролив и начнет сеять смерть и разрушение на японской территории.

И наоборот. „Представьте себе,—говорит он,—что неприятельский воздушный флот летит над Нью-Иорком и сбрасывает в центр города некоторые из тех бомб, которые я уже осуществил (бомбы по 2 тонны). Думаете ли вы, что война сможет долго продолжаться, когда все банки Wal Street'a будут взорваны?"

Аэропланы уже теперь могут залетать далеко вглубь неприятельской страны, неся с собой небывалое до сих пор в одном снаряде количество взрывчатых веществ; они уже теперь могут выполнять работу танков, не обращая внимания на препятствия (неровности почвы, волчьи ямы, подземныя мины). При беспощадном, бесчеловечном пользовании авиацией, **где** предел причиняемым ею разрушениям? Ведь аэропланы могут, сбрасывая резервуары с удушливыми газами, отравлять целые области, уничтожая все живущее там.

Какое значение может иметь продвижение вперед пехоты на 10 километров, если любой город в тылу может быть наполнен удушливыми газами в любой день войны, если он может быть зажжен

в любую ночь врагом, который, совершив свое гнусное дело, спокойно вернется к себе.

Что воздушная армия стала уже действительностью, показывает следующее сообщение из Лондона от 2 января с. г.:

„Английское военное министерство заказало 150 аэропланов для передвижения войск, предназначенных поддерживать порядок в Месопотамии. Каждый аэроплан сможет перевозить 10 солдат, полностью снаряженных, и будет снабжен двумя пулеметами.

„В будущем предполагается отозвать из Месопотамии английский экспедиционный корпус и порядок будет поддерживаться исключительно воздушной армией".

Итак, наиболее решающее слово в ближайшей мировой войне окажется за подводным и воздушным флотами. Слово это будет настолько страшным, что о войне этой приходится думать, как о катастрофе, от которой человечеству уже не оправиться. И все же к ней готовятся, она служит аргументом при установлении новых международных отношений! А когда ищут способ предотвратить или смягчить чрезмерную ее разрушительность, то, по обыкновению, не находят ничего лучшего, как неискренние соглашения о „человеколюбивых" пулях или же не слишком крупных бомбах... Да и можно ли успешно разрешить когда-либо задачу, в самом существе своем противоречивую: готовиться как можно больше повредить врагу, но так, чтобы не причинять ему „излишних страданий"?

Вдобавок, военная победа над врагом, как показал опыт 1918 г., не означает реальной победы над ним и не дает победителю ни выгод, ни спокойствия. Так зачем же в таком случае воевать? Очевидно, последующие войны будут по-прежнему обязаны своим началом исключительно неумению государств по-настоящему согласовать свои взаимные интересы и справедливо и целесообразно распределить между собою жизненные блага.

А отсюда вывод один: надо иначе построить основания международной жизни, чем они строились до сих пор. Не эту ли задачу, в конечном итоге, берет на себя Великая русская революция, если ее рассматривать под углом зрения мировой политики? Отвергнув правомерность войн за аннексии и контрибуции, благополучно преодолев принцип „национальнаго самоопределения", провозгласив принцип всеобъединения, она тем самым открывает пути и для окончательного преодоления войн...

Несомненно, преодоление войны путем изживания милитаристической психологии произойдет не сразу, потому что не сразу произойдет и самое это изживание. Вот почему даже и самой России придется озаботиться созданием, в целях обороны, подводного и воздушного флотов. Но еще более несомненно и то, что главной ее силой навсегда останется ее радикально обновленное миросозерцание, лишающее ее необходимости нападать, но и защищающее ее, благодаря сочувствию трудящихся всего мира, от хищнических нападений извне.

(„Смена Вех", № 12).

Генуэзская конференция.

Мих. Павлович.

1. Каннская конференция и победа Ллойд-Джорджа в вопросе о Советской России.

В течение последней четверти 1920 г. и истекшего периода 1921 г. целый ряд событий во внешней и внутренней жизни Англии усилили тенденции английской политики к сближению с Советской Россией. В то время как небольшая, но крайне влиятельная группа английских капиталистов, группирующаяся вокруг Урквардта, Нобеля и других королей великобританской промышленности, пострадавших от революции в России, стояла на непримиримо враждебной позиции по отношению к России, буржуазное большинство Англии, опираясь на поддержку английского пролетариата, страдающего от жестокой безработицы, равно как мелко-буржуазных и других промежуточных групп, решительно требовала признания Советской России и экономического сотрудничества с последней. Капиталистическая олигархия Англии, пострадавшая от национализации промышленности в России, требовала денационализации иностранных предприятий и поддерживала французскую политику в русском вопросе.

Вашингтонская конференция (ноябрь и декабрь 1920 г., январь 1921 г.), как мы доказали в нашей предыдущей статье (см. „Красная Новь" № 5), усилила в Англии позицию тех многочисленных слоев английского населения, в том числе буржуазного большинства, которые требовали признания Советской России и установления делового экономического соглашения с последней.

Тенденция правящих кругов Англии к сближению с Советской Россией, тенденция, резко усиливающаяся под влиянием безработицы и промышленного кризиса в Великобритании, нашла свое яркое выражение на конференции в Каннах.

Открытие Каннской конференции состоялось 7-го января после приветственной речи Бриана. Ллойд-Джордж, подробно охарактеризовав экономическое положение восточной и центральной Европы, указал на необходимость установления нормальных торговых сношений и обратился с призывом к доброй воле каждого, необходимой для общего дружного сотрудничества, и *настаивал на необходимости выслушать представителей всех заинтересованных держав.*

Ллойд-Джордж особенно подчеркнул тесную связь между интересами *всех* наций. Английский премьер ни на минуту не сомне-

вается, что экономическое состояние России отражается на положении всего мира, особенно же Германии. Ллойд-Джордж указал также на пользу, которую извлечет Франция из возобновления торговых сношений между Германией и Россией, так как оно несомненно поведет к улучшению экономического и финансового положения Франции.

Вместе с тем Ллойд-Джордж отмечает необходимость получения самых серьезных гарантий от Советского правительства, при чем первым условием явится признание требования Советским правительством долгов, заключенных предшествовавшими правительствами.

Ллойд-Джордж в своей речи высказал надежду, что и Америка примет участие в восстановлении Европы. Победитель, по словам оратора, является ответственным за будущий мир как в Западной Европе, так и в России и Малой Азии. Поэтому оратор и внес предложение о созыве конференции всех европейских государств для восстановления экономической жизни Европы. Что касается России, то последняя, если она желает участвовать в упомянутой конференции, должна дать обещание честно исполнить свои обязательства, уплатив долги, и прекратить большевистскую пропаганду за границей.

Высший совет принял предложение Ллойд-Джорджа, а также приглашение итальянского министра-президента Бономи собраться всем европейским государствам на конференцию в Генуе.

Текст резолюции, принятой верховным советом, гласит следующее:

„Собравшиеся на конференцию союзные державы выражают единодушное мнение, что в феврале и начале марта необходимо созвать финансово-экономическую конференцию, на которую всем европейским государствам, в том числе Германии, России, Австрии, Венгрии и Болгарии, должно быть предложено прислать своих представителей. Союзные державы считают, что такая конференция является настоятельно необходимым шагом на пути к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы. Они решительно высказываются за то, чтобы, если это возможно, в этой конференции принял личное участие премьер-министр каждого государства с тем, чтобы ее предложения в кратчайший срок можно было превратить в дело. Союзные державы предполагают, что возобновление международной торговли во всей Европе и развитие естественных богатств всех стран необходимы для расширения границ приложения производственного труда и облегчения страданий европейских народов. Необходимы соединенные усилия более мощных государств для избавлении Европы от поразившего ее паралича. Эти усилия должны включать в себе меры к устранению всех препятствий на пути к торговым сношениям, к снабжению кредитами экономически более слабых стран и к сотрудничеству всех наций в деле восстановления нормального благосостояния. Союзные державы предполагают, что основные условия, при которых эти усилия могут быть осуществлены с надеждой на успех, сводятся к следующему: 1) Ни одно государство не может присвоить себе право диктовать другому государству принципы, на которых последнее должно регулировать свою систему собственности, внутренней экономической жизни и управления: каждая нация свободна в выборе системы, какую она сама предпочитает в этой области. 2) Однако, прежде, чем какое-либо государство может воспользоваться помощью иностранных капиталистов, последние должны получить уверенность, что их имущество и права будут уважаться и что плоды их деятельности будут обеспе-

чены за ними. 3) Действительные гарантии безопасности не могут быть восстановлены до тех пор, пока правительства всех государств, желающие воспользоваться иностранными кредитами, не заявят вполне определенно, что они признают все государственные долги и обязательства, заключенные и могущие быть заключенными или гарантированными государством, муниципалитетами или какими-либо другими общественными организациями, а также обязательство восстановить все принадлежащие иностранцам имущества или компенсировать их за убытки, причиненные им конфискацией или секвестром их имущества, и систему законодательства и суда, которая беспристрастно ограждала бы права и обязательства, вытекающие из коммерческих и другого рода договоров, и обеспечивала бы их принудительную силу. 4) Необходимо располагать достаточными средствами обмена и вообще создать условия финансово-денежного обращения, в достаточной степени обеспечивающие ведение торговли. 5) Все нации должны воздержаться от пропаганды, направленной к низвержению существующего порядка и к установлению в других странах другой политической системы. 6) Взаимное обязательство воздерживаться от нападений на своих соседей должны все страны принять на себя. Если в целях обеспечения условий, необходимых для развития торговли в России, российское правительство потребует официального признания, то союзные державы будут готовы согласиться на такое признание, но лишь в том случае, если русское правительство согласится с вышеприведенными условиями".

Предложение Ллойд-Джорджа о возобновлении сношений с Советской Россией и хозяйственном возрождении этой страны в целях экономического возрождения самой Европы не встретило возражений со стороны Бриана. В произнесенной на Каннской конференции речи, Бриан заявил между прочим: „В своей речи Ллойд-Джордж развивал такие соображения, что мне казалось, будто в мой сад упал огромный камень, но он не раздавил ни одной цветочной клумбы. Теперь, при рассмотрении поставленной нами проблемы, следует приложить все усилия к изысканию положительных практических решений. Выступая с инициативой в столь важном начинании, как попытка восстановления Европы, мы тем самым берем на себя большую ответственность, ибо внушаем народам надежды, которые нельзя обмануть безнаказанно. Мы должны добиться успеха, а для этого следует принять все возможные меры предосторожности. Поэтому контакт с Россией должен быть обставлен гарантиями, которых до меня требовал один из моих предшественников. Иначе мы легко можем оказаться в дураках. Меры, предложенные Ллойд-Джорджем, в общем нас вполне удовлетворяют, я прошу только подробного рассмотрения этих мер на послеобеденном совещании, а также исправления и обсуждения некоторых пунктов. При этих условиях французская делегация соглашается на предложение председателя английской делегации".

Победа Ллойд-Джорджа на конференции в Каннах была встречена с радостью в английской прессе. Почти все без исключения английские газеты признали согласие государственных деятелей Антанты на предложение Ллойд-Джорджа о созыве европейской экономической конференции добрым предзнаменованием для будущей Европы и для успешности работ Верховного Совета.

„Решение Верховного Совета является самым крупным успехом

Ллойд-Джордж",—говорил „Дэйли Телеграф". „Вестминстерская Газета" выражала радость по поводу того, что такая конференция принята, как начало в деле восстановления Европы. Она представит первым удобный случай для введения Германии и России в Верховный Совет. „Таймс" говорит: „Воссоздание Европы является необходимостью". Так реагировала английская печать на сенсационное сообщение о приглашении России на конференцию в Генуе. Совершенно иначе отнеслась к этому известию французская пресса. Уступки Бриана Ллойд-Джорджу в вопросе об англо-французском союзе и признание Советской России вызвали взрыв бешеной ярости во всей французской правой прессе. Бриан был отозван, не закончив переговоров с Ллойд-Джорджем, и заменен на посту премьер-министра Пуанкарэ. Правая пресса торжествовала и заявила, что представители Франции не будут сидеть за одним столом с большевистскими „разбойниками" и „ворами".

Между тем итальянское правительство официально обратилось к правительству Советской республики с официальным предложением принять участие в Генуэзской конференции, которая должна открыться 8 февраля.

27 января была созвана чрезвычайная сессия В. Ц. И. К. и было постановлено отправить на Всеобщую конференцию в Геную делегацию под председательством председателя Совета Народных Комиссаров т. Ленина и его заместителя, Народного Комиссара по иностранным делам т. Чичерина.

Правая французская пресса продолжала свою кампанию против приглашения России на Генуэзскую конференцию и—тем более—признания Советской России. При таком положении совершенно неожиданной явилась статья французского официоза „Тан" (от 6 февр.). Обсуждая пространно положение России, эта передовица выдвигает 6 основных идей: 1) Большевизм, как теория, больше не существует, и советские делегаты в Генуе уже не могут развить ту пропаганду, какую они развернули в Брест-Литовске. 2) Внутренний строй России совершенно не касается Европы, и ни одно европейское государство не будет навязывать России тех или других внутренних реформ. 3) Советское правительство, повидимому, придает большое значение Красной армии. Но Европа фактически не может принудить Россию разоружиться, а в связи с этим, заметим, необходимо занять такую же позицию по отношении к Турции. Европа не может предложить Турции разоружиться до тех пор, пока русская армия остается нетронутой и даже находится вне всякого контроля со стороны Европы. Вот почему вопрос о разоружении турецкой армии не может быть включен в число мирных условий, предлагаемых союзниками Турции. Четвертый пункт касается национальных стремлений России. Большевистская Россия есть Россия национальная. Давно установлено, что национальные интересы России нигде не противоречат национальным интересам Франции. Поэтому не удивительно, когда слышно, что находящиеся в Берлине русские большевики высказываются за франко-русское сотрудничество. Такого рода заявления только усиливают благоприятное впечатление, произведенное последней телеграммой Чичерина Пуанкарэ по вопросу о возвращении русских солдат из Франции,—телеграммой, составленной в самых учтивых выражениях. Это обстоятельство позволяет нам надеяться, что агитация России против Франции прекратится. Если возможно франко-русское сотрудничество, оно должно основываться на национальных интересах обеих стран, ибо они друг другу не противоречат. 5) Вопрос

о русских долгах—вопрос чисто финансовый. Хотя русские долги, по сравнению с понесенными нами военными расходами, и незначительны, но чрезвычайно важно, с точки зрения как русских, так и французских интересов, чтобы эти долги были уплачены, ибо вопрос о кредитовании России будет зависеть от урегулирования вопроса о долгах. 6) Что касается русских контр-требований, то, по мнению газеты, в этом отношении союзникам нечего опасаться. Здесь возможны два случая: 1) России могут быть предложены условия, аналогичные условиям брестского договора, в коем, как известно, Россия отвергла обоюдное возмещение военных убытков. 2) Можно заявить, что если бы союзники согласились на русские контр-требования, то они, со своей стороны, в праве были бы требовать возмещения за убытки причиненные им Германией в результате сепаратного мира, заключенного Россией, так как, не будь этого обстоятельства, война не продолжалась бы.

Наиболее неотложным вопросом, который советское правительство должно разрешить, является вопрос о защите иностранцев. „Ясно,—пишет газета,—что новое привлечение иностранного капитала в Россию невозможно без содействия самих же иностранцев, а последние могут работать в России только при надлежащих гарантиях. Правда, советское правительство заявило, что будут приняты все меры к охране интересов иностранцев, но,—заканчивает „Тан",—мы желали бы получить более точные заявления по этому предмету".

Статья „Тан" произвела сильное впечатление в Лондоне, английская печать находила ее чрезвычайно симптоматичной и считала, что она свидетельствует о перемене позиции самого Пуанкарэ: „Манчестер Гардиан", отмечая необычайно умеренный тон статьи, писал: „Повидимому, идея франко-русского соглашения не кажется неприятной Французским правительственным кругам. Однако, много еще остается сделать, в особенности со стороны России, прежде чем эта идея получит свое осуществление".

После этой статьи, появившейся в самом влиятельном органе французской прессы, некоторые другие органы печати стали высказываться в примирительном тоне по отношению к Советской России и намекать даже на возможность непосредственного соглашения с последней независимо от Генуэзской конференции. Было ли это симптомом новых тенденций во французской политике по отношению к Советской России или же провокацией, имевшей целью поссорить Россию с Англией, во всяком случае крайняя правая пресса во главе с роялистским „Аксион Франсэз" продолжала яростную кампанию против какого бы то ни было сближения или соглашения с правительством коммунистов, врагов частной собственности, религии и пр. Эта часть прессы свела вопрос о признании Советской России к поединку между Англией и Францией и домогалась дипломатической изоляции Советской России. В качестве компромиссного решения реакционная пресса требовала созыва предварительной „предгенуэзской конференции" без участия России и Германии, для выработки условий, которые ультимативно будут поставлены последним державами. Не будучи уверены в успешности своей попытки окончательно сорвать Генуэзскую конференцию, французские реакционеры поставили своей целью добиться по крайней мере отсрочки конференции и предъявления Советской России неприемлемых условий.

2. Отступление Англии и победа Пуанкарэ.

Непримиримо враждебное отношение реакционной Франции к Советской России рельефно проявилось в вопросе о Генуэзской конференции, на которую правительство Ллойд-Джорджа намеревалось пригласить Советскую Россию на равных правах с другими державами. Правительство Пуанкарэ не могло примириться с такой победой Советской России.

Французские реакционеры добились своей цели, и Генуэзская конференция, которая должна была собраться 8 марта, отсрочена. Более того, если верить французским газетам, английское правительство, так настаивавшее на созыве этой конференции, пошло на уступки Пуанкарэ и признало необходимым установить для Советской России шестимесячный период испытания, чтобы дать возможность России на деле доказать свою готовность искреннего экономического сотрудничества с Европой.

По этому плану, резко отличающемуся от первоначального вполне приемлемого нами проекта Ллойд-Джорджа, Советское правительство должно принять на себя в Генуе обязательство признать в шестинедельный срок права частной собственности иностранных граждан, а также дать гарантии, обеспечивающие иностранные предприятия в России. По прошествии шести месяцев после окончания генуэзского совещания можно было бы созвать новое международное совещание для исследования результатов периода испытания, и лишь в том случае, если бы достигнутые результаты были признаны благоприятными, союзные государства, после признания Россией довоенных и военных долгов, признали бы Советское правительство. Таким образом, самый характер Генуэзской конференции радикально изменяется.

Уже один тот факт, что это сенсационное сообщение о переводе Советской России в разряд испытуемых появилось впервые именно во французском официозе „Тан", а не в английской прессе, служит уликой, свидетельствующей о том, что план новой атаки против нас разработан в канцелярии французского министерства и получает осуществление, благодаря интригам правительства Пуанкарэ. И в этом нет ничего неожиданного. Уже на другой день после падения кабинета Бриана и замены последнего ставленником роялистской партии Пуанкарэ, которого редактор антисемитско-монархического органа „Аксион Франсэз", Леон Доде, этот французский Крушеван, открыто называет *своим человеком*, было очевидно, что французское правительство сделает все зависящее, чтобы добиться отмены каннских решений и сорвать Генуэзскую конференцию, а если это не удастся, направить ее острее против Советской России.

Поскольку французские государственные деятели соглашаются с необходимостью участия Франции в экономическом возрождении России, при чем подчеркивают, что дело восстановления России *должно быть начато с окраин*, например с Донецкого района, а затем распространено на другие районы, ясно, что здесь играют немалую роль, как комментировал „Дейли Геральд", заключения французской комиссии экспертов по русскому вопросу, соображения *стратегические*. Намеченные Францией районы,—говорил „Дейли Геральд",—имеют то важное значение, что они расположены близ Черного моря и представляют *выгодный плацдарм для действий союзных войск на случай необходимости военного вмеша-*

тельства. Планы Франции отнюдь не ограничиваются стремлением превратить одну южную Россию в свою экономическую и военную базу для удушения Советской России. Как правильно формулирует т. Стеклов в своей статье в „Известиях", французские империалисты пытаются охватить Советскую Россию со всех сторон и поставить ее в такое положение, при котором она и экономически, и политически, и стратегически всецело зависела бы от парижской биржи. Не довольствуясь теми операционными базами, которыми Франция уже располагает в Польше и Румынии, она пытается также создать их на Черноморском побережье и на Кавказе, и в Прибалтике, и отчасти даже в Средней Азии (не говоря о ее тайном договоре с Японией, который охватывает Россию с Дальнего Востока).

В Прибалтике Франция интригует против нас давно. Ее влияние на правительства Латвии, Эстонии, а теперь и Финляндии, общеизвестно. По ее инициативе создается Прибалтийский союз с политическим центром в Варшаве, находящийся в прямом подчинении директивам французской биржи и французского генерального штаба. По ее же настоянию, как об этом открыто заявлено в финском сейме, вырабатывается теперь военный союз между Финляндией и Польшей, всем своим остреем обращенный против Советской России. Таким образом охват Советской республики с севера и северо-запада, составляющий предмет давних мечтаний французской дипломатии, может почитаться почти завершенным. С тем большей лихорадочностью спешит теперь Франция довершить этот обхват, распространив его на юг и юго-восток Советской России.

Чего ищет Франция на Кавказе? Во-первых, экономического овладения этой богатейшей областью и в первую голову кавказской нефтью, а во-вторых, политического подчинения себе Ближнего Востока[1]).

Чтобы понять причины бешеной ненависти буржуазной Франции по отношению к Советской России,—ненависти, которая с таким упорством проявляется на каждом шагу с момента Октябрьской революции, нужно примириться с той мыслью, что „русская" политика Франции покоится на совершенно иных основах, чем те, на которых зиждется политика по отношению к нам Англии, Италии, Швеции, С. Штатов и других великих и малых держав.

Для капиталистической Англии необходимость сближения с Советской Россией диктуется, как мы уже доказывали в предыдущей статье („Красная Новь" № 5), желанием обеспечить свой тыл, в случае международных осложнений, страхом перед продвижением русских армий на восток по направлению к Памиру и Индии в случае обострения англо-русского конфликта, наконец властными требованиями английской торговли, без процветания которой не может процветать и английская промышленность. „Без восстановления европейской торговли и промышленности не может быть восстановлено и английское экономическое могущество",—вот положение, которое, как аксиома, принято теперь всей английской буржуазной мыслью. Одна английская экономическая газета следующим примером иллюстрирует непогрешимость этой аксиомы. Ланкашир и другие промышленные округа Англии более пострадали в результате мировой войны, чем разрушенные немцами обла-

---

[1]) Подробнее о планах Франции на востоке см. нашу только что вышедшую работу „Советская Россия и капиталистическая Франция", стр. 49—51. Госуд. Издательство. Москва 1922 г.

сти Бельгии и Северной Франции вследствие того, что Бразилия перестала покупать английские товары. Покупательная же сила Бразилии исчезла вследствие потери ею громадного немецкого рынка, поглощавшего ежегодно накануне мировой войны колоссальное количество бразильского кофе. Теперь немцам не до бразильского кофе, которое при нынешнем падении немецкой валюты обходится крайне дорого, и потому его заменяют всякими суррогатами. Следовательно, чтобы Бразилия начала снова покупать английские товары, необходимо, чтобы Германия была в состоянии покупать бразильское кофе. А это случится только тогда, когда Россия займет свое прежнее место в международном товарообмене и, подняв свои экономические силы, подымет благосостояние соседней с ней Германии. Таким образом очевидно, что для восстановления английской торговли и промышленности, в частности для возвращения Великобритании ее юго-американских рынков, необходимо восстановить прежде всего Россию, Германию, затем Австро-Венгрию и другие страны. Что будет с Россией и Германией, то будет и с Англией.

Таков доминирующий голос торгово-промышленных кругов Англии. Голос этих кругов почти не слышен во Франции. Здесь раздается лишь неумолчный лай бешеной собаки, желающей разорвать на клочья Германию и навести панический страх на Советскую Россию. С точки зрения французских империалистов, больше того зла, что причинила Россия Франции, свергнув царскую власть и учредив у себя советский строй, Россия уже причинить не может. Дело не в тех 15 или 20 миллиардах франков, уплаты которых требуют от нас французские ростовщики.

Капиталистическая Франция,—этот современный Карфаген, основывающий свою военную мощь прежде всего на армиях наемников,—вкладывала свои миллионы в царскую Россию с той же целью, с какой она вкладывала их в свои эскадры больших и малых боевых судов, в свои морские и сухопутные крепости, в свою армию, в свои военные заводы и верфи, с какой она ссужает ныне сотни миллионов франков Польше и Румынии, сторожевым псам Франции на востоке и в центре Европы. Крайне стесненная в финансовом отношении империалистическая Франция тратит свои последние средства на Польшу и Румынию только для того, чтобы иметь армии этих „вассальных" держав в своих руках.

Нам следует сделать все выводы из этих несомненных тенденций французской политики в русском вопросе,—тенденций, которые будут доминировать в правящих кругах Франции, пока у них не исчезнет окончательно надежда на возможность закабаления рабоче-крестьянских масс России французскому капиталу и превращения русской армии в слепое орудие французской политики. И если мы становимся на путь игры в „haute politique" (высшую политику), нам следует прежде всего избегать таких шагов, которые могут быть истолкованы, как погоня за двумя зайцами. И здесь нам остается напомнить то предостережение, которым мы закончили нашу статью в „Известиях" от 10 февраля, указывая на необходимость воздержания от таких дипломатических действий, „которые могли бы бросить Англию в стан наших неофициальных врагов—шовинистической Франции, этого оплота мировой реакции, и Японии, злейшего врага Советской России на Дальнем Востоке. Неосторожные беседы наших представителей за границей, беседы, которым был придан нашими врагами характер „заигрывания" наших импровизированных дипломатов с правительством

Пуанкарэ, дали повод в Англии противникам признания Советской России утверждать, будто советская дипломатия собирается за спиной Великобритании заключить какое-то сепаратное соглашение с Францией против Англии.

Англия предложила созыв Генуэзской конференции и настаивала на признании Советской России по глубоким мотивам своей внутренней и внешней политики. У Франции Пуанкарэ таких мотивов не могло быть, и с этим фактом необходимо было считаться.

Мы не можем дать Франции более того, что согласны дать другим капиталистическим державам. Мы готовы подписать обязательство уплатить долги, которые останутся за вычетом убытков, понесенных нами по вине Антанты, готовы дать иностранному капиталу выгодные концессии и т. п., но армия рабоче-крестьянской России никогда не будет играть позорной роли пушечного мяса в руках Антанты или какой бы то ни было другой комбинации иностранных держав. Роль России, как белого Сенегала,—печальная страница недавнего прошлого, которое никогда не вернется. С этим фактом железной действительности французским милитаристам необходимо раз-на-всегда примириться. тем более, что, упорствуя в своей политике по отношению к Советской России, капиталистическая Франция едва ли улучшает свое международное положение.

Что это положение далее не из блестящих, это явствует даже из признаний самой французской прессы. С горечью французская буржуазная пресса писала недавно об „изоляции" Франции, об ее вынужденном уединении, которое совсем не похоже на то „splendid isolation" (блестящее уединение), которым когда-то кичилась могучая Англия, господствовавшая на всех морях и диктовавшая свою волю urbi et orbi.

Отношения между капиталистической Англией и современной Францией могут быть в основе только неприязненными, несмотря на всякого рода временные соглашения и даже союзные договоры между этими странами. После того, как Германия силой удалена с авансцены мировой истории, врагом и соперником Англии снова стала, как это было перед Фашодой, империалистическая Франция. Это—реальный факт, которого не устранишь никакими компромиссами. Англо-французские интересы снова сталкиваются на черном континенте, где обе державы захватили громадные территории в результате раздела немецких колоний в восточной Африке, в юго-западной Африке, в Того и Камеруне. Обе африканские империи пришли в соприкосновение в целом ряде новых пунктов, и каждый день вспыхивают и будут вспыхивать новые англо-французские трения то в центральной Африке, то на северном средиземном побережье черного континента, в Марокко. А кто стоит теперь поперек английским планам в Константинополе и Малой Азии, если не Франция, для империалистических планов которой английское продвижение в глубь Турции несравненно более опасно, чем пресловутый пангерманский дранг нах остен (движение на Восток).

А каковы отношения между Францией и Италией? Та роль жандарма, которую Франция взяла на себя в Фиуме, далее захватные планы французских империалистов на севере Африки вполне объясняют нам враждебные чувства правящих кругов Италии по отношению к Франции, враждебные чувства, которые так резко появились на Вашингтонской конференции, где итальянская делегация потребовала предоставления Италии права иметь подводный и надводный флот такой же

силы, какой будет предоставлен Франции, для защиты итальянских интересов на Средиземном море против поползновений Франции.

Что касается Испании, мадридская пресса еще с большей яростью, чем итальянская, атакует внешнюю политику Франции из-за вопроса о Марокко и в частности Танжера, к захвату которого, как доказывает испанская пресса, стремится ненасытная французская республика.

Но особенно волнует французских империалистов и всю французскую буржуазию охлаждение, если не обострение франко-американских отношений. Только недавно французская пресса, захлебываясь от восторга, писала о торжественном приеме, устроенном Фошу в С. Штатах, рисовала перспективы франко-американского союза для борьбы с общими врагами обеих великих держав. Теперь неожиданно перед французами вырисовываются на политическом горизонте контуры нового двойственного союза, направленного против Франции, союза двух англо-саксаксонских империй—Великобританской и Транс-атлантической, который мог бы обеспечить англо-саксонскому племени мировое господство, подобное владычеству Рима после пунических войн и его победы над Карфагеном. Уже один призрак этого проблематичного пока союза достаточен для того, чтобы превратить многих вчерашних французских оптимистов, увлекавшихся перспективами Версальского мира, в самых мрачных пессимистов и мизантропов.

Победа Пуанкарэ в вопросе об отстрочке или даже срыве Генуэзской конференции путем коренного изменения ее первоначально намеченного Ллойд-Джорджем характера носит эфемерный характер. Те глубокие социальные и экономические факторы длительного характера, которые толкают Англию и Италию к экономическому сотрудничеству с Советской Россией, к восстановлению и оживлению торговых сношений с последней, скоро заставят правительства этих стран снова поставить вопрос об экономическом возрождении России, и завтра же кичащиеся своей сегодняшней временной победой французские дипломаты вынуждены будут с горечью повторить слова, вырвавшиеся в начале февраля у передовика „Эклер"—Жана Рода: „Мы изолированы и одиноки, как не были никогда".

Подобно Германии накануне мировой войны современная Франция является сильнейшим военным государством на континенте. И подобно тому, как Германия Вильгельма, несмотря на свой союз с Австрией и Италией, сознавала себя изолированной и одинокой среди великих империалистических держав и находилась в „окружении", Франция Пуанкарэ, держащая в своих руках гегемонию над Польшей, Румынией, Чехо-Словакией, рискует каждую минуту очутиться изолированной среди главных империалистических государств,—Италии, Англии и С. Штатов, которым французские захватные планы и мечты о гегемонии на континенте совсем не приходятся по вкусу.

Задача советской дипломатии не в том, чтобы облегчить достижение хотя бы эфемерных побед французскому премьер-министру Пуанкарэ, руководителю нового правительства „Ста дней".

Не нужно, чтобы о советской дипломатии можно было хотя бы с натяжкой сказать то, что когда-то, особенно накануне берлинского конгресса, после блестящих побед русской армии на Балканах, закончившихся взятием Плевны и походом под стены самого Константинополя, говорилось о царской дипломатии, а именно, что наша дипломатия не стоит на высоте наших штыков.

Но, как ни тяжелы наши временные поражения на дипломатическом поле борьбы, не будем забывать, что главным залогом нашей победы в борьбе с империалистическими державами является мощь той седьмой державы, которой сделалось уже коммунистическое рабочее движение во всем мире.

Объясняя „роковые“ причины, толкающие даже самых ярых английских реакционеров к признанию Советской России, один английский империалист в беседе с французским реакционным писателем Эмилем Бюре, заметил: „Нам труднее вести внешнюю политику согласно нашим желаниям, чем вам... В Англии рабочие имеют большинство на своей стороне, и нам приходится считаться с ними“ („Эклер“, 1 февраля 1922 г.).

Рабочий класс Франции, выдвинувший из своей среды героев Черного Моря Марти и Бадина, не сегодня-завтра бросит свой меч на чашу дипломатических весов, и только тогда французское правительство вступит на путь безоговорочного признания Советской России и отказа от непрекращающейся войны всеми средствами против последней. А пока... пока Советской России приходится быть готовой ко всяким неожиданностям.

3. Две концепции.

Борьба против Генуэзской конференции, превратившаяся в борьбу за отсрочку ее, сопровождалась, как указал т. Троцкий в своей речи на торжественном заседании пленума Московского Совета, подготовительной политической военной работой в целом ряде государств, особенно государств, находящихся на западе от нас. Белогвардейская русская эмиграция поняла отсрочку конференции как прямой призыв, как прямой приказ еще раз попытать счастье в борьбе с Советской республикой. Тов. Троцкий напомнил, как после переговоров в начале 1919 г. о конференции на Принцевых островах началось генеральное наступление на юге, поддержанное затем Юденичем на северо-западе и 1919 год был самым черным годом для советской республики. Приглашение на конференцию превратилось в провокацию. В связи с опасностью новых нападений на Советскую Россию тов. Троцкий призывал к бдительности, к полному единству пролетарского авангарда с широкими рабочими массами, с миллионами крестьян и в первую очередь с Красной армией.

А через несколько дней после произнесения этой речи мы прочли сообщение о двухчасовой аудиенции, данной в Белграде Врангелю королем Александром, этим претендентом на Всероссийский Императорский престол, о 50.000-ой армии, которую Врангель собирается высадить в Одессе, о прибытии в Белград Бурцева, о том, что на польской и румынской границах зашевелились петлюровцы; мы узнали, что благодаря содействию или попросту давлению Парижа успешно подвигаются вперед переговоры о заключении оборонительного военного союза между Польшей и Финляндией, направленного против Советской России, о том, что происходящая в Варшаве конференция балтийских государств, на которой отсутствует самая главная балтийская держава, а именно Россия, проходит под давлением Франции и неизбежно объективно по самому существу обращается всем своим острием против Советской республики.

Чего добивается французская дипломатия всеми этими интригами и подготовкой новых нападений на Советскую Россию? Французские

капиталисты, Сиу, Брокары и прочие требуют не только возвращения им в полную собственность фабрик и заводов, принадлежавших им в России до октябрьской революции, но и возмещения им всех убытков, понесенных благодаря революции; французская реакционная буржуазия домогается от России не только признания всех долгов, не только возвращения всех копей, рудников и т. д., принадлежавших в России французскому капиталу[1]), не только сдачи Франции на концессию русских железных дорог, но и возврата России к status quo ante к довоенному положению во всех отношениях, как внутренних так и внешних.

В международной политике капиталистических держав борются ныне две концепции. Одна концепция буржуазного большинства Англии заключается в признании той аксиомы, что экономический кризис и безработица, свирепствующие во всем мире и обостряющиеся с каждым днем, равно как опасность мировой войны могут быть ослаблены лишь экономическим сотрудничеством между всеми европейскими странами и включением Советской России и побежденной Германии в Европейский концерт.

Другая милитарная концепция французской реакционной буржуазии, держащей в своих руках бразды правления в III республике, заключается в идее о необходимости, в интересах использования Версальского договора и извлечения всех плодов из победы над Германией, образования в Европе нового вооруженного лагеря, руководимого Францией и включающего в свой состав, кроме Малой Антанты, Польши, Румынии, Финляндии, новой белой России, которая явится на место рабоче-крестьянской страны. Только этот новый союз обеспечит надолго, по планам французских империалистов, гегемонию Франции в Европе, сделает невозможным возрождение Германии и одновременно даст силы Франции для борьбы в ближайшем будущем с ее новым и наследственным врагом — Великобританией, дипломатия которой, как выразился лорд Керзон в своей речи от 7 февраля, ставит своей главной задачей недопущение образования в Европе снова, как это было перед войной 1914 г., двух вооруженных лагерей. Но фактически осуществление французской концепции повело бы к образованию на континенте лишь одного вооруженного и находящегося под командованием французского генералитета лагеря, который господствовал бы словно как над порабощенной областью, как над африканской колонией, над остальной обезоруженной, связанной по рукам и ногам Европой, над Германией, Австрией, Венгрией, Болгарией и Турцией.

Наши советские дипломаты и государственные деятели должны учесть смысл и значение обеих концепций и сделать соответствующие выводы. При сохранении нынешнего соотношения классов и политических группировок в Англии и Франции внешняя политика обеих стран может испытывать лишь легкие изменения, проходить через некоторые зигзаги и повороты, но основные ее линии будут развиваться по намеченным нами направлениям (концепциям).

---

[1]) По французским официальным данным, сумма французских капиталов, вложенных во французские промышленные и банковские предприятия в России равняется 620 миллионов франков, наноминальная же ценность акций, принадлежащих французским капиталистам в русских предприятиях, равняется 1 миллиарду 55 миллионов, итого 1 миллиард 675 миллионов франков.

Железнодорожная забастовка.

Клара Цеткин.

В последнее время в застоявшуюся атмосферу Германии проник свежий, сильный ветер. Вот уже неделя как в большей части государства как бы осуществляются слова, сказанные поэтом Гервегом пролетариату:

Все колеса останавливаются,
Когда твоя сильная рука того хочет.

Главнейшие индустриальные центры немецкого хозяйства были как бы парализованы. В Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Дрездене, Лейпциге, Эрфурте, Галле, Эссене, Дюссельдорфе и т. д. железнодорожное сообщение было прекращено не только на дальнее расстояние, но даже и местное. Железнодорожные станции опустели. Только пикеты полиции общественной безопасности, как и пикеты стачечников патрулировали в помещениях станций или вблизи их. Никакого прилива или отлива пассажиров. Сооружения напоминали своим видом умерших гигантских зверей. Приостановка железнодорожного сообщения вызвала недостаток угля. Различные отрасли промышленности вынуждены были прекратить свое производство. В больших городах начали опасаться недостатка предметов первой необходимости. Наружный вид городов совершенно изменился: повсюду на улицах многочисленные собрания рабочих и служащих, особенно в Берлине, где городское сообщение было тоже прекращено.

Большая забастовка железнодорожников приостановила хозяйственную жизнь страны. Движение началось среди кочегаров, машинистов и других железнодорожных служащих, которые выступили с требованиями об урегулировании рабочего времени, об обеспечении 8-часового рабочего дня, об урегулировании и увеличении жалованья в соответствии с возросшей дороговизной. Оба эти требования диктовались неотложной необходимостью. Жалованье железнодорожных служащих в 17 т. марок на много отставало от прожиточного минимума, установленного буржуазными статистиками в 28 т. марок. Разница окладов низших, средних и высших служащих очень велика. Установленный законом 8-часовой рабочий день, согласно приказам министра Бринера нарушается и обходится самым позорным образом. Всякими окольными путями рабочий день железнодорожников удлиняется до 12 и даже до 15 часов.

Забастовка железнодорожников была провозглашена профессиональной организацией буржуазного характера. Результатом этого было

го, что вожди забастовщиков объявили, что забастовка железнодорожников преследует чисто экономические цели, но отнюдь не политические. Но республика Эберта при помощи своих „демократических“ прислужников скоро дала железнодорожникам понять всю иллюзорность их заявления о том, что целью забастовки являются исключительно экономические требования. То, что железнодорожники, как ограбленные капиталистическим государством не хотели признать, то последнее само им вколачивает в головы, а именно, что государственная власть защищает только интересы капиталистов, что она является только предпринимателем на-ряду с другими капиталистами.

Социалистически и социал-демократически штемпелеванные министры, президент республики Эберт, который во время оно сам руководил забастовками, восприняли эту забастовку, как бунт против государства. Эберт высказался за исключительные законы против забастовщиков, лишавшие их права забастовки. Осуществляя приказы Эберта, президент берлинской полиции—тоже социалист большинства—подвергал тюремному заключению вождей забастовки и конфисковывал союзные суммы, которые были предназначены для поддержки стачечников.

И „достойному“ примеру высших служак Берлина неизменно следовали и сошки помельче вне Берлина.

Таким образом, стачка превратилась в борьбу за право стачек служащих. Рабочие всей Германии скоро поняли, что дело железнодорожников является их собственным делом. То самое государство, которое лишило железнодорожников права забастовки, не остановится и перед тем, чтобы лишить этого права и других рабочих, когда они восстают против своих поработителей.

Движение железнодорожников быстро разрасталось, охватывая все новые круги служащих. Вначале к движению примкнули местные организации рабочих железнодорожных мастерских. Они примкнули к движению, несмотря на крайне отрицательное отношение Центрального Бюро союза немецких железнодорожников к забастовке железнодорожных служащих, которое считало недопустимым даже участие из-за чувства солидарности, как это имело место в Берлине, Франкфурте и почти во всей Саксонии. Таким образом, забастовка железнодорожников ограничилась, главным образом, Северной Германией. Правда, в южной Германии, особенно в Бадене и Виттемберге были попытки примкнуть к борьбе, но дело там ограничилось только попытками. В ряде больших городов в борьбе приняли участие служащие телефона и телеграфа.

Рамки движения расширились, особенно в тот момент, когда к борьбе примкнули берлинские служащие газовых заводов, электрических станций и водопровода. Эти рабочие примкнули к движению не столько из чувства солидарности, сколько из-за стремления улучшить свое положение. Почтовые чиновники постановили примкнуть к движению в случае, если стачка продолжится.

Брожение охватило широкие слои немецкого пролетариата. Всеобщая забастовка всегерманского союза служащих отнюдь уже не казалась невозможностью.

Несмотря на все эти возможности, забастовка кончилась ошеломляюще быстро и почти полным поражением бастующих. Дело ограничилось переговорами, которые кроме ряда обещаний, никогда не осуществленных, ничего стачечникам не дали. Правительство отказалось вступить в непосредственные переговоры с стачечниками. Поэтому с

правительством вели переговоры представители социал-демократии, независимых социалистов, всегерманского союза немецких профсоюзов. В последнюю минуту к переговорам был привлечен и союз, провозгласивший забастовку.

Правительство обещало урегулировать вопрос о заработной плате и о длительности рабочего дня. Вопрос о продолжительности рабочего дня правительство намеревалось урегулировать не посредством издания специального закона для железнодорожников, но путем издания закона, касающегося всех рабочих; у железнодорожников нет ни малейшей уверенности в том, что устанавливаемая скала заработной платы будет соответствовать прожиточному минимуму и что кричащее неравенство окладов высших и низших служащих будет выравнено.

Также мало надежды у них на то, что им будет обеспечен 8-часовой рабочий день. Поражение рабочих особенно остро подчеркивается тем обстоятельством, что вожди забастовки отданы были на заклание. Правительство заявило, что к массовым преследованиям забастовщиков оно не будет прибегать, но дисциплинарные меры будут применены к некоторым участникам забастовки. И скоро тысячи служащих и рабочих были рассчитаны, правда не в порядке массового преследования, но в порядке дисциплинарном. И забастовка городских рабочих Берлина закончилась компромиссом и массовыми расчетами рабочих и служащих. У того, кто имел возможность наблюдать решимость, с которой железнодорожные служащие и рабочие приступили к борьбе, мужество и готовность к жертвам, выявленные ими во время забастовки, и, наконец, то чувство солидарности, которым были охвачены самые широкие слои пролетариата,—у того поневоле напрашивается вопрос: „Как возможен был такой исход борьбы? Как возможно было, чтобы правительство, которое называет себя демократическим, и в котором принимают участие социал-демократы и вожди профессионального движения, проявило столько жестокости, насилия и произвола, сколько проявляет любой алчный и не останавливающийся ни перед какими мерами капиталистический предприниматель“? Это объясняется позорным поведением вождей социалистов большинства и профессиональных организаций, которые находятся под их влиянием. Их поведение обусловлено двумя мотивами: их принадлежностью к государственному аппарату и еще крепко сохраняющимися в их среде иллюзиями относительно значения демократии и демократического государства.

Республика, государство для эксплоатируемых должно быть чем-то святым, как будто республика Эберта не является воплощением вульгарной буржуазной республики и демократическо-немецкое государство не является вульгарным буржуазным классовым государством. Благодаря забастовке воочию выявился классовый характер демократического немецкого государства. Дальше обнаружилось, что вожди социалистов большинства и профсоюзного движения не являются господами положения, что они не являются руководителями демократического правительства, но его пленниками. Различные призывы Центрального Бюро всегерманского союза профсоюзов с очевидной ясностью подчеркивали предательство социалистов большинства, как вождей профдвижения по отношению к забастовщикам. Они не только не призывали к борьбе с провокаторским поведением правительства и к борьбе за право стачек железнодорожников, но, наоборот, призывали к прекращению движения. Под прикрытием социалистов большинства и вождей профессионального движения правительство осмелилось мо-

билизовать против стачечников все орудия насилия классового государства.

Они осмелились прибегнуть и к другим средствам. Они пытались ослабить движение путем разрушения единства пролетарского движения. Бастующие железнодорожники заявили о своем согласии подвозить регулярно к городам продовольствие и молоко. Это было им запрещено. Но при этом была сделана попытка такой подвоз осуществить при помощи технической штрейкбрехерской организации. Эти попытки приводили к ежедневным столкновениям, результатом которых был не только материальный ущерб, но и человеческие жертвы.

Буржуазные части города были обеспечены газом, водой и электричеством при помощи вышеупомянутой штрейкбрехерской организации. Это делалось не столько в целях ограждения буржуазии от лишений, сколько в целях восстановления широких рабочих слоев, особенно женщин, против забастовщиков. Спекулировали и тем обстоятельством, что затянувшаяся забастовка потребует от рабочих бо̀льших жертв, чем от буржуазии, которая имеет дома большие запасы и обеспечила себя всеми услугами. „Форвертс" и подобные ему газеты в унисон с буржуазными газетами использовывали положение в том смысле, что натравливали рабочих против рабочих, служащих против служащих.

Поведение независимых социалистов во время забастовки было полно противоречий. Вначале их отношение к постановлению о забастовке и к вождям забастовки из формально профессиональных обоснований было отрицательным. Но по мере того, как движение ширилось и захватывало все боле широкие пролетарские слои, по мере того, как цель движения все более оформлялась, независимые социалисты примыкали к бастующим. При этом трещина в партии Криспина и Дитмана выявилась с большой выпуклостью. Часть вождей тянулась к социалистам большинства, пролетарские же массы тянулись влево. Одна только коммунистическая партия с первого момента борьбы и до последнего решительно и последовательно стала на сторону бастующих. Она использовала все имевшиеся в ее распоряжении пути и средства, чтобы довести до сознания железнодорожников, что движение в своем развитии неизбежно должно выйти из первоначально поставленных ему границ и что оно должно будет подняться до обостренной классовой борьбы против капитализма.

Несмотря на поражение, эта забастовка обозначает шаг вперед. Она показала, что широкие слои пролетариата под гнетом условий своей жизни пробудились для пролетарской классовой борьбы.

Пробуждение замечается не только среди железнодорожных служащих, но и среди других служащих. Борьба железнодорожников вызвала повсеместно в среде служащих сочувствие. Показательным является то обстоятельство, что члены полиции общественной безопасности, которые стояли на страже перед помещениями собраний, заявили стачечникам: „Вы можете быть вполне спокойны, мы вам сами ничего не сделаем, и не допустим, чтобы что-нибудь худое с вами произошло. В продолжение первых трех дней забастовки среди этих вооруженных полицейских было собрано для забастовщиков 121 тысяча марок. Председатель одной из организаций полицейских требовал, в одном из своих циркуляров, чтобы полицейские отчислили 20 марок в пользу бастующих. Это брожение среди служащих показывает, насколько глубоко расшатано капиталистическое классовое госу-

дарство Германии. Главную его причину надо искать в хозяйственных условиях страны.

При современных условиях капиталистическое хозяйство Германии не может приносить доходов, которых хватало бы на содержание буржуазного государства при нормальных условиях. Поэтому оно не в состоянии обеспечить своим служащим необходимый прожиточный минимум. Все более увеличивается число тех, которые из рядов средней и мелкой буржуазии переходят в ряды пролетариата. Забастовка молниеносно осветила положение и выявила классовый характер эбертовской республики. Она подтвердила, что правительство Вирта является правительством демократических фраз и капиталистических деяний. К тому же она внедрила в сознание широких слоев необходимость обостреннейшей классовой борьбы.

У побежденных на-ряду с гордым сознанием, что они боролись за свои права, осталось чувство глубокой горечи. В этой борьбе самосознание рабочих Германии значительно возросло, результатом его явилась большая способность и готовность к дальнейшей борьбе, которая вне сомнения выявится в предстоящих немецкому пролетариату боях как против грабительской налоговой системы, так и на едином пролетарском фронте, созданием которого пролетариат ответит на стремление всемирной буржуазии восстановить капитализм в Европе за счет рабочих всех стран и за счет единственной страны, в которой трудящийся народ взял власть в свои руки.

Современное положение благоприятно коммунистической борьбе. Во время забастовки партия выявила свое единство и решительность. Она их выявит и в предстоящих боях, и под руководством коммунистической партии рабочее движение Германии должно быстро двигаться вперед.

Заметки о голоде

С. Ингулов.

Голод в 1921—22 г.г. жесточе, чем во все предыдущие голодные годы. В Поволжьи голодает 17 губерний, на Украине пять, голодает Крым, испытывает острую нужду Юго-Восточная область. Всего по данным Ц. С. У. тронута голодом площадь с населением в 35 миллионов, т. е. $^{1}/_{3}$ всего населения страны.

Это следствие засухи и 7-ми лет систематического разрушения крестьянского хозяйства под влиянием империалистической и затем гражданской войны. Голод в наиболее суровом 1891—92 году охватил Волгу в период, когда сельское хозяйство было сравнительно здоровым, когда крепко слаженное на почве крепостничества крестьянское хозяйство способно было проявлять достаточную сопротивляемость влиянию засухи. Нынешнее бедствие ударило по истощенному организму расслабленной, обносившейся, безлошадной и безинвентарной деревни. Вполне естественно поэтому, что последствия голода в 1921 г. являются более мучительными для нашего народного хозяйства и для населения пораженного края, нежели во все прежнее время.

И вполне также естественно, что инициаторы и вдохновители империалистической бойни и руководители войны против пролетарской России, т. е. истинные виновники разрухи, сделавшей нашу страну подверженной наиболее тяжелым формам голода—сейчас во все хриплые „голоса России" кричат: это все от большевиков. И тут также, как и в походе против пролетарской революции—единый фронт от Столыпина в белградском „Новом времени" до Чернова и Мартова. Лишь иногда спутываются ряды сомкнутого строя врагов революции и генерал Краснов оказывается левее Чернова, а Мартов правее Бурцева.

Генерел Краснов и „внепартийный" социал-ушкуйник Бурцев выдвинули проект белой французской булки. Это из сборника детских загадок: сколько стоит 3-копеечная булка? Проект заключается в том, чтобы ударить дешевизной—три копейки—не по голоду, а по голове Советской власти. Голодный потребитель сразу, видите-ли, почувствует, какая огромная пропасть легла между прежней старо режимной сдобной булкой и нынешним помголовским советским пайком, и свергнет большевиков.

Этот проект не был принят всерьез даже эс-эровскими и меньшевистскими Иванушками. Они догадались, что в борьбе с Советской властью голод—крупный союзник, но его надо использовать более солидными путями, нежели посредством 3-копеечной булки. Этот солидный путь оказался бок-о-бок с патриархом Тихоном.

„Бакинский Рабочий" сообщает, что в Азербейджане всей агитацией против сдачи церковных ценностей руководят местные эс-эры. А в Москве на первых собраниях по вопросу об изъятии ценностей

выступали меньшевики, дипломатично указывая, что церковное золото ничего не даст голодным, так как оно все „расползется по карманам комиссаров и чекистов".

Это понятно: рожденный ползать летать не может. Погрязший в болоте слякотного вчера, жадный до сплетни, злобствующий мещанин—меньшевик в грандиозной схватке рабочего класса с буржуазией, во всей нынешней героической революционной эпохе ничего не мог осмыслить, кроме обывательских толков о „карманах чекистов". Он не понял революции, его размякшая душа восприняла ту часть размочаленного, разжиженного быта, которая только и в состоянии удовлетворить крохотную потребность буржуа похихикать, позлословить.

И если он не мог охватить всего прожитого советской страной за четырехлетний период революции, то уж совсем безнадежен, совсем „горбат" меньшевик в данный момент на новом этапе развития диктатуры пролетариата, когда особенно ярко выявляются противоречия возвышенного, гордого, героического с одной стороны и низменного, порочного, извращенного с другой на общем фоне парализованного производства и неслыханного. невиданного голода.

О размерах голода в этом году свидетельствуют данные о среднем сборе хлеба на десятину по наиболее пострадавшим губерниям (в пудах) во все голодные годы последнего времени:

	1891 г.	1906 г.	1911 г.	1921 г.
Актюбинская (Киргизия)	—	18,5	4,6	1,3
Немкоммуна	10,3	7,2	9,1	1,8
Уральская	—	18,9	4,3	1,9
Букеевская (Киргизия)	10,1	8,8	6,5	2,5
Кустанайская	—	18,5	4,0	3,8
Оренбургская	10,6	18,8	3,1	5,2
Самарская	10,3	7,2	9,1	5,5
Астраханская	14,0	8,8	6,5	5,7
Марийская	12,5	11,7	20,4	6,1
Татреспублика	12,5	11,7	20,4	6,3
Чувашская	12,5	11,7	20,1	6,5
Уфимская	20,8	15,8	13,5	7,9
Запорожская	26,8	41,4	46,9	8,2
Ставропольская	-	36,7	29,2	8,4
Башкирия	24,8	15,5	13,5	8,4
Царицынская	18,5	15,0	16,2	8,4
Челябинская	10,6	18,8	3,1	9,6

Общая потребность по 14 губерниям Поволжья, о которых имеются сведения в Ц. С. У., составляет 264.700.000 пудов хлеба, сбор же урожая составляет 98.400.000 пудов. Таким образом, недостаток хлеба составляет 166.300.000 пудов, т.-е. 63,2%. Голодает не 14 губерний, а 17—на Волге. Кроме того, голодают пять губерний на Украйне, Крым, некоторые губернии Юго-Восточной области. По подсчету Ц. С. У. затронуты голодом в той или иной мере 35 губерний.

Из общего числа населения 17 поволжских губерний, официально признанных голодающими, — 26.123.000 человек —голодает 14.168.000 человек.

Кормится же всеми организациями, ведущими борьбу с голодом— и государством, и органами Помгол, и Коминтерновскими, и АРА, и другими заграничными—всего 3.556 491 человек, т.-е. одна четверть всего количества голодающих.

Это по февральским данным. В январе процент обеспеченных был больше. Это объясняется двумя причинами: число голодающих

в этих губерниях было меньше, поступления добровольных пожертвований и сборов в органы Помгол были больше.

Таким образом, понижение помощи произошло как раз в момент, когда оно ставит под тяжкую угрозу не только голодающее крестьянство, но и весь будущий урожай. Отсутствие продовольствия суживает и без того малочисленный кадр работоспособного населения. Голодает 54% населения пораженных районов. 10 с лишним миллионов человек предоставлены самим себе. По официальным данным, число голодающих, остающихся совершенно без всякой помощи, составляет 10.382.000 человек, т.-е. 74,9%.

Падение помощи в феврале надо объяснить еще одной существенной причиной. Весь транспорт в этом месяце был отдан на перевозку семенного материала. Это не могло не отразиться на подвозе продовольствия для голодающего населения. Количество жителей, у которых истекают скудные запасы суррогатов, увеличилось, число голодающих возрасло, число удовлетворяемых помголовским 12-фунтовым (АРА и другие организации дают в среднем то же—всего 700 калорий в день) пайком сократилось. Голод обостряется и вступает в свою самую жестокую фазу.

Десять с половиной миллионов обреченных. Если считать, что только треть из них составляет ту трудоспособную часть населения, которая вела крестьянское хозяйство, а две трети—дети и старики, то и тогда совершенно очевидно, что, даже при наличии всего потребного количества семян, остаются не возделанными три с половиной миллиона участков земли—равных каждой в среднем на человека в 4 десятины, т.-е. всего 14 миллионов десятин. И это при условии, что 12-фунтовой месячный паек может обеспечить достаточную трудоспособность остальных работников.

На самом деле опасность для нового урожая гораздо большая. Из общего количества снабжаемого населения огромный процент составляет именно нетрудоспособное население—дети, инвалиды, старики. Таким образом почти безошибочно можно было бы исчислять трудоспособную его часть, исходя из общей цифры голодающих.

Недаром в голодных губерниях борьба с голодом из кампании помощи пострадавшему краю превратилась в борьбу за урожай. Призрак нового голода стоит сейчас перед Поволжьем. И не только перед Поволжьем. Реальная опасность неурожая постигла и некоторые губернии, до сих пор кормившие Поволжье, как, например, Киевскую. Озимые хлеба пропали больше, чем наполовину. Весенняя кампания представляет огромные трудности: нет инвентаря.

И в то время, как саратовские, самарские, симбирские, казанские, царицынские газеты ежедневно отдают целые страницы под воззвания к железнодорожникам—„давайте вагоны, везите скорее семена, спасайте урожай!"—киевские газеты заняты изысканием способов обработки земли при условии отсутствия плугов и рабочего скота. Они помещают статьи агрономов и инженеров о том, как использовать танки вместо тракторов.

В губерниях, разбитых голодом уже в нынешнем урожайном году, мечтают не о тракторах, а о возможности обработать землю хотя бы ручным способом. Рабочего скота нет. По официальной справке Наркомзема, в голодных губерниях дефицит рабочих лошадей по сравнению с 1921 годом составляет 3.000.000 шт., т.-е. 70—75%. Тут уж не до трактора. Лишь бы зерно бросить в землю, чтобы хоть какую-нибудь пользу извлечь. Не до жиру, быть бы живу. Но и этой уверенности нет.

Первоначальный план государственного снабжения семенным материалом Поволжья составлял 25 миллионов пудов. Невозможность переброски всего этого количества заставила Наркомпрод и Наркомзем сократить этот план до 19 миллионов. Но рассчитывать на то, что все это зерно будет употреблено на посев, не приходится. Даже при условии полной отгрузки занаряженного количества семпродуктов. Тут дело, конечно, раньше всего в транспорте, который не в силах справиться с задачей переброски. Тут и несвоевременность выполнения нарядов некоторыми губерниями. Тут и обычная утечка (или, как она технически называется, „усыпка") в пути. Тут и запоздание американских грузов. И целый ряд других причин. Но главная из них—и, в обстановке крайнего обострения голода, естественная—употребление части семенного материала в пищу. Оптимисты исчисляют эту часть в 30%. На самом же деле она будет не меньше 50%. Совершенно очевидно, что, несмотря на весьма своевременно начатую семенную кампанию, снабдить достаточным количеством семматериала голодные губернии не удалось. Поволжье в 1922—23 урожайном году не выйдет из полосы голода.

Тем не менее, подготовка к весенней кампании идет довольно энергично. Сельские и волостные комитеты взаимопомощи уже приспосабливаются к новой обстановке, берут на учет коров, всех могущих работать людей, все, что можно использовать так или иначе для запашки. Правда, это невероятно трудная и мало полезная работа. Все, не потерявшие способности передвигаться, уходят из опустошенного Поволжья, идут куда глаза глядят. Спасаясь от голода, бредут в еще более голодные районы. Саратовские газеты сообщают, что в Кузнецком уезде, где, как констатируют губернские „Известия", Бегевская волость с мусульманским населением через два—три месяца целиком вымрет; наблюдается стихийный наплыв крестьян из соседних уездов. А эти, из Бегевской волости, которые не хотят дожидаться смерти, долженствующей прийти через два—три месяца, идут в соседние уезды,— в те самые уезды, откуда пришли в Кузнецкий беженцы, не захотевшие у себя дожидаться смерти.

„Надо остановить поток беженцев",—кричат белорусские газеты. Белоруссия—благополучный хлебный район. Внутреннее кипение голодной массы поволжского населения нашло выход. Толпы двигаются на запад, на юг. Но оттуда доносятся требования: „Остановите их; не срывайте нашей работы по организации планомерной помощи вам же".

Деревни пустеют. Население уходит, вымирает. В Спасском кантоне Татреспублики „после эвакуации и усиленной смертности осталось всего 150.000 человек. Убыль 35%. Однако смертность и истощение настолько развиваются, что к новому урожаю останется, повидимому, не больше 25—30% населения" (казанские „Известия" № 54). Всего удастся засеять, считаясь с возможностью обработки земли, едва ли более 10% ярового хлеба. Недосев озимого составляет 60—70%.

В Свияжском картина в общем такая же тяжкая. „В дер. Татарская Маматковина было 164 двора, а теперь (в феврале) осталось лишь 116. Крестьяне 20 дворов уехали, остальные же вымерли от голода до последнего человека и дома их заколочены. В деревне было весной 134 лошади и 96 коров. Теперь осталось лишь 12 лошадей и 24 коровы. Осталась одна собака, остальные же собаки и кошки давно уже съедены. В лучших домах часть жильцов лежит опухшая от голода, остальные еле двигаются. Вообще—в каждом доме от одного до двух приговоренных к смерти" (заявление председателя Татцика т. Сабирова—казанские „Известия" № 37).

Массовые голодные смерти сделались обычным явлением в городе. Падают на улице, едут подводы и подбирают умерших. Об этом свидетельствует статистика „Самарской Коммуны", которая исчисляет число смертей в 1921 году по г. Самара в 183 человека на каждую 1.000 населения. Картина вымирания деревни более жуткая. Деревня умирает тихо, и нет стука колес, объезжающих улицы подвод, и нет газетной статистики. Голодный мужик умирает почти „по Чехову". Съел последний кусок глины, лег под образа и умер. Царицынская „Борьба" сообщает, что в Башкирии голод достиг крайних пределов. Весь край вымирает. Есть села и деревни, где не осталось ни одного жителя (№ 670).

Невероятную сложность представляет в этих условиях борьба с эпидемиями. Самым важным и самым трудным делом является здесь уборка трупов. Некоторые Губэкосо пытаются организовывать рытье могил и погребение трупов в виде общественных работ, но огромное затруднение составляет отсутствие на местах денежных знаков. Симбирский „Экономический Путь" сообщает, что сызранским укомпомголом „уплачено рабочим на перевозку со ст. Сызрань и рытье могил для 800 голодных трупов 15.875.000 руб. Осталось непохороненными еще 100 трупов из-за отсутствия средств". Вышедшая в Самаре книга „Ужасы голода в Самарской губернии" указывает, что во всех селах губернии для рытья могил объявляется трудовая повинность, роются братские могилы. „Но,—замечает автор,—скоро выполнять этих нарядов будет некому, весь народ обессилен. В селах Пугачевского уезда трупы уже не хоронят, так как обессилевшее население не в состоянии копать могилы в мерзлой земле, и складывают в амбары".

В сел. Старой Порубежке сложено в общественных амбарах свыше 300 трупов; в сел. Клевенко около 400; в сел. Таловом до 200; в сел. Толстовке свыше 200 трупов и т. д.

Появились среди голодного населения болезни необычайные, раньше не виданные на людях. Они, вероятно, перешли к ним от поедаемых животных. Общее явление—питание падалью. Ею питаются там, где население не окончательно потеряло инстинкта жизни и еще способно вести борьбу за существование. Здесь наблюдаются удручающие проявления самодеятельности и изобретательности. Так, в Вольском уезде в деревнях, где голодающие питаются падалью, установлен порядок распределения этой пищи по жребию, распределению предшествует внимательный учет числа дворов и оставшихся членов семьи. Саратовский корреспондент Роста отмечает, что „за последнее время в пищу пошла старая овчина с полушубков, употребляемая следующим образом: шерсть опаливается, кожа разваривается и так съедается, при этом крестьяне заранее готовят себе могилы".

Все чаще и чаще получаются сведения о трупоедстве и людоедстве. Трупоедство стало обычным явлением, но „таким же бытовым явлением становится и людоедство. Охотятся за живыми людьми, женщинами и детьми особенно. Муж убил жену и съел ее. Мать зарезала ребенка и съела. Сын убил отца и съел. На улицах в голодных местах появились „охотники за черепами". Людоедство переходит в психоз. Женщина-врач, прибывшая из голодного вымирающего района в Москву, мечтает о... человеческом мясе. Воровство, грабежи, бандитские нападения приняли колоссальные размеры.

„Крестьяне Ленинского уезда с нетерпением ждут „Овдокеи". В день „Овдокеи" обыкновенно оживают от зимней спячки суслики

Стремясь избавиться от голодной смерти, они надеются, что суслики их поддержут своим мясом" („Борьба" № 639).

Идет поголовное физическое вырождение населения. Люди сходят с ума, кончают самоубийством. Какова общая картина вырождаемости, можно судить по тому, что статистика Уфимского наробраза исчисляет только количество вырождающихся детей по своей губернии цифрой—326.106. При этом надо иметь в виду, что Уфимская губерния не самая голодная.

Какой же выход из положения? Максимальное напряжение в деле помощи, которое делала страна до сих пор, не давало возможности кормить больше 2 миллионов человек, а вместе с заграничной помощью—не больше 4 миллионов. Даже если бы удалось втянуть все крестьянство благополучных губерний в дело помощи и провести в полной мере лозунг—10 сытых кормят одного голодного,—коэффициент помощи довести до цифры потребности, конечно, не удалось бы.

Нынешняя организация помощи обрекает на смерть свыше 10 миллионов человек. Оставить дело помощи в этом состоянии означает не спасти, а только отдалить смерть.

Л. Н. Толстой о голоде писал:

„Что меня беспокоит, так это то—не напрасно ли я помогаю тому населению, которое я кормлю. Я кормлю сейчас несколько деревень, но у меня не хватает материальных средств, чтобы их прокормить до июня, до нового урожая. Если я их буду кормить до апреля, то в апреле они помрут и вся моя работа будет бесцельная и пропадет даром. Не все ли равно тому, кому предопределена самая тяжкая, голодная смерть,—умирать в марте или в апреле месяце; и в соответствии с этим основная задача, когда вы беретесь прокормить население, когда вы берете его на свои плечи, заключается в том, что вы должны довести свою помощь до конца".

Да, помогать надо так, чтобы спасти! Но ведь спасти не может и общее напряжение всей республики. Хлеба у нас в этом году в два раза меньше, чем до войны. При таком дефиците хлеба в России только помощь извне может облегчить положение истощенной страны.

Но капиталистическая заграница продолжает рассматривать голод, как своего союзника, и потому ждать помощи от нее не приходится. Все западно-европейские государства вместе взятые дали от щедрот своих всего около 35 миллионов рублей. Но из них не прибыло к голодному крестьянину Поволжья и „гроша щербатого". „Французский парламент лицемерно ассигновал 6 миллионов франков в пользу голодающих России. Те, что едят разваренную овчину, не ждут этих денег, ибо их не дождаться. Англия отказалась помогать, так как у нее свое „Поволжье"—два миллиона безработных, и правительству надо о них озаботиться". Ведь речь идет о помощи голодающим, а не контрреволюции. „Если бы английское правительство дало хотя бы половину тех сумм, которые оно развеяло по ветру, оказывая помощь Деникину и Колчаку, то в России не было бы ни одного случая голодной смерти". Эти слова депутата Веджвуда в английском парламенте, конечно, ни в чем не убедили Ллойд-Джорджа, взявшего под свое „отеческое" попечение британских безработных. Неизвестно кому больше перепадает от этой ласки английского правительства—русским голодным крестьянам или английским пролетариям, но несомненно одно, что рассчитывать на помощь Англии значит то же, что надеяться на поддержку Франции. Ясно, что хлеб нужно не просить у заграничного буржуа, а покупать. Единственный товар, который годится в

обмен на иностранный хлеб, это—золото. В руках государства его очень мало. Оно не может обеспечить всего числа голодающих в этом году, ни тем более в течение двух лет под-ряд.

Где же выход? На него совершенно неожиданно наткнулись сами крестьяне голодных губерний. И одновременно в разных сторонах республики. Крестьяне Мелитопольского уезда первые указали, что наша страна не бедна,—она обладает неисчисленными богатствами, которые лежат без всякой пользы. Они могут спасти голодное население от смерти и улучшить разрушенное крестьянское хозяйство. Эти богатства лежат в храмах и церквах. Их надо изъять оттуда и обратить в хлеб, в семена, в сельско-хозяйственные машины, в рабочий скот.

Михаил Горев в своей брошюре „Голод" приводит следующие сведения о количестве и реальной ценности богатств, хранящихся в России в храмах разных культов:

„Богатства Троицкой Лавры. (Серебряная, кованая, местами золоченая сень. Серебра более 6½ пудов, золота 4 фунта; „сионская горница" 9 фунт. золота, 20 фунт. серебра, серебряное паникадило 5 пуд., серебряные царские врата—около 4 пудов, рака—более 25 пудов, только 9 лампад весят более 3 пуд.). По подсчету самих же монахов в Троицкой Лавре, не говоря уже о драгоценных камнях, золота и серебра несколько сотен пудов.

Богатства петроградских храмов. (В Исаакиевском соборе только в 215 предметах церковной утвари, пожертвованных 4 фабрикантами, золота более 2 пуд., серебра 133 пуда, серебряная рака к плащанице весит 13 пудов, на золотой весящей 10 фунт. ризе казанской иконы алмазов 1.432, 3 больших солитера, 1.665 бриллиантов двойной грани, 638 рубинов, 155 изумрудов, 1.400 штук жемчуга и бриллиантовое колье из „превосходных" бриллиантов. Пожертвовано Кутузовым 40 пуд. серебра только на изображения статуи 4 евангелистов.)

Богатства Соловецкого монастыря, которых по подсчету местного съезда Советов должно хватить на прокормление нескольких миллионов голодающих. Новгородские монастыри. Ценности, хранящиеся в Юрьевском монастыре и исчисляемые настоятелем архимандритом Никодимом миллионами золотых рублей. Богатства Киевской лавры и Александро-Невской, петербургской.

По статистике царского времени на 1890 год было 4 лавры и 7 богатейших ставропигиальных (подчиненных непосредственно патриарху или синоду) монастырей, 695 соборов, 1.313 монастырских церквей, 34.574 церкви приходских, 1.604 домовых, 283 единоверческих, 4.832 приписных, 2.004 кладбищенских, 18.979 часовен и молитвенных домов. Всего 64.016 церквей одной только православной религии.

В большинстве храмов, кроме дорогих серебряных риз, по несколько золотых и серебряных приборов для причастия, золотые и серебряные склады евангелий, кресты запрестольные и напрестольные, иногда осыпанные драгоценными камнями. В храмах и монастырях имеется 313 серебряных рак, каждая рака весит от 20 до 30 пудов. Рака с мощами Александра Невского весит более 50 пуд. Среди часовен такие, как, например, Иверская часовня, Спасителя, Скорбящей божьей матери, в каждой из них одни ризы исчисляются сотнями тысяч довоенных рублей.

В грубых, суммарных цифрах подсчитано: если перевести ценности храмов всех культов на серебро, то этого серебра будет 525 ты-

сяч пудов или 525.000.000 пуд. хлеба голодным. Т.-е. если собрать все церковные ценности, перевести их на серебро и нагрузить ими поезд, этот поезд протянулся бы на 7 верст.

Если все ценности обменять на хлеб для голодных, Поволжье и другие голодающие округа могли бы этим хлебом питаться в течение 2 лет, кроме того, на эти же ценности можно было бы открыть 1.500 агрономических школ, выписать 1.000 тракторов и других сельско-хозяйственных машин или же выписать такое количество сухоустойчивых семян, которых хватило бы для засева всей России на 10 засушливых лет.

Принимая во внимание довоенную стоимость фунта серебра в 25 руб. и стоимость пуда хлеба—1 руб., мы имеем на каждый фунт церковного серебра—25 пуд. хлеба. Положив, что на прокормление голодающего необходимо $1^1/_3$ фун. в день или 1 пуд в месяц, мы получим, что каждый фунт церковного серебра спасает от смерти и кормит до нового урожая семью в 5 человек".

Мысль об изъятии церковных ценностей принадлежит крестьянству, которому голодные муки сами подсказали, что следует делать. Голод толкает крестьянство на изыскание различных путей помощи. Так, Сабуровский исполком, Бежецкого уезда, взимает по 20 фунтов ржи с каждого брака. Крестьяне Грибунинской волости, Псковской губ., выработали новый порядок посещения Устинской церкви. Каждый прихожанин и каждый молящийся должен внести специальный налог в пользу голодающих. В дверях церкви поставлен сторож, который пропускает в церковь только тех, кто предъявляет квитанцию о внесении налога. Но ни один из этих способов помощи так быстро и так широко не распространился и не привился в деревне, как идея обращения ненужного церковного инвентаря в хлеб. Резолюции сельских сходов, собраний прихожан, собраний красноармейцев и рабочих выносятся в большом числе и с достаточной решительностью. Так в этой совершенно новой области начался свой „Октябрь".

Отношение крестьянства к вопросу об изъятии ценностей представляет особый интерес в связи с теми суеверными религиозными настроениями, которые охватили деревню под влиянием голодной стихии. Малосознательное крестьянство, скрученное пытками голода, потому и пассивно так в борьбе с ним, что оно верит: „это—божья кара". В этой мысли укрепляет его и духовенство. И резолюции крестьян, притом именно голодных деревень по преимуществу,—ярче всего свидетельствуют о происшедшем в них глубоком психологическом сдвиге. Идея использования церковной утвари для обмена на хлеб пришла не сверху, а из глубины деревни отдаленного голодного Мелитопольского уезда. ВЦИК'у в своем декрете пришлось только санкционировать настойчивое стремление самого населения, а не предписывать изъятие мерами исключительно административными.

О том массивном народном подъеме, который создал мысль об извлечении ценностей из церквей, лучше всего говорят не столичные газеты—они не могут уследить за движениями, происходящими в самой гуще крестьянской массы,—а провинциальные. Это народное движение захватило и служителей сельской церкви, которые не в силах противостоять воле крестьян. Некоторые сельские священники искренно сами увлеклись задачей спасения голодающих путем обращения церковного золота в продовольствие. На этой почве даже увеличилось число так называемых советских священников. Этот тип „советского батюшки" в деревне встречался и раньше. Стремление прийти на помощь

власти в ее борьбе с голодным бедствием вызвало доверчивое отношение к советским органам у значительного числа священников, и сейчас „советский“ батюшка уже довольно распространенное явление.

Среди высшего духовенства идея изъятия ценностей не встретила, однако, хорошего отношения. Патриарх Тихон на бесконечные призывы крестьян голодающей губернии отдать церковные ценности для спасения их семей ответил пышным „манифесгом“, в котором по существу сказал: „На тебе, небоже, что мне не гоже“. Патриарх разрешает отдать только те предметы, которые сейчас без надобности лежат в храмах и не являются церковными регалиями,—все старые, весь покрытый церковной пылью хлам, старые церковные облачения, медальоны, подвески к ризам, а когда патриарх узнал, что отдельные священники следуют постановлениям собрания прихожан и готовы выдать и более ценные вещи, то Тихон выпустил второй манифест, в котором грозит служителям церкви „извержением из сана“, а мирянам—отлучением.

Несмотря на эти угрозы, часть духовенства все же стала на путь выдачи ценностей для обмена на хлеб. Петроградский протоиерей Введенский обратился с письмом к населению, в котором заявляет: „Есть у нас материальные ценности, которые могут спасти сотни тысяч жизней. Это то золото, то серебро. те камни, которые мы принесли церкви, в рукотворенные храмы Христовы;—живые люди, христиане, не должны ли мы обратить это золото в хлеб, чтобы спасти их. К этому подвигу любви обязывает нас настоящий голод. К этому приглашает нас государство, на это благословляет нас церковь. Этого ждет сам Христос“.

Протоиерей саратовского кафедрального собора признал невозможным ограничиться только печатной агитацией за сдачу ценностей. Он объехал ряд мест, призывая на собраниях мирян отдавать церковное золото. серебро и камни на борьбу с голодом. За 3 месяца протоиерей выступил 50 раз в церквах, костелах и синагогах.

Архиепископ нижегородский Евдоким в своем обращении к пастве пишет: „И если бы потребовалось принести на алтарь любви к ближнему и то, что представляет для нас святыню—церковное имущество,—несите его по примеру наших предков“.

Архиепископ костромской Серафим указывает: „Необходимо немедленно склонить верующих к выделению из церковной утвари излишних дорогих сосудов, лампад, подсвечников, иконных риз для приобретения на них хлеба голодным“.

Совершенно не дошла патриаршья угроза „анафемой“ до мирян отдаленных сел и деревень, не остановили угрозы и священников сельских приходов. Царицынская „Борьба“ изо дня в день констатирует: „В Среднем Погромном, Ленинского уезда, в народном доме состоялся многолюдный митинг и заседание местного церковного совета. С речью выступил священник Синюрин, который призывал собравшихся пожертвовать голодающим церковные ценности. Присутствующие постановили изъять все церковные ценности. Из Урюпина телеграфируют: „Местное духовенство приступило к изъятию церковных ценностей для оказания помощи голодающим“. Сельские церкви бедны, в них мало золота и серебра. А дать помощь нужно: „Крестьяне Жабицкой волости, Воронежской губ., постановили сходом продать большой медный церковный колокол весом 220 пудов и купить хлеба для голодающих“.

Архиепископ нижегородский Евдоким вслед за обращением, со-

звав благочинных всех нижегородских церквей, предложил им оказать „действенную и ощутимую помощь". Собрание постановило изъять из всех монастырей нижегородской епархии драгоценные веши и сдать их в пользу голодающих.

По всей России ряд церквей уже сдал, ряд приступил к сдаче ценностей еще до постановления ВЦИК'а. Но зато не мало церковников, которые и после появления декрета стараются отвильнуть от „действующей и ощутимой" помощи, пытаясь откупиться денежными пожертвованиями, собранными, кстати, с мирян. С кислыми лицами сообщают некоторые из них, что „голод не тетка, что ценности дать бы надо, да их нет". „Можно сказать с полной уверенностью, что золотых предметов церковной утвари в наших белорусских храмах нет: кое-где есть только серебряные предметы, но их очень мало",—заявил епископ минский и туровский Мелхиседек. Царицынский священник Сергиевской церкви тоже считает, что дать ценности можно бы, но „я не знаю, куда будут деваться деньги", совсем не двусмысленно вопросил святой отец, обнаруживая тем самым свою верность старой директиве патриарха Тихона, данной им еще в феврале 1918 года о спасении церковного имущества от „грабителей и захватчиков", т.-е. от большевиков.

Этот мотив, неосторожно высказанный царицынским священником, является тем аргументом, которым оперируют священники, явно враждебно относящиеся к делу спасения голодных за счет никому не нужных „священных" сосудов. Они пользуются этим доводом, обращая его в орудие противосоветской агитации и вызывая, где можно, погромные настроения. Кое-где практика изъятия ценностей наткнулась на контр-революционную работу погромных организаций старого царского типа, которые сочли вполне своевременным выступить открыто „на защиту церкви". В Иваново-Вознесенской губ. этот пассивный лозунг „защиты", когда дело обернулось так, что погромщики почувствовали себя более уверенно, превратился в лозунг активной борьбы с Советской властью.

Орган Иваново-Вознесенского губкома и губисполкома „Рабочий Край" от 17 марта печатает приказ об объявлении города на военном положении и в передовой статье „Темные силы" объясняет причину появления этого приказа: „Происходившие в связи с изъятием этих ценностей из храмов собрания верующих в Ив.-Вознесенске и Шуе с несомненностью указывают на подлую провокаторскую работу этих антиобщественных негодных элементов. Так, на собрании, бывшем в Воздвиженском соборе, присутствовала почти в полном составе вся головка погромной кампании 1905 года. Столь же красноречивым фактом является поведение духовенства, не только не принявшего никаких мер к самой возможности разгула темной стихии, но придерживавшегося принципа „любити убо нам удобие молчание" даже тогда, когда эта стихия разошлась во-всю, превратив храм, по словам одного из верующих, в вертеп разбойников".

В № „Рабочего Края" от 21 марта напечатано официальное сообщение, в котором приводится факт, характеризующий действия погромщиков, как переход от агитации к вооруженному наступлению: „Со своей гнусной целью темные погромные элементы повели агитационную работу на собраниях верующих. Не удовольствовавшись этим, они в Шуе довели свою погромную работу до открытого вооруженного сопротивления, во время которого был ранен командир взвода Красной армии, который за свою прежнюю беззаветную защиту инте-

ресов рабочих и крестьян был награжден орденом Красного Знамени, и трое красноармейцев—сыновей трудового населения. В результате вооруженного сопротивления незначительной части населения, направленной погромными элементами, произошла перестрелка, следствием которой оказалось трое убитых и девять раненых".

Реакция всегда группировалась вокруг церкви. В свое время, на территории, занятой Деникиным и Колчаком, под общим руководством генералов и с благословения высшего духовенства формировались целые полки из священников для борьбы с Красной армией. В Одессе в начале 1920 года, перед самой эвакуацией деникинцев, был создан отряд из священников, который они назвали „священным" отрядом. Командиром отряда был назначен известный бандит Струк, прославившийся своими зверствами на Киевщине, Волыни и Подольске. Назначение отряда было организовать погромы в городах по пути отступления. Таковы же были „полки Иисуса Христа" на колчаковском фронте в 1919 году.

Антиреволюционная агитация в церквах в связи с изъятием ценностей есть по существу продолжение борьбы реакционного духовенства с Советской властью.

Советская власть и трудящиеся массы, однако, найдут достаточно сил и средств, чтобы довести дело изъятия церковных ценностей до конца, несмотря на работу черных сил реакций. И если церковники рассчитывают на усиление религиозных настроений в наши дни, они жестоко ошибутся. Советская власть взялась за правое дело: не человек для субботы, а суббота для человека. Идейная позиция Советской власти в вопросе изъятия церковных ценностей безмерно сильнее „канонических" изысканий патриарха Тихона и его поклонников. Эти последние, препятствуя изъятию ценностей, наносят удар прежде всего церкви. Но это уже их дело. Нам об этом сожалеть не приходится.

30-го марта 1922 г.

„Я, Николай Ставрогин...“

Сергей Бобров.

„Я, Николай Ставрогин, в 186... г. жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия...

„Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение...

„Это была единственная кража в моей жизни... Было тридцать два рубля, три красных и две желтых... Часа через четыре и уже вечером, чиновник выждал меня в коридоре.

„— Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сронили ли нечаянно со стула виц-мундир... у двери лежал?

„— Нет, не помню, а у вас лежал виц-мундир?

„— Да, лежал-с.

„— На полу?

„— Сначала на стуле, а потом на полу.

„— Что ж вы его подняли?

„— Поднял.

„— Ну, так чего же вам еще?

„— Да, коли так, так ничего-с...

„(Девочка) была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. (Зачеркнуто: „думаю, лет четырнадцати“)... Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по-бабьи... Но прежде того было вот что: в ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того, чтобы ее высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание...

„Мать куда-то собиралась с узлом; мещанина, разумеется, не было, остались я и Матреша... Матреша сидела в своей каморке на скамеечке, ко мне спиной и что-то копалась с иголкой. Наконец, вдруг тихо запела, очень тихо, это с ней иногда бывало... У меня начинало биться сердце... Я взял ее руку и тихо поцеловал... Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение... Когда все кончилось, она была смущена...“

Выписанное не исчерпывает чудовищной мрачности предлежащего материала. Это: „Документы по истории литературы и общественности.— Ф. М. Достоевский. Вып. первый. 1. Исповедь Ставрогина. 2. План Жития великого грешника.—Издательство Центрархива Р. С. Ф. С. Р. М. 1922“. Стр. 80 и четыре таблицы-факсимиле. Тираж десять тысяч экз.

Все это найдено в недавно вскрытых ящиках Достоевского в Центрархиве. И напечатано в десяти (!) тысячах экземпляров.

Достоевский мрачен, свыше всякой мыслимой меры, эти же страницы раскрывают перед нами пропасть такой глубины и такого отчаянного антигуманизма, что это несомненно писано нездоровым человеком. Эти страницы—в руки психиатров. Им это нужно и важно. Их наука живет гуманизмом: она стремится облегчить ужасы сумасшествия, они должны изучать все это. Зачем это **нам**, читателям, обществу?

Подумайте о Пушкине. Мы не знаем и не узнаем (в скорости по крайней мере), каков был тот тяжелый материал, который послужил жизненным постулатом (мы говорим не о биографических данных, а о данных сознания) для „Пиковой Дамы“ и маленьких трагедий. Они напоены тяжелым мраком. Очевидно, что жизненные основания этих произведений в достаточной степени страшны. Ряд преступлений и разнообразных убийств. Общий тяжелый фон происшествий. Величина Пушкина определяется в данном случае тем, что он умел организовать этот материал и дать нам не кашу противоречивых метаний интеллекта из одной бессмыслицы в другую,—а **трагедию**.

У Достоевского—никакой трагедии нет. Сырой разложившийся мозг сумасшедшего не трагичен. В нем нет никакой антитезы, кроме противоположения узаконенных форм жизни с бессмысленными нарушениями их. Нарушения эти постулируются тем, что откроет микроскоп психиатра на вскрытии черепа.

У Альтенберга где-то есть фраза, что художник должен обладать опьяненным сердцем и холодным трезвым умом.

Опьяненное сердце объективирует мир из восхищения и сострадания. У Достоевского это подменяется сходными по виду, но противоположными по существу,—болезненным замиранием перед совершением гнусности (восхищение) и тем же замиранием при вызывании чужого страдания (сострадание). Больница, палата № такой-то,—недаром брюзгливо косился Тургенев на Достоевского: „Больницей пахнет“...

Страшная подробность описания приводит к механическому (магия слов...) закреплению в уме читателя чудовищного фантома разлагающейся души. Воображение расстроено,—оно фиксируется на подробностях: **быта преступления**. Истерика втягивает в себя читателя. Искушение читателя не имеет подобия,—вот бездна, прыгайте, **это всякому доступно**. В этом что-то есть,—так обманывает читателя автор.

Достоевский стоит в определенной связи с Гофманом. Но он перенял у немецкого романтика лишь метод общения с читателем. Сарказм Гофмана разлагается в сарказм над собственной бутафоричностью, его здоровый темперамент вытаскивает его из любой путаницы. Да, говорит Гофман, пертурбации переживаний могут создавать

такие и такие-то фантазмы, но живое сердце их побеждает. У Гофмана человек прост, и эта-то простота его спасает.

У Достоевского, как у Ставрогина, „великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость“ (слова Тихона), ей постулируется и сарказм и все остальное. И любовь к смешному положению и неожиданный страх перед ним (перед Тихоном, когда он указывает, что исповедь—смешна). И ужас перед обществом, кончающийся тем, что после раскрытия секрета Ставрогину приходит мысль убить Тихона.

Что остается?—Остается петля, которую и получает Ставрогин. Но при чем тут искусство?

Ясно, что не при чем, не его это дело.

Художник—это здоровый человек. Иначе... иначе получается исповедь, никому не нужная—„великая праздная сила“.

Да ведь и эта фраза—только издевательство, ибо и на эту фразу—наплевать Ставрогину.

Преступление в трагедии—результат неизбежности (фатум). У Достоевского до крайности подчеркнуто, что все это было избежимо и есть лишь результат злой воли, актуального зла.

Пушкинский Сальери находит рациональные основания для преступления,—у Ставрогина их нет, они коренятся в ощущениях, и только.

Подробность описания, подчеркивание нехарактерных и неважных мелочей, фиксирование внимания на обстановке, по существу безразличной, но важной тем, что она—вместилище происходящего,—гипнотический прием, направленный к читателю. Эстетики нет, есть дерганье читателя за нервы, есть механическое прикрепление воспринимающих и воссоздающих центров к такой-то данности, оболганной медиумическим автором (она объявляется вместилищем гнусностей, а „стало быть“—очевидная деформация силлогизма, вызываемая медиумом—их причиной), подготовка рамолизированного сознания, дабы сломить сопротивление рассудка. В рассудок со сломленным сопротивлением внедряется актуальное зло. Это не искусство и ничего общего с этой, как говорил Вольфганг Гете (и как повторил Шопенгауэр), радугой мира это занятие не имеет.

„Униженные и оскорбленные“ персонажи здесь лишь материал для злой воли, они ввещены, реализованы, лишь с теми же гипнотическими целями (реализации обстановки), по существу они фантомы, они—фон, где разыгрывается бесстыжейший фарс актуального зла, не имеющего другой цели кроме себя.

Автор говорит за злую волю, этим она еще актуализируется. Ее актуальность подчеркивается всячески: исповедь еще стилизует, подделывается под стиль полицейского документа.

Пустите по людной улице никем не управляемый автомобиль, и, несмотря на то, что его движение не имеет отношения ни к добру, ни к злу, и несмотря на то, что он добросовестно выполнит заданное ему, результатом его действия будет зло. Нам скажут с хихиканьем: — а-а! искусство должно иметь морально-чистую подкладку!—Старая песня!—

Да: искусство этично и эстетично. Не-этичное искусство одновременно и не-эстетично и, стало быть, оно совсем не искусство.

Есть сила, и, может быть, кто-нибудь назовет ее красотой—в „Исповеди": но травля людей диким зверьем из ложи Нерона, наверно, тоже казалась красивой. Наше современное сознание переводит такую „силу" в гнусность. Спорьте с ним, с этим сознанием, если вам нравится; вам придется спорить с человечеством,—надо полагать, оно одолеет.

Труд постулирует существование. Ряд заработанных ценностей есть жизнь. Работа, не направленная никуда (не направленная на строение жизни), обязательно направляется на разрушение жизни, ибо всякая работа имеет результат, а середины здесь быть не может.

Не в коротенькой журнальной заметке решать вопросы, касающиеся общей эстетики Достоевского. Но этот вопрос приходится хотя бы поставить, затронуть походя, ибо ведь „Исповедь" писана Достоевским, она как-то входит в круг его творчества,—это кусок Достоевского, и—из песни слова не выкинешь.

Существенно было бы важно выяснить, по каким причинам не напечатал Достоевский сам „Исповедь"; но как бы ни был решен этот вопрос, он для нас теперь не настолько существенен. Для нас „Исповедь" ныне уже входит в Достоевского (хоть и с оговорками), в наше представление о нем.

Достоевский не раз подходил к теме „Исповеди". Сцена Свидригайлова с Дунечкой, стрельба, веселенькие реплики мишени, наконец „умоляющие глаза" несопротивляющейся Дуни (вечное у Достоевского: разложение доброго начала под влиянием злого) и проч. Да и один ли Свидригайлов? В любом романе Достоевского потенциально заключается тот же материал, который пошел на выделку „Исповеди". У того же Свидригайлова в его кошмаре—девочка-самоубийца, утопленница, четырнадцати лет (жертве Ставрогина по варианту столько же), она „погубила себя, оскорбленная обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое детское сознание", в том же кошмаре приснившаяся еще меньше девочка, кухаркина дочь, которую „мамася плибьет" и в которой далее раскрываются какие-то сексуально-демонические черты,—все это то же самое.

Подходил и отскакивал. Еще немножко, чуть-чуть... нет, невозможно: герой стреляется (Свидригайлов), вешается (Ставрогин), и его тайна умирает вместе с ним. Но болезненная тяга к окончательному раскрытию была, оставалась, наконец победила. Смысл общий: злое сильнее доброго, злое разлагает своим соблазном доброе. В „Исповеди" доброе (Тихон) пугается злого (Ставрогина) и откидывает его от себя, не побеждая, по существу, своим знанием злого. Злое отскакивает, разоблаченное, но ни в какой мере не побежденное. Читатель, следовательно, может вывести: злое непобедимо.

Эстетика Достоевского: красивое страшно, ибо иммморально. Можно любоваться и светлым идеалом, и темным... и вдруг прорывается: „что уму представляется позором, то сердцу—сплошь красотой". Очевидно, дело не в имморализме красоты Достоевского, а в анти-морализме его красоты. К тому идут вечные доказательства, что злое легко разлагает доброе и внедряется в побежденное и разложенное сознание. „Жизнь—копейка", говорит какой-нибудь Свидригайлов, подставляя лоб под Дунечкин револьвер,—„я ею не дорожу, вот я

какой". В сознании партнера (жертвы обыкновенно) происходит размышление: если этот человек сейчас так играет жизнью, то очевидно ему есть за что ею играть, он хочет или вот этого, или—ему и на жизнь наплевать. Так рассуждает человек—и ошибается, ибо никакого „вот этого", загадочность которого и губит Дунечку и всяких Дунечек, нет у Свидригайлова и не было, а жизнь ему не нужна и он с ней расплюется через сутки. Вся иллюзорная сила злых героев Достоевского в том, что они уже разложились и вообще представляют собой категорию „еще не застрелившихся за недосугом людей". Простое человеческое сознание отказывается абсорбировать этот полоумный факт, ищет рациональных и сентиментальных объяснений, в порядке этого искания тянется жалостно к этому же разлагающемуся самоубийце—тут и пропасть: он—самоубийца-профессионал и больше у него за душой ни гроша нет. В пропасти пустоты гибнет и новое сознание. Некий духовный упыризм.

Окрестность наполнена идиотами: что-то блеет первый русский имажинист капитан Лебядкин, с паучьим добродушием острит Федька-каторжник над зарезанным им человеком. Самоубийцы охотятся друг за другом да пополняют свои ряды, „удивляя" четырнадцатилетних девочек.

Есть связь у „Исповеди" с Достоевским?—Есть. Выводы?—Мы предоставляем их читателю.

Русские сменовеховцы.

Н. Мещеряков.

„Мы не боимся теперь сказать: „Идем в Каноссу!“. Мы были неправы. Мы ошиблись. Не побоимся же открыто за себя и за других признать это“.

„Домой! В Россию! С сознанием, что перестроить ее посветлее и попросторнее можно, только считаясь с главным строительным материалом - с народом“.

В этих двух коротеньких цитатах из сборника „Смена вех“ выражается вся сущность всех статей этого сборника.

Авторы статей сборника, а равно и те заграничные эмигранты интеллигенты, которые стоят за ними, выступали врагами Советской власти, они не работали совместно с ней и боролись против нее. Теперь они сознают свои ошибки, „каются“ в своих грехах и призывают всех других русских эмигрантов к тому же сознанию.

Движение, начатое за границей сменовеховцами, перекинулось и в Россию. И здесь большинство интеллигенции если и не решалось прямо вступить в борьбу против Советской власти, то во всяком случае смотрело враждебно на нее, в начале революции бойкотировало эту власть, саботировало ее работу, и если и сотрудничало, то из соображений почти исключительно пайковых. Есть поэтому в чем „каяться“ и той части русской интеллигенции, которая осталась на родине, и вполне естественно, что движение сменовеховства перекинулось из-за границы в Россию. И здесь оно должно было сказаться с неменьшей яркостью.

Первое проявление этого движения мы видим в вышедшем на днях в Петербурге первом номере „общественно-литературного и научного“ ежемесячного журнала „Новая Россия“.

В первой статье журнала редакция его так определяет характер и задачи нового органа:

„Старая (идеология) сгорела в огне революции, испепелилась, рассыпалась прахом. Не устояли ни старые идеологии, ни старые программы, ни старые партийные деления, ни старая тактика. Все были у власти и все обанкротились, ибо все доныне действовавшие общественные силы были повинны в грехе догматизма, оторванности от народа, от подлинной жизненной действительности... Надо подвергнуть решительному пересмотру все старые понятия, все идейные и этические предпосылки нашего интеллигентского миросозерцания“...

„Новая Россия“ будет стремиться стать идейным органом этой интеллигенции, почерпающей силы от свежей и буйной народной це-

лины. Для этой жизненно-формирующейся новой общественности журнал будет формировать новую идеологию" (стр. 3).

В другой редакционной заметке мы читаем:

„Наш журнал стремится стать органом творчески ищущей интеллигентской мысли, которая в плоскости, лишенной страстей политической злободневности, попытается спокойно, исторически осмыслить пережитое, уяснить себе поучительные уроки и предуказания революции, сделать из них соответствующие выводы" (стр. 57).

Как видно из этих цитат, „Новая Россия" ставит себе те же задачи, которые за границей ставят сборник и журнал сменовеховцев. Но, как мы увидим ниже, в выполнении этих задач русский журнал значительно отстает от своего заграничного собрата.

Заграничные сменовеховцы прекрасно поняли, что нельзя было делать революцию иначе, чем она делалась в России. Они вполне, без оговорок оправдывают ее режим диктатуры; они решительно заявляют, что „равноправие граждан" при парламентском режиме, которое обещали вожди буржуазных партий, есть только „глубокое лицемерие". Вместе с народом они „отвергают с иронией всю пышную либеральную идеологию правового государства, украшенную роскошной живописью лучших интеллигентских умов". „Все эти свободы хороши,— говорят они,—но текли только по усам народа, не попадая в его рот". „Русская социальная революция,—писал Бобрищев-Пушкин,— обнаружила изумительно бережное и трогательное отношение к художественным ценностям". „Советская власть была вынуждена на суровую диктатуру",—пишет тот же Бобрищев-Пушкин в другом месте.

Перегоревши лично в огне контр-революции, заграничные сменовеховцы ясно поняли всю призрачность и обманчивость „пышной либеральной идеологии правового государства" со всем ее штабом свобод. А редакция „Новой России", повидимому, еще далеко не дошла до такого понимания. Вот, например, как С. Адрианов в статье: „Третья Россия" характеризует деятельность революции:

„Ее метод таков: лучше загубить десять невинных, чем пропустить одного виновного, лучше растоптать миллион ценностей, чем оставить один вредный росток. И как безжалостно топтала она"...

И это говорится про русскую революцию, которая держала в своих руках тысячи глубоко скомпрометированных контр-революционеров и выпустила их на волю, десятки тысяч офицеров белогвардейских армий и также выпустила их.

Авторы сборника „Смена вех" говорят, что русская интеллигенция своей борьбой против Советской власти сама вынудила последнюю на суровую диктатуру. Иначе обрисовывают дело авторы „Новой России". По их мнению, русская интеллигенция отошла от революции потому, что она была слишком гуманна, чтобы принять участие в безжалостно разрушительной работе революции. Так они и пишут:

„Для такого дела непригодна была наша интеллигенция, гуманная, умственно-аристократическая, слабовольная" (стр. 5). Редакция „Новой России" как будто ничего не знает о страшных разрушениях, произведенных корниловскими, деникинскими и всякими другими добровольцами, состоявшими из офицеров, студентов и прочих интеллигентов. Много иллюстраций такой „гуманности" можно найти в книжках Г. Раковского, Романа Гуля („Ледяной поход"), В. Шульгина („1920-й год") и во многих других.

„Ведь не за банкира же и помещика, не за мясника и домовладельца заступался, в самом деле, рядовой рус[illegible] [illegible]нтеллигент, идя на

саботаж Советской власти",—пишет далее все тот же автор—С. Адрианов.

Увы! именно за них. Русская революция—это борьба эксплоатируемых против эксплоататоров. Контр-революция—это лагерь эксплоататоров-помещиков и буржуазии. Русская интеллигенция, борясь против Советской власти, ушла в лагерь контр-революции. Какие бы знамена ни выставляла она в этой работе, объективно она боролась „за банкира, помещика, мясника и домовладельца". Этого слова из песни не выкинешь.

Я уже указывал выше, как иронически относятся заграничные сменовеховцы ко всяким конституционным свободам, которые „текут по усам народа, не попадая в его рот". Авторы и редакция „Новой России" далеко не потеряли веры в эти фетиши. Они полны тоски по этим конституционным свободам. Вопрос о пользе и необходимости пролетарской диктатуры в настоящий момент, когда оживает старый эксплоататор народа - буржуазия, даже не ставится ими.

„После четырех лет гробового молчания ныне выходит в свет первый беспартийный публицистический орган". Так начинается первая редакционная статья. Редакция считает свой голос нелицеприятным. Но за время революции звучали другие голоса,—голоса власти, которую русский трудовой народ признавал за свою, родную власть, которой он поручил защиту своих интересов в важнейший период истории, когда закладываются основы нового порядка во время революции. Выходит как будто, что это были „лицеприятные" голоса. Немного же поняла в революции редакция „Новой России".

В статье „Надо жить", Тан пишет:

„Искренно надеюсь, что это (первый журнал)—лишь первая ласточка. За ним пролетит и другая, и третья, не только мимо моего, но мимо чужого окошка, и начнется весна.

Весна. Выставляется первая рама"...

Тан мечтает о том, чтобы ласточки летали и „мимо чужих окошек". Но если ласточкам пришло время летать, то полетят и буржуазные ласточки. И их приветствует Тан, радостно восклицая: „весна!". Выходит, что „весна" была не во время революции, когда народ освобождался от своих эксплоататоров и гнал их,—она наступит тогда, когда прилетит буржуазная ласточка.

И слова Тана не обмолвка. Другие авторы также глубоко скорбят, что не могут пока в России высказываться все другие течения мысли. „Мы выпускаем первый, беспартийный общественный журнал",—говорит передовая статья „Новой России". Все советские, профессиональные и кооперативные органы, повидимому, общественными не считаются.

В первой редакционной статье журнала мы читаем:

„Первейшей своей задачей „Новая Россия" ставит дать проекцию новой России в литературном воплощении". Как же выполняет журнал эту задачу? Какой ему рисуется новая Россия?

В первой редакционной статье мы находим по этому вопросу только туманные общие фразы. „Построение новой России должно совершиться на определенной основе и определенными силами. Основа эта не может быть иной, как революционная. Свершилась великая революция, выкорчевала старые гнилые балки и, полуразрушив верхний фасад дома, подвела под него железо-бетонный фундамент. Дом выглядит сейчас неприглядно, но просмотреть новую могучую социально госу-

дарственную основу могут лишь слепцы. Строительство идет и пойдет на новых началах, но новых не абсолютно... Здоровые корни нового сплетаются с здоровыми корнями прошлого... На синтезе революционной новизны и дореволюционной старины строится и будет строиться новая. пореволюционная Россия".

Хоть автор и любит модное словечко „определенный", но никакой определенности в его мыслях здесь не найдете.

В статье С. Адрианова „Третья Россия" (первой была дореволюционная, второй революционная, Россия диктатуры пролетариата) читаем:

„Новая база государственности обозначилась уже с полной отчетливостью. Это—крестьянство... Все это, конечно, далеко от коммунизма, но совсем не похоже и на дореволюционное положение деревни, нищей и беззащитной... Противовесом ей должен послужить городской пролетариат, как элемент более восприимчивый к культуре". О том, как сложатся отношения между ними, ни слова. И здесь определенности не много.

В экономической области „предполагается, повидимому, образовать единый, мощный, международный синдикат, который получит монополию на экономическое восстановление России. Но и государство останется рядом с ним хозяином ряда крупных предприятий и даже целых отраслей производства. Как сложатся отношения между этими двумя хозяевами, что получится в итоге в области политической и социальной, гадать рано".

То, что существует в настоящее время в России, конечно, не социализм, а тем паче не коммунизм. Это только переходный период от капитализма к социализму. Идет ожесточенная борьба между ними. Чем кончится эта борьба? Журнал, который обещает „дать проекцию новой России", который стремится стать идейным органом новой интеллигенции, не может уклониться от этого важного вопроса. А в ответ он преподносит общие места, подобные вышеприведенным. Вряд ли такие ответы удовлетворят какого-нибудь читателя.

Но Советская власть прочно утвердилась в России. У нее нет соперников. Поэтому относительно власти в будущей России ответ журнала звучит более определенно:

„Революция взбудоражила до дна несметные темные низы, и в городе, и в деревне воззвала их к политическому и гражданскому сознанию. Это не может пройти даром. Впредь государственной власти уже не построить на подавлении воли масс, на возвращении народа к нерассуждающей покорности... Теперь власти придется почерпать свою силу в росте гражданственности масс, опираясь на их активное участие в государственном строительстве. Этому условию не удовлетворяют обветшавшие формы западного конституционализма".

„Революция далее подвергла строгому практическому испытанию всех претендентов на власть и признала пригодной только небольшую, но железно сорганизованную группу большевиков".

Дело, повидимому, идет хорошо. „Хорошо да не очень". Несколько дальше в той же статье мы читаем:

„Понять—это вовсе не значит возлюбить Советскую власть и воспевать ей дифирамбы... У всякой власти прорех достаточно, а у нашей наипаче... Мириться со всем этим невозможно и с государственной точки зрения преступно. Но все-таки у новой власти есть здоровый стержень. И все-таки ничего кроме нее не сумела выдвинуть страна, расквитавшись со старым режимом".

С одной стороны... с другой стороны... А вот конечный вывод:

„Идет Россия, не коммунистическая и не белогвардейская, а подлинная Россия третьего периода, которая уже более ста лет искала своих путей, но постоянно наталкивалась на глухую стену старого режима. Теперь революция взорвала эту стену, и дорога открыта".

Нельзя сказать, чтобы взгляды редакции нового журнала и здесь отличались большой ясностью и определенностью.

Заграничные сменовеховцы не отделались еще от наследия славянофильства. Это—их слабый пункт. В этом отношении от них не отстает и редакция „Новой России". С. Адрианов с большим сочувствием цитирует слова Герцена:

„Только сгруппировавшись в союз свободных и самобытных народов, славянский[1]) мир вступит, наконец, в истинно историческое существование. Мы имели бы право считать Россию зерном кристаллизации... если бы петербургское правительство сколько-нибудь догадывалось о своем национальном призвании".

Приведя эту цитату, С. Адрианов прибавляет:

„Мы отделались от петербургского правительства... Путь к всеславянскому союзу открыт".

Весь Интернационал сводится к „всеславянскому союзу". А вот окончание статьи С. Адрианова:

„Что это? Третий Рим или третий Интернационал? Ни то и ни другое. Третья Россия. Какое имя соизволит она на себя возложить, никто еще не знает".

И в этом пункте вместо ясности и определенности один славянофильский туман.

* *

В журнале есть и „дискуссионный отдел". В нем мы находим только одну статью—статью заграничного сменовеховца проф. С. С. Лукьянова. Статья эта очень интересна. Приведем из нее несколько выписок:

„Замедлившийся приход мировой революции заставил вождей русской революции отложить осуществление своей основной задачи—борьбу с мировым социальным злом, устремив все свое внимание на борьбу с язвами русской социальной и экономической жизни—на примирение крестьян и рабочих. Но отсрочка не значит отказ. И что в данном случае была именно отсрочка, отражается на новом экономическом строительстве в России, с непререкаемой ясностью выступает во внешней политике Советской власти".

Итак, по мнению С. Лукьянова, новая экономическая политика, политика уступок буржуазии есть только отсрочка в осуществлении социалистических задач. Это особенно ясно во внешней политике, которая направлена в сторону мировой революции. Это куда более ясно и определенно, чем суетня около новой экономической политики редакции „Новой России".

А дальше С. Лукьянов говорит еще определеннее:

„Ошибочно отдельные мероприятия новой экономической политики истолковываются, как восстановление полностью частной собственности. На деле же революционный принцип сохранен: собственником продолжает быть государство, но оно передает принадлежащее по праву ему одному имущество в пользование частным физическим или юридическим лицам, которые, как в управлении этим государ-

[1] Курсив мой. *Н. М.*

ственным имуществом, так и в извлечении из него выгод, ответственны перед государством".

Переживаемый нами исторический период некоторые по слову сменовеховца Устрялова называют советским, коммунистическим „термидором", добровольным самоустранением коммунизма. С. Лукьянов иначе смотрит на дело.

„В сознании капиталистических стран образовался опасный для старого мира надлом: допущена возможность „организации собственности" на иных началах, кроме частно-капиталистических. Дело времени... этот надлом, этот „буржуазный термидор" расширить и закрепить в качестве исходной точки нового экономического и социального развития". Итак, „термидор"—это неизбежная судьба не коммунистов, а буржуазии.

А вот взгляды С. Лукьянова на внешнюю политику Советской России:

„Октябрьская революция, как явление национальное, создала культурные, экономические и социальные условия великого национального возрождения. В нем однако есть элементы—и при том чрезвычайно значительные,—которые выходят далеко за пределы национального. Это, во-первых, новое понимание „права собственности", во-вторых, новое разрешение международной проблемы в направлении единого мирового союза всех трудящихся".

„Единый мировой союз всех трудящихся",—пишет Лукьянов. А редакция „Новой России" все еще живет старыми традициями о всеславянском союзе.

Приведу еще одну, последнюю цитату из статьи С. Лукьянова:

„Если бы русской революции суждено было иметь своего Наполеона,—а он возможен, но лишь воплощенным в мировой социальной революции (другими словами „Наполеон" будет не лицо, а сама мировая социальная революция. *Н. М.*),—то в результате завоевания им Европы все вертикальные [1]) перегородки были бы уничтожены, и единое мировое государство трудящихся из области грез перешло бы в действительность.

„Но и без „русского Наполеона", хотя бы и в образе Мировой Революции, русский опыт федерирования по мере неизбежного приближения социально-экономических основ европейской жизни к основам русским, эволюционно, с непререкаемостью равномерно-ускоренного движения, приведет к тому же—к европейской, а затем и к мировой Советской республике".

„Мировое государство трудящихся", „мировая Советская республика"—вот что ожидает нас в будущем по мнению С. Лукьянова. А редакция „Новой России" бормочет что-то о какой-то „третьей России".

Немудрено, что статья С. Лукьянова выделена из ряда других в „дискуссионный отдел". Она красиво выделяется своей яркостью из ряда других программных статей [2]) „Новой России". Яркий „оригинал" приходится предпочесть тусклым „спискам".—

---

[1]) По терминологии С. Лукьянова „вертикальные" означает здесь национальные.

[2]) В журнале есть две информационные статьи (Ю. Фаусека и Профессора) о современном студенчестве. Эти две статьи очень интересны.

В журнальном мире.

(Обозрение.)

Нурмин.

Мы переживаем сейчас настоящую журнальную горячку. Выходят журналы толстые и тонкие, специальные и общие, частные и государственные, советские и анти-советские. При всем их разнообразии и разнокалиберности, нетрудно, однако, уловить несколько черт, характерных для нашей современности: отход от злободневных политико-экономических вопросов, разработку чисто литературных тем, философских и вообще так называемых отвлеченных вопросов, тягу к науке, искусству и к прошлому. В общем и целом журналы приспособляются к потребностям и запросам читателя. И если в этих запросах часто чувствуется надрыв, усталость, даже духовная прострация, то нельзя их в то же время просто игнорировать, не замечать—и по-прежнему со старыми приемами, изглоданными темами подходить к читателю. Нужно улавливать „дух времени“ и давать ответы на тревожные вопросы и „загадки жизни“. И нужно культивировать тягу читателя к умственным и художественным достижениям человечества, являющимся наиболее здоровыми и плодотворными. Таковыми мы считаем, между прочим, пробудившийся интерес к истории. Об этой тяге говорится и пишется пока мало, а между тем ее наличность—несомненный факт. Нам кажется поэтому совсем не случайным, что именно теперь Истпарт начал по-настоящему работать, выпустил несколько ценных книг и наладил дело с выходом журнала „Пролетарская Революция“. Правда, пережитая полоса революции не нашла своих бытописателей, мемуаров и историков, но ведь мы присутствуем при начале этого процесса—пробуждения интереса к прошлому. Лиха беда начать; первые шаги уже сделаны, и можно полагать, что нас, большевиков и непосредственных участников революции, не придется „открывать“ впоследствии, и опасения в этом направлении т. Покровского, может быть, разрешатся в сторону, благоприятную для нас.

Пока же приходится еще раз отметить, что наиболее ценный исторический материал, выходящий из печати, касается больше глубокого прошлого, чем февральского и октябрьского периодов.

Здесь мы прежде всего должны указать на последние №№ 18 и 19-й журнала „Былое“. В № 18-м помещены, например, крайне интересные „Воспоминания шестидесятницы“ Александры Успенской о Нечаеве. В своих воспоминаниях А. Успенская, близко знавшая Нечаева, с очень большими основаниями оспаривает обычные взгляды

на Нечаева, как на мистификатора, обманщика, не в меру властолюбивого и честолюбивого человека, как на „беса" русской революции. Известно, что этот взгляд довольно прочно укоренился и в революционной среде. „На меня,—пишет А. Успенская,—Нечаев производил впечатление умного, чрезвычайно энергичного человека, всею душою безгранично преданного делу. Такое же впечатление он производил на моего мужа и, несомненно, на всех, с кем встречался"... „Я безусловно верила ему, верил и мой муж, имевший возможность уже на совместной работе ближе познакомиться с ним". Успенская считает компрометирующие слухи о Нечаеве совершенно ложными, либо недоказанными. „Говорили, что Нечаев явился в Россию самозванцем, что он лгал, выдавая себя за уполномоченного от женевского революционного комитета. Это неправда, я сама видела упомянутый выше документ, подписанный Бакуниным. Этого не отрицал и сам Бакунин, как видно из воспоминаний Ралли. Отрицает также А. Успенская и авторство Нечаева в отношении к „Исповеди революционера" („Катехизис"), расшифрованной и читанной на суде. „Исповедь" эта сыграла огромную роль в установке взглядов на Нечаева как на своеобразнаго Маккиавелли революции. Успенская утверждает, что эта программа (исповедь) была написана Бакуниным, о чем она впервые узнала от Софии Перовской. В январе и феврале 1881 г. она виделась несколько раз с Перовской, и та заявила, что в революционных кругах взгляд на Нечаева сильно изменился, что многое из того, что приписывалось Нечаеву, делали другие, главным образом Бакунин, написавший программу, за которую так много нападали на Нечаева. В России, по утверждению Успенской, Нечаев этой программы не распространял, никто из подсудимых ее не читал. По поводу убийства Иванова Успенская устанавливает, что сопроцессники Нечаева в правдивости Нечаева ни в какой мере не сомневались, как и в его преданности делу, а на убийство Иванова смотрели как на ампутацию органа для исцеления всего организма, что личного в этом убийстве у Нечаева не было. Иванов изменил революционному кружку. Одному из членов кружка, Прыжеву, он даже заявил, что намерен сообщить обо всем правительству. Между прочим, автор воспоминаний подчеркивает факт цензуры и сокращения неведомой рукой показаний ее мужа Успенского, благоприятных для Нечаева.

О нравственной силе этого человека свидетельствует следующий рассказ Успенской. В свое время было арестовано несколько крепостных солдат, охранявших Нечаева в Алексеевском равелине, при посредстве которых он вел сношения с народовольцами. Они были арестованы, судимы; одних суд отдал в дисциплинарные батальоны, других сослал в Сибирь.

> „О них мне рассказывал товарищ, сослуживец моего брата, офицер гвардейского гренадерского полка Сперанский, присутствовавший на суде.
>
> Все они держали себя молодцами, с большим достоинством, и, когда, кажется, прокурором было высказано предположение, что Нечаев действовал на них посредством подкупа, все они горячо запротестовали.
>
> — Какой тут подкуп,—раздались голоса,—№ 5 такой человек, для которого без всякого подкупа мы готовы были итти в огонь и воду"...

Воспоминания А. Успенской о Нечаеве, помимо их исторической ценности, имеют и современное, актуальное, можно сказать злобо-

дневное значение. Нечаев и процесс Иванова послужили канвой для „Бесов“ Достоевского. „Бесы“ во мнении русской контр-революционной публицистики—сейчас пророческое, наиболее современное произведение. В связи с опубликованием „Исповеди Ставрогина“ надо ожидать усиления всей этой возни вокруг романа Достоевского. Трудно, конечно, надеяться, что воспоминания Успенской в какой-нибудь мере повлияют на белую публицистику: тут замешана политика; но людям, честно стремящимся понять наше революционное прошлое, воспоминания Успенской дадут возможность более правильно оценить яркую и сильную фигуру революционера Нечаева, ничего общего не имеющего ни с тем „рыжим бесом“, которого изображал когда-то художественный театр, ни с подлым растлителем девочки у Достоевского в „Исповеди Ставрогина“.

Очень своевременны в связи с возможностью нового военного похода на Сов. Россию Польши и воспоминания Д. О. Заславского „Поляки в Киеве в 1920 году“. Заславский—человек, так сказать, „объективный“; тем интереснее его рассказ, как очевидца. Поляки шли на Украйну, полагая, что стоит сбросить большевиков на правом берегу, как все левобережье само поднимется и ликвидирует Сов. власть. Первые успехи поддержали эту иллюзию, за которую потом им пришлось жестоко поплатиться. Восстания против Сов. власти не произошло. Наоборот, в тылу у поляков очень скоро появились разные атаманы и батьки, начавшие с ними борьбу. Крестьян напугало возвращение в Волыни помещиков в свои гнезда, а ставка поляков на украинских самостийников была пустой игрой. Украинские националисты оказались совершенно бессильными и не способными наладить хоть сколько-нибудь сносно управление страной, и вся игра в самостийность выродилась в почти ничем не прикрытую оккупацию. Поляки нисколько тоже не интересовались хозяйственным положением и усиленно вывозили, что могли, к себе в Польшу. В результате даже те из обывателей, которые встретили поляков сочувственно, весьма быстро разочаровались в них и стали ждать прихода Сов. власти, которая не замедлила выгнать поляков из Киева. „Утром двенадцатого появились в городе первые красноармейцы. Их встречали со сдержанным дружелюбием. Днем стали входить пешие и конные части. Не было киевлянина, который, глядя на оборванных, босых и в лаптях, с ружьями на веревках, красноармейцев, не вспоминал с иронией и злорадством об эффектном театральном параде польской армии. „Санкюлоты!“—это слово не раз произносилось в этот день с чувством уважения к победителю“. Очень жива у автора картина разгрома и поджогов Киева поляками в момент эвакуации. „Город принял страшный и отвратительный вид сплошного и безумного мародерства“, а польские солдаты бродили „раздувшиеся, как клопы“. Заславский отмечает, что отступление из Киева большевиков совершалось в полном порядке и без паники. Боялись массовых расстрелов заключенных, но представители Сов. власти освободили огромное большинство арестованных. Оставивши Киев, большевики укрепились на другом берегу. Думали сначала, что большевиков скоро прогонят дальше, но отдаленный гул на черниговской стороне не прекращался. „Этот солидный басовитый рокот,—замечает автор,—имел большое политическое значение и стоил ряда речей на митингах и ряда передовых статей в газетах“.

Компилятивная статья Н. Ашешова „Николай II и его сановники в воспоминаниях графа С. Ю. Витте“ читается с большим интересом ввиду того, что русскому читателю эти воспоминания недоступны. Не имея возможности останавливаться на этой статье, заметим, что ни один революционер не обрисовывал „Николая II в столь отвратительном виде, как это сделал его сподвижник и правая рука Витте“.

Ему и книги в руки.

В № 19 „Былого“ в числе других помещена статья Е. Тарле „Германская ориентация П. Н. Дурново в 1914 году“. В феврале 1914 года, когда угроза войны сделалась довольно реальной, Дурново подал Николаю II записку, в которой он высказывался против англо-русского сближения и в пользу немецкой ориентации. Дурново доказывал, что англо-русское сближение приведет неминуемо к войне с Германией и что эта война ничего хорошего России не сулит ни в случае победы, ни в случае поражения, каковое он считал наиболее вероятным. Война, по мнению Дурново, должна закончиться революцией и не политической, а социальной. Эта часть записки Дурново настолько любопытна, что мы позволим себе остановиться на ней несколько подробней.

Дурново пишет:

„Борьба между Германией и Россией, независимо от ее исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как несомненно сводящаяся к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что, при исключительных условиях надвигающейся мировой войны, таковая, опять-таки независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая, силою вещей, перекинется и в страну-победительницу. Слишком уж многочисленны те каналы, которыми, за много лет мирного их сожительства, незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы и в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер,—в том не может быть никаких сомнений, и это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедывают принцип бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое...

„За нашей оппозицией нет никого; у нее нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав, ему ненужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, а дальше этого их вожделения не идут. И стоит

только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия неизбежно будет ввергнута в анархию, пережитую ею в приснопамятный период смуты 1905—1906 годов. Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации".

Дурново полагает, что социальная революция в России будет неизбежной и при победе, и при поражении. При победе социальная революция произойдет в Германии и перекинется в Россию; еще хуже будет при поражении.

„В случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть,—социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна. Начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная против него кампания, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению".

Интересно, почему Дурново считал неизбежной соц. революцию в Германии в случае ее разгрома.

„С разгромом Германии она лишится мировых рынков и морской торговли, ибо вся цель войны—со стороны действительного ее зачинщика, Англии,—это—уничтожение германской конкуренции. С достижением этой цели германская промышленность будет подорвана в своем корне и лишится не только повышенного, но и всякого заработка; исстрадавшиеся за время войны и, естественно, озлобленные рабочие массы явятся восприимчивой почвой противоаграрной, а затем антисоциальной пропаганды социалистических партий. В свою очередь эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившееся вследствие проигранной войны народное раздражение против обманувших надежды населения милитаризма и феодально-бюргерского строя, свернут с пути мирной эволюции, на котором они до сих пор так стойко держались, и станут на чисто революционный путь. Сыграет свою роль, в особенности в случае социалистических выступлений на аграрной почве в соседней России, и многочисленный в Германии безземельный класс сельскохозяйственных батраков. Независимо от сего оживятся таящиеся сейчас сепаратистские стремления в южной Германии, проявится во всей своей полноте затаенная враждебность Баварии к господству Пруссии,—словом, создастся такая обстановка, которая мало чем будет уступать, по своей напряженности, обстановке в России"

Как видит читатель, Дурново нельзя отказать ни в даре предвидения, ни в уме. Историческая прозорливость, однако, не помешала ему выдвигать беспомощный и смешной проект союза Франции и Германии, когда война стихийно уже назрела. Записка Дурново была известна министрам и другим вершителям судеб тогдашней России. Это, конечно, тоже не могло помешать войне, но важно то, что последствия этой войны кое-кто из этих вершителей уже тогда учитывал.

Возрастающая тяга к вопросам отвлеченного порядка нашла свое выражение, между прочим, в новом журнале „Под знаменем марксизма", в № 1—2 которого помещена ценная статья Деборина о Шпенглере „Гибель Европы или торжество империализма". Деборин обращает внимание читателя на политические взгляды Шпенглера, совершенно неизвестные русскому читателю. „Шпенглер, — пишет Деборин, — на протяжении своей книги ведет открытую борьбу с материалистическим пониманием истории... Человечество—никаких целей не имеет. Счастье людей—нелепая идея. Мировое гражданство—жалкая фраза". „Мы—люди определенного века, определенной нации, круга, типа". Отсюда вытекает отрицательное отношение Шпенглера к марксистскому интернационализму. Социализм так же интернационален, как и все остальное. „В минувшую войну против Германии на-ряду с буржуазией Антанты выступил и псевдосоциализм стран Согласия, но это была война против истинного, т.-е. прусского, социализма. Прусско германский социализм имеет своим врагом не немецкий капитализм, который давно уже проникся социалистическим духом, а антантовский лжесоциализм". Пруссак—прирожденный социалист. Власть принадлежит государству, оно распоряжается личностью, собственностью и т. п. В прусском инстинкте „живет старая фаустовская воля к власти, воля к безусловному мировому господству в военном, экономическом и умственном отношениях. Этот инстинкт получил самое яркое выражение в факте мировой войны и идее социальной революции. Стоящая перед нашей цивилизацией задача сводится к необходимости сковать посредством фаустовской техники все человечество в единое целое". В этом—смысл империализма и социализма. Только Пруссия в состоянии это сделать. Прусский капитализм уже давно принял социалистические формы, в то время как Англия проникнута духом торгашества, прибыли. Необходимо только, чтобы прусские юнкера и капиталисты отказались от классового эгоизма, а немецкие рабочие покончили с марксизмом, этим порождением английского капитализма, зовущим к борьбе классов.

Истинный интернационал — это империализм. Победа прусского империализма может предотвратить гибель западно-европейской культуры. К смерти приговорены французы и англичане, ибо их культура сгнила. Спасение в немцах.

Эту сторону взглядов Шпенглера, подчеркнутую Дебориным, всегда нужно иметь в виду при оценке его историософии. Истоки прусского шовинизма Шпенглера глубоко заложены в его философии и отнюдь не являются механическим привеском, чем-то случайным, второстепенным, не связанным с основными положениями его философии истории, как это полагает тов. Базаров. Но „система" Шпенглера не является только новой реакционной погудкой на старый лад, как это, повидимому, кажется Деборину, а показателем глубочайшего кризиса, который только ведал западно-европейский буржуазный мир.

— —

В № 4 журнала „Печать и Революция" В. В. Вересаев ставит вопрос, „что нужно для того, чтобы быть писателем". Основная мысль его яркой, простой и искренней статьи сводится к тому, что помимо таланта писателю нужно прежде всего быть самим собой. Вересаев указывает, что это далеко не так просто и легко, как может показаться с первого взгляда. Одной из самых существенных помех в числе других являются, по его мнению, школы, направления и т. д.

„Последние три года, — пишет В. Вересаев, — мне пришлось прожить вдали от центра, совершенно оторванным от современной литературной жизни. Этой осенью я возвратился в Москву. Вышел на улицу и увидел расклеенные по стенам объявления. В них сообщалось, что... состоится... вечер поэтов. Выступают со своими декларациями и стихами: неоклассики, неоромантики, символисты, футуристы, презантисты, имажинисты, ничевоки, эклектики и т. д. и т. д. На меня эта афиша произвела впечатление ошеломляющее. Сколько стойл нагородили сами себе художники, как старательно стремится каждая группа выстроить себе отдельное стойлице и наклеить на него свою особую этикетку. И как бы хорошо было бы вместо этой длинной конюшни с отдельными стойлами увидеть табун диких лошадей, не желающих знать никаких сектантских стойл..."

Касаясь вопроса о творчестве пролетариата, В. В. полагает, что хотя он и выдвинулся на первое место исторической арены, но мало проявил себя в художестве. Два фактора мешают этому выявлению: „влияние искусства прежде господствовавших классов во всей силе, стройности и красоте своей завершенности" и требования, предъявляемые художнику-пролетарию направленством, школой, догмой. „В настоящее время дружественные критики предписывают поэту пролетарию совершенно определенный круг настроений: боевой порыв, веру в себя и в свой класс, бодрый дух, жизнерадостность. Благо поэту, если у него это есть. Но горе ему, если у него этого нет, а он будет стараться натаскивать на себя соответственные настроения... Он перестанет быть самим собой, т. е. поэтом, и все-таки не станет ничьим выразителем, потому что будет фальшив".

Размеры данного обзора исключают возможность обсуждения вопроса, поднятого В. В. Вересаевым. Заметим кратко: предостережения об опасностях застояться в стойлах и стать фальшивым от узкого направленства своевременны, но вопрос все-таки сложней. В современной человеческой душе нет и не может быть примитивности „табуна диких лошадей". В частности, пролетарий-художник носит в себе обычно и тяжелый груз прошлого и настоящего, „ветхого Адама": отпечатки мещанского быта, черты психологии, привитой буржуазией, и т. д.,—и зачатки нового человека; новое ведет в его душе неустанную и жестокую борьбу со старым, и „направленство" помогает оформлению этого нового и его победе над старым. Все дело в том, чтобы направленство не явилось для художника чем-то совершенно извне навязанным, а формировало новое, которое действительно имеется и живет в груди художника-пролетария. Вот по части этого „нового" дело пока обстоит довольно слабо, и оттого еще нет у пролетариата своих больших художников.

Очень правильно и кстати В. В. Вересаев пишет о стиле:

„Никакого стиля вырабатывать себе не нужно... нужно только думать своими чувствами, видеть своими глазами,—и стиль придет сам

собой. Интересно в этом отношении мнение двух таких выдающихся мастеров стиля, как Шопенгауэр и Флобер. „Слог есть только силуэт мысли,—говорит Шопенгауэр.—Неясно или плохо писать значит сбивчиво или смутно мыслить". Почти теми же словами говорит и Флобер: „Чем прекраснее мысль, тем звучнее фраза, будьте уверены. Определенность мысли вызывает,—и есть сама по себе,—определенность слова"... Истинная проблема стиля есть проблема физиологии. Мы пишем, как мы чувствуем, как мы думаем"...

Вышел еще журнал „Жизнь". Не поймешь с первого взгляда, какой он. Ратует за „единый литературный фронт". „В защиту культуры и литературы"—вот лозунг, могущий объединить деятелей науки и литературы. Давно пора немногочисленным остаткам русской интеллигенции забыть партийную и кружковую грызню... все-таки политика, как известно, находится за пределами досягаемости". Против кого нужно организовать этот „единый литературный фронт", „Жизнь" умалчивает, но так как единый фронт усматривается в изгоевском „Вестнике Литературы" и „Летописи Дома Литераторов", то умалчивание становится понятным. Но нас интересует другой сейчас вопрос: какими неисповедимыми путями в гущу этой пустопорожней литературной маниловщины залетела статья тов. Луначарского? Или страницы советских изданий,—правда, без единого литературного фронта с изгоевскими трусливыми подголосками,—закрыты для него? Дурной пример для подражания. И при чем советский трест—Моспечать, являющийся издателем „Жизни"? Он тоже за „единый литературный фронт вплоть до Изгоева"? Странно.

Литературные края.

Э. П. Бик.

Мы теперь в периоде литературного перелома, старые профинтересы авторов сошли на-нет,—новые еще не доросли до того, чтобы быть всем очевидными. Старое еще разлагается,—новое растет с такой страшной медленностью!

Вот куча книг, все последние издания. Какой срам и стыд. Конечно, разумеется, мы обязаны быть толерантными ко всему этому, мерзейшая экономическая реакция войны создала и непостижно-актуальную психическую реакцию. Можно было бы удивляться: да как это они еще пишут! — но ведь читатель не ждет, он живет и растет, он дышит этим... но воздух отравлен, и мы не смеем этого не констатировать.

Стишки: Георгий Иванов „Лампада" [1]), и не просто книга стихов, а „собрание стихотворений, книга первая", значит, что-то уже сложилось, определилось, выяснилось. И что же выяснилось,—а выяснилось, видите ли, что Г. Иванов может писать писулечки вроде:

> Несется музыка с вокзала,
> Пуччини буйная волна,
> Гуляют пары. Всех связала
> Сетями осень, как весна.

Или того приятней и слаще:

> „Люблю",—сказал поэт Темирс,
> Она ответила—„И я",
> Гремя на сладкозвонной лире... и т. д.

Ну, и что вытекает из того, что он это может,—и кто теперь этого не может? Однако книга печатается, продается (а русские математики печатаются в Варшаве на немецком языке-с...), занимает какое-то место, когда ее ненужность превосходит очевидностью любой утюг. Этот даже не знает, что что-то случилось, у него все по-хорошему, тихо, не тряхнет: по-прежнему он переписывает „Урну" Андрея Белого („Моей тоски не превозмочь", стр. 33), книгу, которой больше десяти лет, и переписывает скверно и слабо,—у Белого было лучше, сильней, крепче. Вот еще Адамович книжку напечатает...

---

[1]) Георгий Иванов. „Лампада". Спб. 1922. Стр. 128. 1000 экз. Москва. Цена 75 т. р.

Далее продукты распадения питательной среды. Межеумки. Ни футуристы, ни символисты, ни акмеисты,—а просто чорт знает что: Оцуп и Нельдихен [1]). Они знают, что они одно и то же, так этот Оцуп и пишет:

...мне показалось,
Что и Нельдихен - это я.

Порядочный человек после этого запил бы горькую на тему „простите, православные!"—Оцупу—как с гуся вода, пишет дальше: про аэропланчик, автомобильчик и так далее. Но ведь этому Нельдихену собирать бы коллекцию перышек (до марок он еще явно не дорос) и выпрашивать у мамы двугривенный на резину для рогатки,—нет, он, оказывается, поэт. А ведь это слово все-таки, как ни как не ругательство же... Оцуп просто смотрит на все происходящее: что бы там ни случилось,—это их дело, я себе плюю сквозь зубы наотмашь налево и направо, вот и вся моя патетика,—что, съел? У нас в Москве такие малютки папиросами торгуют и в голос от них воют несчастные учительницы подобающих ступеней, в Питере эта братия стихи пишет. Удобный город. Почему-то Оцуп куда-то еще пыжится, пробует там под Кузмина, под Северянина, кое-кого из футуристов нюхал видимо, Нельдихену на все это чихать,—товарищи, да ведь это сам „румяный Лука" из умницы-Кантемира, который „трижды рыгнув" изъясняется с изумительной простотой. У меня есть прямая кишка, карточка литера „Б" и адрес,—а следовательно я человек. Бедный Декарт, который столько времени мыслил о существовании,—наивный он человек, чудак и „калека с малокровной кожей" (стр. 53). А ведь у беговой лошади, пожалуй, больше прав называться человеком, чем у Нельдихена, ежели подумать, да посчитать по его способу.

Вот еще Кузмин. Книжечка называется „Лесок" [2]) и выпущена она в свет книгоиздательством „Неопалимая Купина". Приятное, сочное такое название для эстетического издательства. Надо полагать, скоро будет еще издательство „На заре ты ее не буди"... Ну, а если уж так надобно что-нибудь божественное („из божественного да почудней", как выражался один гончаровский персонаж), то мы бы с своей скромной стороны предложили бы „Вскую шаташеся" или еще того лучше „Изо уст Господа нашего изблеванные". В последнем случае, по крайней мере, ясно в чем тут дело, а один из эпитетов Вечной Женственности никакой грязью не поливался бы. А вот что делается в этой „купине": „Венера... даже в лесу лежит на низком диване, разбросав простыни и пуховые подушки и полными, без мускулов, руками обнимает Адониса, путаясь ногами в сиреневом покрывале неловко и жалко.— „Поздно! взошла звезда, моя звезда! Ляг мальчик, ляг мне на груди, которые слаще малины" (стр. 14) или: „Летают на гороховой колбасе. Кажется, что у обоих пассажиров общий огромный фаллос. Время от времени колупают кожицу и едят начинку" (стр. 25). Разберитесь в этой—ну, позвольте сказать правду—собачьей порнографии, как это старательно и гнусно все подклеено: диван в лесу, да еще „низкий" диван, чтоб упасть удобно было, простыни... и не-

[1]) Ник. Оцуп, Град, Спб. 1922 „Цех поэтов". Стр. 56. 1000 экз, Москва. Ц. 25 т. р. Сергей Нельдихен, Органное многоголосье. Спб. 1922. Стр 56. 1000 экз. Москва Ц. 25 т. р.

[2]) М. Кузмин, Лесок. Спб. 1922. Стр. 36. Украшения А. Божерянова. 500 экз. Москва. Ц. 250 т. р.

винная история с колупанием кожицы у колбаски. И ко всему этому пришиты имена: Апулея, Шекспира и Гофмана. Последнему, видимо, юбилейный подарочек. Скажут: да ведь и Шекспир был не дурак относительно двусмысленных острот,—так, но ведь они у него в центре не стояли,—шали и балуйся, но когда ты вчистую до малиновых грудей от сладостного слюнотечения договариваешься,—то как тебя обругать, чтобы ты вспомнил, что ты делаешь? Некоторые стишки очень легко написаны, ну уж лучше бы не надо,—все равно ведь в результате:

> Тра-ля-ля! смотрите, дети,
> Тут не долго до беды,
> Ведь не даром в эполете
> Можно встретить три звезды.

Согласитесь, что после этого маркитантки Гейне прямо в дидактику годятся.

Молодые ученики футуристов. Две поэтессы. А. Владимирова и Н. Бенар[1]). Обе не лишены некоторых, хоть и очень скромных дарований. У Владимировой явно сильное влияние Гуро и Асеева, воспринятых иной раз и не так плохо. В общем же обычные дамские разговоры на тему „какая я хорошая", чем вся теперешняя женская лирика наполнена. У Бенар поострее, но все прикрыто самым невинным переписыванием Пастернака. При чем ее Пастернак—причесанный, приглаженный, напомаженный — вульгаризованный и акмеизованный и беспокойно вспоминается: многие авторессы начинают книгами, где слышен подлинный трепет (сравните хоть Радлову), но все это зачастую оказывается жаром „тех дней, когда им были новы все впечатления бытия", а потом разлагается в невозможную кислоту. Положим, через пропасть после первой книги прошли и Белый и Блок, но у них это так не захиревало. На грустные наводит мысли и превалирующий у обеих поэтесс бедненький эготизм, „я"—и его жалкие интересы. На Бенар, пожалуй, все же, быть может, и возможно некоторые надежды возлагать,—очень скромные.

Футуристы. Не настоящие, а, так сказать, экс-футуристы, Федор Богородский с книжкой „Даешь!"[2]), выпущенной со всеми предосторожностями, до которых мог додуматься трусливейший из современников, хоть он и говорит, что не трусил под Царицыным, и что, конечно, весьма возможно. Тут и куча всевозможных писаньиц, резюме коих—да мне на тебя, на читателя, наплевать—и развитие: да я сам знаю, что это плохо! и многочисленные эпиграфы, в коих с жалостнейшей гримаской вкраплен тот же момент:—сам знаю, что плохо, только ты не ругайся! И четыре (!) послесловия, одно другого неуместнее и нелепее. Стыдно, товарищ Богородский, так трусить. Не визжать надо, а учиться, да читать хороших авторов, а не одного Маяковского. А он способный человек, Богородский. Правда, он вульгарен, боится и вымолвить, а от страху еще громче вопит и ругается. Он умеет хорошо, целостно, крепко и горячо влюбиться в этого человека, который что-то делает теперь и хочет снова жить, после рева

---

[1]) А. Владимирова. Кувшин синевы. К-во „Арт". Мск. 1922. Стр. 20.— Ц. 50 т. р. Н. Бенар, Корабль отплывающий. К-во „Альциона". Стр. 52. 2000 экз.

[2]) „Даешь!", как будто стихи. Послесловия В. Каменского, В. Хлебникова, С. Спасского, Родова. Обложка и стихи Ф. Богородского. Спб 1922. Стр. 32. 1000 экз. Москва. Ц. 30 т. р.

войн, у него где-то дрожит истинно-художественно срывающийся голос над нашим бедным разваленным добром, за которое со страхом берутся разучившиеся жить руки:

Позабавь на заводе! В забаве ремень,
Не вернее ли в дизеле ласка!
Обласкай и гумно и овин деревень,
Закорузлой ладонью и плуг твой обласкан!
. . . .
Обласкай и гумно и овин деревень,
Закорузлой ладонью и плуг твой обласкан!
О, крестьянин!—в труде расцветет этот день!
О, рабочий! Твоя ли рождается Пасха!

Конечно, все это на редкость не выдержано, не доделано, все наспех, срочно, „в трехдневный срок"... но, может быть, автор сообразит в дальнейшем, что скорость очень хороша при ловле блох, а к стихам она мало отношения имеет.

Новая книжка А. Крученых „Голодняк"[1]). Этот свирепец тоже что-то законфузился. „Заумная" околесица уже не идет так,—искусство вообще: ну, стихи и стихи, чего вы придираетесь?—а снабжена некоторыми смягчающими подзаглавочками. Например, такое красивое букговарево, как: „Уу-а-ме-гон-э-бью! Ом-чу-твут-он..." и проч., в том же привлекательном стиле, уже называется „Военный вызов зау". Кто их знает, что это за „зау", читатель помнит, что есть какие-то „эму", птицы, кажется, а может быть и дикари,—тем можно. Он не догадается,—он не такой ведь умник, как наш автор,—что „зау" и есть приверженцы заумного языка... Но хоть и есть лазейка, а все же и совесть появилась. Однако существо то же: истерическое выплевывание читателю в глаза самой отвратительной гнуси, которая только припомнится. Стихокарамазовщина,—совершенно пустая внутри. Автор уверяет: „Я прожарил свой мозг, как шашлык, на железном пруте—З-з-з-ш-ш-ш!!! (тут просто невинное звукоподражание). „Добавляя перцу, румян и кислот—Чтобы он, забавляя, понравился, Музка, тебе,—Больше чем обрюзгший—Размазанный Игоря Северянина торт". Но ведь из того, что Северянин плох и конфеточен, еще не следует, что Крученых очень хорош. Пробует автор писать и понятно („Голод"),—получается весьма скудно и слабо... Средства Крученых очень жестокие, а сделать он с ними ничего не умеет. Похоже, что кончилась эта история.

Но ведь у нас есть и символисты,—так сказать: большая литература. Настоящая, генеральская. О, она еще жива! Плохая ее только жизнь. Вот Чулковские расскaзики-стилизации „Посрамленные бесы"[2]), хоть на наш взгляд бесы и вышли из авторова испытания с честью, чего не скажешь о самом посрамителе. Было дело так: некто был женат, приглянулась ему графиня, у которой, у которой (ну что ты будешь делать!) „глаза были тождественны с глазами фресковой мадонны" (так и написано „тождественны", да еще в разбивку), приволокнулся, получил все, что требуется, а потом заскучал о жене. Так как графиня была эстетическая, то она, следуя породившей ее чулковской эстетике, немедля от огорчения померла. Приходит он к мертвой, а она ему и говорит... ну, что она ему говорит, это не важно, а в результате:

[1]) А. Крученых, Голодняк. М. 1922. Стр. 24. 1000 экз.

[2]) Г. Чулков, Посрамленные бесы. К-во „Костры". М. 1921. Стр. 132. 2000 экз.

„Я люблю мою жену нежнее, чем прежде. Но мы живем теперь, как брат и сестра. А когда в минуту страсти я стою на коленях и говорю моей жене „люблю", я слышу чей-то тихий голос: „Ты мой! Ты ведь мой?"—И тогда я—неверный—не смею целовать ноги моей верной жены". Ясно, что эти-то слова и были сказаны. И из них-то и получилось сие лобзоножное выеденнояичное произведение. Со стилизацией и замиранием не там, где нужно. Ну, уж это прямо на удобрения. Тридневно и уже—того.

Еще какой-то журналишка „Запад"[1]) вышел в Москве с какими-то переводиками, темное и подозрительное созданье. А еще - пребезобразный уличный скандальчик Каменского „Мой журнал"[2]).

Из-за недостатка места отдел библиографии откладывается до следующего номера.

Редакция.

[1]) „Запад", М. 1922, № 1. Стр. 24. 5000 экз. Ц. 20 т. р. Изд М. А. Перельмана.
[2]) „Мой журнал", № 1, М. Февраль 1922. Стр. 16. Ц. 50 т. р. 3000 экз.

Издатель—Государственное Издательство. Редактор А. Воронский.

«КРАСНАЯ НОВЬ»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Книга первая.

Книга вторая.

Книга третья.

Книга четвертая.

Книга пятая.